

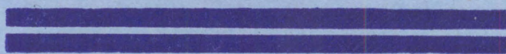
НОВАЯ
МИРА

2

НОВАЯ
МИРА

1977

2



1977



НОВЫЙ МИР

Е Ж Е М Е С Я Ч Н Ы Й
Л И Т Е Р А Т У Р Н О - Х У Д О Ж Е С Т В Е Н Н Ы Й
И О Б Щ Е С Т В Е Н Н О - П О Л И Т И Ч Е С К И Й Ж У Р Н А Л

Издается с 1925 г.

№ 2

Февраль, 1977 г.

О Р Г А Н С О Ю З А П И С А Т Е Л Е Й С С С Р

СО Д Е Р Ж А Н И Е

	Стр.
К. А. ФЕДИНУ	3
НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ РЕДКОЛЛЕГИИ ЖУРНАЛА «НОВЫЙ МИР»	5
ЮРИЙ ВОРОНОВ — Улица Росси, стихотворение	6
Н. ЗЛОТНИКОВ — Морозное облако, стихи	9
ЮРИЙ СКОП — Техника безопасности, роман	14
СТ. КУНЯЕВ — По северным звездам..., стихи	128
ВАСИЛИЙ КАЗАНЦЕВ — Дорога, стихи	132
ЧАРЛЬЗ П. СНОУ — Хранители мудрости, роман. Продолжение. Перевели с английского И. Гурова и О. Кругерская	136
М. КУДИНОВ — Из французской поэзии	171
ПУБЛИЦИСТИКА	
ЮРИЙ АЗАРОВ — Становление. Заметки о нравственном воспитании	182
ДНЕВНИКИ. ВОСПОМИНАНИЯ	
М. М. ГРОМОВ — Через всю жизнь. Продолжение	205
ПУБЛИКАЦИИ И СООБЩЕНИЯ	
ПИСЬМА МАРИНЫ ЦВЕГАЕВОЙ МАКСИМИЛИАНУ ВОЛОШИНУ. Публикация, вступление и примечания Иры Кудровой	231
ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА	
В. ЩЕРЕБИНА — Соотнесенная с жизнью. Пятилетие постановления ЦК КПСС «О литературно-художественной критике»	247

(См. на обороте)

ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ИЗВЕСТИЯ СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ СССР»
Москва

СОДЕРЖАНИЕ (окончание)

	Стр.
КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ	
<i>Литература и искусство</i>	
Александр Гладков. Армейская юность.— Ирина Винокурова. Живое движение стиха.— Анатолий Бочаров. Увеличительное стекло публицистики.— А. Коган. Линия огня	257
<i>Политика и наука</i>	
В. Косолапов. Писатели на войне.— Г. Водолазов. У порога подлинной истории.— Л. Лавров. Советский Союз в борьбе за мир.	269
КОРОТКО О КНИГАХ: Ю. С м е л к о в.— Борис Сергуненков. Лесная лошадь. Повесть-сказка. ♦ Л. Таганов.— Владимир Жуков. Иволга. Лирика. Поэмы ♦ Уран Гуральник.— Виталий Коржев. Эстафета. ♦ Д. М. Молдавский.— Вл. Орлов. Перепутья. Из истории русской поэзии начала XX века. ♦ Сергей Львов.— Краткие замысловатые повести из «Письмовника» профессора и кавалера Николая Курганова. ♦ Л. Василевский.— Сергей Голяков, Владимир Понизовский. Голос Рамзая. ♦ С. Десятков.— А. Д. Чикваидзе. Английский кабинет накануне второй мировой войны. ♦ Юрий Дмитриев.— Ян Линдблад. Белый тапир и другие ручные животные. Ян Линдблад. В краю гоацинов. ♦ Вл. Кузнецов.— Ф. И. Новик. Неонацизм в ФРГ: подъемы и поражения 1949—1974 гг.	280
КНИЖНЫЕ НОВИНКИ	288

К. А. ФЕДИНУ

Дорогой Константин Александрович!

Мы рады приветствовать Вас в день славного Вашего восьмидесятипятилетия — Вас, которого по праву называют старейшиной советской литературы, одним из выдающихся ее основоположников. Академик, председатель правления СП СССР, литератор, входивший в состав руководящих органов писательского Союза с момента его основания, эту знаменательную дату Вы встречаете как золотую пору общений и духовных итогов, зоркого взглядывания — с высот пережитого — в черты и приметы нового дня.

«Он из тех, которые не спешат сказать свое слово, но которые умеют сказать хорошо», — как-то сказал о Вас Горький, с которым, как известно, Вас связывала длительная и прочная дружба.

Да, свое слово в литературе Вы, дорогой Константин Александрович, сказали хорошо и весомо — слово о бурях и потрясениях XX века, о мире, преображенном Великим Октябрем. Вот уже около шести десятилетий звучит это слово, и слышно оно на весь мир.

Под ранними, юношескими Вашими публикациями стоят даты 1913—1914 годы, однако подлинным началом Вашего большого пути в искусстве мы вправе считать годы Октября, годы революции, сформировавшей Вас как художника и гражданина.

Хорошо известно, сколь велики достижения Федина-романиста. «Города и годы», «Братья», «Похищение Европы» и «Санаторий «Арктур», наконец, широкое эпическое полотно — триптих «Первые радости», «Необыкновенное лето», «Костер»... В совокупности своей эти произведения составляют яркую летопись жизни страны в особо бурные, насыщенные грозовой энергией десятилетия; вместе с тем это и крупные вехи в развитии советской художественной прозы. Уже не одно поколение читателей, погружаясь в мир этих талантливых и правдивых романов, прикасается к глубинным закономерностям нашего исторического движения, проникается высокими гуманными началами, одухотворяющими фединскую прозу, оттачивает свой эстетический вкус. Читателю в пределах целостной эпической панорамы, охватывающей страны и народы, открывается сложное переплетение, притяжение, отталкивание различных общественно-политических, национальных, государственных укладов, освещенных с позиций самого передового социалистического мировоззрения. Нам представляется весьма многозначительным признание, сделанное Вами однажды: «Постоянное мое стремление найти образ времени и включить время в повествование на равных и даже предпочтительных правах с героями повести...»

Действительно, образ времени в Вашей прозе почти осязаем. Он соткан из примет житейского и душевного обихода, характерных подробностей народного бытия, из речевого колорита, из самой густоты или, напротив, разреженности общественной атмосферы... Основой

этого образа времени неизменно является синтез ведущих его тенденций, определяющих черт и закономерностей, синтез, выраженный через выверенную систему изобразительных средств. Справедливо говорится в критике относительно творчества К. А. Федина, что «в советской литературе мало найдется романистов, которые могут соперничать с ним в искусстве организации романа, чувства целого, умения придать самой форме книги глубокий смысл». Нам представляется, что в этом стремлении воплотить время как образ, имеющий художественную завершенность, — важная черта фединского историзма и фединского взгляда на самое понятие мастерства художника в современную эпоху.

Секреты и тонкости писательского ремесла всегда были предметом пристального Вашего внимания, уважаемый Константин Александрович. Автор многих статей и выступлений по актуальным проблемам нашего литературного развития, видный теоретик искусства, Вы внесли значительный вклад в разработку проблем социалистического реализма, в дело совершенствования профессионального мастерства наших писателей, особенно молодой литературной смены.

Особо хотим сказать, Константин Александрович, о том, что Вы один из тех писателей, кто присутствовал при самых первых шагах «Нового мира», помогая ему определить свое лицо, завоевать признание читателя. Начиная с повести «Пастух» (1926), многие Ваши произведения увидели свет на страницах нашего журнала. Вот уже около сорока лет Вы принимаете деятельное участие в руководстве «Новым миром».

Поздравляя Вас, дорогой Константин Александрович, с восьмидесятипятилетием, редакция журнала пользуется случаем выразить Вам искреннюю благодарность за многолетнее участие в работе «Нового мира», сказать, что Ваша многогранная деятельность художника, публициста, критика, руководителя писательского Союза всегда будет для всех нас — писателей, журналистов, читателей — ярчайшим образцом самотверженного служения родной литературе.

Желаем Вам, дорогой Константин Александрович, еще долго и плодотворно трудиться, обогащая наше социалистическое искусство новыми созданиями Вашего таланта.

Крепкого здоровья Вам и больших успехов!

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ «НОВОГО МИРА».



НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ

РЕДКОЛЛЕГИИ ЖУРНАЛА «НОВЫЙ МИР»

Дорогие товарищи!

В дни, когда все мы находимся под впечатлением приветствия Генерального секретаря ЦК КПСС товарища Леонида Ильича Брежнева, позвольте поздравить вас и весь коллектив журнала «Новый мир», активного участника строительства КамАЗа, с замечательной трудовой победой — вводом в эксплуатацию первой очереди комплекса.

Все эти годы, годы строительства завода и города Набережные Челны, самоотверженно трудились не только строители КамАЗа. Заветный день пуска его первой очереди приближал и «Новый мир». Если объединить все публикации журнала о стройке в Набережных Челнах, получится замечательная летопись о подвиге на Каме. Благодаря вам о делах строителей, монтажников, автозаводцев, всего коллектива участников Всесоюзной ударной стройки узнали миллионы людей.

Есть в приветствии Генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Ильича Брежнева участникам строительства КамАЗа такие строки: «Я глубоко убежден, что пройдут годы, но все советские люди будут с гордостью вспоминать о трудовом подвиге на Каме». Об этом подвиге будут помнить и потому, что о нем поведали миру вы, дорогие товарищи!

В Набережных Челнах по праву считают коллектив журнала «Новый мир» ударником строительства КамАЗа. Пусть же годы строительства второй очереди КамАЗа будут еще более плодотворными для коллектива журнала.

Желаем всему коллективу журнала «Новый мир» крепкого здоровья, новых творческих удач и находок.

Челнинцы ждут от вас новых ярких произведений о людях стройки и завода. Подвиг на Каме продолжается!

*Секретарь Набережночелнинского горкома КПСС
Р. БЕЛЯЕВ.*

ЮРИЙ ВОРОНОВ

★

УЛИЦА РОССИ

1

На улице Росси
Строй
Желтых фасадов
Подчеркнуто четок,
Как фронт на парадах.
Поэтому
Знают о ней
Ленинградцы:
На улице этой
Нельзя
Затеряться.

Здесь бродят
С рассвета до ночи
Туристы,
Снимаются фильмы
Из дней декабристов,
Проходят девчонки
С осанкой приметной,
Поскольку тут —
Здание
Школы балетной.

Я тоже
На улице Росси
Бываю.
Но мне здесь
Невесело:
Я вспоминаю.

2

Дворец пионеров,
Что с улицей рядом,
Стал
Новой больницей
В начале блокады.

Сюда привозили
Из разных районов

И тех,
Кто спасен был
В домах разбомбленных,
И тех,
Кто контужен был
Вражьем снарядом,
И тех,
Кто в дороге
От голода падал...

Я помню,
Как плотно
Стояли кровати
В промерзлой насквозь,
Полутемной палате.
Мне видятся
Скорбные лица
Лежащих
И слышится
Голос соседа
Все чаще.
Он,
Если мы
Долго и мрачно молчали,
Читал нам
«Онегина»:
— Чтоб не скучали...

Мы верили твердо —
Вот-вот
Наступление,
Когда обсуждали
Его предложение,
Что в первую пятницу
После победы
Все
В полдень
На улицу Росси
Приедут!

Сомненья возникли
О месте для сбора,
Но он
Их развеял
Без долгого спора:
— До Росси
Не только легко добираться —
На улице этой
Нельзя
Затеряться!..

А вскоре
В метель,
Что гудела, бушуя,
Его отправляли
На землю Большую.
Он еле дышал,

Но, прощаясь,
 Нам бросил:
 — Пока...
 Не забудьте
 Про улицу Росси...

3

Я в пятницу —
 Вслед
 За победным салютом —
 На встречу приехал
 Минута в минуту.
 Я ждал.
 Я с надеждой
 К прохожим бросался.
 Но снова и снова
 Один
 Оставался.

Забуть уговор?..
 Не могли!
 Неужели?..
 А может быть,
 С фронта
 Прийти не успели,
 А кто-то
 Работу
 Оставить не может?..

Но в сорок шестом
 Повторилось
 Все то же...

4

Бессонное время
 Без усталости
 Мчится.
 Я в чудо не верю,
 Оно
 Не случится.
 Но в первую пятницу
 После Победы
 Я снова
 На улицу Росси
 Поеду.
 Мне надо
 С друзьями
 Опять повидаться...

На улице этой
 Нельзя
 Затеряться...



Н. ЗЛОТНИКОВ



МОРОЗНОЕ ОБЛАКО

ТРАКАЙ

Я на стены смотрел вековые,
Вдруг услышал: солдаты поют.
И звучала как будто впервые
Песня пять или десять минут.

И была эта песня такая,
Столько сильных взяла голосов,
Что летела от башен Тракая
До смоленских и польских лесов.

Солнце меркло в глазах полувзвода,
Свет тускнел, но совсем не исчез,
Пыль вздымалась, как пламя похода,
Багровела, коснувшись небес.

И оттуда, как с крыши покатоЙ,
Долго сыпалась за окоем,
В остывающем горне заката
Полыхала червонным огнем.

Я прошел мимо лодок смоленых
По мосткам, по цепному мосту,
Мимо стражей и мимо влюбленных
Поднимался на высоту.

А когда я взобрался на стены,
Всей душой пожалел об одном —
Что, свой путь совершая нетленный,
Песня смолкла за дальним холмом.

В тот же миг потемнели долины,
И туман набежал на поля,
И над озером сумрак старинный
Закружился, волну шевеля.

В тот же миг, поздней-поздней порою,
Зримо, так, что по коже мороз,
Мне почудилось: я с этим строем
Вдаль протопал и песню унес.

Молодой и беспечный!.. Обидно,
Что с вершины поста своего
Можно видеть и то, что не видно,
Но нельзя изменить ничего.

* * *

Морозное облако в небе течет,
Там иней мерцает над нами.
Но солнце печет,
И жажда томит
И холод воспоминаний.

Какая надежда таится в былом?
Чем память сильнее прозрений?
Холодным крылом
По сердцу скользнет
В апреле листок осенний.

Кому доверял, доверяю и впредь.
Кого презирал — презираю.
Не ржавеет медь
Армейской трубы:
Воскрес я и умираю.

Бессмертье мое и погибель моя
В том облаке скрыты морозном.
Родная семья
Моих тайных лесов
Шумит перед выбором грозным.

А холод пронизет насквозь и замрет
В глубинах души, будто эхо.
Да, возраст наш тот,
Что сладко от слез
И горько, горько от смеха.

* * *

Я застал еще зиму в Калуге.
Воскресенье звенело в округе.
Птицы мчались как будто в испуге
С крон деревьев на белый собор.
В блеске мартовской первой недели
Дети ехали на карусели,
Брызги снега и смеха летели
Вниз по склонам заснеженных гор.

В парке — розвальни. Кони шли цугом
Все быстрее и быстрее друг за другом
По кольцу. Этим замкнутый кругом,
Замер я и навеки забыл,

Где я видел зеленые дуги,
Сыромятные кольца подпруги,
Полоз узкий стальной и — упругий
Бег, исполненный страсти и сил.

Кони фыркали шумно и сыто,
Гулко в снег ударяли копыта.
Что-то будет еще позабыто —
Этот день, поздний снег, птичий грей?
Быстрой жизни разрозненной звенья
И старинную пользу забвенья
Можно разом постичь в воскресенье.
Ну, душа, поскорей выбирай!

Ты бессмертия знаешь чертоги.
Что же медлишь? В конечном итоге
Мы сойдемся на дальней дороге,
На веселом помчим ветерке.
Нам достанет труда и науки,
Нам достанет и счастья и муки,
Нам достанет любви и разлуки.
Отчего ж ты трепещешь в тоске?

* * *

П. Антокольскому.

Я нес письмо поэту
О мальчике его —
О том, как был убит он,
И больше ничего.

Два слова очевидца,
Строки неровный бег,
Прозрачная страница,
Холодная как снег.

Что снег? Сверкнет, погаснет
Да стихнет возле ног.
Но острый холод смерти
Никто не превозмог.

Февральская погода,
Неверная тропа.
Навеки нам даются
И память и судьба.

Но только память может
Подняться над судьбой,
Как молодое небо
Над старую землю,

Упрочить свет надежды
И вновь зажечь звезду,
Сгоревшую навечно
В сорок втором году.

Зачем мне эта почта?
Повременить ей впрок.
Тот бой, уже далекий,
Был краток и жесток.

Зачем же эта почта?
В ней — гибель под конец.
Я памяти, надежды,
Но не судьбы гонец.

* * *

Не был я на виду —
Не печалюсь нимало.
Видал в небе звезду,
И она мне кивала.

Забывал, на года
Выпуская из виду,
Но она никогда
Не таила обиду.

В белой пыли снегов,
В желтой пыли пустыни,
У родных берегов,
На холодной чужбине,

Среди многих светил
В тишине занебесной
Свет ее мне светил
И наивный и честный,

Он меж звезд и планет
Плыл да плыл во Вселенной,
Добротою согрет,
Не унижен изменой.

С полуночных высот
Он стремится под гору.
Что во мне он найдет?
Неужели опоры?

Тайный любящий взгляд
Так тревожит сознание
И уходит назад,
В глубину мироздания.

* * *

Я запомню тот свет на Гамбори.
Вдруг струна оборвалась в моторе,
И тогда услышал я впервые,
Как поют облака дождевые.

Звук возник над дорогой отвесной,
Ожил воздух над темною бездной,
И, предчувствуя свет или пенье,
Сердце дрогнуло в нетерпенье.

Белорунное вечное стадо
Кочевало от рая до ада.
Мы сошлись на одном перевале,
Там, где вечность и день пировали.

Заиграла, потухла зарница,
Полетела и рухнула птица.
Ты оставила руль, посмотрела
Вниз, где осень в долине пестрела.

А за нею — зима, а за нею,
Молодого вина зеленее,
Взор соперницы, и в этом взоре —
Страх и ревность, надежда и горе.



ЮРИЙ СКОП



ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

Роман

«Техника безопасности» — первый роман Юрия Скопа, участника V Всесоюзного совещания молодых литераторов. В 1969 году, давая ему рекомендацию в Союз писателей, В. Шукшин писал:

«Знаю Юрия Скопа давно, внимательно следил за его «шагами» в литературу, как мог и умел — помогал, теперь с большим удовлетворением пишу эту рекомендацию.

Не буду характеризовать здесь его очерки и повести — в рекомендациях этого, кажется, не делают, — могу только сказать, что у молодого писателя есть своя тема, есть герои, которых он ведет в литературу, и мне, русскому человеку, эти герои близки и дороги. И дело еще в том, что ни они, эти герои, ни писатель не подведут друг друга. Попросту — в будущие книги писателя придут здоровые, крепкие парни, прямые и честные, сильные, с неистраченным запасом совести, на это прошу обратить внимание...»

Ю. Скоп — автор трех книг: «ТУ-104 и другие», «Алмаз «Мария» и «Открытки с тропы». Его публицистика была отмечена Г. М. Марковым в докладе на пленуме СП СССР «Писатель и пятилетка». Первый роман Ю. Скопа «Техника безопасности» — результат изучения материала непосредственно на одном из крупнейших в стране промышленных предприятий.

Проблемы современного крупного производства, целый ряд серьезных экономических вопросов, поставленных в романе, являются сегодня предметом поисков и обсуждений советских хозяйственников и экономистов-ученых.

Часть первая. Ночь

Михеев выходил из министерства и, открывая тяжелую дверь, снова почувствовал сердце. Кто-то остро и тоненько поцарапался в нем опять, совсем так же, как только что там, наверху, в кабинете министра, когда Сорогин заговорил вдруг о вакантной должности в ленинградском НИИ и Михеев невольно напрягся, улавливая за этим явно адресованное ему лично... Затем сердце разом ожгла протяжная цепкая боль.

У этой боли был свой цвет. И Михеев ощутил и увидел его в себе как никогда до этого ясно: металлический, хромированно-глянцевый. Будто кто-то куснул, защемляя живую, чуткую плоть блестящим пинцетом, и — потянул, потянул, потянул...

Михеев даже пригнулся, вжал голову в плечи. Осторожно ступая, отошел к краю тротуара. Стараясь не морщить лицо, осторожно приподнял и поставил портфель на крашеную трубу уличного ограждения. Замер, вслушиваясь в боль и медленно всасывая сквозь стисну-

тые зубы подмороженный, сладковатый от бензина мартовский воздух Москвы.

Вздохнуть полно и сильно, как ему сейчас очень хотелось, мешал этот чертов пинцет, и Михеев, подчиняясь боли, сосал и сосал воздух сквозь зубы. Во рту стало холодно. Язык замерз. Слабый озноб пушисто потрогал спину. Пинцет разжимался нехотя, но вроде бы разжимался, и постепенно боль отступила.

Все еще не доверяя высвобождению, Михеев приоткрыл рот и потихоньку попытался наполнить всю грудь. Получилось... Тогда с облегчением и радостью он задышал глубоко и часто, поглядывая по сторонам: не было ли, кроме него, сейчас здесь еще свидетелей этой негаданной его немощи? Усмехнулся: да кому ж до него какое тут дело... Москва...

Улица Кирова жила перед ним обыкновенной, не один уже раз виденной жизнью: по оснеженному, местами слякотному асфальту шли люди молча и разговаривая; проскальзывали легковые автомобили; молью попархивал реденький снег; стучали двери учреждений и магазинов; ветер то задувал порывисто, то его не было совсем. «Вот так вот, браток,— вяло подумалось Михееву,— прихватит прямо в центре столицы кондрашка — и ничего особенного. В порядке вещей...» Он поправил одной рукой меховую шапку, другой подхватил портфель и не спеша, твердо выстукивая каблукими новых ботинок, зашагал направо.

Он еще не знал, куда и зачем идет, но что-то подсознательно руководило им и вело по правой стороне улицы Кирова все дальше и дальше, навстречу незнакомым людям, мимо запахов ресторана «Сатурн», чайного магазина напротив, центрального почтамта, бывшего здания Вхутемаса, к Тургеневской площади, на которой в усиливающемся снегопаде квадратилась похожая на торт станция метрополитена, а чуть правее и сзади нее плоско чернел бронзовый Грибоедов.

И ни о чем не думалось сейчас больше Михееву. Странная пустота и беззвучие наполняли его. Все, что двигалось ему навстречу и шевелилось вокруг него, было отгорожено этой пустотой и этим беззвучием, не смея проникнуть внутрь.

Так он вошел в метро; машинально снял шапку и стряхнул с нее на мокрый, зажиженный пол нападавший снег; машинально нашарил в кармане пальто мелочь; машинально разменял ее в автомате и, все так же отрешенно дождавшись своей очереди, ступил на ребристую пластину эскалатора, стекающего под пологим углом вниз. Сбоку проплывали наверх круглые, набитые матовой белизной шары подземных светильников. Михеев не видя смотрел на них и вдруг отчетливо представил себе такую же круглую лысую голову Сорогина.

...Министр стоял спиной к нему у окна, под распахнутой настезь форточкой. В форточку влетала, мгновенно истаивая, блестящая морозь. По зыбкой шторе, горбатя шелк, сквозняк раскатывал плавные валы.

— ...так вы бы все-таки объяснили мне, Иван Андреевич,— повернувшись к Михееву, басовито заговорил Сорогин,— что вас за язык держит-то, понимаете? Чего вы ждете, скажите? Теперь-то уж можно, по-моему. Поезд ушел. Ту-ту-у... А разговор наш, поверьте, сугубо... как всегда...

И в это мгновение — а было как раз без семи четыре, Михеев еще посмотрел себе на руку и почему-то запомнил время — в кабинете министра забили стенные часы.

Старинные, темные деревом, с еще более глубокой тьмой прямых римских знаков на потускневшей желтизне циферблатного круга, они не спеша и отдельно роняли в тишину кабинета двоянные,

распевные удары. Каждый такой удар, расплываясь замедленно и тягуче, жил долго, наполняя пространство кабинета чем-то неуловимо торжественным и грустновато знакомым...

Михеев даже прикрыл ладонью глаза, впитывая в себя до конца щемящий настрой часового боя и пытаясь подольше удержать перед собой только что вспомнившееся.

Конечно, если бы сейчас вокруг него был не этот большой кабинет с тепловатым, пахучим от сигарет воздухом — министр курил много — и если бы не было вокруг него этих кресел, ламп и шкафов, ковра, дубовых панелей, портретов и тонких белых штор, за которыми заметно сникал, теряя крепость, дневной мартовский свет, то Михееву куда легче бы удалось перенести себя и ощутить на прогретом речном берегу, под которым утонувший закат выкрасил воду в розовато-красное, а мелькнувший в воображении плес еще бы отчетливее залоснился в безветрии.

Он сошел с эскалатора и продолжал думать, стоя на платформе. Очередная электричка только что утянулась в черную прорубь тоннеля, и сам по себе растворился подвывающий сиренный плач ее хода.

...Коротко возник и исчез костерок, выгорающий бездымно и весело, а потом где-то далеко-далеко, за охлажденным росой седоватым лугом с недвижно и резко впечатанной в самую середину его белой подковой стреноженной лошади, увидалась Михееву уж и совсем крохотная от расстояния церквушка. С вершинки ее и срывалась, разымчиво наполняя обомлевшую предсонную округу чем-то неуловимо торжественным и грустновато знакомым, певучая колокольная звень...

Четыре раза пробили в кабинете часы и смолкли...

Михеев протиснулся в туго набитый вагон, и сразу же за ним, задевая плечи и спину, трудно, с насадным шипением слепились двери.

...— Спешат они,— как бы оправдываясь, сказал Сорогин.— Вот ведь старье совсем, а все куда-то торопятся, понимаешь... Хотя ты им что! А какие умельцы приходили чинить, о-о... Коньяку не напасешься. Бесплезно! Спешат. Я бы их, понимаешь ли, снял, выкинул к чертовой матери.— Сорогин подошел к креслу напротив Михеева и легко утопил в него свое крупное, сильное тело.— Да все как-то жалко. Люблю, понимаешь, старинные вещи. Люблю... Красиво уж больно звонят, а? — Он дымно раскурил очередную сигарету.

Михеев качнул головой. За словами Сорогина о часах ему почему-то показался какой-то иной, скрытый подтекст, связаный с тем, о чем они только что говорили и перестали говорить, застигнутые врасплох часовым боем. И Михеев, сосредоточиваясь на этом подтексте, понятном ему, напряженно подумал: «Вон ты куда. Ну-ну... Отплавай. Интересно...»

— О чем вы молчите, Иван Андреевич? — дружелюбно спросил Сорогин.

Михеев гмыкнул:

— Да вот... все думаю. Почему это я действительно молчу?..

Сорогин, подперев лобастую лысую голову толстыми пальцами, на которых заметно курчавились порыжевшие от курева волоски, смотрел на Михеева в упор. Из широких ноздрей его мясистого, с оспенными рябинами носа ватно слоился дымок.

— Так поделитесь, пожалуйста. Это бы и мне хотелось знать. Ведь вы нынче такой шанс упустили... Почему? — Сорогин глубоко затянулся и, откидываясь поудобнее, уложил круглую лысую голову на маслянисто-коричневую кожу кресла. С шипом выпустил дым, глядя в потолок.— Да-а... Уж что-что, а помолчать-то мы горазды. Повеждать. Деловые молчуны.— Он улыбнулся.— Золотые люди. Как лошади... Все знаем, все понимаем, да только первыми никому ни-че-го

не скажем. Так, что ли? Наверное, так. И вот ведь что интересно-то... Явление это нынче распространенное. Только если уж начистую, Иван Андреевич, то ведь я в основном для вас, для вашего комбината это совещание городил. Да-да. Момент стопроцентный был. И нужных людей специально позвал. Вы их, между прочим, видели на совещании. В общем, думалось мне: ну сейчас мы с директором «Полярного» шевельнем кой-кому извилины... Так почему ты все-таки промолчал, в кустах отсиделся, Иван Андреевич, а?

Михеев встал, оправил пиджак, сделал несколько шагов по ковру и остановился как раз под часами. Паузы оказалось достаточно для короткого раздумья: Михеев отчетливо представил сейчас на своем месте Кряквина. Нет, его главный инженер точно не выдержал бы всей этой прощупывающей дипломатии Сорогина, разом бы обрушил на министра все, о чем думал. А информация — та же инициатива. Так стоит ли терять ее и сейчас, несмотря на то, что совещание уже позади? Вряд ли...

Михееву вспомнился разговор с Сорогиным в самый первый день приезда в Москву из Полярска. Пытаясь прозондировать тогда атмосферу предстоящего совещания, он в общих чертах наметил перед министром тему своего возможного выступления на совещании, пунктиром обозначив картину истинного положения дел на «Полярном», и в результате не ощутил, не почувствовал с его стороны вот такого острого желания услышать все это с трибуны, какое он проявлял теперь, задним числом. Это было не столько странно, сколько непонятно. И Михеев настороженно, кивнув на часы, под которыми сейчас стоял, ответил:

— Да потому что я... в отличие от них спешить разучился, Василий Максимович. Когда-то умел, да за пятьдесят с лишком лет дисквалифицировался. Хватит. Все понимаю...

— У-у-у,— иронично загудел Сорогин, не меняя положения головы. Так и спросил куда-то вверх, полулежа и чересчур спокойно: — Все, все правильно?

— Да уж, кажется, все,— высушил ответ Михеев.— И простите... В конце-то концов мог я, допустим, просто не знать, что вы все так хорошо знаете о наших расчетах с Кряквиным?

Это был пробный шар. Михееву надо было убедиться, действительно ли министр в курсе того беспощадного экономического анализа, который провел на комбинате его главный инженер Кряквин со своей службой. Насколько ему было известно, об этом пока знали немногие: управленцы «Полярного» и секретарь Полярского горкома партии Верещагин. Михеев напряженно ждал, что ответит ему министр.

— Гм... допустим,— буркнул Сорогин.— А если все же поконкретнее?

Михеев внутренне усмехнулся, сохраняя при этом сосредоточенно-бесстрастное выражение лица: «Темнишь, Сорогин, темнишь...»

— Что же,— сказал Михеев,— можно и поконкретнее. До сих пор мне казалось, что министерство, мягко выражаясь, не очень-то и заинтересовано в глубинном, а следовательно, неизбежно и конструктивном анализе положения дел на «Полярном»... Что-то не припоминается мне, Василий Максимович, чтобы кто-нибудь в этом доме очень уж стремился бы поменять излюбленные лозунги типа «давай-давай!» на, к примеру, «давай подумаем». — Михеев замолчал и машинально шевельнул пальцем звездочку Героя на своем пиджаке.— Но если уж я, допустим, действительно не понимаю, насколько серьезно в министерстве обеспокоены будущим комбината, то позвольте и вам, Василий Максимович, задать встречный вопрос.

— Ну..

— А почему вы сами не начали этот разговор на совещании? Почему? Ведь мне бы тогда, директору-то «Полярного», так или иначе, но пришлось бы шевельнуть извинениями.

Сорогин поднял голову и выпрямился в кресле. Беззвучно стряхнул пепел в массивный блестящий хрусталь. Михеев, набывшись, следил за его движениями...

Вагон мерно укачивало в темном стволе метрополитена. Придерживаясь за липкий поручень, Михеев прошел к освободившемуся месту и с удовольствием опустился на сиденье, пристраивая на коленях плоский портфель. Закрыл глаза.

...— Та-ак,— устало растянул слово Сорогин и вздохнул.— Так — сказал батрак. Атака с ходу? Во фланг. Выходит, вы всех прозорливее, Иван Андреевич, а? Спасибо. Буду иметь в виду. А хотите, скажу вам, как это все называется?

— Что?

— Ну, вот все это...— Сорогин очертил руками круг.

— Техника безопасности, да? — прищурился Михеев.

Сорогин удивленно наморщил лоб, отчего пошире раскрылись его узковатые, глубоко вдавленные глаза, и вдруг лукаво подмигнул Михееву:

— Ты что... этот... телепат, да? Читаешь мысли на расстоянии? Вот уж не знал. Именно — техника безопасности, Иван Андреевич.

— И что же?

— А ничего, ничего.— Сорогин вытер ладонью лицо.— Владеешь оной в совершенстве.

— А ты? — негромко и все-таки язвительно вырвалось у Михеева, хотя он и не хотел этого.

Возникла пауза — несколько томительных, пустых секунд тишины. Сорогин издал горлом странный кряхтящий звук и надолго замолчал, закаменев в кресле. Затем сдержанно и сухо сказал, не глядя на Михеева:

— Об этом... я думаю... у нас еще будет время поговорить особо. Когда улетаем в Полярск?

— Завтра утром.— Михеев сглотнул подступивший комочек, чувствуя, как трудно, сопротивляясь, оседает всплеснувшееся в нем раздражение.

— И на что вечер хотите истратить?

— Еще не знаю.

— Понятно... Ирина Сергеевна вам поможет.

Сорогин энергично отжался на мягких подлокотниках кресла, глубоко вмяная кожу, и тоже встал. Не гася кинул в пепельницу сигаретный остаток и вплотную подошел к Михееву. Выдохнул над ним, в часы, последнюю затыжку и сверху вниз — головы на две выше ростом — внимательно оглядел приземистого, полноватого Михеева. Аккуратно снял у него с плеча волос, посмотрел на свет и сощелкнул с пальцев.

— Седой, между прочим, Иван Андреевич. Совсем уж седой. Краситься пора начинать, а? Моя-то прическа имеет свои преимущества.— Он огладил круглую ровную лысину.— Поскоблил у цирюльника — и все. Кстати, от таких вот, как ты, все понимающих молчунов обливня.

Михеев хмыкнул.

— Чего? — спросил Сорогин.

— Ничего,— сказал Михеев.

— Да-а,— забасил уже прежним, совсем спокойным тоном Сорогин.— Чуть-чуть было не запамятовал. Нету ли у вас там, в вашем

Полярске, на примете подходящего человека, а? Мне, понимаешь ли, человек до зарезу нужен один. На ленинградский НИИ.

— Должность? — скривил губы Михеев, слыша, как что-то остро и тоненько зацарапалось в сердце.

— Да заместитель директора пока. Но с перспективой, с перспективой, естественно. И чтобы минимум кандидат наук. А? В общем, такой же вроде Михеева телепат... Незнакомы с ним, Иван Андреевич? — Сорогин хитрово прижмурил один глаз. — НИИ мы это недавно основательно встряхнули, так сказать, перед дальнейшим употреблением. Ты в курсе. Так что они теперь там маленько зачешутся... Вот. Значит, подумаем на досуге? Место это вполне приличное и в меру спокойное. Не то что у некоторых, вроде меня... Петербург. Клодтовские лошадки. Белые ночи. Эдита Пьеха опять же... Красота! Мне бы это побыстрее хотелось узнать.

— Я подумаю, — опустил голову Михеев. — На досуге.

— Да ладно, ладно тебе кусаться-то. Не забудьте поклон супруге. Ксении...

— Павловне, — хмуро подсказал Михеев.

— А уж это я сам помню, Иван Андреевич. Я пока еще все помню. Вот уж где меня порою завидки берут. Был бы, черт возьми, покудрявей — берегись! — Сорогин гулко расхохотался и тут же, оборвав смех, резко сменил выражение лица: сделалось оно строгим и непроницаемым. — А что касается соображений твоего главного инженера... Кряквина... то мы в курсе, в курсе. Чуть-чуть. Земля слухами полнится. Так что в этом моменте ты сегодня маленько проиграл, проиграл. Бывает. Мой вам совет...

Михеев вскинул глаза.

— Кстати, сколько ему наступало?

— Сорок семь. Не больше.

— Хорошо-о... Молодой. А это нынче в моде... быть молодым. Как он там сейчас?

— Ничего. Недавно из Парижа вернулся.

— Ну? Чего это он там позабыл?

— По путевке. Так я жду совета, Василий Максимович.

— А-а... Вот видишь, торопишься. — Сорогин положил руки на плечи Михееву. — А говорил, что спешить разучился. Совет-то уж больно простой будет, Иван... Ну да послушай. Опоздать, Ваня, иногда похуже, чем опоздать. И наоборот. Вот так-то... Подумай. Будь здоров. — Он сунул Михееву широченную теплую ладонь...

Михеев открыл глаза. Электричка с грохотом и свистом неслась, высвечивая грубые бетонные бока тоннеля. В лаковом, зеркально отражающем полупустой вагон стекле он увидел еще одного Михеева и пригляделся к нему. Напротив, рядом с читающим какую-то иностранную газету губастым негром, покачивался поясной портрет человека в ондатровой шапке и добротном сером пальто. Лицо пасмурное, с морщинами. Особенно глубоко они вьелись в лоб и щеки. Крупная бородавка на раздвоенном, ровно подрубленном снизу подбородке. «Кто это?» — как-то нехорошо и равнодушно подумал о себе Михеев и снова опустил веки.

...В приемной его встретила наработанной, непонятно что обещающей улыбкой секретарша Сорогина. Очень открыто и одновременно не видя Михеева — взгляд ее пусто, не задерживаясь ускользал куда-то мимо («Черт его знает, как это они так умеют?» — с раздражением подумалось ему) — посмотрела в его сторону и с придыханием спросила:

— Кофейку, Иван Андреевич?

Михееву захотелось вдруг оттолкнуть ее от себя, нагрубить, так

противно ему было все это напускное и деланное, но он только глухо ответил:

— Благодарю.

Секретарша пробежалась холеными длинными пальцами по гладко зачесанным химически-русые волосам, и от этого ее в общем-то совсем необязательного движения под голубой рубашкой-блузкой по-датливо качнулась все еще упругая грудь не рожавшей никогда женщины.

— Вот вам билеты на Смоктуновского. Два билета...

Михеев, понимая светский намек, игры не принял и опять поблагодарил секретаршу Сорогина официальным тоном. При этом он подумал, что вот ведь какая у этих лощеных бабенок должностишка. Подкачивать периферийным медведям спущенное министерством настроение. Поди, чем выше чином медведь, тем больше придыхания. В Полярск бы тебя, ласточка, на рудник.

— Ваша машина, Иван Андреевич, номер...

— Она мне не нужна,— остановил он ее.

— О-о...— загадочно посмотрела куда-то сквозь Михеева секретарша, и он только сейчас сообразил, что же напоминала ему подобная манера смотреть. Ну точно его жена Ксения так поглядывала на него дома, когда изображала из себя черт его знает что. Злила.— Смаа-трите, Иван Андреевич,— на московский манер вытягивая гласные, задыхалась секретарша,— па-а-года портится.

— Ничего, Ирина Сергеевна. Не первый снег на голову. А билеты эти... на Смоктуновского... я вам дарю. Два билета.

— Как? — Она наконец-то действительно посмотрела на него.— Да в Ма-а-ске-то сейчас все только и рвутся в Малый...

— Ну, это их личное дело. Я, как видите, не рвусь. До свиданья, Ирина Сергеевна. Вы были очень внимательны.

Михеев галантно, да и то потому, что здесь это так было принято, а сам он такое просто терпеть не мог, прислонился губами к наученно-гибкой, пахнущей хорошими духами узкой руке. И скорее почувствовал, чем услышал, как там, за стеной, в кабинете Сорогина снова распевно и сдвоенно забили стенные часы. Он настороженно поднял голову и, весь уходя в слух, сузил глаза, позабыв отпустить руку секретарши. Она испуганно отшагнула.

Перед Михеевым снова стремительно прокручивалась знакомая лента: луг, речка, закат, костерок, лошадь, колокольные звоны с далекой церквушки. Все это моментально вернулось к нему, а еще наконец-то увидел Михеев посреди всего этого, так скользко и четко мелькнувшего перед ним, веснушчатое, теплое лицо сына, спящего у него на коленях. Легкий пушок будто инеем прихватил его загоревшие щеки. На тонкой, нервной ноздре шевелилась в дыхании бледная стружечка облупившейся кожицы. Черные от печенной в костре картошки губы подрагивали.

— Что с вами, товарищ Михеев?! Мне больно! — пискнула секретарша, вытягивая у него из руки побелевшую кисть.

Он незряче посмотрел на нее, еще постоял, разминая пальцами набухшие веки, и совсем непонятно, хрипло сказал:

— Извините... Это часы.

Снег перестал, и пролился на Востряковское кладбище сквозь мокрые ели низкий, случайный свет заходящего в тучах солнца. Открылось оно не все — медный надраенный закраешек его только-то и выпал из туч ненадолго,— оттого и свет, что спугнул кладбищенскую волглую хмарь, был не чист, а с какой-то линиялой, лисьей рыжикой.

Выросли на осевшем иглистом снегу ломкие длинные тени. Странно ожили на оградках, надгробьях, крестах, звездах и подбородке Михеева так и не упавшие и не замерзшие пока еще капли. Трепетно отозвались они на прикосновение закатного зарева тусклым светным передивом.

Михеев понуро стоял возле сына без шапки, опустив руки, и не пытался не плакать. Толстый мохеровый шарф его был разворочен, раскрыт, и над белым тугим воротником сорочки судорожно подпрыгивал выпуклый горб кадыка. Михеев часто и слепо мигал слипающимися ресницами, шмыгал, вдергивая в себя заложенным носом влажный воздух.

Где-то далеко и ненужно картавил ворон. С шоссе приползали неясные, стертые шумы. Слабо шуршал подсыхающий в холоде снег. И никого, кроме Михеева, не было сейчас больше в этом оглохшем кладбищенском углу на юго-западе столицы.

Он закрыл лицо шапкой и медленно, неуклюже опустился на колени перед сыном, не слыша, как мокрый снег хрустко уминается под ним, стыло и мертво просачиваясь к телу. Похожие на взлаивающий смех звуки рванулись наружу.

Никто и никогда не видел еще вот такого Михеева. Никто и никогда не увидел бы его вот таким. Только наедине с сыном, в считанные, редкие встречи с ним он забывал обо всем, и в первую очередь о себе, деловитом, сухом, уважаемом, замкнутом, недоступном для абсолютного большинства Михееве, только здесь позволяя себе срывать с проверенных, крепко отлаженных за целую жизнь тормозов.

Здесь, на погосте, в гостях у сына, горе выкручивало волю Михеева. В полном порядке, неизменно большое и жуткое, оно поднималось из тех тайников, куда он старательно и трудно загонял его от других, и не умея никак по-иному облегчить, расчистить душу от этого горя, Михеев всякий раз вот так вот мучился и страдал у подножия гладкого серого камня, с которого смотрел и смотрел куда-то его Сергей.

Он мотал головой, задыхался в бесплодном отчаянии и царапал, царапал перчатками розовый от закатного блика снег. «Где же она, справедливость-то, а? Где-е?.. Ну к кому принести до конца свою боль? Перед кем так излиться, чтобы горе исчезло бесследно? Не перед Ксенией же? Все равно не поймет... Тогда перед кем? Перед кем?.. Кряквиним, что ли?..» И, без ответа подумав о главном инженере, Михеев тут же утратил, забыл в себе ощущение другой, пока еще только призрачно и нетревожно мелькнувшей в нем мысли: как мало оказывается, в этом мире близких ему людей...

Михеев сухим языком облизал занемевшие губы и как бы заново почувствовал на них тепловатую липкую сладость того московского пломбира. А ведь три года прошло, как не стало Сергея, да вот не забылся никак, не истерся из памяти тот привкус. «Целых три года... Го-оссс... Было бы сыну теперь... если бы... двадцать четыре... Ну да, двадцать четыре в с е г о...»

Он случайно подгадал тогда на провода сына, прилетев из Полярска в Москву по делам в Госплане. А Сергей уезжал в Сибирь, на дорогу Тюмень — Сургут со студенческим строительным отрядом МГУ. И не знал и не думал, конечно, тогда Михеев, что видит Сергея живым в самый последний раз.

С утра на Москву в тот день с громом упал и быстро истратился грозовой шипучий июльский ливень. Высвежил ненадолго улицы. На Ярославском вокзале было особенно ярко, шумно и весело. На еще не обсохшем, в натеках и лужах перроне колыхалось зеленое зыбкое

море: сотни парней и девчат в одинаковых костюмах с ремнями и цветастыми эмблемами толклись и дурачились, пели, плясали, ели мороженое, обнимались, фотографировались, хохотали.

Они тоже тогда купили Сергею мороженое. Сергей с аппетитом лизал его возле двенадцатого вагона и, слегка заикаясь, напрягая правую щеку, торопливо рассказывал Михееву, что осенью, после возвращения со стройки, будет выступать в Венгрии на международном конгрессе, куда его посылают от МГУ с докладом, так уж удачно вышла почему-то его обыкновенная курсовая работа по математической логике. Сергей говорил смущенно улыбаясь, что сам Андрей Николаевич Колмогоров при всех похвалил его и сказал, что этот доклад потом запросто ляжет в основу кандидатской диссертации.

Михеев с удовольствием слушал все это, кивал, поддакивал и увлажненными глазами все посматривал и посматривал на похудевшего, сильно подросшего за разлуку сына. Ему как-то вообще невольно передалось тогда это празднично-взвинченное, кипучее настроение отъезжающей молодежи и было хорошо-хорошо на душе.

— В-вот ув-видишь, отец, я скоро добью д-десятую проблему Гильберта,— азартно говорил Сергей.— Я уже почти в-все знаю как.

Сын отпускал свои первые усы, то и дело пощипывал их, и они, очень светлые, мягкие, редко и забавно лоснились на его губе.

Мороженое таяло и, высачиваясь сквозь мягкое вафельное донце стаканчика, блестело на пальцах. Сергей угловато отгибался назад стройным мальчишеским телом, схватывал стеки языком, чмокал и ни за что не хотел взять у Михеева новый, свежий платок.

Когда дали отправление, они обнялись.

— Ты уж пиши, математик, пожалуйста. Ладно? — сказал Михеев.

— А-ладно,— сказал Сергей.— Н-не буду. П-письма и поцелуй, отец,— п-пережитки...

Михеев жадно поцеловал сына и долго еще потом ощущал на своих губах тепловатую липкую сладкость того московского пломбира.

И только в середине августа поступило в Полярск меченное непонятным названием Туртас единственное за все время письмо. Сергей сообщал в нем, что жив и здоров, как лось; что может теперь выжимать двухпудовку одиннадцать раз правой, а левой пока только четыре; что в принципе уже понимает, почему четыреста грамм, то есть фунт, лиха; что по ночам ему снятся, как и Хемингуэю, рычащие львы — бульдозеры; что тайга приколдовывает его, а звезды над ней по ночам падают длинными белыми запятыми; что если бы он умел сочинять стихи, то непременно бы сочинял их; что скоро у них на трассе будет первая курсовая свадьба, потому как вдруг выяснилось, что Володька Карпушин, ихний чемпион факультета по мотогонкам на льду, и Нинка Загонова по кличке Сивуха («Она, понимаешь, отец, красила тут в тазу свои кудри под какую-то кинопринцессу, ну и дала, видать, маху в рецептуре... короче, сделалась вдруг пегой или сивой, как лошадь местного лесообъездчика...») жутко и безнадежно влюблены друг в друга, устали от поцелуев «тет на тет», а посему и решили хоть раз да и пообниматься на людях, то есть на свадьбе.

На свадьбе-то, как потом рассказали Михееву однокурсники Сергея, все и случилось.

В самый разгар ее жених надумал покатать на бульдозере свою невесту. Настоял на этом, как его ни отговаривали, и сумел запустить бульдозер, что дремал возле вагончиков, в которых жили студенты-строители. Усадил рядом с собой хохочущую Нинку и загрохотал по ночному поселку.

Сергей Михеев в это время возвращался из леса с цветами для Нинки. Ходил собирать их с фонариком. Карпушин, завидев Сергея, ослепил его фарами и шутейно пугнул на краю поселка, отжимая ревущим бульдозером с дороги к крайней, нежилой избе. Они о чем-то покричали друг другу, и Сергей закинул на колени Сивухе свой свадебный, мокрый от росы букет. Счастливая Нинка отправила ему воздушный поцелуй. Карпушин обнял Нинку, поцеловал ее длинно-длинно, после запел что-то во все горло и, трогаясь дальше, видать, вместо левого фрикциона потянул на себя правый. Бульдозер рванулся, закручиваясь на мертвой гусенице, и... растер Сергея о бревенчатую стену избы...

На безлюдном темном шоссе Михеева встретил ветер. Он возник как-то сразу, из ничего. Видно, что-то нарушилось в угрюмом взвешенном балансе вечернего затишья, и от этого не ясного никому, безмолвного нарушения получился потом внезапный, урывисто стелющийся по-над самой землей ветер ночи.

Михеев стал зябнуть, а такси все не было и не было. Другие машины проносились не часто, на большой скорости. После них оставались упругие толчки взмученной темноты и сбывающая на нет пошумь движения. Ветер парусил брючины, выстужая Михееву легко одетые, без кальсон, ноги. К животу напознала противная мелкая дрожь. Он поглубже надвинул шапку, ежась, зарыл подбородок в теплый мохер шарфа и только теперь пожалел, что напрасно все-таки отказался от министерского автомобиля.

Сейчас Михееву очень хотелось быстрее оказаться в Москве, и он то и дело поглядывал направо, в ее сторону. Там, смигивая и крошась, перемелькивались огни. Они горстились, вызмеивались, закручивались спиральями, постепенно сливаясь в огромный светящийся муравейник, а над ним, выгибая особенную, сажевую гущину мрака, призрачно и как бы надуту держался на весу еще более гигантский сферический купол голубовато-седого сияния.

Михеев зубами стянул перчатку и проверил во внутреннем кармане пальто ключи. Пальцы сразу же натолкнулись на замцевый, туго набитый железом кобурок. Он подержал его в кулаке, сжимая, и подумал: «Вот и хорошо... хорошо. У Грининой я согреюсь».

Еще на могиле Сергея, доставая платок, Михеев случайно вытянул вместе с ним из кармана пиджака ключи и уронил их в снег. Кладбищенская тишина чутко отметила падение новым звуком. Он поднял кобурок, вытер его о пальто и — вспомнил Грину.

Это она сама нанизала ему на кольцо когда-то английский ключ от своей квартиры на Сретенке и сказала, неподвижно глядя сквозь стекла очков:

— На всякий случай, Михеев. Мало ли что. Будете приходить, когда захочется.

Припомнив ее голос, низкий, с хрипкой, и глаза ее восстановив про себя — без очков они щурые, беспомощные, с зеленоватыми ободками вокруг коричневатых зрачков, — Михеев как-то неожиданно, но твердо решил, что вот прямо сейчас, с кладбища, он и отправится к ней. А что?.. Наверное, это будет удобно. И Грину, должно быть, обрадуется ему. Ведь он, однако, уже с год как не бывал на Сретенке. То не с руки выходило, то заматывали дела.

Несколько минут Михеев еще потерпел, потоптался на месте, поприщуривался в видимое пространство дороги, надеясь отыскать в нем желанную зелень таксистского огонька, а затем, не найдя, повернулся и решительно, не оглядываясь, зашагал по течению ветра к Мо-

скве. Звучно захрустал под каблукими только что наплотнившийся на неровном гудроне молодой ледок.

Мысленно Михеев был уже в городе, на тесно уставленной магазинами, низкоэтажной Сретенке в центре столицы. Он уже видел себя на излете ее, возле Колхозной площади, где немолчно и тяжело дышит машинами Садовое кольцо, на углу Большого Сухаревского переулка, за кинотеатром «Уран». Он еще должен успеть до закрытия в гастроном, где и прикупит на ужин чего-нибудь съестного. «Сыру надо бы взять, — сосредоточенно думал Михеев, размашисто вышагивая по шоссе, — рокфору. Колбасы... Коробку диетических яиц. Лимонов и шпрот. Свежий батон, конечно... Яблок или апельсинов, само собой. Москва-то ими прямо так и завалена. На каждом углу кучи. Не то что в Полярске. И хорошего вина не забыть: сухого и коньячку».

Михеев отчетливо представил, как будет хозяйничать в крохотной чистенькой кухоньке Грининой, а она сама, как обычно не вменяясь ни во что, станет поджидать его в другой комнате на диване, читая чью-то там рукопись под негромко вызванивающий с пластинки старинный клавесин.

Втайне от других («Кому до того какое дело...») Михеев любил и умел повозиться на кухне. Даже посуду любил и умел мыть. Горячая вода, бегущая из крана на руки, домашнее побрякивание тарелок о раковину действовали на него успокаивающе. Под этот плеск и это побрякивание ему обычно хорошо думалось и отступали ненадолго разные дневные заботы. Но там, дома, в Полярске, он этого уже почти не делал. Не хотел. Раздражали Ксенины глаза. Вообще она его раздражала, особенно в последнее, после гибели Сергея, время. Нудила по пустякам, и вечно ей чего-то не хватало. Ну ее к бесу! У Грининой совсем другое дело. Все как-то проще, естественней, без тяготины. Ничто не тревожит, а главное, не надо поддельваться. Все само по себе.

«Значит, та-ак, — увлеченно думал Михеев, — первым делом, как приду к Вере Владимировне, сброшу с себя парадный мундир. И галстук наконец-то смогаю с шеи. Вымою с мылом физиономию и руки. После разожгу газ, достану из духовки и выставлю на огонь черную сковородку. Брошу на нее кусок сливочного масла. Вот, кстати, надо бы не забыть в гастрономе про масло. Пока сковородка будет калиться и пока не зашкворчит на ней дымная пеночка, успею накрошить колбасу. Аккуратненькими кубиками. И хорошенько — до хруста, до багрового румянца — выжарю ее. Постою над ней, попереворачиваю ножичком. Та-ак... Потом, потом набью сверху яиц. Ну, штук десять. Всю коробку. Хватит, съедим... сам-то не ел сегодня с утра, как выскочил из гостиницы. В главке проторчал, в Госплане. У Сорогина наговорился. Да, Сорогин... Аж сердце не сработало. С чего бы это? Вроде бы раньше не кололо. Да, стоит еще подогреть белый хлеб и чаек заварить по-нашему, по-северному. Стол накрою в гостиной, где Вера Владимировна. Сам. И все как полагается. Хрусталь, салфетки, столовое серебро. Сухое к этому моменту, я думаю, достаточно охладится в морозилке. В общем, кушать подано! Скину передник и... Не-ет. Погоди... — Михеев, не замечая этого, даже приостановился и взмахнул рукой. — Не-ет. Все будет сначала не так. Сначала из гастронома я сверну в переулок. Он в это время тихий, сумрачный. Заглублюсь в него совсем нанемного, минуя рекламные окна трех магазинчиков. «Чулки — носки», «Тюль», «Ткани». Дойду до знакомого провала-двора с тополями, песочницей для малышей, скамейками, мусорными контейнерами. Открою входную расхлябанную дверь подъезда. Какой-то жэковский идиот понабил на нее уйму фанерок с

просьбами: «не хлопать», «не сорить», «не распивать», «уважать», «соблюдать», «вовремя платить...» Потом поднимусь на пятый этаж. Пешком. Чтобы не греметь лифтом. Достану ключи. Грининский ключ заметный. Волноваться не буду. Гринина наверняка дома. Ключ, чертяка, захрустит в замочной щели — и все... войду без стука...»

Михеев реально ощутил, как пахнет в двухкомнатном жилье Грининой, и даже прибавил шагу.

В квартире ее настоялся смешанный запах нагретых в помещении старых книг, сигарет, чистоты, кофе, косметики, лекарств и еще чего-то, что, вероятно, и возникло в результате этого смешения.

Михееву с самого начала понравился этот новый для него, прочный дух чужого постоянства. В его квартире в Полярске пахло не так, хотя там тоже всегда было тепло, тоже готовился черный кофе, тоже стояли книги, Ксения тоже обожала заграничную парфюмерию и тоже до одури блюла чистоту. В его доме запахи почему-то отделялись один от другого: каждый, возникая, существовал сам по себе, не смешиваясь, оттого, наверно, и не получалась в его доме эта неизъяснимо тревожащая Михеева настоянность, о которой он даже однажды сказал Грининой. Она неподвижными глазами посмотрела на него, выслушивая не очень-то состроенную речь, и спокойно, без всякого намека ответила:

— Не мудрите, Михеев. Одиночество запахов не имеет.

Справа от входа — он и это очень отчетливо представил себе — из затемненного массивной вешалкой простенка ему опять неожиданно, как в самый первый раз, с поклоном протянет двумя руками медную чашу нагая острогрудая женщина. Когда Михеев увидел ее, она поразила его. Чем конкретно, он вряд ли смог бы объяснить и теперь, но скорее всего какой-то непонятной ему доверчивостью, что ли. Михеев даже подумал, откровенно внимательно разглядывая немую красоту статуэтки, что тот, кто создавал ее, наверняка должен был очень сильно любить эти тонкие нервные руки, невесомо спадающие на лицо волосы, втянутый затаившимся вздохом изгиб живота, плавные, ощущимо горячие на глаз, чувственные вздутия бедер и ног длинных, смущенно содвинутых в коленях, отчего и в самом поклоне острогрудой угадывалось и не истраченное еще целомудрие и покорное ожидание утраты его. Михееву захотелось тогда же спросить у Грининой, кого изображает эта медная странная женщина, но он так и не решился.

А Гринина вошла в его жизнь тоже, пожалуй что, странно. В самом деле: все, что произошло между ними в ту осень, произошло именно незаметно, а оттого даже и неожиданно.

Он не искал ее и не выбирал среди других женщин. Он вообще не думал о Грининой как о женщине никогда и потому с самого начала их знакомства не прилагал никаких усилий, чтобы сблизиться с ней.

Откровенно — если бы кто-нибудь, конечно, смог испросить у Михеева эту откровенность, — он просто не знал, не понимал и не любил женщин. То есть в какой-то мере он безусловно знал их, поскольку давно уже являлся сложившимся, зрелым человеком, но не знал их потому, что, не понимая их, никогда серьезно и по-настоящему не задумывался о женщинах, принимая сам факт существования противоположного себе пола в повседневной окружающей его жизни лишь как нечто прикладное, само собой разумеющееся...

Даже о Ксении, своей жене, он не хотел и не желал думать так, как умел и привык думать, скажем, о своей работе. Когда же вокруг него нет-нет да и возникали разговоры о женщинах — разные, по-

мужски откровенные, порою циничные, порою и доброжелательные,— он сам о них никогда и ни с кем не говорил и потребности такой не испытывал. Хотя, конечно, чего уж там, иногда он подолгу оставался в одиночестве — то Ксения уезжала на юг или за границу, то сам он улетал куда-нибудь по служебным делам,— и физиология стихийно вмешивалась в его сознание, требуя своего, и он, как, наверное, и всякий мужчина, невольно подчинялся ей и возвращал из памяти то, что было у него связано с женщинами, которых ему довелось познать на своем веку, но и этих минут он потом внутренне стыдился, стараясь при любой возможности немедленно переключаться вниманием на что-нибудь другое.

А в ту осень вскоре после похорон Сергея Михеев еще раз прилетел в Москву, нужно было редактировать свою книгу по обогатительному процессу. Эта работа, как ему казалось тогда, должна была хоть немного, но отвлечь его от постоянного горького думания о сыне. И во взаимоотношениях его с Ксенией к этому времени уже явно обозначилось холодное отчуждение, доходящее порой до трудно сдерживаемой неприязни. Один из последних разговоров между ними на эту тему вышел крайне тяжелым и томительно нервным от излишней со стороны Михеева вежливости. Он все-таки сумел вытерпеть его до конца, не позволив себе сорваться на грубость, и в финале предельно спокойно предложил Ксении жить так, как она этого желает, только уж ради бога пускай не вмешивается больше в его деловую и личную жизнь... Ксения, естественно, расскандалилась, устроила Михееву сцену, наговорила ему, что это он, Михеев, загубил ее лучшие годы, и прочую чепуху... Одним словом, сменить обстановку требовалось незамедлительно, и когда из издательства попросили приехать, Михеев схватился за это приглашение как за спасательный круг, в течение двух дней свалил комбинат на Кряквина, своего главного инженера, и с радостью вылетел в столицу.

Григина стала его редактором. И с самого начала совместной работы над рукописью Михеева вдруг подкупила и устроила в ней так необходимая ему в тот момент ясная и спокойная простота. Он не сразу узнал, например, что она уже знает о постигшем его несчастье с Сергеем, а когда узнал об этом, был только внутренне признателен Григиной за ее чуткую сдержанность и умную терпеливость к нему.

Григина работала с ним хорошо, понимая, неназойливо подчиняла его требования своим, ценила время и обладала завидным даром формулировать то, что Михеев, как профессионал в тысячу раз зная лучше нее, почему-то не мог вдруг, как она, четко и упруго сформулировать на бумаге. И постепенно, приглядываясь, он по привычке к Григиной, потеплел. Ему стало даже не хватать ее, и, оставаясь после работы один на один с собой в гостиничном номере, Михеев неожиданно начал сравнивать ее с Ксенией.

Как и все сильные, замкнуто-волевые люди, рассчитывающие в своей жизни в основном на самих себя, Михеев был сдержанно добр и сдержанно отзывчив на всякое проявление такой же вот сдержанной доброты. Ему казалось, что он безошибочно может отличать в людях и в их отношениях между собой истинное добро от интеллигентно-воспитанного участия, уверенно полагая, что чаще всего за этим внешним участием кроется лишь элементарное вежливое равнодушие.

И вот сейчас, уходя все дальше и дальше от Востряковского кладбища безлюдным ветреным шоссе к Москве, Михеев припомнил, как однажды они заговорили об этом с Григиной и она, внимательно выслушав его, сказала:

— Понимаете, Михеев, а ведь то, что вы называете истинной добротой, по-моему, как раз и есть равнодушие...

Он удивленно посмотрел на нее:

— Не совсем понял вас, Вера Владимировна.

Григина улыбнулась:

— Сейчас поймете. Для этого следует лишь хорошенько вслушаться в слово «равнодушие» и затем вдуматься в него. Ну-у...

Михеев пожал плечами, но мысленно повторил про себя слово.

— А вы лучше вслух,— предложила Григина.

— Пожалуйста... равнодушие... Ну и что?

— Значит, не слышите. А если так — равнодушие.— Она отчетливо расчленила слово.— Понимаете? Это же от равенства душ. Не так ли?

— Хм... теперь, кажется, понимаю,— задумчиво произнес Михеев.

— Конечно... А к чему же, по-вашему, как не к равенству душ, равновесию их стремились и, вероятно, будут стремиться люди? Не это ли равенство и определяет прежде всего суть истинного добра и доброты?

— Не знаю,— неуверенно заговорил после паузы Михеев.— Я так не думал...

— Так подумайте,— перебила его Григина.— Другое дело, и это уже гораздо труднее понять,— каким образом произошло искажение самой сути понятия? Отчего? И когда в среде людей равнодушие переродилось и стало просто сегодняшним равнодушием? А? Подумайте.

Увлекаясь, Григина говорила громко, отрывисто, заметными паузами разрубая каждую фразу: два-три слова подряд — и отчетливый пропуск, для вдоха. При этом она вытягивала вперед развернутые ладони и медленно соединяла их, как бы преподнося на ладонях смысл сказанного. Бледное лицо ее, обрамленное темными, с сединой волосами, хорошело, да и вся она, не по возрасту хрупкая, стройная, в такие минуты удивляла Михеева и непонятно тревожила его.

Тем не менее как о женщине он по-прежнему о Григиной не думал. Вплоть до того октябрьского вечера, когда они после театра пришли к ней домой.

Михееву стало жарко, и он на ходу разворошил шарф. Ему вспомнилось сейчас, как он долго лежал тогда лицом вниз, боясь первого своего движения и первого своего слова, которое ему так или иначе, но придется произнести. Вокруг было очень тихо, и он услышал, как потрескивает под абажуром настольной лампы спираль.

И первой тогда щекочущим его ухо горячим шепотом заговорила она. Григина шептала ему, что хочет теперь извиниться перед ним, что она, честное слово, думала о нем как об опытном притворщике, который своей неприсутностью заманил ее в свои сети.

— А они-то совсем не такие! — вдруг громко прыснула она ему в ухо, и Михеев, не выдержав, тоже расхохотался..

— Слы-ышь, земляк! — неожиданно резко позвал кто-то Михеева, и он, вздрогнув, мгновенно вернулся на сумеречное шоссе.

К нему навстречу шел какой-то человек в кожаной короткой куртке, а чуть впереди у обочины тлела тормозными сигналами легковая машина.

— Ну ты, я гляжу, и размечтался... Вырубился капитально. Садись, подвезу. Все веселей на пару-то.

— Спасибо,— смущенно сказал Михеев.— Мне бы в Москву.

— Так и мне не в Париж,— перебил его человек в куртке.— Садись, сговоримся.

Когда они тронулись и «Волга» набрала приличную скорость, водитель, изучающе покосившись на Михеева, нащарил правой рукой между сиденьями папиросную пачку и радушно предложил:

— Закурим, что ли?

— Некурающий,— мотнул головой Михеев и, помолчав, добавил, чтобы избежать дополнительных расспросов: — Бросил.

— Это путем.— домовито одобрил водитель,— я так, понимаешь ли, смолю почем зря. Верить, нет, а на день две пачки ни в какую. Вот ведь зараза, а? Дурная охота, конечно. А с другой стороны, что? Копченое мясо, оно дольше содержится. Так, что ли, земляк?

— Ну, может быть, и так,— усмехнулся Михеев, подумав про себя о водителе: «Разговорчивый товарищ попался. Не чета моему полярскому шоферу Павлу. Из того подряд трех слов прессом не выдашь».

— Во-от... А сколько тебе лет, а?

Михеев удивился, но ответил сразу:

— Пятьдесят два.

— У-у... Выходит, ты побывалей.

— И что же? — равнодушно поинтересовался Михеев.

— Да как что! Я тоже не ясельный. Понимаешь, браток, история у меня выходит. И вроде бы знаю я, как мне в ей быть, а потом вроде не очень. Нианс, понимаешь, один мешает.

— Что-что, простите? — переспросил Михеев, не поняв слова.

— Нианс, говорю. Ну, это тонкость такая. Тебе куда в Москве-то?

— На Сретенку бы.

— Почти по пути. Подвезу. Ты, поди, из начальников будешь?

— А что?

— Да ничего. Я вот тоже такого вожу. У вас с ним шапки одинаковые. Добрый мужик. Плохого ничего не скажу. Мы с ним сладись-то еще давно. Вот он мне сегодня каникулы и устроил. Езжай, говорит, Федор Михалыч, встряхнись. Работа не Алитет. Все про меня знает, как и я про него. Мы еще с ним в Братске начинали. Про Братск-то, конечно, слышал?

— А как же.

— Вот он меня сюда и впустил, в Москву-то вашу. Прописал. Комнатенку выбил. Одиннадцать метров. Мне хватает. Один я покуда. Тебе, наверно, неинтересно, а? Кимаришь. Устал, поди? Если что, скажи — помолчу.

— Что вы, Федор Михайлович, я слушаю...— успокоил его Михеев, хотя действительно говорить ему не хотелось: в теплой машине пришла усталость.

Водитель, услышав, что его назвали по имени-отчеству, опять внимательно посмотрел на Михеева. Удовлетворенно кашлянул и сплюнул в раскрытое оконце.

— Так вот, дорогой. Как бы это тебе попроще... Был я сейчас у своей тут одной. Женщины. Мы с ей уж так с год, однако, кантуемся. Она меня на порядок моложе. С тридцать восьмого. И по лимиту в Москве работает. В СУ. Дома строит. Лимитчица. Ну, это знаешь как? Покуда, значит, строит, у ее здесь прописка лимитная. И общежитие. А после не знаю. Они сами-то про себя толком не знают. С крыши на крышу, как эти... воробышки. А женщина хорошая. Все у нее путем. Из-под Тамбова. Деревенская. Агриппиной зовут. Грушей, если по-ласковому. Я ее, веришь, нет, очень уважаю. Без баловства. Она тоже одна. Самостоятельная. Был мальчонка когда-то от пьяницы, да помер. Сергуней звали. Да-а... Чего, я тебе скажу, не бывает на свете.— Он резко притормозил: впереди переключился на красный уличный све-

тофор.— Пешком-то ты бы долгонько до Стретенки-то своей протопал, а? А тут хлоп — и в дамках. Вон уж и центр скоро.

— Да,— сказал Михеев и посмотрел на часы. Было двадцать минут десятого.

— Торопишься?

— Успею.

— А вот я и не знаю. Ошарашила меня ныне моя Агриппина. Прямо-таки как обухом по башке. Ни сном ни духом не думал... Мы, значит, с ей погуляли маленько, покушали, она и красенького приняла, отгул у ее сегодня. Поездили и так далее, в общем, прекрасно провели время, а после, вот только что, она мне и говорит... Тьфу ты! Как ты, говорит, относишься, если я от тебя понесла? Мне, говорит, очень важно это от тебя знать, чтобы, следовательно, и вести себя дальше. Я у ее спрашиваю — давно ли сей факт обнаружился? Она говорит — на втором месяце я, к вашему сведению, и губы поджала. Доигрались, мол, Федор Михайлович, решать надо. Я задаю ей вопрос: это что, Груша, решать-то? А то, говорит, что мне теперь с ним прикажете делать? И на живот себе пальцем показывает. Я ведь лимитчица, говорит. Без кола, без двора. Я ей говорю: ну и что? Я-то, мол, здесь, вот он. А она говорит — не знаю. Мы с тобой, говорит, незаконно... в общем, выразилась. Ну, в том смысле, что не муж и жена.

— Я понимаю,— кивнул Михеев.

— У меня, говорит, на тебя никакой надежды не имеется. Ты, говорит, шоферюга, включил зажигание — и привет. Ну и в слезы. И понесла на меня, рта не дает открыть. Езжай, говорит, отсюда, пока цел. Все вы, говорит, одним мазутом мазанные. Я было к ей, давай унимать, а она дверь ногой бух — и шипом на меня, это чтобы в общезитии другие не слышали: катись, мол, и все. Прямо с ума сошла. Разгорелась так... Я дверь прикрыл и говорю ей: ты погоди, дура баба, охолонь малость, воды испей. Ты же, говорю, для меня дорогой человек. Это же мне в радость, если ты родишь мне. Понимаешь, говорю, ты рожай мне его, рожай, не дури. Ему-то, говорю и на живот ей показываю, только во вред такая вот вшизофрения.

— А она что? — искренне поинтересовался Михеев.

— А она что,— вдруг шмыгнул водитель,— вот так-от села, руки развела,— он отпустил баранку и показал,— рот раскрыла и — ой, говорит... Ой!.. Да как тоненько так заголосит. Ну, у меня тут в сердце как шилом кто. Не могу, понимаешь, бабьего рева переносить. Ну никак не умею. Встал я и вышел. Думаю, завтра к тебе приду и мы в загс пойдем. Ты ведь, начальник, про жизнь мою ничего не знаешь... Ведь это если б нам до Парижа с тобой сейчас ехать, хватило бы рассказать, а то вон — твоя Стретенка. Где тут тебя?

— Чуть подальше. Возле Колхозной площади. И простите, я так и не понял, какой же вас нюанс в этой истории смущает? По-моему, вы все правильно решили. Мне вот здесь, если можно, остановите.

«Волга» мягко коснулась бордюра напротив гастронома. Он был открыт.

— Нианс-то какой, говоришь? — Водитель достал папироску и закурил.

— Я слушаю, Федор Михайлович,— подторопил его Михеев, шаривая в кармане пиджака бумажник.

Водитель понял движение и положил свою руку на руку Михеева:

— Не надо. Не оскорбляй. Понимаешь, браток... Неважный этот нюанс получается.

— Так все-таки?

— Намедни я лечкомиссию проходил. Ну и вот. На руке у меня вот здесь худую вещь обнаружили. А с ей, говорят, недолго живут...

Михеев замер. Он только сейчас всмотрелся в сухощавое, слегка удлинненное лицо водителя. На правой скуле его подрагивал крупный желвак. Подбритый висок заметно светлел сединой.

— Ты иди-иди, земляк. Будь здоров.

Михеев неловко, не зная, что и сказать, открыл дверцу и вылез из машины. Наклонился потом за портфелем.

— До свиданья, Федор Михайлович. Спасибо вам.

— Не за что. А до Парижа-то поедем?

— С удовольствием.

— Значит, поедем. Я в нем последние сорок восемь лет не бывал. Все, понимаешь, некогда...

Михеев захлопнул дверцу, и «Волга», фыркнув дымком, мягко шаркнула по примороженному асфальту задними колесами.

В подъезде было сумеречно. Тускло горели две голые грязные лампочки: одна внизу, на входе, другая на площадке третьего этажа.

Михеев, стараясь шагать побеззвучнее, медленно поднялся на самый верх и осторожно поставил к стене возле грининской двери, обитой потрескавшимся уже коричневым дерматином, вздувшийся от покупок портфель. Перевел дыхание. Ему стало душно. Лоб покрылся испариной. Все еще тяжело дыша, он расстегнул пальто, сдернул с шеи шарф, засунул его в карман и привалился к деревянному поручню лестницы. С минуту так и стоял — неподвижно, закрыв глаза.

Шевелиться больше не было охоты. Михеев всем телом ощущал сейчас навалившуюся на него усталость и безразличие ко всему. «Тоже мне Ромео,— подумал он.— Может, зря я все это затеял? Ни к чему? Может, спуститься-ка мне, пока еще не поздно, потихонечку назад да и податься к себе в «Россию»? Закажу в номер ужин и заваляюсь спать. Хорошо-о... Незванный-то ведь гость похуже татарина». Затхлая тишина ублаживала его. Только откуда-то из квартир ниже пробивалось в нее чье-то неумелое треньканье на расстроенном пианино и негромкое поскуливание собаки. «Ну, решайся, Михеев...» И в это мгновение прямо под ним шумно распахнулась дверь и тут же гулко бабахнула, закрываясь.

— Завтра я не смогу! Дура! — крикнул кто-то густым обозленным голосом, и залязгал проснувшимся железом вызываемый лифт.

Михеев вздрогнул. Оторвался от поручня и торопливо достал кобурок с ключами. Сразу же выделил в связке грининский и порывисто-нервно, не попав сразу, вонзил его в замочную щель. Дверь беззвучно открылась. Михеев, забыв про портфель, резко вшагнул в квартиру. Но тут же спохватился, досадливо сплюнул, снова вышел на площадку, схватил портфель за влажную ручку и наконец-то окончательно захлопнул дверь.

Он снял шапку, пригладил волосы и громко, деланно веселым голосом позвал:

— Вера Владимировна! Гостей принимаете?

Никто не отозвался.

— Товарищ редактор! К вам можно?

И снова не получил ответа.

Тогда он огляделся. Свет горел только в прихожей. На кухне и в других комнатах было темно. На вешалке отсутствовала знакомая ему, под леопарда, шубка Грениной.

— Вот так номер,— конфузливо произнес Михеев и потер ладонью подбородок, чувствуя проступившую на нем за день щетину.— Где же хозяйка-то, а?— спросил он у острогрудой, все с тем же поклоном протягивающей ему медную чашу.— Не скажешь? Ну тогда мы будем хозяйничать сами.

Михеев разделся, оставив на вешалке пальто и пиджак. Выбрал себе в ящике подходящие по ноге шлепанцы и с наслаждением сбросил ботинки.

В чистенькой ванной он долго, с пофыркиваниями мыл лицо и руки, а затем, освеженный и бодрый, прошел в гостиную, где и включил верхний свет.

Никаких перемен в комнате он не обнаружил: все в ней было как и год назад. Обширный диван, накрытый пушистым, в крупную клетку пледом. Старинный шкаф с хрусталем, фарфоровыми чашками и вазой из керамики, в которой красиво увяла какая-то ветвь. Глухая, во всю стену, от потолка и до паркетного пола, нежно-кремовая штора. Телевизор. Стол. Глубокое плюшевое кресло. Длинная полка с книгами. Гравюры в застекленных рамках. Проигрыватель и ящик с пластинками возле него.

Михеев задумчиво сел на диван, отодвинув от себя пепельницу с парой окурков в ней, машинально взял книгу, раскрыто лежащую на диванной подушке, и захлопнул ее. Потом равнодушно посмотрел на обложку.

На ней было вытиснено: Лев Толстой, «Воскресение».

Вере Владимировне Грининой в этот день везло с самого утра. И все началось с того, что часу в десятом, когда она пила кофе, прослушивая еще вчера купленную в магазине «Мелодия» на Калининском проспекте румынскую пластинку с «Временами года» Вивальди, ей позвонил один знакомый и сильно обрадовал, сообщив, что с путевкой в подмосковный санаторий, о которой она столько думала, все в порядке и что ее можно забирать хоть сейчас.

Затем по пути в издательство Вера Владимировна заглянула к своей портнихе, и совершенно неожиданно оказалось, что платье, на которое она сегодня даже не рассчитывала, готово, и, примерив его, она была так довольна, что снимать уже платье не захотела, решив оставаться в нем целый день — ведь он-то для нее был праздничным: завтра в отпуск.

Ну и, наконец, в издательстве в обед по случаю все того же ухода Грининой в отпуск они шумно и весело распили с коллегами по редакции бутылку шампанского.

В этот день все говорили Вере Владимировне, что она прекрасно выглядит. («Уж не влюбилась ли в кого?»), хвалили ее обновку, были добры к ней, и, обычно сдержанная, отъединенная от других этой сдержанностью, Вера Владимировна вдруг разошлась, много смеялась и даже рассказывала анекдоты.

Она чувствовала себя в этот день молодой и счастливой и слегка стеснялась этого. Темно-вишневое строгое платье с отложным, изящно раскинутым воротником ладно облегло ее стройную, хрупкую фигуру, хорошо гармонируя с сединой в волосах и ровной, почти не затронутой морщинами бледностью лица.

А под самый вечер, перед тем как расходиться по домам, к ним в редакцию ворвалась вся взмыленная, на щеках будто вареную свеклу давили, Юлька Путова, издательский культмассовый сектор, и своим неожиданным вторжением внесла массу приятных, особенно для Веры Владимировны, волнений.

Дело в том, что на их редакцию, в которой по штату значилось шесть человек, а сегодня присутствовало четверо, выпал при распределении только один билет в Малый театр на «Царя Федора Иоанновича» в исполнении Иннокентия Смоктуновского, и этот единственный билет надо было немедленно разыграть по жребью, чтобы никого не обидеть.

— По жребию, по жребию! — тарыхтела, не выговаривая букву «р», заполошная Юлька и своим неумным темпераментом только мешала началу жеребьевки.

Кое-как, в гаме и хохоте, порядок все-таки установили и сперва разыграли очередность подхода к хозяйственной сумке Юльки Путовой, из которой она вывалила на стол гору разных овощей.

Вере Владимировне досталась первая очередь. Когда она с улыбкой запустила руку в пропахшую снедью сумку, нашаривая на дне ее бумажные рулончики, в комнате разом скопилась азартная тишина.

Вера Владимировна спокойно и медленно раскатала бумажку... Юлька выхватила ее, стрельнула глазами и заорала:

— На «Царя» Гринина пойдет! Ура! С нее причитается!

В общем, пришлось Вере Владимировне еще раз подняться на седьмой этаж в издательский буфет за шампанским, так что когда она едва-едва поспела в театр к самому открытию занавеса, то была подшофе. Оттого-то, наверное, и чересчур переживала весь спектакль, а под конец даже расчувствовалась.

Домой Вера Владимировна шла пешком, не спеша, с наслаждением вдыхая подмороженный свежий воздух сонной Москвы. Улицы, по которым она проходила, были почти безлюдны и хорошо знакомы ей. Фонари стояли в бледных окружьях ночного приморозка, и в световых рупорах иголко проблескивала снежная мелкота.

Тихо и спокойно было сейчас на душе у Веры Владимировны. Ничто не тревожило. Суетно и радостно прожитый день отзывался во всем теле звенящей усталостью. Вера Владимировна светло предвкушала, как скоро придет домой, а дома тепло и уютно, как примет пахучую ванну, напьется кофе, поставит на проигрыватель что-нибудь негромкое, в лад с настроением, и будет потом долго-долго лежать с сигаретой на диване, одна, ни о чем не думая и ни о чем не вспоминая.

Она очень любила свои одинокие ночные часы. С музыкой, книгами, тишиной. Этого вполне хватало Вере Владимировне, чтобы жить, и она заранее с удовольствием поджидала ночные часы своего одиночества.

С тех пор как она стала одна — мама умерла вскоре после ее развода с мужем, теперь уже довольно популярным киноактером, а тогда всего лишь издерганным, нервным, крайне ранимым от малейших неудач человеком, к тому же еще и моложе ее на шесть лет, может быть, поэтому он так и не понял чуткой, вдумчивой сдержанности к нему со стороны Веры Владимировны, сдержанность эта только усугубляла его ранимость, — она и научилась по-особому ценить и беречь свое не зависимое ни от кого сосредоточенное одиночество.

Дни Вера Владимировна отдавала работе. И работа ей нравилась. Она в достаточной мере восполняла не истраченную еще потребность общения с другими людьми. В том круге авторов, которых приходилось редактировать ей, непременно встречались интересные, думающие люди. И особенно благоволила она к тем из них, что приезжали в Москву из реальной жизни страны, трудно и кропотливо высидев свои рукописи непосредственно на заводах и комбинатах. Она охотно подключалась к системе их размышлений, горячо и отзывчиво воспринимала их проблемы и, работая, искренне ощущала свою собственную необходимость в этой реальной, не выдуманной досужим воображением жизни страны.

Близких подруг у Веры Владимировны не было, в свое время как-то не завелось, ну а теперь, в нынешнем ее возрасте — зимой она ти-

хо, никому не сказав об этом, отметила свое сорокатрехлетие, — нужды в них и вообще не возникало.

Иногда, конечно, Веру Владимировну охватывало смутное, щемящее беспокойство, и она задумывалась о себе: так ли она живет и для чего? Одиночество неизбежно приводило ее к этим мучительным саморасспросам, и тогда, как бы спохватясь и вспомнив о том, что она женщина, Вера Владимировна с еще большей тщательностью и вниманием начинала относиться к себе как к женщине, и это, медленно и странно действуя, отражалось на поведении окружающих ее мужчин.

Мужчины, это Вера Владимировна открыла для себя давно, обладали почти телепатическим даром отгадывания такого ее состояния. Вера Владимировна сама неприметно руководила и контролировала наступлением его, этого сближения, заранее выбрав и выверив для себя именно такого мужчину, который, как ей казалось, наиболее точно понимал, что хотела она, а не он.

Других же мужчин, хотя и способных на подобное понимание, но при этом еще и готовых всецело отдаться чувству, чтобы затем страдать от него и, что самое ужасное, самоотверженно доказывать право на это чувство, а следовательно, и какое-то право на независимость чувства Веры Владимировны, она решительно и без жалости останавливала сразу же, не допуская к себе. Зависеть от кого бы то ни было, даже в любви, Вера Владимировна не желала больше категорически: хватит, сыта по горло. Достаточно поунижала свое достоинство, пока числилась в браке с Николаем...

Вера Владимировна пересекла двор, слыша, как безжизненно и костяно потрескивают, стучаясь друг о дружку, тополиные ветви, тронутые верховым порывом ветра.

Вошла в сумеречный, скверно пахнущий кошками подъезд. Вызвала лифт и, поднимаясь на пятый этаж, достала из сумки, из-под свертка с ее утренним платьем, ключ. Задумчиво вшагнула в квартиру и сразу же, не протирая запотевших в тепле очков, заложила дверь на цепочку.

Ей сильно и вот прямо сейчас захотелось закурить, и Вера Владимировна, не снимая пальто и меховой шапочки, присела под вешалкой на ящик для обуви и жадно раскурила сигарету.

Оттого что она не курила долго уже, весь спектакль и все это время, пока шла домой, от первых же затяжек болгарской «Варной» у нее приятно закружилась голова, и она только в эту минуту по-настоящему почувствовала, как устали у нее ноги.

Закрыв глаза и не помогая руками, Вера Владимировна нога об ногу столкнула на коврик тяжелые туфли-платформы и пошевелила освободившимися от тесноты пальцами. Откинулась спиной к вешалке. Вздохнула умиротворенно всей грудью и на выдохе вдруг услышала что-то такое, что мгновенно насторожило ее, а затем испугало.

Она напряглась всем телом и, мазнув подушечками больших пальцев по внутренним стенкам потевших очков, медленно и беззвучно поднялась с ящика.

Из гостиной в прихожую просачивались звуки глубокого, с подсапыванием дыхания. Будто кто-то спал там.

Вера Владимировна нервно и непонятно почему оглянулась и увидела на вешалке массивно обвисшее чужое пальто серого цвета, а рядом с ним пиджак. Она на цыпочках подступила к вешалке и вдруг неожиданно для себя потрогала пальцем медаль. Звездочка послушно и легко сдвинулась с места, и Вера Владимировна, снова оглянувшись, воровато коротким движением поправила ее. Первый раз в своей жиз-

ни она так близко видела перед собой такую награду. «Господи,— подумала, прикусывая губу, Вера Владимировна,— да кто это там?»

Она быстро скинула пальто, одернула платье, пригладила волосы и все так же в одних чулках, позабыв про шлепанцы, неслышно перешла к двери в гостиную. Слегка отогнув портьеру, заглянула.

На диване, уронив голову на грудь, сидел и спал Михеев. Руки его безвольно раскинулись по сторонам вверх ладонями, белая рубашка сморщилась на животе, на сдвинутых коленях лежала раскрытая книга, и мерное дыхание Михеева покачивало поднявшиеся стоймя страницы.

«Воскресение»,— с ухмылкой подумалось Вере Владимировне, и она почувствовала, как разом улетучился из нее накопившийся за этот день радостный настрой.

Она вошла в комнату и, привалившись к дверному косяку, стала откровенно внимательно рассматривать Михеева.

Лицо Ивана Андреевича было в тени, световой полукруг торшера лишь высвечивал поредевшие, гладко зализанные назад волосы. Заметно белел подбритый висок. Лоб был нахмурен, отчего гармонисто сошлись на нем крупные морщины. Штанина на правой ноге комкано задралась, приоткрыв желтоватую тонкость голени, туго обхваченной резинкой шелковистого темного носка.

«В о с к р е с е н и е»,— на этот раз без ухмылки повторила Вера Владимировна и перевела взгляд на стол. Он был красиво и тщательно приготовлен к ужину на двоих. «Ждал...— подумала как-то отстраненно Вера Владимировна и тут же спросила себя: — А я? — Помедлив, она отрицательно покачала головой. — Нет... зачем он пришел?..»

Михеев вдруг поднял левую руку, слабо отмахиваясь от кого-то, и уронил назад.

Вера Владимировна вздрогнула и, выскользнув из гостиной, вернулась к ящику под вешалкой. Села, вытянув ноги так, что открылись пластмассовые зажимочки пажей, и только сейчас вспомнила про сигарету, потухшую у нее в губах. Вынула из сумки зажигалку и прикурила. Устало сняла очки, опустив их на платье, вытерла ладонью лицо.

Михеев в эту минуту стоял один посреди рельсовых путей... Бесконечно один, в солнечном мареве. Ветер шевелил на железнодорожных откосах высокие травы. Жаворонок, зависая в струистом горячем воздухе, задрожал невысоко, роняя на землю дробные переливы. Михеев снял строгий, совсем неуместный для такой вольницы черный пиджак с золотой звездочкой, растянул душный узел галстука, сбросил ботинки, носки и, держа все эти вещи в руках, раскинутых крыльями, пошел босиком по одному рельсу, покачиваясь, стараясь держать равновесие и улыбаясь...

Что-то стукнуло. Совсем рядом. Тупо, но отчетливо.

Михеев проснулся. Сел прямо и повертел головой, разминая уставшую от неудобного положения шею. Выдохнул остатки сонного дыхания и кашлянул. Поводил глазами, вспоминая, где находится, и увидел упавший на пол томик Толстого. Поднял и встал с дивана. Взглянул на часы — двенадцать. Подошел к столу, положил книгу и с хрустом потянулся, широко, со звуком зевая. Ему захотелось есть, и он направился в кухню, чтобы приготовить яичницу.

— Загуляла, загуляла где-то наша...— вслух произнес Михеев, выходя из гостиной, и не договорил.

Он увидел Веру Владимировну и, ошеломленный, замер. Гринина молча и неподвижно смотрела на него сквозь очки. Иван Андреевич сделал еще шаг. Совсем уже растерянно остановился.

— А я... гм... что вы здесь делаете? — как-то глуповато вырвалось у него.

Вера Владимировна хмыкнула, откинулась спиной к вешалке и, поглядев куда-то вверх, отчего в стеклах ее очков зажглись ломкие лучики, тихо и равнодушно ответила:

— Да вот жду... когда меня пригласят к столу.

— Так я сейчас, сейчас... Я вас давно жду.

— Это хорошо-о,— протянула окончание слова Гринина.

— Что? — нервно спросил Михеев, почувствовав в ее интонации иронию.

— Что сейчас. Я уже тоже давно... не ела.

— Здравствуйте, Вера Владимировна. Мы же не поздоровались. Извините меня. Что-то я... это... растерялся,— заговорил Михеев, подходя к ней и протягивая руку.— Вот, понимаете, сидел, ждал, ждал и... прикимарил вдруг. Немного. Минут пятнадцать, ну двадцать как...

Он говорил все это, ощущая необходимость говорить еще больше и непрерывней, лишь бы разорвать и заполнить словами какие-то непонятные ему трудные паузы, что случились до этого.

Вера Владимировна встала с ящика и взяла руку Михеева:

— Вы только не волнуйтесь так, Михеев. Что уж это вы, а? Дайте я вас поцелую хоть, что ли. Вы-то вон и не догадаетесь.

Михеев как-то по-мальчишески смутился, пожал плечами, закрихтел, не зная, что говорить.

Вера Владимировна положила свои прохладные сухие ладони на его щеки, сдавила их, притягивая голову Михеева к себе, видя, как он зажмурился, и почти незаметно коснулась губами его губ.

— Во-от... А теперь здравствуйте, здравствуйте, герой. И будьте же наконец им. Я серьезно хочу есть.

— Хорошо, хорошо,— закивал, обогретый этим теплом, Иван Андреевич и ринулся на кухню.

Вера Владимировна усмехнулась, посмотрев ему вслед, и, заходя в ванную, громко сказала:

— У вас рубашка сзади выбилась. Поправьте.

— И за что же мы выпьем, Михеев? — спросила, поднимая рюмку, Вера Владимировна, когда они сели за стол.

— За вас,— сразу же ответил Михеев.— Честное слово, вы сегодня прекрасно выглядите.

Гринина усмехнулась:

— Если учесть, что это уже действительно сегодня.

Он посмотрел на часы:

— Да-а. Уже сегодня. Время... Я вот, пока вас дожидался, сидел... Толстого листал, думал... Тихо у вас, хорошо. Потом слышу — кто-то разговаривает. Вон там, за окном... Штору отогнул — никого нет. Темно.

— Там боковая стена кинотеатра,— сказала Вера Владимировна.

— А-а... Я так и подумал.

— Да. Мне иногда и в кино не надо ходить. Весь текст, во всяком случае, знаю.

— Ну вот. Слышу, значит, разговор. Говорят мужчина с женщиной.

— Как интересно,— подначила Вера Владимировна.

— В самом деле. Не смейтесь, пожалуйста. Мужской голос спрашивает: «Ты смерти страшишься?»

— О-о...

— Да. А она ему отвечает: ты что, рехнулся? мол, кто же ее не

страшится, косую-то? Так и говорит про смерть — «косая». Вероятно, простые люди разговаривают.

— И что дальше?

— Мужской голос говорит: а я вот не боюсь, не страшно, мол, мне совсем. Та ему тогда: ну так и спи, чего, мол, думать-то про это...

— Правильно говорит,— улыбнулась Вера Владимировна.

— Подождите. Еще не все. Он ей опять: так не смерти, мол, страшно, забудут про нас с тобой — вот чего пострашнее.

— Так,— серьезно сказала Вера Владимировна.— А она ему что на это?

— Она говорит: да, мол, забудут... Всех позабудут. Всех... Причем грустно сказала это.

— А он?

— А он молодец. Помолчал и говорит: «А вот Степана Разина не забыли. Век помнят».

— Ну и что? — разочарованно пожала плечами Вера Владимировна.— Почему это вас так встревожило? Ерунда какая-то.

— Да нет,— задумчиво произнес Михеев.— Только не ерунда. В общем, не знаю. Но что встревожило меня это — точно. Я же сегодня у министра был. У Сорогина. И он мне под конец прозрачно так намекнул... Не пора ли, мол, тебе, Михеев, освободить свое место?

— Прямо так и намекнул?

— Да, представьте себе. Я же вам говорил, что не стал выступать на совещании. Не взял слова. Хотя и готов был и текст в кармане пиджака лежал. Выверенный... По смыслу и по часам. Ровно на десять минут.

— Почему же не выступили? Испугались? — вкрадчиво спросила Вера Владимировна.

Михеев хмыкнул. Отодвинул рюмку и встал. Отошел к дивану и резко повернулся:

— Ну а если? То что? Вы думаете, мы, руководители предприятий, чугунные?

Вера Владимировна повела головой, поправила очки, вытряхнула из пачки сигарету и, разминая ее в пальцах, сказала:

— Видите ли, Михеев... Страх человека за себя, за свою безопасность...

— Шкуру,— язвительно вставил Михеев.

— И за нее тоже. Не перебивайте, пожалуйста... Заставил человека выработать в результате тысячелетий целую систему самозащиты.

— Вы хотите сказать — технику безопасности?

— Вот именно.

— Про это мне сегодня уже пришлось толковать.

— С кем?

— С министром. Но это не важно. Я слушаю вас.

— Так вот я и думаю, Михеев. Что же нравственно и что, наоборот, безнравственно? Сам страх или вот эта техника безопасности? Я где-то читала... не помню... что в момент испуга люди оказываются именно такими, какими они и являются на самом деле, понимаете? — Вера Владимировна тоже встала и, выговаривая все это, протягивала к Михееву руки, медленно соединяя ладони.— Психологи, например, так и считают, что испуг человека, страх его за свою безопасность обнажает своеобразный промежуток, в котором как раз и проглядывается подлинная натура человека. Сущность ее. Без всяких нажитых навыков.

Михеев слушал очень внимательно, наморщив лоб.

— Черт его знает, — сказал он задумчиво.— Может быть. Хотя

для меня все это слишком мудрено. Давайте тогда постоянно держать человека под дулом у стенки. А?

— Вы имеете в виду совесть? — резко спросила Вера Владимировна.

— А-а,— отмахнулся Михеев.— Не знаю. Я за всех ручаться не могу.

— А за себя?

— Что за себя?! — озлился Михеев.— За себя-то я могу отвечать. Но на мне, простите, свет клином не сошелся, Вера Владимировна. Надо мной, знаете ли, вы-ы-сотное здание. И у тех, кто сидит в нем, тоже, поди, имеются эти самые промежутки, о которых вы только что говорили. Да-а...

— Стало быть, замкнутый круг? И выхода нет?.. Бр-р-р... Не принимаю, Михеев. И не понимаю. Почему же тогда ваш главный инженер Кряквин, которого я...— Вера Владимировна на мгновение смолкла, едва не сказав Михееву: «...которого я, слава богу, знала лично. Ведь он же сродный брат моего бывшего мужа Николая Гринина...»; и тут же успев решить, что говорить об этом совсем не обязательно, спокойно протянула руку за сыром и закончила: —...которого я знаю лишь по вашим же рассказам, умеет ходить на вы, и предлагать, и навязывать, и отстаивать свою точку зрения? Он-то что, каслинского литья?

Михеев усмехнулся.

— Самое непонятное в мире — это то, что он понятен, Вера Владимировна. Так, кажется?

— Чей это парадокс?

— Не помню.

— Жаль. Сказано хорошо. И кстати, Михеев, тост мы предложили, а исполнить не исполнили.

— Извините, Вера Владимировна. Мы в этом, по-моему, оба виноваты.— Он подошел к столу, взял рюмки и одну из них протянул Грининой.— За вас. Я очень рад нашей встрече. Очень.

— А я вот... откровенно... еще не знаю. Пьем.

Когда они поставили рюмки, она серьезно сказала:

— Так на чем мы остановились? — И пересела на диван.

— Видите ли, Вера Владимировна,— мягко заговорил Михеев,— то, что обсчитал мой главный инженер Кряквин со своей службой, для меня было, если уж честно, не в диковину. Уж что-то, а куда мы идем и к чему, я уж как-нибудь представляю себе и без Кряквина. Слава богу — скоро пятнадцать лет, как руковожу комбинатом. Вот так вот. Но, понимаете, когда он выложил передо мной на стол это свое произведение в триста страниц, причем никто его об этом не просил, я уж во всяком случае... знаете, сделалось мне как-то... ну, мурторно. Ошалел я, простите. И неделю отдышаться не мог. Как дурак, понимаете, сидел и думал. И с Кряквиным разговаривать не мог. Видеть его не хотел... буквально.

— Что же это так, Иван Андреевич? — вкрадчиво спросила Вера Владимировна.

— Боюсь, что вам этого не понять. Горько мне стало. Что же это получается, думаю? Ведь я пришел на комбинат, когда он гремел, как разбитое корыто. Ведь мне-то все от ноля пришлось начинать. С пустоты, понимаете? Каких только комиссий не пришлось перепробовать. О-о! Вот уж когда точно будто под дулом стоял. Кадры, финансы, новые рудники, жильё. Ну да ничего — выжили. И ожили, черт возьми! И концентрат стали давать. И кое-чего на пиджаки себе повесили. Да. Вы только не подумайте, что хвастаю. Не-ет! Я одно понимал, когда надрывался над плановыми программами... От нас, и от меня, значит, зависит судьба вот этого.— Михеев подошел к столу и поднял кусок

хлеба.— Мы — это тоже хлеб, понимаете? А хлеб — это уже Россия. Вот это я нутром своим понимал. Всем! Без промежутков там всяких. Не шкурой. Ведь наш комбинат — это тысячи эшелонов ценнейшего минерального сырья страны! Что, громко звучит? Да, громко. Потому что это так. А раз уж это так, то я и тянул свой воз и тяну. Правдами и неправдами тоже. Во имя хлеба я научился компромисничать только с собой, но не со своим делом. Вы, наверное, помните, как три года назад мы задыхались без вагонов. То есть изготавливали концентрат и не всегда вовремя могли вывезти его потребителю? Помните, я рассказывал вам об этом... Так вот. Вагонов, особенно специальных, для перевозки апатитового концентрата, нам не хватает и сегодня. Железная дорога держит нас на такой диете, что мы... — Михеев махнул рукой. — Да что там и говорить, вы бы вот для интереса приехали на комбинат, посидели на нем денёка два-три и — ей-богу! — подумали: вагоны эти — едва ли не самая главная забота наша сегодня. Хотя мы-то, как вам известно, не железнодорожные начальники!

— Но почему же вам все-таки не хватает вагонов? — спросила Вера Владимировна. — Ведь вроде бы заранее известно, сколько вы дадите продукции, а следовательно, известно, сколько вам потребуется вагонов? Кто-то же, как мне кажется, должен заранее побеспокоиться, чтобы эти вагоны были у вас?

— Понимаю, понимаю. Вы хотите предложить немедленно найти виновного и примерно наказать его? Вас в данном случае интересует, так сказать, нравственный аспект проблемы. Понимаю. Но меня, если уж откровенно интересует прежде всего результат. Вам нужен виновный, а нам — вагоны, чтобы и я и мои помощники могли спокойно спать по ночам. Вот что!

— Как вам будет угодно. Но мне показалось... из-за недостатка вагонов вам придется однажды остановить комбинат.

— Ну, до этого пока дело не доходит. Как-то выкручиваемся, хотя оборачивается это большими неприятностями.

— Странно... Кто-то же все-таки виноват в этом? Кто?

— Отвечу. Наше несовершенное хозяйственное законодательство. Неувязки и противоречия в нем. Отсюда и возникает правовой нигилизм. То есть пренебрежительное отношение к праву. Ведь иной руководитель думает: раз я министр, то чего мне считаться с предприятием? У меня, мол, достаточно широкие права. При этом он забывает, что есть права, которые закрепляются за предприятиями и которые связывают и министра и любого другого хозяйственного руководителя. Ведь мы же, Вера Владимировна, выдвигая встречные планы, чаще всего только надеемся, что нам по везет с вагонами. Да, да — повезет! А нам чаще всего не везет. Нас режут без ножа! В прошлом году, к примеру, мы не смогли своевременно вывезти шестьсот тысяч тонн готового концентрата! То есть фактически-то выполнив план, не выполнили его. И это далеко не впервые. Мы часами просиживаем в конце каждого года у телефонов и ждем, как манны небесной: пойдут в министерстве на то, чтобы перышком, обыкновенным перышком вычеркнуть из наших обязательств эти ставшие вдруг лишними тонны готовой продукции? Понимаете? А ведь в них, в этих тоннах сверхплановых, труд. Да еще какой! Мы как только могли тормозили рабочих, разжигали их энтузиазм лозунгами, соревнованием. План и только план! А спроси меня честно: знал я тогда, что вагонов не будет, а без них не будет и плаиа, потому что мы завалим основной показатель его — реализацию? Отвечу: знал. Так за чем же я гнался тогда, а? Напрягал технологическую нить комбината до того, что она, понимаете, звенела, как эта... струна в тумане? Не помню, кто это так сказал...

— Вначале Гоголь, а потом Достоевский,— сказала Вера Владимировна, неподвижно глядя на Михеева.

— Вот-вот, Достоевский... Да-а. «Преступление и наказание»...— Михеев шумно выдохнул из себя воздух.— Не-ет, дорогая моя Вера Владимировна, неладно мы покуда работаем. Не так. Ведь сегодня как никогда раньше понятие план должно приближаться, вернее, сливаться с понятием разум. План — не каприз. Не свое и чье-то желание. Да и не самолюбие руководителя, наконец. План — это осознанная, честная необходимость и железная логика производственного бытия. В конце-то концов партия и государство, а не кто-нибудь там... черт его знает кто! — требуют от нас, руководителей, совершенствования всей системы показателей, лежащих в основе оценки нашей деятельности, и прежде всего эффективности и качества нашей работы. При этом они абсолютно точно указывают нам на то, что показатели эти призваны-то соединять воедино — вы понимаете? в е д и н о — интересы каждого работника с интересами предприятия, на котором этот работник трудится, а интересы его предприятия — с интересами всего государства. Лучше, по-моему, не придумайшь!

— По-моему, тоже,— сказала Вера Владимировна.

— Конечно! Это же аксиома взаимовыгоды, круговая порука ее. То, что выгодно мне, работнику, должно быть выгодно предприятию, а то, что выгодно предприятию, должно быть выгодно государству. Следовательно, наступает пора всепроникающей экономической инициативы, когда и предприятия, и вышестоящие над ними инстанции управления должны открыто и смело скрещивать свои пожелания, ища оптимальный результат. Но... Ох уж это проклятое «но»... Я ведь сегодня-то у министра не выдержал, Вера Владимировна, и, по правде сказать, сорвался. Надоело, понимаете, играть в прятки! Мы же с Сорогиным друг друга почти наизусть знаем. Ведь не один пуд соли за эти длинные годы съели, а он меня как пригостишку вздумал пытаться: ну почему это я, мол, не выступил, не проявил, так сказать, инициативу первым?.. Тьфу, простите. Мне стало противно. И я задал Сорогину вопрос в лоб: а почему же ты, министр, зная про наши невеселые на комбинате дела, сам первым не начал на совещании этот разговор? Ведь если уж на то пошло, то мы, предприятие, и без того отвечаем за все. Да, да — за все! В этом, если хотите, исключительное положение и особая роль предприятия по сравнению с любой вышестоящей над ним управленческой инстанцией, будь то главк, министерство или Госплан. Они-то ведь непосредственного участия ни в производстве, ни в реализации готовой продукции не принимают. И мало того — не несут даже финансовой и юридической ответственности по обязательствам руководимого ими сверху предприятия. Вот так-то, милая Вера Владимировна... Такие, как говорится, пироги. Их основной вид продукции — честные, своевременные и грамотные решения. А Сорогин и, следовательно, его министерство любят повыжидать... Вот и получается у нас ерунда: мы, на предприятии, ждем инициативу сверху, а в министерстве, наоборот, снизу... Иван кивает на Петра, а Петр на Ивана. И в результате даже виноватых не сыщешь. Все виноваты, понимаете... Все...

«И я в том числе», — не договорил Михеев, хотя ему хотелось сказать это, и оттого, что он не сказал это сразу, ему сделалось жарко: он почувствовал, как кровь горячо нагревает щеки и уши. Михеев вздохнул и упрямо мотнул головой.

— В общем, Вера Владимировна, я считаю, что сегодня как никогда раньше необходимо навести порядок в нормах хозяйственного права. И для этого нужны радикальные меры. Прежде всего — издание обобщающего закона, где будут решены важнейшие вопросы регули-

рования хозяйственных отношений. Это позволит, Вера Владимировна, расширить права крупных производственных единиц — объединений, комбинатов. Бояться тут нечего. Это ни в коем случае не подрвет директивность планирования. Наоборот, если комбинат получит право на корректировку дополнительных заданий, которые порой авторитарно, волево включаются нам в план вышестоящими инстанциями, то это сработает только на пользу общему делу. Ведь согласитесь, что если до предприятия доводится план, не согласованный по всем показателям, то этим нарушается закон. Ведь так?

— По-видимому, так, — сказала Вера Владимировна.

— Во-от... А юридически воздействовать на вышестоящий орган мое предприятие не может. Приходится исполнять, что приказано. Поэтому я и считаю, что надо законодательно запретить вышестоящим органам доводить до предприятия план, не согласованный с ним по всем показателям. Короче, Вера Владимировна, как это ни странно, но в расчетах моего главного инженера Кряквина подытожены мои же собственные раздумья. Да, да. Вот ведь в чем собака зарыта! И вот почему мне так тошно сделалось, после того как я ознакомился с этими расчетами. Мне стало стыдно. Понимаете, стыдно. Ведь я все эти годы дрался за концентрат как за свою жизнь. И когда меня спрашивали в ЦК или в министерстве: дашь столько-то? надо! — я отвечал: дам! — Михеев поднес к лицу кусок хлеба. — Я не мог иначе. Не имел права. И любой ценой добивался своего. Любой, Вера Владимировна! И вот он, результат... Кряквинские расчеты. Документ, в первую очередь обвиняющий меня. И — безжалостно.

— Так в чем же их суть, этих кряквинских расчетов? — спросила Вера Владимировна.

— Сейчас объясню... Понимаете, еще проектным заданием мощность нашего комбината по апатитовому концентрату была определена в четырнадцать с половиной миллионов тонн в год. При содержании пятиокси фосфора в руде — в восемнадцать и две десятых процента. Эта деталь чрезвычайно важна. Однако впоследствии нам пришлось добывать и перерабатывать руды, значительно менее богатые пятиокисью фосфора, то есть основным интересующим нас полезным компонентом. Все это, сами понимаете, были вынужденные меры. Надо было... И фабрикам теперь пришлось перерабатывать, обогащать в два-три раза больше руды. Это, я думаю, вам хорошо понятно. Со своей стороны мы вроде бы сделали все, что смогли: за счет внедрения технического прогресса повысили производительность оборудования на фабриках и тем самым хоть как-то, но компенсировали снижение мощностей... В общем, пока внешне все как бы идет нормально...

— Значит, ура? — улыбнулась Вера Владимировна.

— Значит, караул, — оборвал ее Михеев. — Кряквинский анализ показывает, и это с абсолютной достоверностью, что из-за катастрофического уменьшения пятиокси фосфора в исходной руде дефицит концентрата к следующему году по комбинату составит почти пять миллионов тонн.

— И что же?

Михеев как-то растерянно посмотрел на Веру Владимировну и развел руками:

— Как что? Хорошенькое дельце... Мы посадим комбинат в лужу. Вот что! Мы не в состоянии будем дать требуемые от нас пятнадцать миллионов тонн концентрата! Вы это понимаете? Мы будем банкротами, мелкими брехунами — вот что! А дальше считайте — тут высшей математики не потребуется, можно и пальчиками обойтись... — Михеев побагровел. — Из одной тонны нашего концентрата

выходит две тонны суперфосфата. Этого вот так вот достаточно,— он полоснул себя по горлу ладонью,— чтобы подкормить шесть, а то и восемь гектаров землицы! Соображаете? А потом получить с нее — до-пол-ни-тельно! — либо три тонны отборной пшенички — это раз! Либо шестнадцать тонн картошечки — это два! Либо двадцать тонн сахарной свеклы — это три! Либо две тонны хлопка... А?

Он порывисто шагнул к столу, схватил бутылку и плеснул из нее, проливая на скатерть, в рюмку коньяк. Жадно глотнул.

Вера Владимировна видела, как дрожит его рука, и тоже невольно почувствовала, что волнуется. Закурила и, выждав паузу, тихо спросила:

— Так как же быть, Иван Андреевич?

Михеев устало улыбнулся, покачал головой и вдруг заговорил шепотом:

— А так... Орать надо, Вера Владимировна! Благим матом орать! Пока не поздно. Надо немедленно и честно признаться, что мы зарвались. Нам сейчас как воздух требуется мощная финансовая инъекция, новая проектно-сметная документация, оборудование... Что, я не знаю, что ли, что подземные рудники давно уже плачут по новой технологии? Знаю. И Кряквин для меня в этом смысле не пророк. Мы же рвали, что поближе лежит, что пожирнее... А реконструкция фабрик? А развитие железнодорожного комплекса? Надо, надо, понимаете, отступать. Или... отсидевшись на внешнем благополучии, смыться потихонечку с комбината. На победу все спишется. Пускай другие потом повернутся, порасхлебывают. Или — или... — Михеев на мгновение замолчал, а затем неожиданно спросил: — Вы когда-нибудь, Вера Владимировна, ходили босиком по рельсам?

Она удивилась:

— Вроде не приходилось... А что?

— Во-от... Хорошая, я вам скажу, штука. Где-нибудь в степи. Под солнышком. Земля вокруг в травях, в жаворонках. Только долго все равно не пройдешь — обязательно оскользнешься на рельсе,— с грустью закончил Михеев.

— Я не понимаю вас, Иван Андреевич,— сказала Вера Владимировна.— К чему вы об этом?

Он подошел к ней. Сел рядом.

— Устал я. Дьявольски устал. Никому об этом никогда не говорил, а вот теперь говорю. Что-то сломалось во мне. Не знаю. Надоело все. Сорогин ведь умный мужик, все понимает... Может быть, действительно стоит в отставку, а, Вера Владимировна?

Она с силой выдохнула сигаретный дым, искоса взглянув на Михеева. Взяла у него из руки измятый хлеб, понюхала.

— А как же быть с ним?

Он не ответил. Скривился только.

— Ну что ж... Давайте-ка спать, товарищ директор. Я, между прочим, тоже устала. Не возражаете, если я постелю вам в той комнате?

Вера Владимировна поднялась, опершись о плечо Михеева, дошла до двери и остановилась:

— Знаете, о чем я сейчас думала, слушая вас?

— Не знаю,— покачал головой Михеев.

— А вот о чем... Я смотрела на вас и думала: господи, сколько же таких, как вы, в эту ночь по Руси объяснялось, изливало душу вот так же страстно и откровенно, как вы, перед женами, перед женщинами вроде меня... на кухнях, в постелях, за столами с вином и кефиром... Сколько?

Михеев, ссутулившись, слушал, не поднимая головы.

— Молчите... А на трибуне-то у вас все хорошо получается... Любо-дорого... Послушаешь — так и нет никаких проблем. Одни мелочишки, недоработочки.

Она махнула рукой и вышла. Уже из прихожей донеслось до Михеева:

— Тоже мне комиссар собственной безопасности.

Михеев неудобно лежал на узкой, взгорбленной посередке тахте и не мигая смотрел в желтоватый расплывчатый сумрак перед собой. Сумрак желтила не выключенная им сова-ночник из какого-то блеклого полированного камня, желто просвеченного изнутри слабоватой электрической лампочкой.

Тихо было и душно сейчас в этой плотно простеганной книжными рядами комнате Грининой. Михеев слышал тягучее пережурливание воды в батареях отопления, сухой, пустовато стрекочущий ход часов на своей руке, и его все сильнее и противнее мучил стыд.

Он давно уже не испытывал вот такого саднящего и тупо ноющего состояния. Ему было стыдно и больно за все сразу: за эти бездарно и суетно прожитые дни в Москве; за свою заранее обдуманную нерешительность на совещании; за унижительную, выпрашивающую бедотню по госплановским и министерским кабинетам; за свой натужный, по-шахматному вкрадчивый разговор с Сорогиным, который он, конечно же, проиграл; и, наконец, вот за этот дурацкий приход сюда, к Грининой...

Ну с какой такой стати он позволил себе раскисать перед, в сущности-то, чужим для него человеком? Кто тянул его за язык, вызывая на эти понятные только ему и, стало быть, принадлежащие только ему откровения? На что он рассчитывал, высказывая вслух наболевшее? На сочувствие? Сопереживание? Равно-душие? Михеев скривился, припомнив не принятую им философию Грининой об этом понятии. Ни-че-го. Ровным счетом. И правильно. Правильно... Самая чистая правда, с горечью думалось ему, если она выговаривается в форме признания собственной неправоты, пускай и оправданной всякими целесообразностями и необходимостями, может быть только сомнительной правдой. И Сорогин и Гринина поняли это, слушая его. А сам он? Сам-то он что? — с отвращением думал о себе Михеев. Идиот... Тряпка...

Михеев страдальчески сморщился. Становилось невыносимо лежать здесь. Он резко перевернулся на левый бок, к сове, тлеющей рядом на столике, и — вздрогнул, напрягаясь всем телом: сердце прошила пронзительная узкая боль. Там, в глубине себя, за грудиной, Михеев увидел ее отчетливо и ясно... в странно клубящемся окружении из чего-то оранжевого с черным, боль эта, вспыхнув, проплавила в нем крохотную ослепительную белую точку. Не приближаясь и не отдаляясь, точка дрожала, переливаясь в Михееве, прожигая насквозь.

С высохшим ртом, остановившимся дыханием Михеев комком лежал на боку и не видя смотрел на сову. И сова уставилась на него желтыми мертвыми глазами.

«Ну уж дудки... Не выйдет, — с сипом прохрипел горлом Михеев и, упрямо втыкаясь головой в мякоть подушки, боясь покачнуть в себе точку, медленно перевалился на спину. — Только этого мне еще не хватало... Здесь...»

Представился воющий гон санитарной кареты по темным ночным улицам. Сполох вращающегося огня на ее крыше. Визг тормозов. Кресты. Халаты врачей. Носилки. Блесткая сталь шприца. И почему-то вдруг — Кряквин: высокий, здоровый, всегда неуловимо напоминаю-

щий скуластым лицом и угловатой размашистостью движений какого-то киноартиста. Кряквин громко сказал: «Что же это вы, Иван Андреевич, не звоните, а? Второй вечерок у телефончика караулю. Ведь вроде-то договорились по-человечески — позвоните? Неужели так уж и не о чем говорить стало?» Михеев, вслушиваясь в кряквинскую иронию, неожиданно зло подумал: «А сам-то сам давно ли разговаривался? Вон ведь сколько лет прошло, пока ты додумался до этих расчетов. Что ж ты до этого-то помалкивал?..»

...Разом вспомнился и их разговор с Кряквиным после того, как Михеев внимательно проштудировал его работу с экономическими прогнозами настоящего и будущего комбината. Когда Кряквин вспыл, обвиняя Михеева в приспособленчестве, он, сдерживая себя, спокойно сказал ему:

— Алексей Егорович, я бы очень просил вас... быть потактичнее. Иначе может случиться так, что мы с вами не сработаемся.

Кряквин проницательно посмотрел на него, помолчал, а потом улыбнувшись, нервно и весело ответил:

— Ерунда! Сработаемся.

— Это как понимать? — спросил Михеев.

— А очень просто. Я на колени встану перед кем угодно, лишь бы остаться на комбинате, поняли? А вот приведу рудники и карьеры в порядок — сам уйду. Сам!..

— Ерунда, — прошипел Михеев и, преодолевая боль, сел на тахте.

Замельтешили в глазах ломкие скользкие искорки. «Хватит... Сейчас мы... Ну скорей же, скорей проходи!» — приказал он кому-то, беззвучно шевеля губами, и удивился. Боль вдруг действительно оборвалась и точка потухла.

— То-то.— злорадно усмехнулся Михеев, набирая всей грудью тепловатый безвкусный воздух комнаты. «Ничего, ничего... Сейчас я ей все скажу. Все...»

Наклоняясь за носками, он ощутил в груди тусклую зыбкую тяжесть. С трудом распрямился и посидел в неподвижности, переживая внезапное головокружение. Затем, когда оно кончилось, брезгливо и вяло отвернул от себя сову, чтобы не видеть ее залитых желтью, бессмысленно выпученных глаз.

Вере Владимировне не спалось. После того как они натянуто разошлись с Михеевым по разным комнатам и в квартире наладилась душная темная тишина, Веру Владимировну охватило щемящее смутное беспокойство.

Она ворочалась на диване, не находя себе удобного положения, то и дело переворачивала подушку, чтобы хоть как-то охладить горячее лицо, включала и выключала торшер, смотрела на часы, проговаривала читать и не могла сосредоточиться, закуривала, но тут же гасила сигареты, нервно расплющивая их пальцами в пепельнице.

Она непрерывно думала о Михееве. И чем напряженнее думала о нем, тем тревожнее и тяжелее становилось у нее на душе.

Теперь уже Вера Владимировна чувствовала себя виноватой перед ним, хотя поначалу считала свою сегодняшнюю неприязнь к Михееву вполне справедливой: «Тоже мне демагог, правдоискатель в скафандре. Ты ее делай, правду-то эту, как понимаешь, и тогда нечего будет ныть и жаловаться на кого-то там, наверну. Устал он, видите ли. Сломался... Ну так и скажи об этом честно и уходи, не мешай другим...»

Но постепенно неприязнь улетучивалась из Веры Владимировны, уступая место мучительному и томящему недовольству собой. «Максималистка, — казнилась Вера Владимировна, — дура. Да разве так

лгут?..» Он же, не зная, наверно, куда подевать себя, пришел к ней, ждал ее, чтобы излить и облегчить душу, а она... Ужасная дура!.. Вера Владимировна, приподнявшись на локтях, с размаху зарылась головой в подушку. Ей было стыдно сейчас за себя перед Иваном Андреевичем, которого она так незаслуженно отчитала ни за что. «Не-ет,— лихорадочно думала Вера Владимировна,— сейчас я встану и пойду к нему. Пойду... и извинюсь, извинюсь... Он поймет. Должен понять...»

В прихожей послышались шаркающие шаги и какой-то неясный шум.

Вера Владимировна насторожилась. Сердце ее забило сильно и часто. «Он,— радостно подумалось ей,— сам...»

Она торопливо нашарила рукой на тумбочке очки и надела их. Моментажно огладила взъерошенные волосы.

Михеев на ощупь вошел в гостиную и нерешительно кашлянул. — Что вам угодно, Михеев? — вырвалось у Веры Владимировны неожиданно громко.

Она даже и сама не поняла, почему это так у нее получилось, и, напуганная собственным голосом, прижалась спиной к стене, надергивая на плечи одеяло.

Сделалось очень тихо, и было слышно, как дышит с подсапыванием Михеев.

Вот он опять кашлянул и только потом глухо отозвался:

— Я... простите, Вера Владимировна... только попить. Минеральной.

Она судорожно рванула шнурок торшера, включая свет.

Михеев понуро стоял возле двери в шапке, застегнутом на все пуговицы пальто, с портфелем в руке. Но не это сейчас поразило Веру Владимировну. Ошеломило ее лицо Ивана Андреевича: какое-то мглистое, неживое. Мрачно и грузно набрякли под глазами мешки. Щеки, испачканныс проступившей щетиной, обвисли. И мокро проблескивали в морщинах на лбу мелкие капельки пота.

— Вы уж простите меня,— невнятно пробубнил Михеев и, подойдя к шкафу, откинул со скрипом дверку верхнего отделения. Пристав на носках, потянулся за чашкой.

— Она же на столе,— встревоженно подсказала Вера Владимировна.

— Да?..— как-то отрешенно спросил Михеев и обернулся.

В то же мгновение снятая им уже с полки чашка выскользнула у него из пальцев, цокнула донцем о резной край шкафа, отскочила немного и с коротким, обрывистым звоном рассыпалась на паркете. Звук был такой, будто кто-то щелкнул ногтем по тонкой струне и тут же прижал ее.

У Веры Владимировны перехватило дыхание. Она с трудом проглотила набухший у горла комок:

— Вы... разбили... мамину чашку.

Михеев, нелепо соглашаясь, закивал головой:

— Да, да... Я сейчас...— И, подгибая колени, бесформенной грудой опустился на пол. Начал медленно собирать осколки и почему-то складывать их в карманы пальто.

Вера Владимировна, кусая губы, смотрела на ползającego Михеева и вдруг, не выдержав, вытолкнула из себя задушенным шепотом:

— Не надо, Мих-х-хеев... И-идите...— «Ко мне» — хотелось сказать ей, но она почему-то так и не договорила последнего слова.

Михеев замер, несколько секунд так и глядел на Веру Владими-

ровну, затем, помогая себе руками, поднялся и не оглядываясь вышел из комнаты.

Поплыли перед ним, свиваясь в тугие жгуты, оранжево-черные кольца. В сердце вцепилась не отпускающая протяжная, жгучая боль. Михеев упрямо добрал до лифта, прижался всем телом к решетке ограждения и вдавил наконец выскальзывающую из-под пальца пластмассовую кнопку вызова, ненужно запомнив кроваво налившийся в ней свет.

У него еще хватило сил дожидаться прихода кабины, открыть дверь и со стуком сойти на шатучую, просевшую под его тяжестью площадку. Он выронил портфель и сумел все-таки захлопнуть лифт. Последним усилием, уже не видя ничего, заставил себя приподнять руки и ладонями, наугад, упереться сразу во все клавиши отправления.

Белая точка вздрогнула в нем, стронулась с места и толчками, подпрыгивая, стала приближаться к нему из какой-то немыслимой темной бездонности. Она все росла и росла, и все ослепительней и невозможнее делался ее блеск...

Страшная боль согнула Михеева пополам и швырнула на зашарканный пыльный линолеум кабины.

Он упал лицом вниз...

И ничто не помешало гудящему движению лифта. Погромыхая разболтанными суставами, сухо скрипя, лифт послушно и мягко доставил Ивана Андреевича по назначению.

Ночь (продолжение)

— Ко-нец,— вслух повторила Ксения последнюю надпись на экране и, наваливаясь плечом на Варвару, жаркодохнула ей в прикрытое тонким пушистым платком ухо: — Вставай, Кряквина!

В зале зажгли свет. Сразу задвигались, заговорили люди. Зазвякало звучно возле дверей сорванное с петель железо крюков. Покатились по узким проходам впущенные в теплоту с темной наружи морозные белые шары.

Ксения поднялась с места, и сиденье, откидываясь, резко приподняло подол ее модного кремового пальто, заголяя красивые, чуть полные ноги, обтянутые капроном.

Варвара быстрым движением оправила ткань.

— Что? — обернулась Ксения. — А-а... — Она игриво подмигнула. — Чего ты беспокоишься?

Варвара укоризненно посмотрела на нее черными, влажными глазами и ничего не сказала. Придерживая сиденье рукой, встала, и они боком начали выбираться к выходу.

Уже на улице, отделившись от общей людской массы, Ксения, уныривая лицом в лисий воротник, зевнула и спросила про фильм:

— Ну как тебе?

— Мне понравилось,— задумчиво ответила Варвара.

— А я не люблю про деревню. Одно да одно — коровы, председатели.

— Не понимаешь, значит.

— О-хо-хо... Куда там! Ты много в ней понимаешь.

— Понимаю,— серьезно сказала Варвара. — Я деревенская.

— Ну и что? — фыркнула Ксения. — А я-то, по-твоему, откуда?

— Не знаю.

— Из Копенгагена,— захотела Ксения. — Ты погляди, погляди, деревня, хорошо-то как...

Они остановились. Курчавился пар от дыхания. Несильный морозец приятно стужил лицо. Небо вверху было светлым от звезд и как бы выгнутым от этой светлоты. Узкая прорезь луны косо мерцала над высиненным, млечно поблескивающим снегами склоном хребта. Там, в вышине, возле шахтных отверстий, тускло и зябко перемелькивались огоньки, будто кто-то украдкой курил там, зажимая сигарки.

— «Луна стоит на капитанской вахте... На сотни верст рассыпался прибор,— нараспев прочтала Ксения, размахивая в такт снятой варежкой.— И словно белая трепещущая яхта уходит женщина, любимая тобой». А? Как?

— Чьи это? — спросила Варвара.

— А вот и не скажу-у,— обняла ее Ксения.— Пойдем ко мне, тогда узнаешь.

— Поздно уже...— начала было Варвара.

— Да ты что! Десять же часов только. Пойдем, а? Ну пожалуйста. Скучно ведь до смерти! Я тебя чаем напою. Или коньяком?

Варвара подумала: «А что? Алексей раньше двенадцати все равно не придет...»

— И водки дадите?

— Спрашиваешь!

— Тогда пойдем,— улыбнулась Варвара.— Только на часок, ладно?

— Умница! — Ксения обрадованно чмокнула Варвару в щеку и, схватив за руку, потянула ее, валко прихрамывающую на левую ногу, через застеленную свежим снежком улицу.

Подругами, тем более близкими, Ксения Павловна Михеева с Варварой Дмитриевной Кряквиной никогда не были. И хотя знали они друг друга давно, чуть ли не с девичьих лет, когда еще начинали на комбинате простыми работницами, а теперь вот и жили в одном доме в самом центре Полярска, неподалеку от управления, причем в одном и том же подъезде, только на разных этажах: Михеева повыше, на четвертом, а Кряквина на третьем; и в личной их жизни многое удивительно совпадало: почти одинаковый возраст (Ксения лишь на год постарше Варвары), одинаково трагическая утрата детей (Варвару на последнем месяце беременности сбила машина), образование (обе заочно в один и тот же год закончили институты: Ксения библиотечный, а Варвара педагогический), — в отношениях их между собой, кроме слегка фамильярного и в принципе совсем не сближающего обращения на ты, предложенного Ксенией, а не Варварой, больше, пожалуй, ничего и не значилось, так, обычное, корректно обособленное и замкнутое добрососедство.

В какой-то мере этому способствовало служебное положение их мужей. Михеев, например, с самого начала, как только заступил в должность директора комбината, настойчиво и терпеливо насаждал по всей иерархии управленческого аппарата так называемый им элемент должностного разобщения. Он считал, что в среде подчиненных ему начальников не должно было быть никакого панибратства и чрезмерного дружелюбия. Конечно, все человеческое — радости, счастье, тревоги, горе должны быть общими. Но должностное — только должностным. Здесь ценилась прежде всего умная, вежливая деловитость. И никакого самовлюбления. Если руководитель позволит себе однажды всерьез подумать о том, что он кого-то выше хотя бы на «дельту эль», нет-нет да и говорил своим подчиненным Михеев, — конец. Больше такого руководителя на комбинате не будет.

А с тридцатых-то, дальних годов каких только начальников не перевидали на «Полярном»... Каждое время приносило на комбинат свой стиль руководства. И стиль этот, незримо просачиваясь в каж-

дую семью городка, сопричастного ко всему, что делалось на комбинате, так или иначе, но повторялся как эхо в каждой семье Полярска, сказываясь на общем поведении жителей и их бытии.

С приходом Михеева на комбинат «горловой» стиль командования производством исчез, будто его и не было раньше. Заметно поумерился и вообще приказной темперамент. Наступила пора приглушенной, замедленно-вдумчивой манеры общения с людьми. Даже на явочных диспетчерских совещаниях теперь спорили без крика, подменяя его вежливо-язвительной иронией.

Директорский кабинет Михеева стал своеобразным размножителем новых привычек.

Разом очистились обычно заваленные черт знает чем рабочие столы в отделах. У Михеева-то на столе поблескивала только автоматическая шариковая ручка.

Белые рубашки и галстуки на инженерно-техническом персонале властно вытеснили разношерстные свитера и демократические кофточки. Михеев всегда приходил на работу аккуратный, подтянутый.

Иван Андреевич носил обручальное кольцо, и вскоре кольца искрились чуть ли не на каждой семейной руке.

Иван Андреевич жил в личной жизни обособленно, с мало кому известными подробностями, и это тоже по-своему перенималось полярскими жителями.

Так что не упроси сегодня Ксения Варвару Кряквину сходить с ней в кино и не затащи так настойчиво к себе на чай, еще неизвестно, когда бы они, соседки, сошлись столь близко, да и неизвестно, сошлись ли...

Варвара Дмитриевна, без пальто и платка совсем маленькая сухонькая женщина, сторбленно, уложив руки на колени, сидела на краешке обширного кожаного дивана в гостиной Михеевых и спокойно наблюдала за порывистой, шумной, хозяйской суетой Ксении.

В гостиной было уютно и красиво. Толстый, неброской расцветки ковер гармонировал со светлым неполированным орехом мебели: стенка под потолок, кресла... Приятно освещивала хрусталем и бронзой люстра. Книжки, гравюры и шторы дополняли убранство, а дымчатая линза большого цветного телевизора выпукло вбирала в себя все это со вкусом подобранное великолепие, на фоне которого так странно и бедно смотрелась сейчас ссутулившаяся на диване Варвара Дмитриевна, одетая в коричневый, домашней вязки жакет без рукавов поверх скромной голубенькой блузки в горошек и темные брюки.

На первый, не очень внимательный взгляд со стороны жена Кряквина некрасивая, а в сравнении с Ксенией так и вовсе дурнушка: чернявая, с узкими губами. Черты оттянутого книзу лица одновременно и мелковатые и резкие. Заметно расставлены скулы. Короткая стрижка. Прямые волосы, и на затылке несколько старомодно, по-старушечьи, гребенка. Вот глаза только — большие. Прекрасные, умные глаза. Они-то и оживляют худое лицо Варвары Дмитриевны и украшают его. Какие-то очень спокойные они, эти глаза. В черной их живой глубине постоянное удивление или недоумение. Оттого они и раскрыты широко. Перед такими наверняка невозможно лгать. Ясные и требуют ясности.

— Ну вот и все! — громко сказала Ксения, входя в гостиную с подносом в руках. — Кушать подано.

Она водрузила поднос на журнальный столик перед Варварой, подтащила кресло, бухнулась было в него, но тут же вскочила и, подпорхнув к бару, вмонтированному в стенку, выудила бутылку и рюмки.

— Вот теперь, кажется, полный порядок... Хотя погоди. Без музыкачки как же? Ты Зыкину любишь?

— Люблю,— сказала Варвара.

— Тогда сейчас.— Ксения включила проигрыватель и поставила пластинку.— Слушай.

Пошипев, корунд добежал до первого всплеска струн. Мягко набрали они певучую переборность, а после и родился, пока еще издалека, знакомый голос, наполненный светлой бабьей печалью.

За окошком свету мало,
белый снег валит, валит.
А мне мама, а мне мама
целоваться не велит...

Ксения посмотрела на часы — половина одиннадцатого. Подошла, покачиваясь в песенный такт, к темному окну, внимательно прицелилась к собственному отражению. Нет, вроде бы несильно пока видать морщинки. Хотя если вот так, вплотную,— заметны все же. Бережно помассировала под глазами, вздохнула и резко повернулась к Варваре, задумчиво и неподвижно слушающей песню.

— Давай, Варя, выпьем, а? По капельке. Что нам терять? Мужья нас покинули. А потом я тебе спою.— Она убавила звук и села напротив Варвары. Наполнила маленькие, похожие на бочечки хрустальные рюмки.— За что?

— За что хочешь.

— Ну тогда — за нас с тобой. Ведь сам за себя не выпьешь — никто не догадается. Поехали!

Они чокнулись. Варвара пригубила чуть-чуть и поставила рюмку. Ксения свою выпила всю. Нарочно по-мужски крикнула и, проводя пальцем под носом, нарочно же шмыгнула.

— Наливай, Варя, чай. Хозяйни-чай. Ишь, в рифму получилось. Будь как дома, а то мне тут все опротивело. Все!

— Что?

— Да все вот это,— Ксения широко махнула рукой.— Вот так вот сидишь здесь одна, как эта...— Она не договорила и встала с кресла.— И старишься. Понимаешь, Варвара Дмитриевна? Мы ведь все время старимся. Жуть одна! А охота пожить! И чтобы все коромыслом летело! Вот ты сейчас Зыкину слушала. А что Зыкина? Мы ведь и почище умеем, только никто про это не знает. Иногда так и вижу себя на сцене.— Ксения быстро подошла к проигрывателю и опять отыскала самое начало.— Значит, так. Оркестр уже взял тему, и — представляешь? ты только представь — Михеева идет по сцене... На ней чудное, в пол. белое платье. Зал ждет, не дышит. Тишина — мертвая. Легкий поклон,— Ксения кашлянула,— и-и...

За окошком свету мало,
белый снег валит, валит,—

запела Ксения и озарилась вся. Конечно, по-другому, совсем даже и не по-зыкински выходило у нее это, а все равно — хорошо.

Варвара была потрясена и удивленно смотрела на Ксению оставившимися, враз завлажневшими глазами.

А мне мама, а мне мама
целоваться не велит...

Светлые, с соломенным отливом волосы Ксении пышно и свободно лежали на окатых плечах, плотно обхваченных черным свитером тонкой вязки. Серая замшевая юбка высоко открывала красивые стройные ноги. На остро стоящей груди серебрилась цепочка с блестящим крестиком.

— Вот так,— неожиданно обрывая песню, сказала Ксения.— Хорошего помаленьку.

— Ну-у,— разочарованно протянула Варвара и вдруг захлопала в ладоши.

Ксения недоверчиво покосилась на нее.

— Что?

— Вы...— Варвара остановилась, не находя сразу нужных слов.— Я просто не знала... какая вы!

Ксения рассмеялась. Встряхнула головой, отбрасывая назад волосы. Подошла к телевизору и взяла с него открытую пачку с сигаретами и зажигалку. Закурила. Изучающе посмотрела сквозь дым на Варвару и спросила с иронией:

— Так какая же она, эта «вы»? Интересно.

Варвара смущенно шевельнула плечом.

— Неожиданная..

— Да-а? — Лицо Ксении стало серьезным.— Скажите пожалуйста. Не-о-жи-данная...— Она задумчиво расчленила слово.— Хм... А ведь, пожалуй, вы угадали, Варвара Дмитриевна. Верно. Я действительно разная. И столько могу всякого. У-у... Кто бы только знал — сколько! Но вот почему-то все как-то не так. Не совсем так. Или совсем не так получается. Понимаешь, Варя, то, что я хочу и могу, я знаю. Но вот как это сделать, что я могу и хочу... не знаю. Оттого и идет все куда-то. Мимо, мимо. Как вода. И пусто вот тут.— Ксения показала на сердце.— Ни сына нет, ничего... Ненужность я свою понимаю. Никчемность. Вот что противно до жути! А мне ведь еще до пенсии далеко-о.— Ксения презрительно фыркнула.— Про таких, как я, наверное, и говорят — с жиру бесится. А? Барынька. Приходилось слышать небось? Факт, что слышала.— От жаркого ее, непонятного Варваре негодования лицо Ксении, и без того яркое, броское, сейчас похорошело еще сильнее. Ксения жадно затянулась сигаретой и с шумом выдохнула дым.— Вот ты мне тогда, как из кино вышли, сказала — мол, деревню я не понимаю. Напрасно считаешь так. Понимаю и люблю. И если хочешь знать, то и Шукшин мне твой нравится.— Ксения загадочно улыбнулась.— Сам-то он ничего... настоящий вроде. С силой. И волей. Знает, о чем собирается говорить. И недоговаривать. А вот все равно не люблю я его кино про деревню. «Миленский ты мой, возьми меня с собой»,— жалобно напела Ксения.— Действительно получается — странные мы. Очень странные...

— Ерунда какая-то. Ничего не понимаю,— вздохнула Варвара.

— Что не понимаешь?

— Да к чему ты все это?

— А ни к чему,— сердито прищурилась Ксения.— Чтобы ты ничего не поняла. Ты думаешь, я понимаю, почему у меня ничего нет? Ни сына, ни любви, на которую я способна... ни черта? Конечно, не понимаю. Пока еще был жив Сережа, мир этот хоть как-то да держался. Хотя я и это преувеличиваю. Сын-то ведь с годами все дальше и дальше отдалялся от меня. Отец его интересовал куда больше. А потом... после его гибели... все это вообще распалось. Не знаю, как ты, но я... вот в этой искусственной клетке... давно не прижилась. Я здесь искусственница, понимаешь? Мне все это абсолютно до лампочки. Что есть, что нет.

Ксения воткнула окурок в пепельницу. Села в кресло. Схватила конфету и нервно распотрошила ее. Кинула обратно в конфетницу.

— Иногда я думаю, что вот если бы мне все сначала... А потом — все равно. Знаю — начала уже не будет. Точка. А что будет? А вот что! Завтрак. «Сколько я раз тебе говорил — не переваривай

мне яйца!» Сидение на работе. Бумажку сюда, бумажку туда. Все как у Райкина. Обед. Ужин. Пыль. Тряпка. Хлопоты о свежих простынях. Трепотня по телефону. «Я вас сегодня видела, как вы прекрасно выглядите». Ну конечно, стоило для этого кончать институт. А с другой стороны, как же? «Необходимо соответствовать». — И опять Ксения явно кого-то копировала. — Книги? Да, книги. Вот тут уж один на один. И в результате — даже изменять ему неохота. — Ксения исподлобья взглянула на Варвару. Та не смотрела на нее. Слушала, опустив голову. — Лень даже это. Лень! Круг завершен. Обкатан до блеска. Катиться по нему распрекрасно — не качнет, не подбросит. И наружу не вывалишься. Лень, она, оказывается, тоже центробежную силу имеет.

— Ерунда! — резко остановила ее Варвара. — Глупости все это.

Ксения удивленно взморгнула натовченными тушью ресницами. Удобно откинулась в кресле и расхохоталась.

— Ну конечно, конечно. Для тебя все ерунда. Ты же, как и Кряквин, из нержавеющей стали... Шучу, шучу. Не обижайся, пожалуйста.

— Не на что, — отрубил Варвару. — Продолжай.

— С удовольствием. Только ты мне сначала скажи... вот чего бы тебе лично хотелось еще от жизни, а?

— Мне?.. Немного. Чтобы все хорошо было.

— А что же это такое — в с е х о р о ш о ?

Варвара задумалась.

— Молчишь. А все, Варюша, это, по-моему, как раз ничего. Все — это ерунда. Такого не бывает. Все, весь, всё... Да не нужно нам, бабам, в с ё. Не нужно... Странно, конечно, но ведь было когда-то время великих женщин. И они, великие женщины, творили великих мужчин!

Варвара прыснула.

— Смешно, да? — укоризненно сказала Ксения. — Ну смейся, смейся... А тут бы наоборот — реветь надо. Ведь утратили мы себя, бабы. Ты вот скажи — что такое сегодня красота женщины? Тьфу — и все! Дополнение к импортному гарнитуру, да? Довесок к служебному авторитету мужа? Сопутствующий его иерархическому продвижению элемент? Так и есть. На людях блесит, как солдатская пряжка, а дома — хоть с помойным ведром на голове. Во-от! А вернуться назад нынче Время Великих Женщин — я бы, ей-бо, смогла воспитать, выдрессировать Великого Мужика!

— А Иван Андреевич? — спросила Варвара.

— Кто? — сморщила нос Ксения. — Муж-то? А-а... Давай лучше о чем-нибудь другом. О тебе, к примеру, — наставила она на Варвару палец. — Боишься? Ты тратишь себя на школу. У тебя же на ней свет клином сошелся. Торчишь в ней до посинения, как эта... И живешь синим чулком. Для тебя ведь слова «ресторан», «вино», «мужчины», «развлечения» — одинаково что «преступление». Считаешь, не так? Так! А ведь если тебя одеть как следует, выхолить, стилизовать, — разошлась Ксения, — да тебе бы цены не было! Кряквин твой на руках бы тебя носил. И сам стал великим! Будь бы он моим, я бы...

Ксения замолчала. Остановил ее взгляд Варвары — та смотрела на нее в упор черными жгучими глазами.

Ксения попыталась выдержать его, но не смогла, слишком уж пронзителен был этот взгляд. Она опустила голову и медленно покраснела. Даже на шее у нее вспыхнули неровные алые пятна. Она поняла, что перешагнула сейчас через что-то совсем запретное.

А Варвара Дмитриевна спокойно, по-учительски твердо, как на диктантае, отчеканила:

— Не кажется ли вам, уважаемая Ксения Павловна, что мой Кряквин... именно такой потому... что он мой? Разрешите откланяться.

Ксения закрыла лицо руками.

Варвара Дмитриевна, прихрамывая, вышла из гостиной. И одновременно протрещала в тишине телефон.

Ксения вскоčila и выбежала в коридор. Сняла трубку, видя, как торопливо надевает пальто Варвара.

— Слушаю вас... Да, я... А-а! Добрый вечер, Юлий Петрович... Ничего. ничего. Не спала... Что?.. Нет, Иван Андреевич сегодня не звонил. Нет... Я думаю, завтра. Да... Как всегда, наверно, утренним рейсом... Кого провожаете? Студеникина? Понимаю... И ему от меня... Что?.. Это хорошо, что весьма. Одну минуту...

За Варварой Дмитриевной сухо стукнула дверь. Ксения растерянно стояла в коридоре, забыв о трубке. На двери раскачивалась, тускло поблескивая, стальная цепочка.

Юлий Петрович Шаганский, начальник бюро специальной психологии и социологических исследований комбината, звонил на квартиру Михеевых из кабинета директора ресторана «Пурга». Никто его об этом не просил и особой надобности в дополнительном узнавании о приезде Ивана Андреевича, конечно же, не было. Просто Юлию Петровичу надо было хоть чем-нибудь да заняться, надоело ему сидеть без внимания в уже основательно подогретом обществе сослуживцев, собравшихся в этот вечер в банкетном зале «Пурги», чтобы отметить окончательный отъезд из Полярска в Москву бывшего теперь начальника рудника Нижний Альберта Анатольевича Студеникина.

Поначалу еще все шло ничего; Юлий Петрович с ходу перехватил инициативу, многозначительно произнес заранее отрепетированный тост в честь «изменника ро... (многозначительная пауза), извиняюсь, рудника...», недурно подкинул пару самых свежих анекдотов, которые притаил в себе до подходящего случая после недавней ночевки у него дома одного знакомого лектора-социолога из Ленинграда, хорошо скаламбурил в адрес главного экономиста Гимова, известного в управленческом мире комбината потрясающей осторожностью и скупой предусмотрительностью во всем, активно высказал свое отношение к последним событиям в Ливане,— так что был вполне удовлетворен собой. Но постепенно, по мере провозглашения последующих тостов, Юлию Петровичу все трудней и трудней становилось с отыскиванием в нарастающем геме и разговорной неразберихе окон-пауз, когда бы он мог еще и еще явить свое неисчерпаемое остроумие и полемический блеск, и он заскучнел, подзамолк, отошел в тень, все более и более тяготясь своим пребыванием здесь.

Если бы Юлий Петрович мог позволить себе выпивать, как все, что когда-то, не так уж и давно, он умел делать, или хотя бы хорошо закусывать — это бы хоть как-то, но компенсировало вынужденное бездействие его за столом, но, к сожалению, и то и другое Юлию Петровичу было категорически запрещено врачами после случившегося с ним два года назад в Кисловодске инсульта.

Выкарабкавшись из болезни, Юлий Петрович остался заметно помечен ею: при ходьбе подволакивал правую ногу и говорил теперь с некоторым затруднением. Последнее было для него, пожалуй, самым тягостным. Ведь он славился по всему району своими лекциями, докладами, выступлениями.

Юлий Петрович по натуре был человек чрезвычайно деятельный. Он любил говорить. И мог говорить вечно, лишь бы слушали. Он знал все и обо всем. На трибунах и перед аудиторией он возгорался благороднейшим пламенем публициста, логично и неколебимо отстаивающего свою уверенность и убежденность. В такие минуты Юлий Петрович делался как бы выше ростом, еще стройнее и элегантнее. Голос его был звучен, он слегка грассировал. Скользя седина поредевших волос и отлично ухоженные усы импозантно дополняли чуть восточную внешность. Каждый жест был необходим и акцентированно важен.

Юлий Петрович прожил на Севере много, и за эту жизнь кем только не был на Севере. Он возглавлял руководство всем снабжением района. Потом верховодил подсобным хозяйством комбината. Потом числился кем-то в орсе, а перед тем как стать социологом, побыв снабженцем на руднике Нижний. Отсюда его и попросил уйти нынешний главный инженер комбината Кряквин. Он тогда заступил в должность начальника рудника.

Прощальный диалог Кряквина со снабженцем Шаганским тоже зафиксировался в памяти полярских долгожителей. Кряквин вызвал Шаганского в кабинет и спросил: почему рудник до сих пор не обеспечен нужным количеством лесоматериалов?

Юлий Петрович кивнул, понимая, пошевелил губами, открывая золотые коронки, и, как всегда, намерился отвечать обстоятельно и логично:

— Видите ли, Алексей Егорович, для того, чтобы лес стал просто деловой древесиной, то есть крепежником, брусом, шпалой, тесом и, если хотите, даже дровами... э-э... необходимо понять и усвоить всю специфику существующей организации лесозаготовительного производства в суровых полярных условиях...

— А для того чтобы крепежник был в руднике,— остановил его Кряквин,— я бы просил вас, Юлий Петрович, как можно скорее, вот прямо сейчас освободить занимаемое вами место и на досуге усвоить и понять всю существующую специфику организации горных работ под землей. Всего наилучшего.

При Кряквине Юлий Петрович проработал на руднике всего три часа. Оттого, вероятно, и не мог никак позабыть ему столь обидно короткого стажа совместной деятельности. Вот почему и сейчас, спустя столько лет, он нет-нет да и оплачивал помаленьку Кряквину свой душевный должок, не упуская любой возможности намекнуть директору комбината, доверием которого он странно и непонятно для многих пользовался в последнее время, о выдающихся способностях главного инженера и о его все возрастающем авторитете руководителя в сфере рабочего класса комбината.

Да, Юлий Петрович именно хвалил и умело возвеличивал перед Михеевым Алексея Егоровича. Никогда не опускался при разговоре с ним до обывательских, пускай и доверительных сплетен, никогда не пытался подловить Кряквина на каких-то неизбежных житейских промахах и мелочах. Наоборот, именно каждую мелочь Юлий Петрович умело облекал в высшее проявление инженерного ума Кряквина, с не видимым никому удовольствием отмечая раз за разом, или придумывая, глухую, пока еще и неосознанную неприязнь Михеева к своему главному инженеру...

Когда веселье компании в банкетном зале дозрело до «борьбы на локотках», Юлий Петрович, не замеченный никем, вышел в холл ресторана. С минуту подышал здесь свежим, клубливо струящимся из открытой фрамуги воздухом, затем демократично потрепался со

знакомым метрдотелем, одетым в несколько необычный для Полярска отутуженный фрак, заглянул в основной зал ресторана, где электрически буйно гремел оркестр, сновали молоденькие официантки и одинаково неумело прыгали друг перед другом, размахивая руками, танцующие, а потом и надумал позвонить Ксении Павловне Михеевой, расположением которой — он этого добился неназойливым вниманием: цветы, информация о дефицитных товарах на складе, анекдоты, редкие книги и прочие милые пустяки — пользовался.

Метрдотель услужливо отомкнул ему директорский кабинет и вежливо удалился. И вот теперь, так и не договорив с Ксенией Павловной, хотя она ему и сказала «одну минуточку...», Юлий Петрович, недоумевая, смотрел на молчащую трубку, пока в ней, не отозвавшись на его «алло», не раздались тягучие сигналы отбоя.

— Допустим, что у мадам на кухне сбежал кофе, — сказал сам себе вслух Юлий Петрович и тоже положил трубку на рычаг.

Посидел, разглаживая пальцем усы, подумал. С кряхтением встал и вышел из кабинета. Увидел идущих по холлу к двери банкетного зала безбожно опаздывающих на проводы Студеникина начальников Нижнего и Верхнего рудников Тучина и Беспятого.

— Кого я вижу! — громко сказал Юлий Петрович. — Господа, чем вы мотивируете опоздание?

— Да вот, понимаешь, все работаем, — сказал приземистый Беспятый. — У нас же наверху метет. Еле продрались.

— Суду все ясно. Прощу! — Юлий Петрович галантно распахнул перед ними дверь.

Они вошли и остановились. Никто на них не обращал внимания. Все сгрудилось возле Студеникина, азартно следя за его борьбой с главным экономистом Гимовым.

— Кто сле-дую-щий? — с напряжением в голосе спросил Студеникин и со стуком припечатал руку Гимова к столу. — Пардон.

Высокий костлявый Гимов сконфуженно вытер вспотевший лоб большим клетчатым платком, трубно высморкался и скривил тонкие губы, страдальчески реагируя на хохот и подначки вокруг.

— Я вам, Виктор Викторович, вот что могу посоветовать, — очень серьезно начал Студеникин. — Начинать с полотенца.

— Что с полотенца? — покосился недоверчиво Гимов.

— Все. По утрам перед работой берите обыкновенное полотенце, по сильнее его мочите под краном и выжимайте. Сперва по часовой стрелке, после против. Ужасно помогает развитию бицепсов и трицепсов. За совет денег не беру. Бесплатно от сердца отрываю. Пользуйтесь и освободите стульчик. Кто следующий?

Гимов мешковато встал со стула и с трудом пролез сквозь хохочущее окружение.

— Смелее, смелее, товарищи! — призывал Студеникин, одаривая всех приятной, очень открытой улыбкой. По тому, как он улыбался, можно было догадаться, что пользоваться своей улыбкой Студеникин умел. И вообще он производил весьма приятное впечатление: широкоплечий, широколобый, белозубый, веселый. — Да неужто перевелись на «Полярном» Калашниковы или как их там, Кирибеевичи?

— Не шуми, не шуми. Не перевелись. — На стул против Студеникина уселся Скороходов, секретарь парткома, рыжеватый скуластый мужчина. — Думаешь, ухряпал главного экономиста — так и все? Не-ет, паря.

— Фью-у, — присвистнул Студеникин. — Вот это да! Тем дороже будет и памятной победа.

— Это мы сейчас еще поглядим. Давай лапу.

Студеникин охотно приставил свой локоть к локтю Скороходова. Они обхватились ладонями. Напряглись. Закраснели лицами. Рука Скороходова было дрогнула и стала клониться, но он тут же с трудом выправил положение и в свою очередь пошел в наступление.

— Мо-ло-дец, пар-торг, — похвалил, кряхтя, Студеникин. — Первый... раунд... твой. Зато... второй... — Под белой рубашкой Студеникина вспухло обозначился плотный бутор мускула.

— Партком, держись!

— Капец, — злорадно хихикнул Гимов. — Недолго мучилась старушка, запутавшись в высоковольтных проводах. — Он ухватил вилкой ускользящий по тарелке грибок.

Несколько мгновений Скороходов еще пытался восстановить вертикаль, отчего руки обоих задрожали, но это ему не удалось, крен увеличился, и Студеникин дожал руку парторга до полировки стола.

— Твоя, твоя взяла, Альберт Анатольевич, — отдуваясь, сказал Скороходов. — На тебя бы Кряквина натравить.

— А что? Можно и Кряквина, — небрежно подхватил Студеникин и тут же, прочитав во взгляде Скороходова что-то насторожившее его, заметно изменил интонацию: — Жаль, конечно, что Алексей Егорович так занят и не смог прийти, а то бы... — Он со звуком поправил на себе яркие импортные подтяжки.

Скороходов, прикрывая губы ладонью, усмехнулся: он-то был в курсе настоящей причины отсутствия на проводах главного инженера, заходил к нему в кабинет сегодня. «Обойдется, — сказал Кряквин и с сердцем добавил: — Баба с воза — кобыле легче».

...Студеникин приехал в Полярск после окончания института и проработал на комбинате ровно пять лет. Был он сыном заместителя министра, и это заметно облегчило ему продвижение по служебной лестнице. Минута почти обязательные для карьеры начинающего горного инженера-практика должности рядового мастера смены и начальника участка в подземке, Студеникин сразу же осел в управлении — сначала в отделе техники безопасности, затем в НОТе, а потом оказался на Нижнем. С этого рудника тогда как раз ушел Кряквин, так что Студеникин, приняв от него отлаженное и нацеленное на длительный технический эксперимент хозяйство, тут же и приступил к сочинению кандидатской диссертации.

— Ни хрена, — еще тогда сказал Кряквин в своем кругу, — пускай себе хоть басни пишет. Быстрее смотается отсюда. Такую породу другим транспортом не вывезешь как чинами и диссертациями...

— Может, еще желающие имеются? — с улыбкой спросил Студеникин.

— Хватит уж тебе, Алик, — провела по его лбу платочком Люба, жена.

— Это почему же хватит, Любаша? Мы же с тобой Полярск-то, считай, навсегда покидаем. В Москве не с кем будет вот так вот тягаться. Не с профессорами же там институтскими. А уезжать, Люба, надо с победой.

— С чем, с чем?

Все оглянулись. Возле входа, привалившись к стене, стояли Тучин и Беспяты́й. Оба примерно одинакового роста, только Беспяты́й округлый, с брюшком, с совсем почти лысой головой, так, пушится белесо что-то, а Тучин худой, с высушенным темным лицом, на котором обвисли густые усы.

— Кто-то что-то сказал? — улыбнулся Студеникин. — Или мне показалось?

— Сказал, сказал... — Тучин решительно направился к столу.

— А-а! — разом выдохнула компания: человек двадцать собралось в банкетном зале.

— Штрафную им!

— Мне сухого, — твердо сказал Тучин, оглаживая ладонью усы.

— А мне чего помокрее, — пробасил Беспятый.

Им протянули бокалы.

— Речи пусть скажут!

— И без бумажек.

— Скажем, скажем, — сказал Тучин. — Только уймитесь. Значит, так. Перво-наперво просим извинить за опоздание. Дела. А выпьем мы... за коллективный отъезд Студеникиных. И пожелаем им, значит, счастливой дорожки в столицу. Так, Егор Палыч?

— Неизбежно, — невозмутимо кивнул Беспятый.

Компания ревниво проследила, до дна ли выпили опоздавшие, а когда они выпили, Студеникин, радушный, широкий, с ехидцей поинтересовался:

— Так о чем вы давеча спросили-то, Павел Степанович?

— А-а, — пережевывая закуску, отозвался Тучин. — Да все насчет того, с чем это вы собираетесь покидать нас, Альберт Анатольевич?

— Отвечаю. С победой. Только с победой. Рудник мой, Нижний, всегда был в передовых, и вы, мой преемник, думаю, чести его не уроните. Не так ли, Павел Степанович?

— Уронить-то уж точно не уроним. А вот поднимать, факт, придется.

Студеникин внимательно и настороженно посмотрел на Тучина, но тут же, заминая паузу, расцвел в улыбке:

— Вызываю на соцсоревнование, Павел Степанович. Парное. — Он выставил руку на стол и покрутил увесистым кулаком.

— Это мы можем, — подумав, сказал Тучин и скинул пиджак. — Прошу сохранить, — подмигнул он Клыбину, мордастому человеку с огромным родимым пятном на левой щеке. Клыбин был председателем рудкома на Нижнем. — Учти — в нем профсоюзный билет. С уплаченными профвзносами.

Клыбин ухмыльнулся.

— Ну так как, Егор Палыч? — Тучин подтолкнул плечом Беспятого. — Утрем?

— Непременно, — согласился невозмутимый Беспятый.

— Что это вы собираетесь утереть? — спросил Студеникин.

— Нос. Вам, — ответил Беспятый.

Вокруг загалдели:

— Тучин, давай!

— Не осрами Нижнего!

— Прошу. — Студеникин жестом пригласил Тучина на стул против себя.

Когда оба приготовились и уже обхватились ладонями, стала отчетливо заметна разница: рука Тучина была покороче руки Студеникина, потоньше.

— Сломает, — убежденно сказал Гимов Юлию Петровичу.

— С вашим мнением согласен, — с видом знатока поддержал его Юлий Петрович.

— Об чем речь! — хохотнул Клыбин. — Альберт Анатольевич и слона завалит.

— Спорим? — предложил всем троем Скороходов.

— На что?

— На ящичек рижского.

— Я разниму, — разбил их Конусов, заместитель директора комбината по производству, как бы подчеркивая этим шутливым движе-

нием невидимую, но существующую границу взаимосимпатий между этими людьми.

— Вы готовы? — не скрывая превосходства, спросил Студеникин.

— А вы? — ядовито ответил Тучин.

— Начали!

Видимо, Студеникин решил с ходу опрокинуть внешне слабоватую руку Тучина и в первое же свое усилие вложил все, на что был способен.

В зале сделалось очень тихо. И слышны стали скрипы стульев под борющимися, их натруженное, неровное дыхание. Лицо Студеникина побагровело, но, удивительная штука, рука Тучина даже не дрогнула, только усы его чуть-чуть pokrивились.

— О-о-го! — азартно сказал кто-то.

— Пашенька, держись! — шепнула жена Беспятого.

— Дыши глубже, Михайловна, — невозмутимо сказал Беспятый, поблескивая умными медвежьими глазами.— Подложи-ка мне вон того продукта. Ага, мяска. Тучина оглоблей не перешибешь. Он же до самой пятки деревянный.

— Ты скажешь.

Тусклыми накрапами выступил пот на лбу Студеникина. Чувствовалось, что он выкладывает на всю катушку, но тучинская рука попрежнему мертво и неколебимо стояла прямо.

— А теперь... Сту... де... ни... кин... — натужно выцедил из себя Тучин, — следи... внимательно... за рукой... Вот за этой. С колечком... Не люблю я... пижонов. Не... люблю. Даже... если... и уезжают они... насовсем.

Рука Студеникина завибрировала на локте и пошла, пошла, пошла книзу. Стукнулась о столешницу.

Еще с секунду в зале сохранялась полная тишина. И официант, молодой паренек в щегольском белом смокинге, продолжал окаменело стоять на стуле, чтобы лучше видеть, с подносом в руках. Потом поднялся шум.

— Качать Тучина!

— Шайбу!

— Ну? — сказал жене Беспятый.

— Пивко-то когда будем пить? — с подначкой поинтересовался у Гимова Скороходов.— Я не спешу. Летом, а? На рыбалке.

— Навероятно, — пожал плечами Гимов.

— Да он же устал. Устал! С двумя ведь до него ломался, а то бы... — оправдывал Студеникина Клыбин.

— Павел Степанович, ты бы уж поделился с Альбертом Анатольевичем опытом, а? Как таких вершин достичь? — шуточно попросил, подергивая щекой — тик, — Конусов.

— А-а... Пожалуйста. Секретов тут никаких, — сказал Тучин, надевая пиджак.— Приедете в Москву, Альберт Анатольевич, первым делом купите в ЦУМе махровое полотенце. У нас их в Полярске не водится. Да. И утречком пораньше, помочив его под краном, выжимайте. Сперва по часовой стрелке, после... — Остальное утонуло в хохочущем гвалте.

— Товарищи! Прошу всех к столу! — звонко прокричала Люба, жена Студеникина.— Горячее остывает! Отбивные из сохатины!

— Друзья! — обратился ко всем Студеникин.— Минуту внимания! Ну пожалуйста. Я хочу сказать. Я хочу сказать, что, честное слово, я счастлив, что работал с вами. Без вас я бы не смог защитить диссертацию и прочее. Я буду всегда помнить о вас. А вы не забывайте про нас с Любой. За вас!

— Не забудем, — буркнул в усы Тучин.

Беспятый умолк, полез в карман за папиросами, закурил, а в зале все еще продолжалась тишина. Потом кто-то захолопал.

— Егор Павлович, простите,— сказал Студеникин.— Что это вы пели? По-моему, очень старое что-то.

Беспятый меланхолично наполнил свою рюмку и встал.

— Безусловно. Ее моя матушка поет, сибирячка. Вот уж кто это дело умеет. У-у... За матерей наших прошу принять... За родительниц!

Все с чувством выпили.

— Пойду на рудник позвоню,— наклонился к Беспятому Тучин.

— А что?

— Так. Мало ли...

Тучин подошел к Студеникину. Тот широко и ненужно улыбнулся. Тучин внимательно изучил улыбку и с презрительным ударением на последнее слово спросил:

— Сияешь, Алик?

— Поди, тоже рад?

— Вот завтра улетишь — порадуюсь...

— Чему, если не секрет?

— Воздуху чистому.

Студеникин фыркнул:

— Все грубишь, Паша. А между прочим, благодарить бы меня должен. Я с Нижнего — ты в начальники сразу. Я в Москву — ты в квартиру мою. Трехкомнатную. Цени.

— Ба-аль-шое спасибо.

— Да не за что. Живи. Пользуйся... Кстати, знаешь,— Студеникин перешел было уже и совсем на приятельский тон,— мы с Любой решили вам всю мебель оставить и холодильник. Он хоть и старый, но тянет будь здоров.

Тучин оглянулся. Их никто не слушал.

— Ну вот что, Студеникин,— сказал Тучин, придвинувшись вплотную.— Не хотел я. Да скажу. Надо.

— Скажи, скажи, Павел Степанович,— заиграл голосом Студеникин.— Весь внимание.

Тучин сузил глаза, будто прицелился, и нервно шевельнул усами.

— Сука ты.

Студеникин переменялся в лице. Потом, деланно улыбаясь, шепнул:

— Переночевать-то уж сегодня позволь, а? Билеты у нас на завтра.

Из глубины материально-ходовой штольни возник сначала яркий глаз электровоза, а затем и весь состав, качающийся, с пустым, консервным грохотом подвалил к конечной остановке. Вместе с отработавшей сменой вылез из вагончика, лязгнув страховочной цепочкой, Гаврилов, начальник первого горного участка. Такой же, как и все здесь,— в робе, с лампой, зависшей на плече, в пластиковой каске, в резиновых сапогах с подвернутыми голенищами.

На секунду растворился в толкучке у выхода в бытовой цех, а после — в коридоре стало посвободней — размашисто закачался к ламповой. Среднего роста. Коренастый. Сосредоточенный. Желваки. Сжатые пересохшие губы. Лицо припорошила подземная пыль.

Как-то круто, неподготовленно, завернул в туалет, бабахнув дверью. Двое в горняцком, покуривая, скалились над своим разговором:

— ...а на шее у ее цепочка. А на ей кораблик. Ма-а-аленький такой. С парусами. Понял? Ну, я, значит, соображаю. Берусь за тое

суденышко деликатно, двумя пальцами. Вот так-от вот. И-и-и... А тут аккурат мамаша ее. Пасла нас, значит. Зануда. «Нюра. Ты ба до булошной не пробеглась, а? Гость дорогой, поди, чаю желает со свежим...» — Изобразил. — Стерьфы! Полжизни!

— Да-к ты бы... — начал было с азартом второй, но тут из кабины вышел Гаврилов.

Поглядел на обоих с прищуром:

— Слышь, Сыркин. Это не твоя там работа?

— Чего, Иван Федорович?

— Настенные росписи, говорю, не твои там?

— А-а... в гальюне-то? Где про Шапкину с Гришкой? — осклабил он рябое, расклеванное оспой лицо. — Не-е... Там же все в рифмах. Я по такому не волоку. Не-е...

Гаврилов внимательно поглядел на его рожу, скривился, как от зубной боли, сплюнул с отвращением и вышел — тугая дверь за ним хлопнула по-барабанному.

У прилавка ламповой Гаврилов отстегнул пояс, на котором крепится фонарь с аккумулятором, сдал и, пройдя еще пару шагов, заглянул в окошко сатураторной.

— Есть кто живой?

Высокая фигуристая девица с наведенными глазами и белокурой, пышно взбитой прической задумчиво посмотрела на него, чуть пригнувшись, и нехотя шипанула ему в стакан прозрачной, в пузырьках воды. Гаврилов залпом выпил. Крякнул.

— Еще.

— На ночь-то глядя?

Гаврилов поглядел на нее сквозь пустой стакан, как в бинокль, отмечая про себя: заноза... Обрывисто спросил:

— Это ты, что ли, Шапкина будешь?

Она не ответила, только во взгляде ее, не то насмешливым, не то презрительным, уловимо качнулось настороженное внимание.

— Чего молчишь-то? Тебя спрашиваю.

Неожиданно она привалилась на докоть с той стороны окошка и протянула Гаврилову мокрые пальцы. Улыбнулась ехидно:

— Давай, родимый, познакомимся. Зинаида Константиновна. И фамилию я свою покуда не меняла. Чё дальше?

Гаврилов растерянно кыхнул.

— Ишь ты... А я Гаврилов. Отец Гришкин. Может, слыхала? — Он украдкой глянул по сторонам. Никого не было. Тоже облокотился. — Там-то про тебя все больше без имени... — Гаврилов мотнул головой в сторону туалета. — И давно вы с Григорием?

Газировщица напряглась, сузила раскосые глаза:

— А пошел ты!..

Перед самым носом Гаврилова жажнула, закрываясь, деревянная задвижка.

Уже в конторе участка Гаврилов позвонил:

— Кто это?.. А-а... Годится. Ты вот что... пойдешь из горы —хвати-ка в разрядке за бачком питьевым ведро с краской. Понял?.. Да нет, за бачком. Ага. С масляной. И короче! — Он с сердцем, громко опустил на рычаг трубку. — Ну Гришка...

— Ну как? — спросил, не поднимая головы, Григорий. Чуб его свесился на лицо. Последний аккорд он проводил нежным покачиванием гитарного грифа, отчего звуки вышли дрожащими, волнистогучими. — А?

Неля покосилась на него и, не ответив, снова принялась разглядывать себя в круглое, с ручкой зеркальце.

Григорий наклонился и поднял с пепельницы, стоящей на полу рядом с настольной лампой, не дотлевший еще до фильтра огарок сигареты. Затянулся.

— Хватит красоваться-то. Скажи про песню — как?

Он потуже подобрал под себя сложенные крестом босые ноги. Сидел на кровати без майки, в одних трусах.

— Не без смысла,— запахнув халат на груди, спокойно сказала Неля.— Только зачем вот это?

Григорий вытянул шею, и она показала ему пальцем темное пятнышко на горле.

— Чешуя,— сказал он добродушно.— Пудрой замажь.

— Какой образованный.— Неля оттолкнула его ладонью.— Уйди. Песни сочиняешь, а вот тут...— она постучала себя по лбу,— понял?

Григорий блаженно потянулся, с хрустом раскидывая белые сильные руки. Взял гитару за гриф и аккуратно спустил ее в промежуток между спинкой кровати и стеной. Зевнул. Откровенно, по-домашнему.

— Гонишь, значит? На мороз. И не жалко ведь. У-ух и надоела мне, Нелька, такая жизнь. Во как!

— Тише ты. Не нравится — не ходи.

— В том и дело... Не нравилось бы, не ходил. А вот подумать... забавный вы народ, бабы. С вами что у костра в лесу. Спереди Ташкент, аж с носу капает, а сзади колотун сплошной.

— Ты одевайся, одевайся.

Григорий натянул майку.

— А что? Вот оденусь сейчас, выйду на коридор и как рывкну на всю общежитку вашу — мол, люблю Нельку Чижову. А?

— А Зина и услышит,— с издевкой добавила Неля.

Григорий быстро взглянул на нее.

— Чего закосился, Гришенька? Я ведь про Зинаиду твою говорю. Шапкину. Может, первый раз слышишь?

Он засопел, завозился, надевая носок.

— Ну?

— Что ну? — мучила его Неля.

— Уже назвонили?

— Да уж известно.

— И что ты?

— А что я? Это у тебя надо спросить.

— Что? — Григорий зазвякал пряжкой брючного ремня и встал.

— Иди-иди,— махнула на него рукой Неля.— И на досуге песню об этом сочини.— Она легла и завернулась в одеяло.

Григорий, набычившись, стоял над ней здоровый, мускулистый.

— И что дальше? — спросил он свистящим шепотом.— Что ж ты мне сразу-то ничё не сказала?

— Неинтересно было,— улыбнулась Неля.

— Хм... А щас, значит, интересно?

— Еще как. Вы же думаете, что вы для нас главное... А мы тоже, Гришенька, своего хотим.

— Дешевка ты,— сплюнул Григорий.

Неля рывком села. Откинула назад распушенные волосы и не мигая посмотрела Григорию в глаза. Он машинально отстранился. А Неля вдруг громко рассмеялась. Григорий оторопел.

— Ты... что?

— Бу-гай,— отчетливо сказала Неля, и в этот момент в коридоре раздался какой-то шум, голоса. И громко постучали в дверь.

Они испуганно замерли.

— Чижова! Откройте немедленно! Комсомольский патруль общежития!

Григорий стремительно одевался. Носки. Рубаха. Свитер. Ботинки. Остальное — пиджак, шапку, пальто — скомкал клубком.

— Чижова, вы же слышите! Откройте! — требовал за дверью возбужденный женский голос.

— Во падла! — ругнулся одними губами Григорий.

— Давай-давай,— показала ему на окно Неля.— Прыгай.

Григорий распахнул створки. Вторые. Навстречу шибануло парящимся холодом. Отсюда, со второго этажа общежития, смутно виднелись в ночном сумраке подсвеченные ближним фонарем, бугристо накрытые снегом клумбы. Он скинул вниз неодетые шмотки, влез на подоконник и оглянулся. Неля, стоя возле кровати в короткой прозрачно-открытой рубашке, беззвучно давилась от смеха.

— Ну гляди,— прошипел Григорий, примерился и прыгнул.

Неля подошла к окну, посмотрела на барахтающегося в глубоком снегу Григория, вытряхнула из пепельницы и закрыла створки. Начала быстро и бесшумно наводить порядок: вернула с пола на место лампу, расправила постель, надела халат, еще раз внимательно осмотрелась и только после этого деланно сонно зевнула.

— Мы же все равно откроем! — настаивал за дверью все тот же азартно-нервный голос.— Уж на этот-то раз она попалась! Будем ставить вопрос о ее пребывании в общежитии. Хватит, понянчились!

— Кто там? — спросила Неля.

— Она еще спрашивает. Комендант, вот кто! Открывай!

— Одну минуту...— Неля включила большой свет и, зевая, открыла наконец дверь.

В комнату так и впорхнула сухонькая, довольно молодая еще женщина с ядовито подобранными губами.

— Ты уж нас, Чижова, извини,— жадно оглядывая комнату сощуренными глазками, затараторила она.— Мы нынче тревожим кто вроде тебя. Кто на примете. Рейд, понимаешь? Ты, конечно, одна здесь?

— Не совсем,— сказала Неля.— Вот кто-то еще передо мной суетится.— Она показала на комендантшу пальцем.— Никак только не разберу — кто это? А-а, мадам Фиолетова! Это вы? Заходите, садитесь. Я вам сейчас сон расскажу. А то, знаете ли, скушно одной... О-о! А вот и еще люди. Вы тоже заходите.— Неля игриво поманила пальчиком парней с повязками на рукавах, что смущенно заглядывали в комнату.

— Ты нам зубы не заговаривай,— отмахнулась комендантша,— показывай, где твой...— Она нервно хихикнула.

— В шкафу,— серьезно сказала Неля.

— А мы и посмотрим, посмотрим.— Комендантша прошлась по комнате, заглянула под кровать и остановилась возле шкафа.— Будете свидетелями,— обернулась она к парням и опасно потянула за ключик.

Дверца тягуче заскрипела.

— Гав! — звонко выдохнула Неля.

Парни вздрогнули, а комендантша даже подпрыгнула перед распахнутым шкафом.

— Какое безобразие...— не сразу сказала она.— Просто возмутительная выходка.

— А вы водички, водички попейте,— нежно предложила Неля.

— Да... Странно. Очень странно. Куда бы он мог деться? — растерянно обратилась к свидетелям комендантша.— Может быть, в окно выскочил?

— Точно, — кивнула Неля. — Вот бы и вы за ним, а?
 — Ты помалкивай, помалкивай. Я все-таки комендант! И у меня имеются сведения...
 — Что у вас имеется? — Неля вытряхнула из пачки сигарету и пронзительно посмотрела на осекшуюся под ее взглядом комендантшу.
 — Сведения.
 — Это хорошо, — перебила ее Неля. Улыбнулась и ласково-ласково сказала: — А теперь вместе с ними кыш отсюда!

— «Быт ил нэ быт? Вот в чом вапроз! — с совершенно невозможным акцентом читал вслух Серега Гуридзе. — Што благороднэй — духом покорятца пращам и стрэлам яростной судьбы ил, ополчас на морэ смут, сразит их пратьваборством?..» Вай! — Последующий восторг Серега выказал на родном грузинском.

В общежитской комнате на четыре койки, четыре тумбочки и единый обеденный стол, кроме Сереги, не было никого. Серега докурил до пальцев сигарету и сердито вымахнул, ожегшись, окурочок в распахнутую форточку, возле которой клубился пар и полоскалась ситцевая занавеска.

— «Умэрэт, заснут — и толко?..» — Серега наморщил лицо, вспоминая текст.

Не вспомнил. С досадой проткнул воздух перед собой тупоносным кухонным ножом и вернулся к столу, где среди всякого посудного хлама и остатков еды было отвоевано место раскрытой книге. Ненадолго приник к ней, водя пальцем по строчкам, зажмурился и опять вернулся на прежнее место возле окна, где и принял трагическую позу.

Гамлет в Серегином варианте гляделся убедительно: дешевый синенький спортокостюмчик в обтяжку, штанины сели после стирки или такие уж были, по щиколотку; дальше — белые и очень толстые шерстяные носки, незашнурованные кеды. Но главное — упоенность.

— «Быт ил нэ быт? Вот в чом вапроз!»

Что-то темное и тяжелое обрушилось в снег за стеклом перед Серегой. Он вздрогнул и припал к окну, загоразживаясь от света ладонями. Узнал сразу — Григорий.

Серега запрыгнул на подоконник и высунул в форточку голову.

— Эй, ты откуда упал?

Григорий обернулся и, надевая пальто и шапку, сердито сказал:

— С Венеры.

— Зайдешь?

— Нет. И ты меня не видел, понял?

— Конечно.

Григорий, отряхиваясь от снега, исчез за общежитским углом.

Серега спрыгнул с подоконника, зябко поежился и взмахнул ножом.

— «Умэрэт, заснут — и толко?»

В дверь просунулась белобрысая, коротко стриженная девчоночья голова.

— Антракт! — звонко крикнула девчонка. — Все встают и падают.

— Э-э, Валентина, — выбился из настроения Гамлет. — Заходи. Гостем будешь.

Валентина вошла, оставив дверь открытой. Рвануло сквозняком, и перелистнулись на столе книжные страницы.

— Ну как, Серго? Много еще осталось? — спросила Валя.

— А-а... Учить не переучить. Вот сколько еще. — Серега показал неосвоенную толщину книги.

— Смотри не рехнись. Это же и чокнуться можно,— посочувствовала Валентина и без перехода продолжила: — А там Зинка Шапкина с рудника приехала. Ру-угается. Ты с Гришкой-то, поди, так и не поговорил насчет Зинки, а?

— Нет, Валентина. Он, понимаешь... занят был.

— А что же делать, Серго? Зинка ведь знаешь какая — натворит чего с собой.

Сергеа мучительно соображал:

— Я тут думал. И у меня идея возникла.

— Какая?

Сергеа швырнул на стол нож, схватил с подоконника берет, решительно натянул на бритую голову.

— Пошли к Зинаиде.

За темными стеклами ныла, срываясь на щенячий визг, метель. В пустом туалете Гаврилов размашисто водил по стенкам кистью. Краски не жалел, и она подтекала. Когда все было кончено, обвел прищуром работу и неожиданно зло дернул за цепку. Обрушилась вода.

Кряквин, насупившись и оттопырив губы, в которых забыто торчала потухшая папироса, медленно дочитал последнюю, густо испечатанную пишущей машинкой страницу, плотнее вдавил лицо в ладони, еще разок искоса прицелился в подписи, венчающие весь текст: «Руководитель бюро социальной психологии — Ю. П. Шаганский. Старший инженер бюро социальной психологии — В. И. Лопухов», — закрыл глаза, снова припоминая, как года два... или, однако... три назад... мимоходом познакомился на Нижнем с этим белобрысым крепильщиком и, перекуривая с ним в разрядке, был весьма удивлен, узнав, что паренек-то, оказывается — о-ого! — заочно учится на философа в Ленинградском университете, а потом уже, когда Шаганский развил свою бурную социологическую деятельность на комбинате, не забыв про «рудничного Гегеля», сам же, и довольно настойчиво, порекомендовал Юлию Петровичу взять Лопухова к себе в бюро.

Припомнив все это, Кряквин вздохнул, отчего сорвалась с папиросы и бесшумно опала на стол перед ним холодная завихрушка пепла. Так и сидел недвижно, будто уснув, — локти в колени, а над обрезом столешницы, совсем низко, в зеленоватом полукруге лампы — только голова в ладонях да ссутулившиеся твердые плечи, чернотой облитые тонким свитером-водолазкой.

То, что он сейчас прочитал, а вообще-то читать не собирался, во всяком случае сегодня, — Кряквин заранее, с неизменным предубеждением и пренебрежением относился ко всему, что бы ни сделал Шаганский, тем более в этой ставшей вдруг модной социологии, — называлось достаточно громко и претенциозно — «Социологическое исследование причин снижения престижа профессии проходчика на рудниках комбината «Полярный». И вот он все-таки прочитал его, потому как опять — черт его знает что! — не работалось над своим, кровным, и пухлая папка с рукописью, в которой он давненько задумал по-своему обобщить и проанализировать накопившийся опыт подземной разработки апатитовых месторождений, так и осталась лежать неразвязанной на столе. Работе над ней, как и в прошлый вечер, мешало противное, отвлекающее от сосредоточенности беспокойство, связанное все с тем же ожиданием звонка из Москвы от Михеева, а он, как назло, не звонил и не звонил, хотя Кряквин и знал уже, что директор не выступил на совещании...

В конце дня, сразу же после нервного, с криками и многословием, заседания расширенного профкома, кое-как, с грехом пополам распределившего жилье в только что отстроенном крупнопанельном доме,— Кряквину тоже пришлось пару раз вступать в общий спор, убеждая профкомовцев в крайней, ну позарез необходимости выделения трех квартир горняцким семьям с Нижнего,— к нему в кабинет ввалился Шаганский и с порога, уже четвертым за этот день, сообщил, что «Иван-то Андреевич... из достоверных источников... вы, Алексей Егорович, вероятно, в курсе, да?... так и не выступил на совещании... Вероятно... э-э... (Шаганский показал металлические коронки во рту) в связи... сами понимаете... с нелетной погодой...»

Кряквин, удерживая раздражение, мотнул головой и, чтобы побыстрее отбойриться от ненужной ему трепотни, хмуро спросил:

— У вас ко мне все?

Шаганский, никак не среагировав на намек, с достоинством опустился в кресло:

— Ноу из нот, как говорят в Великобритании. Алексей Егорович, у меня к вам просьба. Так сказать, не в службу, а в дружбу.

«Тоже мне друг нашелся»,— подумал Кряквин и, потупившись, буркнул:

— Выкладываете.

Юлий Петрович деловито раскрыл портфель, выудил из него какую-то стопку бумаги и аккуратно положил Кряквину на стол.

— Вот... Посмотрите, пожалуйста. Я думаю... э-э... вам будет неинтересно ознакомиться. Первым,— особо подчеркнул он.

— Это почему же так думаете?— с открытой иронией спросил Кряквин, вытянул шею и прочитал название на титульном листе.

Шаганский улыбнулся.

— Интуиция. Заказ на сей труд был сделан Тучиным по Нижнему руднику, и только. Но мы... у себя... подумали и решили взять тему шире, так сказать, репрезентативней. Сами понимаете... По всем рудникам.

— Кто это «мы»?

— Бюро социальной психологии.

— А конкретнее?

— Не понимаю вас, Алексей Егорович.

— Чего уж тут понимать? Я спрашиваю — кто конкретно... пошел вот над этим социологическим исследованием? И все.

— А-а... Но, простите, я считал, что в данном случае... э-э... охрана авторских прав...— попытался отшутиться Шаганский.

— Давайте без этих,— махнув ладонью, скривился Кряквин.— Я после профкома оглох на хохмы.— Он придвинул к себе рукопись и заглянул в последнюю страницу.— Во-от... Тут же все указано. Мой протеже, что ли? Лопухов?

— М-м...— пожевал губами Шаганский.— Видите ли... Исполнял Лопухов. Но... под моим непосредственным...

— Это естественно, естественно,— улыбнулся Кряквин.— Ваши лавры при вас. А вот Лопухову привет от меня. Рад за него. Рад. Выходит, вышел толк из крепыльщика, а? Вышел. Уж и приятная штука — не ошибиться в человеке. А теперь, значит, последний вопрос. Что-то я не пойму малость, Юлий Петрович. Это за что же мне, по вашему... социально-психологическому... такая великая честь — читать это первому? Почему бы не Тучину сразу? Он-то ведь как-никак генеральный заказчик.

Шаганский сделал постное лицо, поочередно пошевелил кустистыми бровями, защелкнул пражку портфеля, вздохнул, тяжело под-

нимаясь с кресла, и вдруг ответил с неожиданным для Кряквина вызовом:

— Я буду не против, если вы ответите на этот вопрос сами... товарищ главный инженер. Разрешите откланяться.

Он с независимым, гордым видом вышел из кабинета.

Сейчас Кряквин думал о прочитанном. И, может быть, оттого, что ему не так-то уж часто приходилось иметь дело с подобного рода «литературой», в практической полезности которой он, по правде сказать, здорово сомневался, как сомневался вообще в целесообразности столь распространенного за последнее время нюхального увлечения всякого сорта социологическими бюро и лабораториями, причем такая инициатива поощрялась и поддерживалась газетами, радио, а специально-то обученных, квалифицированных для этого кадров — факт! — не хватало, — только что дочитанное им «исследование Лопухова» действительно зацепило за живое. Взбудоражило.

Поначалу Кряквин даже озлился: «Химеры и фантомы, понимаешь! Какой-то мальчишка, сопляк, без году неделя нюхавший подземки, учит меня тому, что я и без него знаю как дважды два». Но постепенно злость испарилась, и Кряквин стал размышлять спокойнее.

Лопухов дотошно опросил около сотни проходчиков комбината про их горняцкое житье-бытье, и абсолютное большинство из них в открытую высказало недовольство своей профессией. «Гляди-ка, — уважительно подумалось Кряквину, — позубастее стал народ. Это хорошо. Славно».

Проходчиков — «по Лопухову» — не устраивали в первую очередь условия труда: сильная завлажненность рабочих мест, манипулирование громоздким металлическим оборудованием, скоро портящаяся спецодежда; шум, пыль, повышенная опасность травматизма и угроза профессионального заболевания; длительность периода освоения профессии и, следовательно, достижения желаемой зарплаты; малая разница в оплате труда проходчика по сравнению с другими горными специальностями при различном уровне тяжести и вредности труда; наличие сложно выполняемых норм выработки; плохое обеспечение запчастями; отсутствие льгот и преимуществ проходчикам, учитывая исключительность их профессии.

Даже те горняки, которые, судя по анкете, были вроде бы удовлетворены своей специальностью, комментировали это удовлетворение довольно кисло: «А куда денешься? Перейти на другую работу не позволяет образование», «Привык помаленьку, втянулся», «Работать можно, было бы желание», «Эта работенка меня пока устраивает»...

А какой-то незнакомый Кряквину Сундуков А. В., электрослесарь отдела главного механика, наговорил больше всех, и Лопухов, видимо, с удовольствием полностью записал его тронную речь: «Мой отец всю жизнь проработал проходчиком и приобрел виброболезнь и радикулит. Категорически не советовал мне идти в проходчики. Работа электрослесаря более интересная. Но я все равно попытался присмотреться к работе проходчика, даже попробовал. Очень тяжелый труд. А у меня первый разряд по лыжам, но на проходке тяжело. Seriously... Вот я учусь в техникуме, веду общественную работу в комсомоле, а на проходке было бы не до этого. Опять же минус. Чтобы привлечь молодежь, труд теперь должен быть более техничен. Без переутомления. Нынешнюю молодежь такой труд, который устраивал отцов, не устраивает. А почему? Время изменилось. Взгляды молодежи и их требования к условиям труда ныне не те. А на проходке-то и вообще со времен отца существенно ничего не изме-

нилось. Как работал когда-то мой отец в воде, при сильном шуме, таскал на себе тяжеленные железяки, так все почти и осталось. Инженерная-то мысль наших инженеров двигалась куда? По направлению увеличения производительности проходческого оборудования, а вопросы оздоровления условий труда позабылись в сторонке. Это не дело, как я понимаю. И вот бы куда надо подумать скорее руководству в первую очередь».

Кряквин сдул со стола пепел. Встал. Распрянул уставшую от неудобного положения спину и задумчиво подошел к окну. Долго смотрел на заснеженный кусок дороги, неровно подсвеченный уличными фонарями. Там мела, поискривая, поземка. «Что же это получается? — думалось с грустью ему. — Сундуков-то, электрослесарь, прав. Прав... Вмазал в самую точку — никуда не поперешь...»

С неделю назад Кряквин почти закончил вчерне текст предисловия к своей будущей монографии. Предисловие долго не получалось, и пришлось повозиться над ним, так что теперь он знал этот текст почти наизусть. «Ввиду огромных масштабов добычи и объемов горных работ на комбинате «Полярный» здесь с самого начала освоения уникальных апатитовых месторождений большое внимание уделялось совершенствованию техники и технологии добычи руды. Об этом свидетельствует весьма высокая эффективность подземных работ на рудниках комбината в сравнении не только с другими заполярными рудниками страны, но и с передовыми горнорудными предприятиями Кривого Рога, Северного Кавказа и Горной Шории, применяющими системы с массовой отбойкой руды.

Комбинат «Полярный» одним из первых среди отечественных горных предприятий внедрил систему этажного принудительного обрушения. На подземных рудниках комбината впервые в широких промышленных масштабах освоена доставка руды мощными скреперными лебедками, осуществлен полный переход на многостаночное бурение скважин, внедрена массовая механизированная зарядка глубоких скважин. Проведены широкие промышленные испытания и начато освоение выпуска руды с применением вибропитателей.

Высокие показатели работы подземных рудников комбината «Полярный» не могли появиться на основе отдельных разрозненных исследований. Это результат продуманной технической политики, последовательно осуществляемой на всех уровнях инженерной службы комбината и имеющей целью непрерывное совершенствование и технически обоснованное прогнозирование дальнейшего развития горного производства...»

«Ну и что? Что дальше? — ехидно спросил самого себя Кряквин, продолжая смотреть в окно. — Это же все про железки... А где ж у тебя про людей, которые ворочают этими железками? Про вот таких вот Сундуковых и прочих?..» И в это мгновение Кряквин поймал себя на мысли, от которой ему разом сделалось душно. Он подумал о том, что если бы сейчас вместо Михеева в Москве находился он, Кряквин, то, наверное, этот Кряквин тоже не выступил бы на совещании. «Почему? — немо спросил он у собственного отражения в темном стекле, слегка поседевшем от близкого дыхания. — Почему?» И кто-то решительно и твердо ответил ему в нем самом: «Да потому что ты тоже в ответе за все, что грозит комбинату. Ты тоже, как и Михеев, все эти годы только выполнял план, спускаемый сверху. Ты напрягал до упора технологическую нить рудников, не так, что ли? Ты шел на компромиссы там, где необходимо было проявлять риск и решимость. Вон результат твоего сглаживания углов — Студеникин. Завтра он навсегда сматывается с комбината. Что, ты не мог выши-

бить его отсюда раньше? То-то. Еще как мог. Вот так-то, братец. Подумаешь, ты чуть раньше Михеева схватился за голову. В твоих расчетах по комбинату — твоя вина, а не заслуга, понял? Так что не жди звонка от Михеева».

Кряквин прислонился лбом к обмороженному стеклу. Оторвался от него и размашисто заходил по кабинету, яростно дожевывая бумажный мундштук папирасы. Наконец выплюнул его и, чтобы сбить волнение — так он делал не раз наедине с собой, — наклонился, поставил ладони на ковер и выкинул тело в стойку, чувствуя, как горячо наливается кровью лицо.

— Раз... Два... Три...

Он не сразу заметил, как беззвучно приоткрылась дверь его кабинета, а затем в него бочком просунулась светловолосая хрупкая девчушка в валеночках. Лет так шести, не больше. С мокрой тряпичей в руке. Она широко раскрытыми глазками смотрела на кряквинские упражнения и вдруг звонко сказала:

— А мой папка себя молотком по пальцу ударил.

Кряквин вздрогнул и сел на ковер. Обалдело уставился на девчушку.

— А зачем?

— Промахнулся.

Кряквин вскочил на ноги и подошел к ней.

— Молодец... твой папка. А ты почему не спишь до сих пор?

— Неохота, — сказала девчушка серьезно. — А хотите, я вам сказку расскажу? Хотите? Про боевых цапель.

— Ну расскажи. — Кряквин подхватил сказительницу на руки.

— Так вот. Слушайте. Давным-давно уже жили в одном таком месте боевые цапли. Белые-белые! Красивые-красивые!..

— Наська! Насть! Поди сюда, — шепотом позвала ее от двери пожилая уборщица. — Ух ты господи! Мешаешь Алексею Егорычу...

Наська соскочила с рук Кряквина и побежала к ней.

— Вы уж, Алексей Егорыч, не ругайтесь, ладно? И эта... подите сюда на минутку.

Кряквин оправил свитер и, недоумевая, вышел из кабинета вслед за уборщицей.

Та подвела его к довольно-таки странному сооружению на стене в коридоре. Это были не часы, хотя и со стрелками. Поверху металлические буквы: «Выполнение плана производства с начала месяца (в процентах)». Маленькая стрелка указывала на цифровой результат по руде, большая — по концентрату.

— Вот, Алексей Егорыч, — показала рукой уборщица. — Ты погляди, а? Я тут чего-то надвигала. Невзначай. — Она сердито покосилась на внучку. — Поправь уж как надо. Я как пришла, звезда вроде не горела, а? И стрелки, убей, не упомню, куда нацелены были?

Кряквин внимательно поглядел на младший обслуживающий персонал, улыбнулся и поднял девчушку.

— Она-то не горела. Это мы пока горим, Кузьмовна. Без дыма! Ставь, боевая цапля, вот эту стрелку сюда... Ага... А вот эту сюда... Правильно! — Он опустил Настю на пол.

— Да я так и считала. И Наська указывала, — сыпанула словами уборщица. — Когда они план выполняют, тогда звезда и горит, а когда нету у них выполнения — они энергию экономят. Выключают звезду-то. А ты балуешься.

— Ничего, ничего... — отстраненно сказал Кряквин и вернулся к себе в кабинет. Сразу же набрал телефонный номер. — Варь, это ты? А это я... Понятно. Что делаешь?.. погоди. Не ложись без меня. Я сейчас приду... Да ничего не случилось. Просто поговорить надо.

Серьезно... Ну вот, сразу «о чем». Я тебе сказку буду рассказывать. Да, сказку. Про одного главного инженера... Ничего, приду — и поймешь. Главное, что я кой-чего понял. Вот так. Все. Через десять минут буду. Жди.— Он положил трубку. Закурил, жадно вдыхая дым...

А еще в эту ночь далеко от Полярска, в горах, сошла лавина. Что столкнуло снега, что заставило их вдруг припомнить в себе неизбывную радость полета — не узнает никто. Тишина ли, что за ночь набухла безмерной морозной тяжестью в узком и остром ущелье? Или белая спица сгоревшей звезды так кольнула скалу на вершине, что она содрогнулась? Только вот как случилось — поотстала вдруг разом от шершавого днища отрожья снеговая попона. Невесомо зависла на долю мгновенья в студеном покое и — бесшумно пока еще — кинулась вниз, поджигая горячим скольжением сумрак. Стала зеркалом скорость — и в нем отпечаталось ясное, звездное небо. Тонкий сточенный месяц помчался на спине у лавины. А потом, отставая намного, и возник среди ночи тяжкий, медленный гул...

Часть вторая. День

За входными, сплошного стекла дверями управления комбината шел сильный, без ветра снег. В струистой нитяной непрерывности его было что-то неправдашнее, театральное. Снег падал на город еще с ночи, и набирающий силу апрельский день смотрелся в чистые стекла бело и пустынно.

Священник возник в хлопьепаде неожиданно и резко: черное, за колени, пальто и — ниже — подол черной рясы. Взявшись за ручку, задержался, поглядел на громадный наружный термометр, а после и вошел внутрь. Сразу же снял с головы папаху темного мелкого каракуля, встряхнул ее и зорко, молодо осмотрелся. Направился было к лестнице.

Пожилая вахтерша в вохровской униформе — по животу широкий ремень, отягченный наганной кобурой, — приспустила малость газету, за которой ей только что так сладко дремалось, и бдительно глянула поверх очков:

— Батюшка!

Священник степенно обернулся на звук. Вахтерша, роняя газету, нелегко встала со стула, держась за поясницу, и с ходу потянулась было к руке. Не допустил, заметно смутившись, а потом, отступив на шаг, как бы припомнил что-то и осенил ее мелким скорым знамением. При этом у него, вероятно, вышла какая-то неточность в жесте, и вахтерша, приметив ее, покосилась на священника совсем удивленно. Он гмыкнул и, чтобы замаять неловкость, обошел вахтершу, гибко нагнулся, поднимая с пола «Пионерскую правду». Сдержанным баритоном спросил:

— Скажи-ка, дочь моя, где тут у вас располагается начальство?

— Директор, батюшка?

— Директор.

— Наверху.— Она показала рукой на потолок.— Только нету его. Совсем нету. Приболели оне нынче. Сердцем устали. Еще прошлый месяц в Москву в командировку поехали, а там их и схватило. Прямо, сказывают, на улице и упали. Прости его, господи... Вот как оно было-то. А вместо их теперь, за Иван Андреича, головой всему Алексей Егорьевич Кряквин, главный инженер.

— Кряквин Алексей Егорович,— как-то странно повторил священник.

— Оне, оне,— закивала, оправляя толстую шаль, вахтерша.— Приветной мужчина. Завсегда спросит: как ты тут, Акимовна? Только тебе к нему, батюшка, обождать придется. Сопещание у его. Явочная диспетчерская. Полным-полно набежало-наехало.

— Подождем,— вздохнул священник и расстегнул пальто.

Вахтерша услужливо, пользуясь моментом — вокруг никого не было,— приняла одежду.

— У меня побудет. Ты не думай. У нас тут люди хорошие. А сам иди, иди наверх. Там приемная. Отдохнешь в креслах.

Священник огладил усы и бороду, светлую, вьющуюся, подошел к ближайшей на стене диаграмме и проинформировался, какой прирост урожая может дать земля, если внести в нее фосфатные удобрения, выжатые из одной тонны апатитового концентрата...

Кряквин решительно вскинул руку, требуя внимания, и со стуком бросил ладонь на зеленое сукно длинного узкого стола:

— Родные, стой! Погодите, погодите... Сегодня-то уж нам вроде бы сам бог ругаться не велел. Ты присядь, присядь, Егор Павлович,— кивнул он насуровленному Беспятому.— Успеем, нашумимся. Девять месяцев, три квартала, куча декад. Все, как говорится, впереди... Помоему, так стоит побережь вокальные данные, а?

Беспятый только шевельнул белесыми бровями и сел.

— Не знаю уж, радоваться или нет, но покуда-то мы с планом. Хотя почему бы и не порадоваться? Это, знаете ли, как в футболе... Монетку вверх — и держись за сердце. Орел — значит, ты победил. На другую сторону — адью! — можно и в жилетку поплакать. А работали ведь, ей-богу, неплохо. Неплохо работали, товарищи! — Кряквин улыбочиво, сквозь прищур, оглядел собравшихся.

В директорском кабинете Михеева, обычно чересчур даже просторном и светлом, сейчас было тесновато, как-никак, а явочная диспетчерская требовала присутствия человек пятидесяти: начальники рудников, обогатительных фабрик, ведущих отделов комбината, представители железной дороги, снабженцы, орсовики.

— На тему очередной стоящей перед нами плановой программы особо распространяться не хочется. Вы не хуже меня в курсе, что квартал, так сказать, грядущий нам готовит. Скажу только одно — иллюзий строить не будем, но и на господа бога рассчитывать тоже.

Священник только что неслышно вошел в приемную и явно произвел на секретаршу и ее помощницу, полную, откормленную девицу в отчаянной мини-юбке из замши, впечатление. Поклонился и сказал:

— Мне бы видеть Кряквина Алексея Егоровича.

— У него совещание,— сказала секретарша.

— Надолго ли?

— Как освободятся...

— Позвольте присесть?

— Пожалуйста, пожалуйста.

Священник опустился в кресло рядом с громоздким коричневым сейфом, как раз напротив девицы. Ему сразу же бросились в глаза ее колени, тугие, розовые,— стол был без перегородки между тумбами. Она тут же почувствовала направление его взгляда, бруснично покраснела и, выйдя из-за стола, начала прикнопивать отскочивший и свернувшийся в рулон ватманский лист, закрывая им пространство между тумбами. Священник приставил ко рту ладонь, чтобы не выдать усмешку...

— С нас будут требовать,— продолжал Кряквин,— мы будем требовать с самих себя. А раз уж теперь я тут хозяин над вами,—

он шутиливо надул щеки и выпятил грудь,— то прошу засучить рукава повыше и... так далее. Спуску не дам. Ни-ни. Вопросы будут?

— Неизбежно,— глуховато сказал Беспяты́й и встал снова.— Я же недоговорил, Алексей Егорович. А договорить надо. Надо.

— Ну что ты с ним сделаешь? — развел руками Кряквин.— Вайлай, Егор Павлович.

Беспяты́й спокойно переждал возникшее в кабинете оживление и деловито заговорил:

— Вот тут по Гимову,— он мотнул пальцем в сторону главного экономиста,— если его послушать внимательно, получается, что мы, технологи, ну абсолютно ничего не понимаем в экономике предприятия. Не дано нам...

— Вот-вот! — не выдержал Гимов.— Разбирались бы в ней как следует, так и вели бы себя по-другому!

— Это, простите, как же-с?

— Только требовать можете. Горлом берете. То вам подай, это. Надо, не надо — караул! А вот покопайся у вас на Верхнем — полно бездельников! Факт.

— И — интересное кино,— задумчиво сказал Беспяты́й.— А что, в самом деле,— вот бы увидеть вас, Виктор Викторович, на Верхнем, а? Что-то я вас лично на горке ни разу не встречал. Не припоминается... Может, действительно наведаетесь, а? Оркестром бы встретили. Копайтесь на здоровье. Нам же в своих кадрах копать нечего. Мы их, так сказать, наизусть знаем. А вот здесь у меня,— Беспяты́й показал всем пухлую черную папку,— все экономические обоснования. Полный экономический диагноз рудника. Вот он-то лучше всякого горла доказывает необходимость, и причем крайнюю, иметь на Верхнем еще сорок душ. Иначе худо нам будет. Высохли наши лимиты по труду.

— Да знаем, знаем мы ваши обоснования,— отмахнулся Гимов.— Сидите там со своим Утешевым и сочиняете черт знает что! Где я вам возьму людей? Где? Рожу, что ли?

— Не надо, Виктор Викторович,— отрезал Беспяты́й.— Вы ежели и родите, то себе подобных, а мне таких... до самой пятки деревянных, не треба.

— Ну знаете! — задохнулся от негодования Гимов.

— Знаю,— прибавил голос Беспяты́й, потому что шумно сделалось в кабинете.— И хотите — объясню вам разницу между вами и мной, сиречь экономистом и технологом.

— Да неужели? — окрысился Гимов.

— Ей-богу, вот записывайте. Я завалю план, то мне, начальнику рудника, так по шапке врежут, что после и шапку не на что станет надевать. Ауфвидерзейн, скажут. А вот вам, маэстро, да хоть он стори, комбинат, без дыма со всеми потрохами — даже выговора не будет. Вот ведь какие пироги. Вопрос — почему?

Гимов ошалело завертел головой, ища поддержки, и наткнулся на твердый, пристальный взгляд Кряквина.

— Это что же такое? Это... Это...

Где-то далеко-далеко, за прихваченными инеем стеклами директорского кабинета, стерто рвануло. Взрывной отголосок лишь слабо коснулся окон, и тем не менее им передалась короткая слышная дрожь.

— Руднику нужны люди,— четко сказал Беспяты́й.— Нужны для нормальной работы. Верхний дает комбинату пятьдесят процентов всей добычи руды. Этого вам, Виктор Викторович, забывать не след. Вы-то ведь здесь кушаете то, что мы там, наверху, у пурги отрываем. У меня все.— Беспяты́й сел.

По кабинету раскатился гул.

— Спокойно, товарищи. Без эмоций,— строго сказал Кряквин.

— Вот именно, Алексей Егорович,— огрызнулся с места Гимов.— Сами видите, что творится.

— Вижу, вижу,— поморщился Кряквин.— Кому еще невтерпеж поплакаться? — Он взглянул на часы.

— Мне,— встал Тучин.— Только не плакаться.

— Слушаем, Павел Степанович.

Скороходов, сидящий рядом с Кряквиным, наклонился к нему и шепнул:

— Дуэт.

Кряквин кивнул и что-то записал в раскрытом блокноте.

Тучин скользнул пальцем по усам, кашлянул.

— Начну за упокой. Но во здравие, во здравие... На сегодняшний день Нижний рудник находится в крайне критическом состоянии. План первого квартала мы вытянули на соплях, и другого слова тут не подберешь. Что же касается программы первого полугодия, то мы ее, как мне кажется, с треском завалим!

— Это кто же вам это, простите, позволит? — резко спросил Кряквин.

— Обстоятельства,— рубанул рукой воздух Тучин и нервно пригладил усы.— Сумма их.

— Продолжайте.

— Я понимаю,— сердито хмыкнул Тучин,— что кое-кому сейчас охота спросить у меня: это, мол, как же так? По прошлому-то году, мол, рудник значился в передовых, а тут на тебе... Не смена ли руководства повлияла? Судите сами. Я об успехах кандидата наук Студеникина знал до того только со стороны. Зато вот теперь, за три месяца, вроде бы основательно разглядел оставленное им наследство в натуре... — Он сделал паузу.

Его слушали внимательно. Может быть, оттого, что так длинно Тучин выступал на явочной впервые, до этого больше помалкивал и в основном кратко отвечал на вопросы, если они ему задавались. Сейчас на Тучина смотрели все: Кряквин, Скороходов, Конусов, Гимов, Беспятый, Шаганский, Клыбин... Этот, встретившись с его глазами, заметно ухмыльнулся.

— Что? — спросил у Клыбина Тучин.— Смешно тебе, Петр Николаевич? Ну что ж, приятно, что у меня на руднике такой веселый предрудкома. Придет время — вместе посмеемся. А сейчас уж извини — недосуг. Не до хаханек... Так вот, изучая студеникинское наследство, мне без особого труда удалось охватить следующее. Уточнением запасов рудного тела на Нижнем, проходкой и бурением дополнительных скважин и выработок здесь не занимались давно. Не знаю, как это соотносить с совестью моего уважаемого предшественника, но драли на Нижнем, так сказать, что поближе и пожирнее. Отсюда и результат — имеющиеся запасы руды с оптимальным содержанием полезного компонента истощены до предела. Фабриканты уже не хотят брать нашу руду. Не так ли, Федор Тимофеевич?

Карпов, начальник обогатительной фабрики, утвердительно качнул седой шевелюрой.

— Но и это еще не все... Проходка западной штольни горизонта плюс триста семьдесят, о котором так много и красиво любил говорить в свое время Студеникин, ведется, как выяснилось, нелепо, или, что одно и то же, впустую. Необходимо немедленно менять проект... Мне до сих пор непонятно, как этого не углядел Студеникин. Зачем гнать штольню по голым породам? Дальше. Нарезка блоков под вибропитатели, которыми тоже так прогрессивно хвалился все тот же

Студеникин в пору писания своей диссертации и которых до сих пор на руднике раз — и обчелся, как нам думается, произведена была явно преждевременно. Вибропитателей-то покуда нету. А блоки заморожены. Руды они не дают. Так что до парада еще — как до бес-смертия. Дальше. Кадры проходчиков на руднике сведены до минимума. Их осталось на Нижнем всего пятьдесят человек. Причем престиж этой профессии среди горняков упал почти до нуля... — Тучин кашлянул в кулак. — В общем, и так далее и тому подобное... Мне кажется, что более основательно проблемами Нижнего стоит заняться в рабочем порядке, Алексей Егорович. Вплоть до обсуждения на парткоме... А выступил я здесь лишь для того, чтобы ввести всех в курс дела. Во здравие Нижнего, так сказать. — Он сел и вытер платком лоб.

Наступила тишина. Кряквин задумчиво смотрел в окно и барабанил пальцами по столу.

— Ну, ты, конечно, Павел Степанович, сейчас перегнул маленько, — поднялся Клыбин. — Я-то ведь с Альбертом Анатольевичем не один годок проработал. И при нем Нижний всегда в плане был. Тут, я думаю, какие-то личные...

— Что-что? — привстал Тучин.

Клыбин пожал плечами, глядя на Кряквина.

— Я говорю... ну... новая метла и скребет по-новому. Только зачем же уж все-то охаивать от прежнего хозяина?

— Тьфу! — громко фукнул Тучин и отвернулся.

— И плеваться нечего. Конечно, имеются у нас трудности. У кого их нет... Но коллектив Нижнего ударным, коммунистическим трудом еще докажет...

— Послушайте, Клыбин, — перебил его сухо Кряквин, — вы в данный момент кого из себя представляете — председателя рудничного комитета или адвоката Студеникина?

— А что? Я, Алексей Егорович, только к тому, чтобы не думали, что Студеникин... Его Иван Андреевич Михеев ценил.

— Благодарю вас, — остановил его Кряквин. — О Нижнем мы действительно потолкуем отдельно. Спасибо тебе, Павел Степанович, за откровенность. А на сегодня, я думаю, хватит. Насиделись... Всего хорошего, товарищи.

— Алексей Егорович, у меня тут вопросик, — хриловато спросил с места человек в железнодорожной форме. — Что нового слышать об Иване Андреевиче? Как у него дела там?

Кряквин нахмурился, ненужно подправил ворот свитера, высоко и плотно охвативший шею.

— Ничего дела, Никита Иваныч. Прилетела из Москвы супруга Ивана Андреевича. Сообщила, что переводят его из Склифосовского, из кардиологического центра... там он находился в палате усиленного наблюдения... в Кунцево. В другую больницу. Вот так...

— Это, значит, надолго?

Кряквин посмотрел как-то отстраненно на дотошного начальника станции и ничего не ответил. Возникла тягучая, мертвая пауза, после которой стали подниматься с мест и выходить из кабинета... навстречу священнику, что картинно восседал сейчас в кресле как раз напротив двери. Левою рукой священник бережно холил светлую вьющуюся бороду, а со свежей, добротной отглаженной рясы его отчетливо выскрекивал массивный серебряный крест.

В приемной само собой произошло замешательство: вышедшие с диспетчерской первыми притормозили, опешив, а следующие за ними, естественно, залюбопытствовали, чего там такое, — образовался шумливый, толкучивый затор. Сыпанулись реплики:

- По ком звонит колокол?
- Явление Христа пролетариату.
- На соцсоревнование пришел вызывать.
- Здравствуйте, батюшка!

Священник степенно и независимо поднялся, ответил вежливым поклоном и, распрямившись, как бы продемонстрировал всем свою внушительную крупную статью.

— Вы к кому? — поинтересовался кто-то с улыбкой.

— Не к вам.

— Если не секрет, то по какому вопросу? Я секретарь парткома.

Скороходов.

— Очень приятно. Но у меня к вам тоже вопросов не имеется.

Ответ вызвал веселое оживление:

— У тебя, партком, своя компания, у него своя...

— Алексей Егорович! Тут только вас желают.

Раступились и пропустили главного инженера. Кряквин решительно, но не скрывая удивления, подошел к священнику. Заметно замешкался, не зная, уместно ли здороваться в подобной ситуации за руку, но священник едва уловимо подмигнул ему и первый протянул руку. Кряквин как-то непонятно улыбнулся, что-то сообразив, и сказал:

— Кряквин.

— Отец Николай. В миру Гринин Николай Сергеевич.

— Прошу.

Когда закрылась дверь кабинета, Шаганский еще разок подкусил парторга:

— И куда это партком смотрит? Поп-то прямо к Кряквину свой опиум понес. Охмурит его, а?

Скороходов подумал.

— Не охмурит. Вот если бы он по твоим холостячкам-психологичкам вдарил...

— Ну и что? Они же сплошные атеистки. Все в брюках ходят.

— Ладно, ладно трепаться. Сейчас разберемся.— Скороходов тоже вошел в кабинет.

Кряквин и священник тискали друг друга в объятьях. Радостно хлопали по спинам, окали, акали, возились, как мальчишки. Скороходов и Беспятый, ничего не понимая, смотрели на это непонятное во все глаза.

Оттолкнув от себя священника, Кряквин возбужденно сказал, приглаживая пятерней растрепанные волосы:

— Ну, ты даешь! Вот дьявол! Эти-то ведь до сих пор ни хрена не соображают.— Он показал на Скороходова и Беспятого.— А? Искусство! Химеры и фантомы! Ну чего вы глазами-то хлопаете? Не узнаете?.. Колька же это! Братан. Ну, поняли? Актер Актерыч! В кино-то ведь ходите, поди?

Беспятый подошел к священнику поближе. Все еще недоверчиво оглядел его с ног до головы. И вдруг, потянувшись рукой к его лицу, прихватил Николая за русую вьющуюся бороду. Она довольно легко стала отклеиваться. Все расхохотались. А Николай, дав наглядеться на себя, начал прилаживать бороду назад.

— А вы, я гляжу, все такие же.

— Что с нами делается,— сказал Беспятый.— Мы как консервные банки. Серега вон только наш на повышение вышел.— Он толкнул плечом Скороходова.— Понимаешь, из маркшейдеров в парт-орги. Шишка!

— Будет тебе,— отмахнулся Скороходов.

— Ну, седай, седай, Микола. Ну их. Рассказывай, кури.— Кряквин придвинул брату раскрытую коробку «Казбека». Пшикнул зажигалкой.

— Покажи-ка.— И, повертев ее в пальцах, Николай с пониманием отметил: — «Ронсон»... На съёмки я к вам, вчера прилетели ночью.

— Надолго?

— Да кто его знает. Пути кина неисповедимы. Майские-то уж точно у вас встречу.

— Чё ж не позвонил сразу? Мы же, однако, года полтора не видались, а?

— Два,— уточнил Николай.— Приятная машинка. У меня такой модификации нет.— Он вернул зажигалку Кряквину.— Может, подарить? Жуткую слабость ощущаю к подобным изыскствам. Так сказать, хобби.

— Аналогичный случай,— улыбнулся Кряквин.— У меня, знаешь ли, тоже к подобному слабинка. В Париже разорился. Мать давно видел?

— Перед отлетом сюда. Значит, не подарить? — Николай кивнул на зажигалку.

— Никогда,— замотал головой Кряквин.

— Ну гляди... Пожалеешь. А мать ничего. Бодрая. Ну, как всегда. Тебя вспоминала. Кланяться велела.

— Спасибо. А ты все-таки даешь! Наделал переполоху.— Кряквин махнул рукой в сторону двери.— Они же теперь не уймутся, пока не вызнают все. Действительно как явление Христа народу.

— Ничего. Привыкайте. Мне-то ведь надо как-то к роли привыкнуть. Я ведь еще попов не играл.— Николай достал коробку американских сигарет и клацнул, закуривая, аккуратной, прекрасно сверкнувшей зажигалкой.

— Ну-ка, ну-ка,— потянулся рукой Кряквин.— Ит-ты! Хороша... Варюха моя узнает, что ты здесь, в обморок упадет.

— Как она?

— Нормально. Тоже на повышение вышла.— Кряквин подмигнул в сторону Скороходова.— Завучем теперь в школе. Слушай, а она у тебя с тремя кремнями? — Он уже успел разобрать зажигалку.

— И заправка на год. Вот так,— довольно добавил Николай.

— Про что хоть картина-то будет? — поинтересовался Беспятый.

— А-а... И про то и про се. Про борьбу нового против старого.

— И ты в ней старое, значит? Батюшка...

— А что? Не гожусь?

— Годишься, годишься. Откуда у тебя такая? — Кряквин вернул зажигалку.

— В Англии разорился.

— Много ездешь?

— Случается. Теперь не то что раньше. Мне заслуженного...

— Сдыхали. Можешь не хвастаться.

— Мать-то, кстати, опять вокруг той скульптуры начала ходить. Хочет все-таки доделать ее.

— Пускай... Хотя бы лучше она ее в музей сдала,— задумчиво сказал Кряквин.

— Что ты! Не скажи при ней. Я, говорит, не умру, пока не доделаю. Она твоего отца все-таки больше чтит, чем моего. Об актерах и слушать не желает.

— Правильно делает.

— Ладно, ладно, не продолжай. Знаю ведь, что сейчас скажешь — «ерундой занимаетесь».

- Отгадал! Дубина с крестом!
 В дверь постучали.
 — Алексей Егорович, тут к вам Шаганский Юлий Петрович,—
 попробовала было доложить секретарша.
 — В другой раз. Я занят,— остановил ее Кряквин.
 Дверь закрылась.
 — Любопытная Варвара,— сказал Скороходов, имея в виду Шаганского.
 — Хуже,— сказал Беспятый.
 — Да ладно,— отмахнулся Кряквин.— Обойдемся без свидетелей. А ты, я гляжу, отъелся на киношных хлебах.
 — Ошибаешься. Физическая культура,— сказал Николай, оглаживая бороду.
 — Во-во,— кивнул Беспятый.— Тучину как раз в гору такие... проходчики нужны.
 — Благодарствуем. Богу богово.
 — Ха! — выдохнул Кряквин.— Трепач.— Он взял из коробки папиросу.— Дай-ка твою,— попросил зажигалку у брата.
 — На, пользуйся.
 Кряквин прикурил.
 — Ну дак что твой батюшка-то в картине делает?
 — А-а... А вот к такому, как ты, начальнику приходит.
 — Это зачем?
 — Буран был. Ну и сорвало с храма крышу. Вот он и пришел попросить шиферу.
 — Дал?
 — Дал.
 — Понятно.
 — Зажигалку-то верни. Не суй в карман.
 — На, на, жмот,— улыбнулся Кряквин.— Мог бы и не заметить. Это я по привычке. А вообще-то я ее у тебя с удовольствием бы свистнул.
 — Коля,— сказал Скороходов,— а ты какого в картине священника играешь? Католического, что ли?
 — Почему? — удивился Николай.— Истинно православного.
 — Ты в этом уверен? — хитро прищурился Скороходов.
 — Абсолютно.
 — Тогда крестик смени.
 — Это еще зачем? Чем этот плох?
 — Видали? — моргнул Скороходов Беспятому.— Налицо необразованный человек. Темнота. А туда же. Запомни, Коля, наперсный крест православного священника всегда о восьми концах. А у тебя? Арифметику-то хоть знаешь?
 — Хм... Надо же,— смутился Николай.— То-то на меня ваша вахтерша косилась. Это бутафоры наши портачат. Они.
 — А ты-то откуда это так в религии насобачился? — спросил Кряквин у Скороходова.
 — Должность у меня нынче такая.
 — Я вот на сессии горсовета последней был...— начал Беспятый.
 — Он у нас депутат, слуга народный,— перебил его Кряквин.— И что?
 — ...и там вот чего слышал. Церквенка же у нас в Полярске имеется. Крохотная совсем. А доход собирает приличный. Около восьмидесяти тыщ рублей в год. А? Ничего, да? Вот я и подумал еще: у них-то, у церковников, тоже, что ли, плановое хозяйство или как? Ну, к примеру, я или вот вы... Придем, помолимся, а рублишки свои с собой назад унесем. Не отдадим, значит. Зажмемся. Церковь-то

ведь не завод какой-нибудь. Товар не производит, как мы, на комбинате. Верно? Верно. И потребовать с меня им вроде бы никак не можно, а? Так вот и интересно, за счет чего же у них, у церковников, такие прибыли бешеные?

— Ты смотри,— как-то отрешенно улыбнулся Николай.— Текст идет почти по сценарию. Когда священник пришел на завод за шифером, там у него про это же самое почти спрашивают.

— Ну-ну,— подторопил его Скороходов.— А ты что?

Николай медленно встал. И — разом переменялось выражение его лица: что-то неожиданное, фанатичное обозначилось в нем. Он поднял руку.

— Я там вот что говорю... Не богохульствуй, начальник. То есть не придуривайся, Егор Павлович.— Николай мгновенно отключился от роли и улыбнулся. Но тут же вернул прежнее, фанатичное, выражение лица.— Господь дал человеку душу, и человек обязан распорядиться сим даром. Обязан распорядиться вольно. И если душа его истинно с богом, то она и приведет человека к святой обязанности...

— Постой, постой, Микола, ну а если не истинно? — подначил Кряквин, с удовольствием глядя на входящего в роль брата.— Меня, например, чего-то в храм не потягивает. Что ты на это нам скажешь?

Николай подумал, пошевелил на груди крест.

— От самого человека зависит найти и вырастить в себе божье начало. Мы никого не неволим. Вера не каприз. И не желание просто. Вера — величие! — Голос Николая набрал полную, бархатную звучность.— Она есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом...

— Ух ты! — искренне восхитился Кряквин. И захопал.— Молодец! Крути кино дальше.

— Да, да! — разошелся Николай.— К тому же вера бессмертна и оттого, выражаясь вашим языком,— он наставил палец в Беспятого,— в плане не нуждается. Скорбь и страдания вечны. Как и сам процесс жизни и смерти. На то свой — божий — план. И пока так будет, будем и мы...— Николай на мгновение смолк, а закончил с улыбкой: — Киноартисты.

— Ну, насчет вас-то, лицедеев чертовых, ладно,— сплюнул в ладонь табачинку Кряквин.— Живите. А вот что касается попов разных, то тут тоже суду все ясно. Факт, что они будут. Жрать-то, по-ди, и им хочется.

— Неизбежно,— подхватил Беспятый.— Только когда ты про страдания вечные нам спел, то это, по-моему, липа. У вас же, ну, у священников-то, рай есть? Есть. Во-от. А для чего он придуман? Тот-то. Чтобы надеяться. Стало быть, и на земле в идеале возможно же, ну, если не райское, то уж хотя бы нормальное существование? Без скорбей и страданий...

— В идеале-то да,— хмыкнул Николай в усы.— Но вот возможен ли на земле идеал?

— А почему бы и нет? Пусть не сейчас, не завтра...

— Тогда когда же? Жизнь-то наша, Егор Павлович, пш-пш, коротенькая...

— Ну, это, Микола, не твоя забота,— хлопнул ладонью по столу Кряквин.— Смотря как жить. Хотя, конечно, беспокойство священников вполне закономерно. Они же, так сказать, скорбь и страдания обогащают, как мы на комбинате руду. Им без скорбей туга придется. Факт. Как нам без руды. Скорби-то для них исходное сырье. А вот построй мы, усовершенствуй все на земле как следует, стряхни с нее всякую мразь — конец! Попам первым же вот эти рясы и крестики снимать придется. Скажи, нет?

Николай ничего не сказал. Молча и быстро отошел на середину кабинета. Неожиданно для всех опустился на колени и закрыл руками лицо. Когда отнял ладони, по нему бежали слезы. Кряквин, Беспятый и Скороходов, изумленные, обалдело смотрели на него. И тишина оглохла в кабинете. А Николай заговорил — тяжело, задыхаясь, сквозь сдерживаемые рыдания:

— Вот... слушайте... Богохулы... Язычники... Закон, имея тень будущих благ, а не самый образ вещей, одними и теми же жертвами, каждый год постоянно приносимыми, никогда не может сделать совершенными проходящих с ними...— Николай тут же встал и, смахнув с глаз влагу, улыбаясь, как ни в чем не бывало спросил: — Ну, как я вас?

— Да-а...— восхищенно протянул Скороходов.— Лихо. Это ты откуда?

— Из сценария.

— Повтори-ка еще разок,— попросил Кряквин.

— На бис, что ли? Записывай... За-кон, имея тень будущих благ... Еще?

— Хватит, хватит. Тень будущих благ. Да-а... Ну и навели же церковнички тень на плетень...

— Это, однако, из посланий апостола Павла,— сказал Скороходов.

— Один черт. Неважно. Не читал,— дернул щекой Кряквин.— Это же надо придумать — «тень будущих благ». Тьфу! Мы-то на земле создаем реальные вещи. Реальные! Думаем, возимся, потеем... И шею себе сворачиваем. Оттого нам и не сладко порой. Ох как не сладко порой бывает, братишка! И все-таки это лучше, чем тень. От нее шибко не разжиреешь. Химеры и фантомы, одно слово. Ну да ладно. Хватит трепаться. Сеанс окончен. Ты где остановился?

— Как всегда в гостинице.

— А у меня, выходит, не хочешь? Варюха-то была бы довольна.

— Не хочу, Алексей.

— Почему?

— Мало ли... Я человек холостой, вольный. Сам знаешь. А вдруг у вас тут...

— Ну-ну. Уши оборву. Сегодня-то уж ко мне обязательно. Я Варваре сейчас позвоню. Договорились?

— Железно.

Короток апрельский день в Полярске, обрывист. Часам к двум-трем пополудни разом мутнеет, меркнет округа, а затем, чуть подалее, и совсем потемки.

Ветра нет, хотя на весну и часто бывают здесь твердые, сухопутные штормы: рядышком ведь, рукой подать отсюда, если рука эта в двести километров, зимняя льдистая Балтика. Снег перестал. Горят огни. Пиковый час собирает на автобусных стоянках шумливые людские скопища. Их пополняют и пополняют бегучие разлапистые чешские «татры», по-местному «пингины», что подвозят в крытых кузовах горняков, отработавших дневную смену на высокогорном руднике.

Центр городка объединяет на небольшом в общем-то пятаке почти все самое главное: почтамт, рынок, где торгуют, помимо прочего, морошкой, клюквой, солеными грибами, битыми в тундре куропатками, пром- и продмагазины, ресторан тут же, универмаг, школа, а за сквером с его уснувшим до лета фонтаном, за прогнутой овально гостиницей в четыре этажа, на холме, что понизу оброс новыми крупнопанельными близнецами, всегда по-праздничному проявлен

электричеством тяжелой и, что называется, с излишествами Дворец культуры. К нему уводит забытая снегом лестница, а по ней как с горы, посвечивая себе фонариками, скатывается гомонливая ребятня.

С холма Полярск и красив по-своему и еще что-то такое, что не сразу поддается точному определению, потому как вначале это еще что-то такое лишь неясно и смутно ощущается, а уж потом и проступает наружу странным и не совместимым будто никак с таким шумным понятием — город — открытием: одинок Полярск вроде...

Горы, изгибаясь по окружности как бы не сомкнутыми до конца ладонями — пальцы к пальцам, — хранят посередке долинку-доньшко. Ригельные складки, морщинистые и угрюмые, возносятся в звездную высь, а внизу, на доньшке, словно сквозь накомарник мелкий-мелкий, и просматривается весь Полярск с его огнями, дымами над фабричными кровлями, гудками на рудовозных подъездах. И ничего уже как бы нету за ним — ни справа, ни слева, ни спереди, ни сзади: горы, и звезды, и темнота вокруг. Вот отчего, наверное, и приходит потом это странное ощущение городского одиночества.

Вечерний час в Полярске суетен и многодвижен...

Кряквин зашел за братом в гостиницу прямо из управления. Ближе это совсем, метров триста или четыреста по центральной улице города, носящей имя самого первого директора комбината, что накрепко запомнился Полярску своими кипучими делами еще с тех гулких тридцатых годов, общеизвестных и беззаветностью и переживаниями. Многие мог совершить тот самый первый директор, да не много успел.

Войдя в гостиницу, Кряквин поздоровался со знакомыми администраторшами, покрутил носом — что-то невкусно сгорело в столовой, размещающейся в соседнем крыле, — и стал не спеша подниматься по каменной лестнице.

Ондатровая пушистая «шапелень» и смахивающая на летнюю куртка с «молниями» молодили Кряквина. К тому же и белый шерстяной шарф под подбородком да портфель — ну студент и студент.

Кряквин поднимался задумавшись, весь в себе. День прошел мурный, хлопотливый, с совещаниями, звонками, поездками, оттого, чуть не натолкнувшись на стоящего перед ним человека, он не враз сообразил, кто это перед ним.

— Приветствую вас, Алексей Егорович, — мягко сказал ему высокий, стройный, весьма приятной наружности седоватый мужчина в отлично сшитом костюме. В визитном кармашке треугольный выступ платка в тон галстуку. От близкого его дыхания на Кряквина пахло вином.

— А-а... Илья Митрофанович. Привет. Не узнал. Долго жить будешь.

Утешев, бывший начальник отдела труда и заработной платы комбината, а нынче руководящий таким же отделом, только на Верхнем руднике у Беспятого, улыбнулся сухим, сильно изморщиненным лицом.

— Что вы говорите?

Кряквин вспомнил, что Утешев глуховат, и повторил громче:

— Привет, говорю, Илья Митрофанович. Чего здесь потерял?

— Слышу, слышу, — сказал Утешев. — Живу.

— Как... живешь? — не понял Кряквин.

— Да так, — усмехнулся Утешев. — «Ночлег, ночлег... Мне издавна знакома твоя приятная разымчивость в крови... Хозяйка спит, и свежая солома примята...» В общем, по Есенину. Помните? — Утешев достал из кармана длинный янтарный мундштук, затем сигарету с

фильтром и начал вставлять ее в мундштучное дульце, помогая обрезать по вторую фалангу пальцами правой руки.

Кряквин внимательно пронаблюдал за его сосредоточившимся, все еще хранящим летний загар лицом и движениями изувеченной руки.

— Честно говоря, ни черта не понял, Илья Митрофаныч. Но чувствую — за стихками что-то да есть. Может, неприятности какие, а?

— Это по первой сигнальной системе, Алексей Егорович, — сказал, прикуривая от спички, Утешев. — Но не в этом дело. Живу, — повторил он, откашлявшись. — И притом хо-ро-шо живу. Преотлично-с! Всего вам наилучшего. Пардон. — Утешев пригнул в благородном поклоне голову и пошел вниз.

Кряквин, недоумевая, снял шапку и проводил его взглядом. Подумал, что надо бы расспросить Беспятого об этом человеке, которого он так редко встречал теперь. Как-то нелепо у него получилось тогда и страшно. Единственный сын Утешева, работника ценного и знакомого свое дело, угнал после выпускного вечера в школе на спор со стоянки такси и сбил возле универмага его Варюху. Ладно хоть успела она оттолкнуть от себя десятиклассницу, а то бы обеих... Парня посадили, а Михеев вынужден был снять Утешева с занимаемой должности и перевести, понижая, на Верхний рудник...

В номере брата не оказалось, хотя дверь была не заперта. Кряквин решил поискать его в холле, где работал телевизор и голос Николая Озерова гонялся за фамилиями хоккеистов.

Точно — брат сидел среди болельщиков и азартно махал руками. Сейчас он был просто неузнаваем: фланелевая яркая рубашка в клетку, черный кожаный пиджак, джинсы.

— Гринин! — окликнул его Кряквин, переждав момент, когда Харламов, рывком отлепившись от защитников, вычертил перед воротами чехов пушистую дугу на одном коньке, купил ложным замахом вратаря и... влепил шайбой в штангу.

В холле завывали.

— У-у, непруха! — досадовал Николай, неохотно выходя в коридор и все еще оглядываясь на экран. — Нет, ты понял, а? Ведь чуть-чуть бы — и банка!

— Чуть-чуть не считается, — сказал Кряквин. — Давай одевайся, Варька ждет. Только сперва в магазин забежим.

В винном отделе гастронома, где им пришлось выстоять минут пятнадцать, разговоры, естественно, велись сугубо мужицкие, на самую что ни на есть насущную тему. Николай с удовольствием прислушивался, поддакивал и похохатывал вместе со всеми, подталкивая уходящего то и дело в себя брата.

— Эй, земляк! Совесть-то надо иметь. Ты чё уж без очереди?

— Не гуди. Праздник у нас с корешом. Сын у его родился.

— А-а...

— Чё, прямо сейчас, что ли?

— Да нет... три года назад, а что?

— Дать ему. Дать!

— Бутылкой по остроумию.

— Все остроумные.

— Спиртику ба, спиртику натурального... Это вещь! С утра водички шарах! — цельный день, как Кобзон. Я люблю тебя, жизнь, и иду на работу усталый...

— Мне, пожалуйста, коньяк. Нет. Не этот... Вот, во-от. И пару лимончиков. Покрупнее, — сказал Кряквин, когда подошла его очередь. — Чего еще позабыли? — спросил у Николая.

— Минеральную.

— Верно. Бутылки четыре нам.

Продавщица помогла Кряквину затолкать покупки в распахнутый зев портфеля, и они выдернулись из душной людской круговерти. Кряквин остановился, вытер лицо платком.

— И чего гадают, чем лед растопить в Арктике,— сказал он Николаю.— Открыть там пару винных отделов — и все... Ты на кого это там уставился? — обернулся Кряквин и увидел Ксению Михееву.

Стояла она, облокотившись на прилавок неработающего кассового аппарата, и смотрела на них. Внимательно и грустно.

Темная, из соболя шапочка хорошо шла к ее светлым, забраным на затылке в тяжелый пук волосам. Да и все на Ксении сидело уверенно, ладно. Модное пальто, сапожки на платформе. Только почему-то не эту Ксению вдруг высмотрел сейчас Кряквин, другую... Моментальным снимком возникла она перед ним, явившись откуда-то из памяти...

...Горняцкая бытовка. Фанерная амбразура рудничной сатураторной, где всегда можно выпить стакан-другой холодной шипучей газировки. Толкотня. Грубоватые добродушные шутки. И — тоже Ксения... Тоненькая, веселая, зубастая. Дымчатая коса на белизне халата. Шейка по-девичьи, с изгибом. Цепочка на ней посверкивает. А улыбка... С ума сойти! Только когда это уж было? Да и не здесь, не в Полярске, а на Богдоре, после войны еще. Они с Михеевым только-только переоделись в штатское. И было начало всего, всего... У маленького настырного Михеева глаз оказался поцепче — его стала Ксюха-газировщица, а не Кряквина, заронив только в память ту единственную белую ночь на озере...

— Кто это, слышь, Алексей? — дошел наконец до Кряквина настойчивый шепот брата.

— А?

Он сморгнул, и исчез моментальный снимок. Стояла перед ним эта Ксения — ухоженная, вальжная, с тронутым временем, совсем не веселым лицом. Три дня назад прилетела она из Москвы, и Кряквин официально-вежливо пообщался с ней по телефону, визнавая новости об Иване Андреевиче. Новостей оказалось мало. Тяжелый инфаркт. Ксению к нему не пустили, так что она мужа не видела.

Кряквин, не отвечая брату, резко кивнул — не поймешь, поздоровался или что? — решительно зашагал к выходу.

— А-а, все ясно... — подначил было его Николай.

— Алексей Егорович! — услышал Кряквин знакомый голос и, поморщившись, оглянулся.

Ксения направлялась к ним.

— Добрый вечер,— несколько смущенно сказала она.

— Здравствуйте, Ксения Павловна.

Николай тоже вежливо поклонился.

— Слушаю вас,— сухо вато сказал Кряквин.

— Да вот прямо и не знаю,— поглядывая на Николая, сказала Ксения.— Вы уж, пожалуйста, извините меня. За любопытство. Ваша фамилия не Гринин, случайно? Просто удивительное сходство.

— Гринин Николай Сергеевич,— бархатисто рокотнул Николай.— Его брат, между прочим...

— О-о!.. Это для меня новость... Михеева.— Ксения протянула ему руку в желтой перчатке.

— Очень приятно, Ксения Павловна,— сказал Николай.— Вы, кстати, тоже очень похожи на одну нашу актрису... Доронину. Уж не сестра ли ей?

— Ну что вы! Нет.— Она заулыбалась.— Надолго к нам?

— Да поживу, поживу...— многозначительно ответил Николай.

— Значит, мы еще встретимся. У нас здесь чудесно. Всего вам хорошего. И привет мой Варваре Дмитриевне, Алексей Егорович.

— Передам,— хмуро сказал Кряквин.

— До свидания, Ксения Павловна,— сказал Николай.— Рад был познакомиться.

— Я тоже.

Уже на улице он почему-то шепотом спросил у Кряквина:

— Это, что ли, вашего директора жена?

— Ну. А чего ты шепчешь?

Николай засмеялся.

— В па-а-рядке...

— А-а! — отмахнулся Кряквин.— Смотри, на цепь посажу...

— Зачем?

— Да чтоб ты на чужих баб не кидался. Чучело!

Неожиданный звонок мужа о приезде в Полярск Николая обрадовал Варвару Дмитриевну, а слова мужа о том, что «надо бы нам, Варюха, по сему поводу сегодня вечером стряхнуть с себя пыль и, как бывалоча, посидеть малость, так что ты бы уж там расстаралась, старая, и сообразила что к чему, ну, сама понимаешь», озаботили ее. Во всяком случае, и то и другое заметно ускорило прохождение второй половины школьного дня. Само собой возникло в Варваре Дмитриевне приподнятое настроение, и она, обычно сдержанная и немногословная, больше чем всегда говорила на переменах в учительской, а на разборе уроков практикантов из областного пединститута даже припомнила смешные случаи из своей преподавательской жизни и сама же охотно смеялась вместе со всеми.

Потом получилось и совсем хорошо: назначенный на семнадцать тридцать педсовет с участием представителя из облоно, который мог затянуться и тогда бы Варвара Дмитриевна вряд ли успела хоть что-нибудь приготовить, был перенесен на следующую неделю, так что в начале шестого она уже освободилась и, прежде чем попасть домой, с удовольствием прошлась по магазинам, покупая всякой необходимой для доброго стола снеди.

Не так-то уж часто случались в последнее время гости в семье Кряквиных. Тот же Николай приезжал на съёмки в Полярск пару лет назад, да родная сестра Варвары Дмитриевны, агрономша, заскочила как-то совсем неожиданно на недельку, но пожила, почему-то всего смущаясь, только трое суток и, как ни старалась Варвара Дмитриевна удержать ее, уехала — вот, пожалуй, и все, если не считать крайне редких встреч у них дома фронтовых друзей Кряквина — Скороходова, Беспятого, Гаврилова и нынешнего секретаря горкома партии Верещагина.

Поначалу-то, раньше, когда война еще не так далеко отошла от памяти, редкий праздник Победы не обходился без шумного, с песнями, с разными припоминаниями о живых и погибших застолья в большой кряквинской квартире. Вот уж когда успевала всласть навозиться по хозяйству Варвара Дмитриевна, чтобы полным добром и радушием одарить гостей. И смеялась до слез за таким столом, и плакивалась вволю — чего только не довелось испытать-перепробовать на войне бывшим саперам; а потом как-то и эта традиция по-маленьку подстерлась, и совсем уже редко снимал со стены ее муж пробитую еще под Секешфехерваром немецкой пулей гитару...

А вообще любила Варвара Дмитриевна привечать у себя людей. И совсем не потому, что уж очень-то замкнуто и отдельно жил их дом, совсем не поэтому. Не скучно ей было жить. Нисколько. Одна работа завучем в школе-десятилетке отнимала у Варвары Дмитриев-

ны столько сил и энергии, что, возвращаясь домой, она только здесь и могла до конца насладиться безмолвным — Кряквин имел привычку при любой возможности допоздна засиживаться над докторской диссертацией в своем служебном кабинете — домашним уютом. Просто присутствие любого гостя оживляло в Варваре Дмитриевне что-то так и не истраченное, по-бабьи заботливое, что бы, наверное, больше и лучше всего могло реализоваться в детях, своих, кровных. Но детей у Варвары Дмитриевны — после того так кошмарно окончившегося для нее выпускного вечера в школе, когда совсем вроде бы и немного вначале ударила ее в бедро сумасшедшая, выпрыгнувшая из-за поворота на тротуар машина без света и сигнала, — быть уже не могло. Взамен их, своих, кровных, приходил к Варваре Дмитриевне, изредка повторяясь, лишь сон, а в нем маленькая белесая девочка с заплаканными мокрыми ресничками. Тогда на другой день у Варвары Дмитриевны сильно болело сердце, и она, скрывая это от Кряквина, украдкой сосала валидол.

Известие мужа о приезде Николая по-настоящему обрадовало Варвару Дмитриевну. Николай был всегда интересен ей. В нем скрывалось для нее что-то и очень ясное и в то же время не очень — все-таки артист... Для нее всегда оставалось загадочным странное и завораживающее умение Николая изображать перед другими людьми совсем чужие для него чувства: не свою любовь, не свое страдание, не свою веру, не свою независимость, не свой характер, — причем изображать эти чувства так, что тот, кто смотрел на него, Николая, из зрительного зала, верил в эти чувства глубоко и действительно.

Пытаясь постичь это неразрешимое для себя, Варвара Дмитриевна упрямо, по нескольку раз кряду, ходила на каждую новую картину с участием Николая Гринина. И каждый раз, как бы сосредоточенно и придирчиво она ни вглядывалась в любой жест Николая-героя, как бы предельно внимательно ни вслушивалась в каждое сказанное им с экрана слово, постепенно забывала, что перед ней очень знакомый человек, и, забывая об этом, начинала верить его словам, жестам, переживаниям, как правде.

Особенно взволновал и встревожил Варвару Дмитриевну фильм, в котором Николай исполнил главную роль конструктора кораблей. Об этой картине потом много говорили, спорили и писали в газетах. За эту роль Николай получил потом премию. На этот фильм Варвара Дмитриевна уговорила все-таки сходить Кряквина, который, в общем-то, кино не любил. Ей было очень важно, что скажет об этой картине ее муж, потому что Николай здесь изображал человека, характер которого — резкий, стремительный, не враз открывающий для других свою внутреннюю доброту — в чем-то удивительно совпадал с характером ее мужа. Странное совпадение это поразило Варвару Дмитриевну еще после первого просмотра картины, и она не сразу вернулась тогда домой, успокаивая себя долгим кругом по городу. Там, в картине, Николай — ее муж умирал, износив свое сердце на чем-то куда более серьезном и трудном, чем это было показано. Это Варвара Дмитриевна поняла вне зависимости от происходящего на экране. Ведь знала же она, читала и слышала об истинной судьбе того замечательного конструктора, слепок с которой так вольно и искаженно переиначился авторами фильма. Ведь знала же она и видела, наконец, чем живет и из-за чего страдает ее муж. Во всяком случае, на своем веку Варваре Дмитриевне что-то не припоминалось такого, чтобы люди ни с того ни с сего помирали от полного счастья. А Николай в картине умирал, достигнув всего. Умирал в солнечном, синем дне, а вокруг него истошно стучали кузнечики, и близкое море плавилось и горело в жарком полудне... Все было красиво вокруг

этой смерти, и красота эта лишь еще сильнее обнажала то, чего на экране не было. И Варваре Дмитриевне вдруг сделалось страшно за своего мужа.

Кряквин вытерпел двухсерийный сеанс неподвижно, а потом уже, дома, когда Варвара Дмитриевна осторожно спросила у него: «Ну, как тебе Николай?» — спросила именно о Николае, а не о всей картине, потому что каким-то своим, особым чутьем уже догадалась, что фильм мужу не понравился, хотя Кряквин вроде бы ничем этого не выдавал, получила ответ мгновенно, как будто бы Кряквин только и ждал ее вопроса:

— Химеры и фантомы все это, Варюха. Кролик под котик. — Он помолчал. — Но вот ведь что интересно... Брешет-то Микола будто по правде. Соображаешь, мать, — по правде.

— То есть? — спросила удивленно Варвара Дмитриевна.

— То есть хочет верить, что верит в то, во что хочет верить, потому и врет.

— Но он же так похож на тебя там! — вырвалось у Варвары Дмитриевны.

Кряквин взглянул на нее, прищурясь, и усмехнулся: мол, это-то я и без твоих восклицаний заметил.

— Хочет, хо-чёт походить. А похожесть-то — это еще не правда. Помнишь про ежа, который щетку половую с ежикой спутал? Во-от. Надо, брат, быть чем хочешь, если уж действительно хочется, а не хотеть только, чем быть. Бы-ыть. Вот в чем штука. Ферштейн?

...Николай глубоко втянул в себя коньячный аромат и неожиданно поставил обратно на стол полную рюмку:

— Хо-о-рош генерал, но не буду.

— Эт-то еще почему? — изумился Кряквин, тоже возвращая назад свою. — Часом, не приболел ли?

— Да нет. Здоров, слава аллаху.

— Тогда чего?

— Понимаете, как бы это вам популярней... В общем, примета у меня. Раз роль непьющая — я не пью.

— Ты гляди на него, — скорчил гримасу Кряквин. — А я-то думал, что это кровь господня. — Он постучал ножом по бутылке. — Чё же мы тогда, Варюха, городки городили, а? Пирог, понимаешь, пекли, шуры-муры разводили. Может, стаскаем все это барахло назад, на кухню? Подождем, пока он пьющего играть не приедет? Ты что, серьезно, что ли? Уж и совсем-совсем ни-ни?

— Пока не снимусь — ни капли, — твердо сказал Николай, расправляя расстегнутый ворот рубахи. — Вы уж не обижайтесь. Свои же.

— Свои! — презрительно фыркнул Кряквин. — Тоже мне, нашел своих. И вот праздники будут?

— И по праздникам.

— Но-о... И после баньки? Изредка-то моешься?

— Говорю, завязал.

— Вот это воля, Варюха! Учись. Несгибаемый человек, скажу я тебе. Таких надо за деньги показывать. Факт. А я-то по простоте думал — нам, русским, без этого никак не можно. Тяжело. Маленько-то когда и надо кровь размешивать.

— А ты вот когда-нибудь под камеру да под свет встань, — сказал Николай, — она у тебя сама паром пойдет.

— Ой-е-ей... Вот страсти! Действительно, великое искусство! — ерничал Кряквин. — Где уж нам, серым, на свету-то стоять. Ку-у-да там! Выходит, что если ты вора, к примеру, изображать станешь, то и приворовывать начнешь?

— Ладно тебе,— заступилась за Николая Варвара Дмитриевна.— Решил человек — и все. Ему, значит, так лучше.

— А ты, женщина, не встрейвай,— погрозил жене пальцем Кряквин.— Ты соответствуй. Мужскую речь блюди. Лучше-то оно, может, и лучше, а все одно — ограничение! А любой запрет вроде забора. Он ведь мешает. Скажи, нет? Заглянуть-то за него, поди, хочется...

— В общем, ты меня не агитируй,— сказал Николай.— Лучше отвяжись по-хорошему. Тут же решение души.

— Была нужда,— сказал Кряквин.— Ну и ходи голодный. Моя-то душа лично сегодня рюмочку требует. Слышь, Варюха, вот приложись к ней, пожалуйста, ухом. К душе моей...

— Сейчас, разбежалась,— улыбнулась Варвара Дмитриевна.— Алкоголик нашелся.

— А что? Вот смотри, смотри. Это тебя касается, Николай Сергеевич, как мы сейчас с супружницей моей врежем. Ну, поехали, Варь?

Они согласно сдвинули рюмки и выпили.

— Хо-о-рош! — с удовольствием выдохнул Кряквин. Потянулся за лимоном.— Ду-у-рак, кто с нами не пьет. Во была голова, кто такое сочинил.

— Ну и гад же ты, Кряквин! — прыснул Николай, схватил свою рюмку и залпом опрокинул.

Варвара Дмитриевна и Кряквин захохотали.

— Ну что я тебе говорил? — закричал с азартом Кряквин жене.— Несгибаемый человек! Только хочет быть, как говорит Беспялый, до пятки деревянным. А ты закусывай, закусывай... Уши-то опусти. Ох и молодец у меня жинка. Не руки, а золото.— Он наклонился к Варваре Дмитриевне и громко чмокнул ее в щеку.— Поцелуй любви называется, понял, Микола? Это тебе не попов с конструкторами разыгрывать. Представляешь, Варь, эдакий громила приволокся сегодня в нашу управу в полной религиозной амуниции. В рясе, с крестом на пупе, при усах, бородаща. Представляешь? Такой переполох учинил, хоть водой заливай. Дамочки наши шу-шу-шу. Мужички гыр-гыр-гыр. А вахтерша, Акимовна, и вообще. Ну пытатъ меня: что, мол, за батюшка? Да неуж новый на храм поставлен? Что же, мол, с прежним? И так далее. С Шатанским от любопытства чуть второй инсульт не случился. Ты бы видела... Он в этом обмундировании — конец атеизму!

Николай слушал и, довольный, посмеивался. А Варвара Дмитриевна, раскрасневшаяся, улыбалась и все поглядывала и поглядывала на подарок Николая — изящный серебряный медальон на цепочке.

— Нравится, Варя? — нежно спросил Николай.

— Очень.

— Слава богу. Я тоже доволен. Правда, оригинальная штучка. Умеют ведь наши делать, когда захотят.

На светлой кофточке Варвары Дмитриевны красиво смотрелась округлая, матово отсвечивающая чернением серебряная пластина, ажурно увитая по краям тонко вырезанными по металлу розами, а в центре ее неожиданно и чуть-чуть печально была влита гибкая, трепетная кисть женской руки.

— Я ее как углядел, так о тебе и подумал, Варя. Загадочно и... — Николай не сразу нашел продолжение, — и прекрасно!

Варвара Дмитриевна смущенно опустила ресницы, вздохнула.

— Коля, вот ты артист. Разных людей играешь. А вот скажи, почему оно... грустно бывает? — вдруг как-то тихо и чисто спросила Варвара Дмитриевна.

Николай с интересом посмотрел на нее из-под ладони, в которую сейчас упирался лбом, спрятал глаза. Задумался. Пустил вверх сигаретный дым. Он как бы припоминал забытый им текст какой-то роли.

— А как тебе грустно, Варюша? Грусть грусти рознь.

— Не знаю... Иногда просто грустно. А иногда как вздохнуть хочется — и не можешь. Понимаешь? — Она нервно затеребила узкими пальцами цепочку. — Я же в школе все время. А там, бывает, дети плачут. Особенно малыши, первоклашки... Не могу тогда. После этого...

Кряквин внимательно слушал, забыв о дымящейся в пальцах папиресе. Потом перевел взгляд на Николая, ожидая, что он скажет.

— От доброты, Варя, — негромко, как бы советуясь с самим собой, сказал Николай. В голосе его внятно обозначилась теплота. — Ты добрая. Очень добрая, Варя. А добро умеет сострадать. Сострадание высветляет очерствелость душевную. И вот это, — Николай добавил голосу торжественность, — именно это, ожившее в душе как бы наново, делается восприимчивым ко всему людскому. Это хорошо, Варя. Это очень хорошо.

— Спасибо тебе, — непонятно сказала Варвара Дмитриевна и сильно покраснела.

— Славно говоришь, Николай, — вздохнул Кряквин. — Славно! И вот тут я тебе, артисту, черт возьми, завидую. Откровенно. Не умею я так вот. А хочется. У нас же на производстве черт его знает какой язык! Рвань, грубятина. Пользуем в своем деле, ну, максимум два-три десятка слов. И, представь себе, обходимся. Понимаем друг дружку... «План», «нормы», «фондоотдача», «номенклатура»... Матерки в этой каше вроде подливки. А ты сейчас как по написанному, аж шевельнулось вот тут чего-то...

— В душе, Кряквин. В душе... Называй вещи своими именами. Не стесняйся, — подмигнул Варваре Дмитриевне Николай.

— Ишь ты, обрадовался. Похвалили младенца, он и давай пузыри пускать. В ду-у-ше... И что дальше? Допустим, и в душе.

— А в душе стыд живет. Между прочим, великое контролирующее средство.

— А страх где? — перебил его Кряквин.

— Не мешай, — встряхнул головой Николай. — Слушай. А стыдом может управлять только совесть. Она и ничто другое неусыпно несет свою службу. Даже когда человек уверен, что никто в мире не узнает о том, что он сейчас совершит.

— Хорошо излагаешь, если свое, — хитро прищурился Кряквин. — Ну а если совести нет?

— У кого? У тебя одного или у общества в целом?

— У тебя. Давай о тебе, — улыбнулся Кряквин.

Николай прислушался, а лицо Кряквина стало непроницаемо серьезным.

— Не понимаю, что ты имеешь в виду?

— Да то, что и ты. Совесть твою. Со-весть.

— Не понял.

— Неужели? — хмыкнул Кряквин. — Речь, Варя, идет о его совести, так сказать, о великом и контролирующем средстве, а он не понимает. Странно. Приступим конкретнее. Вот ты с экрана вещаешь людям разные разности. Причем вещаешь их талантливо, черт возьми! Достоверно бы вроде... А по сути-то все это подделка. Кролик под котик, понял? Ты-то ведь сам не такой. Так вот я и спрашиваю: как она в этом случае ведет себя, твоя совесть? Или ты, может, по правде уверен, что делаешь правду?

— Алексей,— попыталась вмешаться Варвара Дмитриевна.— Ну зачем ты?

— Что, не нравится?

— Отчего, продолжай,— усмехнулся Николай.— Зрительскую конференцию считаю открытой.

— А ты не елозь,— остановил его Кряквин серьезно.— Не крутись, как шпиндель. Играешь-то ты здорово. Факт. Ни к чему не подкапываешься. А вот понимаешь ли ты, что играешь, или только, как глумарь на току, поешь и никого, кроме себя, не слышишь?

— Ты о моей роли в «Подъеме», что ли? — спросил Николай, называя картину.

— Допустим, в «Подъеме».

— А-а...

— Во-от. Стыд, говоришь, совесть, контроль. Человек умеет и эти игрушки под себя приспособить. Я понимаю, Микола, у тебя профессия такая — говорить и делать чужое. Это трудно, наверно. Поди, охота же когда и свое врезать? Во-от поэтому, говоря и делая чужое, надо, по-моему, хотя бы чувствовать свое, понимаешь? Свое. А то ведь если и слова, и телодвижения, и чувства чужие, то совсем худо. Не так, что ли? Так. Я это на собственной шкуре испытал. Поэтому ты на меня не косись, не надувай губу. Не надо, Коля... Все мы нашу жизнь в одной упряжке. Ты с экрана, я — как крот из горы... Так что все мы под одной камерой и под одним светом варимся.— Кряквин умолк и жадно затянулся папиросой. Потом задумчиво договорил: — Мне вот вскорости тоже надо будет одну роль сыграть. Возможно, что и главную.— Он широко улыбнулся.— Так что это я сейчас репетирую ее, понял? На тебе, лауреат.

Николай промко зааплодировал:

— Bravo! Bravo! Кряквина на сцену!

— Ты чего? — с подозрением спросил Кряквин.

— Да здорово у тебя монолог получился. Честное слово! А жалуешься — говорить не умеешь. Сюда бы сейчас сценаристов наших. Послушали чтобы. Вот это текст! Я серьезно, Алексей. Без хохмы.

— Ладно, ладно, уймись.

— Вот чудило. Скажи, Варя, чем не артист, а? Со сцены бы ты вот так — в зале бы не пикнули. Вот те крест!

— Я и говорю ему, такой талант пропадает,— пошутила Варвара Дмитриевна, довольная, что братья не поссорились.

— Да! — воскликнул Николай.— Ну чуть-чуть не забыл! Мама же наша поклон тебе низкий передавала.

Варвара Дмитриевна сухо кивнула и отвернулась.

— Зря ты,— ласково сказал Николай.— Мы же... родня. Надо бы тебе с ней... ну, как-то уладить.

— Не хочу я с ней ничего улаживать,— вспыхнула Варвара Дмитриевна. Глаза у нее потемнели.— И не могу!

— Вот тебе и доброта... Ду-у-ща,— совсем не к месту подшутил Кряквин.

— Перестань! — вскрикнула она. Попыталась сдержаться, но у нее не получилось, и она, встав из-за стола, прихрамывая, вышла из комнаты.

— Зачем ты? — укоризненно спросил Николай.

— Да и сам не знаю. Не хотел...

— Иди, иди. Улаживай.

— погоди. Ты тоже тут с матерью... Не простит Варвара ей никогда. Вот увидишь. Характер-то будь здоров...

— Но так же тоже нельзя. Мать же идет навстречу, а у нее ха-

раक्टर сам знаешь. И потом, к чему ожесточаться? Душу ранить... Мы же одно целое.

— Кончай ты! — отмахнулся Кряквин. — Заладил про эту душу. Не знаешь же ни хрена, как было.

— А откуда мне знать?

— Вот и молчи поэтому. Я тебе сейчас объясню. Садись ближе.

Николай пересел на стул Варвары Дмитриевны, и Кряквин горячо зашептал ему в ухо:

— В сорок седьмом, после армии... Ну, в общем, я за ней... стал ухаживать. Не получилось у меня тут с одной. Выскочила она за другого. Это не важно... Вот я за Варькой и стал. Той чтобы насолить. Дурак был. Ума-то примерно столько, сколько у тебя было... И понесла Варька от меня. Дело нехитрое. А мать приехала, увидела ее — ни в какую! Наша мать, одно слово. Колом не перешибешь, на что встанет... Не понравилась ей, короче, Варвара. Мать и давай свою политику гнуть. Вы, мол, не подходите друг другу. У вас характеры разные, все равно разойдетесь. Видите ли, меня берегла. В общем, уговорила Варвару на аборт. И Варька сделала его. По доброте своей. А я об этом не знал. Все это за моей спиной. Работы как всегда — по горло... В общем, мать здесь, как Штирлиц этот самый, деятельность развила. А потом... когда Варюха опять забеременела... трах! — та авария. Как накаркала мать... У-у... — Кряквин плеснул себе в рюмку коньяк и выпил. — Теперь видишь?.. — он показал пальцем на седой висок, — кукуем одни. Варька и не может... детского плача... И матери не простит. А ты бы простил?

— Я... — замылся растерянно Николай. — Но я этого не знал. Ду-мал, глупость какая, ерунда. Мать же... сам знаешь. Не выдавишь ничего, пока сама не расскажет.

— То-то. Тебе сейчас сколько?

— Тридцать шесть. А что?

— Я и говорю — сопляк. А туда же — во врачеватели душ.

— Ты-то старик. Подумаешь.

— Что подумаешь? Четырнадцать лет разница, это мало? До Берлина топ-топ, — Кряквин «прошелся» пальцами по столу, — туда и обратно. И еще кое-чего подумали. Вот так! А мать наломала дровишек. С тобой, в частности. Вгики-пшики разные напридумала. Делом бы сейчас занимался. Не фиглярничал. Думаешь, не знаю про ваш мир? Знаю...

— Мой отец был актером. Твоя от твоих, как говорится в писанин, — улыбнулся Николай.

— А-а! Брось. Мой скульптором был. И неплохим. Но я же не скульптор.

— Каждому свое. Может быть, в этом и есть та самая сермяжная правда, что мы с тобой очень разные... Я ведь мать-то люблю.

— Гляди-ка, Америку открыл. А я нет? Да я за мать кому хошь... Уж чему-чему, а независимости-то она меня обучила. Пожизненному обязательству рассчитывать только на собственные силы. Понял, Микола? Не надеяться на дядю и тетю. Падаешь — вставай. Согнули — разгибайся. Она недаром, мать наша, всю жизнь возилась с камнем!

— Тише. Не шуми.

— Извини. Это факт — разошелся я. Пара рюмок — и того... Устаю, Николай. Нервишки.

— Понимаю. — Николай ласково положил руку на плечо брата, шутливо боднул его головой. — Все понимаю. Береги себя. Ты мне нужен... Как это насчет независимости-то хорошо сформулировано, а? Ты чеховских писем не читал? Жаль. Почитай как-нибудь... Он там, Антон Павлович, своему брату пишет... «В незаискивающем про-

тесте-то и вся соль жизни, друг». Чувствуешь? В незаискивающем... Вот как! Обожди... Есть и у меня своя мечта, брат. Никому не говорил, а тебе скажу. Это серьезно. Без дураков. Хочу сам свою картину поставить. И уж тогда вот и о независимости поговорить...

— Кстати, это не материна, а моего отца формула,— сказал Кряквин.— Мать ее только на вооружение взяла и через всю жизнь протащила.

Варвара Дмитриевна неслышно вошла в комнату и остановилась у двери за спинами братьев.

— А ты бы все-таки сходил за Варюшей,— сказал Николай.— Что она там одна? Жалко же... Она ведь у тебя чудесная.

— Не стоит, Колька. Я ее лучше знаю. Она сама придет. Под горячую руку с добротой лезть — хуже нет. Сам-то когда женишься?

— Еще и не думал. Невесты нет.

— Кто же наш род продолжать будет? На тебя и надежда. Смотри, жизнь короткая. А может, к старой вернешься?

— Что ты! Зачем?

— Коля,— неожиданно позвала Николая Варвара Дмитриевна. Братья как по команде стремительно обернулись.

— Подслушиваешь? — сказал Кряквин, улыбаясь.

— Конечно,— невозмутимо ответила Варвара Дмитриевна.— Коля, а ты знаешь, книгу нашего директора редактировала какая-то Гринина. Это не твоя?

— Какие у нее инициалы, Варюша?

— Сейчас посмотрю.— Она снова вышла из комнаты.

— И гитару там, Варь, захвати, пожалуйста! — крикнул ей вдогонку Кряквин.— Видишь, сама пришла... Так на чем мы с тобой остановились? Ага, на женитьбе. Женись, женись, Колька. Чужие души проиграешь, а свою сыграть не успеешь.

— Мне бы вот как ту подыскать, что в магазине. Михееву-Доронину,— подмигнул Николай.

— Заткнись! — шикнул на него Кряквин.

— В. В. Гринина,— сказала, вернувшись, Варвара Дмитриевна.— На,— протянула она мужу гитару.

— Спасибо.— Кряквин с любовью огладил ладонью облезший по корпусу, в заплатках инструмент.— Милая ты моя.

— Ну, если В. В., то, значит, моя,— сказал Николай.— Вера Владимировна получается. А что?

— Да так, ничего,— уклонилась Варвара Дмитриевна.— Мир-то какой тесный... Вы пойте, пойте. Я люблю, когда вы поете.

Кряквин кивком откинул назад волосы, подстроил гитару. Мягко и певуче выбрал вступление. Взглянул на Николая вопросительно — мол, давай,— и Николай запел красивым бархатным баритоном:

Гори, гори, моя звезда...

И ладно сошлись в единое два голоса. Ладно и стройно. Помужски.

Варвара Дмитриевна медленно подошла к дивану, над которым висела увеличенная фотография в металлической окантовке — обнявшись, стоят на понтонном мосту молодые совсем, в военных гимнастерках Гаврилов, Кряквин, Беспятый, Верещагин, — и присела на краешек. Послушала, не поднимая головы, а потом незаметно и сама вошла в песню, добавила в нее, великую в своей светлой печали, чуть дрожащий, высокий и нежный голос.

..Ты у меня одна заветная,
Другой не будет никогда...

...Ночью падал тяжелый, оттепельно-тусклый снег. А поближе к рассвету над отсыревшей землей завязался несильный, но все-таки ощутимый мороз, который и обсушил и высахарил до скользкой рассыпчатости ночной хлопьепад. К рассвету же и протиснулась между туч грузная, до краев налитая бледновато-зеленым косым светом луна, бесшумно сплснула его на хрусткую белизну под собой, так что когда Тучин в самом начале шестого вторым вышел из подъезда во двор — первым рванулся в парящую сутемь годовалый спаниель Карабас, до этого все подскуливавший нетерпеливо горлом, — его поразило открывшееся на улице всеобщее ломкое мерцание.

С минуту он постоял без движения, наслаждаясь игрой лунного света со снегом, тишиной и морозной свежестью, а потом, чувствуя в себе так и не остывшее со вчерашнего вечера доброе настроение, поглуше затянул на шее, до самого подбородка, «молнию» шерстяного спортивного костюма и с удовольствием, с каким-то мальчишеским азартом начал гоняться за Карабасом, вываливая его, коротконогого, длинноухого, радостно огрызающегося, в сугробах.

Минут за пятнадцать возни они испятнали следами весь двор; Тучину сделалось жарко, и он, посветив на руку, где часы, карманным фонариком, решительно направился к подъезду, подзывая свистом все еще не наигравшегося кобелька.

Была половина шестого. Заходя в подъезд, Тучин по новой совсем привычке — она появилась у него с тех пор, как он стал жить в этом доме, въехав в бывшую квартиру Студеникина, — покосился на окна второго этажа, где рядом с тремя горящими в его жилье вот сейчас должно было розовато затлеть абажурным светом окно в спальней Беспятых. Карабас тоже вскинулся туда же своей мордой, звучно выфыркивая из ноздрей слякоть, и точно — пунктуалист Беспятыи проснулся.

Тучин не спеша поднимался по лестнице, обтирая платком мокрые усы, и с усмешкой представлял себе заспанного Егора: как он сопит сейчас, разминая ладонями лицо, крихтит, устраиваясь повыше на подушке, тянется к пачке с «Беломором», раскуривает папиросу, надолго закашливаясь после первой же затяжки клокочущим курецьким кашлем, а после, не обращая внимания на привычно ворчащую жену, которой всю жизнь с ним не нравится и этот его натужный, нутряной кашель и этот противный дым, невозмутимо набирает на телефоне номер диспетчерской Верхнего рудника.

Каждый свой новый день Егор начинает со старого, известного всему Полярску вопроса: «Как спалось, дорогой? (Или «дорогая», в зависимости от того, чей голос услышится в трубке.) Это Беспятыи...» — хотя, естественно, он знает, что диспетчер не спал, и, прослушав цифровой результат работы ночной смены, добавляет: «Ну, стало быть, с добрым утречком...»

Тучин не раз уже предлагал своему другу сменить первую папиросу на элементарную физзарядку, пробуя при этом стращать Егора и ожирением, и склерозом, и инфарктом, но Беспятыи, невозмутимо выслушивая все это, лишь покачивал лысиной и всякий раз говорил одно и то же: «А нам не страшен серый волк. Понял?»

Тучин открыл дверь, подпихнул в пахнувший свежей побелкой коридор собаку, тепло посмотрел на встречающую их Анну и, дурачась, послал ей воздушный поцелуй.

— Надо же, — хмыкнула она и, фукая на вертящегося возле ее голых ног Карабаса, спросила: — Как хоть на улице-то?

— Жуть! — сказал Тучин. — Обмороженных штабелями везут. А как там Степан Палыч? — Он подмигнул на заметно округлившийся живот жены.

— Бодается.— Анна улыбнулась и поправила халат.

— Дай послушать, а?

— Беги, беги,— махнула рукой жена.— Ты же холодный.

— Тогда все. Я побегал.— И Тучин медленно, продолжая улыбчиво смотреть на Анну, закрыл перед собой дверь.

Он действительно бегал на рудник бегом. И не этой заделавшейся вдруг модной самодельной трусцой, а настоящим, мастерски поставленным, спортивным бегом. Его тело, хорошо подсушенное и мускулистое для тридцати девяти лет, каждое утро прямо с самого пробуждения требовало от Тучина глубоко прогревающей, очистительной нагрузки. Потребность в длительном, разумно размеренном беге-движении сохранилась в нем с давних студенческих лет, когда он, двадцатилетний будущий горняк Паша Тучин, был популярным рекордсменом Ленинграда по легкой атлетике.

Несколько лет назад, приехав в Питер по служебной командировке, Павел Степанович побывал в родном Горном институте, консультируясь на его кафедрах по специальным, связанным с рудничной технологией вопросам, а уже уходя из института, столкнулся на лестничном переходе со своим бывшим тренером. Оба сильно обрадовались друг другу, и тренер рассказал Тучину, что его рекорд института в беге на пять тысяч метров побили совсем недавно, да и то на чуть-чуть. Это неожиданное сообщение искренне тронуло Павла Степановича. Он даже почувствовал тогда, как невольно завлажнели его глаза.

Тучин по-настоящему понимал и любил спорт. Всякий. Увлеченно следил за ним, азартно «болел», умея зримо отгадывать за скупыми строчками спортивных отчетов моменты инстинного драматизма. Он не понимал людей, не понимающих спорта, и с куда большей симпатией относился к тем, кто его понимал.

Спорт и бег приносили Тучину радость, удивительные ощущения независимого ни от кого, кроме самого себя, одиночества, уверенности, бодрости и раскрепощения.

Сменялись постепенно должности, занимаемые Тучиным на комбинате,— он был и сменным мастером, и начальником горных участков в подземке, рядовым инженером в разных отделах управления, главным инженером Верхнего рудника — и соответственно в связи с этими его перемещениями по служебной лестнице изменялись маршруты, которыми он пробегал каждое утро в любую погоду свои неизменные, обязательные для души десять километров.

Изредка, конечно, обстоятельства заставляли Тучина откладывать бег и с ходу от домашнего порога усаживаться в служебный автомобиль, но и тогда при любой возможности он наверстывал упущенное, бегая по вечерам, хотя, естественно, более всего ценил утренние пробежки.

Со временем на комбинате пообвыклись и примирились с застарелой причудой Тучина, стали реже и скучней зубоскалить по этому поводу, а впоследствии ему уже не раз приходилось выступать и популярно рассказывать итээровцам о том, как следует приступать к занятию бегом, что это дает и так далее. Короче, появились на комбинате и другие любители «бега от инфаркта». Когда же кто-то однажды углядел бегущего по окраинным аллеям городского парка самого Гряквина, крыть зубоскалам стало и вовсе нечем. В одной из новогодних стенгазет управления был помещен весьма выразительный рисунок: за маленьким усатым Тучиным несется куда-то по горам весь комбинат — здания фабрик, цехов, градирни, трубы, самосвалы...

А еще, бегая, Тучин думал. Бег сосредоточивал. На бегу к Тучину уже не раз приходили те единственно верные и необходимые реше-

ния, над поиском которых он порой так безрезультатно ломал голову в иных, скажем кабинетных, условиях.

...Капустно хрустел под его кедами снег, куржак оплетал ресницы, усы, грудь Тучина, недостигаемо оставались где-то сбоку грубоватые подначки горняков, когда он пробежал мимо автобусных стоянок, вроде «От бабы своей убеги», «За получкой чешет», «Давай, жми! Сзади никого нет!» — дыхание ровно, с парком, исходило из согревающейся груди; Тучин чувствовал, как с привычным покалыванием раскрываются легкие, принимая в себя чистую свежесть рассвета, и сердце, подчиняясь ритму движения, все полней и упруже расталкивает по телу кровь.

В этот раз Тучин думал об Анне. Жене.

Вчерашним вечером они допоздна провозились по дому, обживая на свой лад бывшую квартиру Студеникиных. Тучин с удовольствием добелил коридор, докрасил пол в большой комнате, а потом они с Анной пили чай на чистенькой кухне и согласно мечтали, как станут жить дальше.

Им было хорошо. И спокойно. Радио негромко играло какие-то песни, Карабас, подремывая, поглядывал на них со своего тюфячка, а они то говорили, то просто молчали...

Не так уж часто теперь, после того как Тучин вступил в должность начальника Нижнего рудника, удавалось ему вот так спокойно посумерничать с женой. Новые заботы разом изменили его, сделали хмурым, малословным, нервным. Теперь он, как правило, допоздна засиживался на работе, а возвращаясь, без аппетита съедал приготовленный женой ужин, мылся и, не читая «Советский спорт», плюхался на кровать.

Вчера же к нему вдруг вернулось отличное настроение, и они с Анной, посидев за чаем, припомнили кое-что из своей трехлетней совместной жизни.

...Анну тогда только-только назначили директором горняцкой столовой на Верхнем руднике, и Беспятыи однажды за обедом, толкнув Тучина локтем, кивнул ему на проходившую стороной новенькую.

— Чего? — спросил Тучин, не понимая.

— Советую приглядеться, — сказал Беспятыи. — К Анне Ивановне.

— Зачем?

— Ну... так. На всякий случай. Это же, возможно, супруга твоя будущая.

Тучин так и прыснул в тарелку.

— А что? Такие волосы, такие глаза... Конечно, ты по сравнению с ней — тьфу! Бегун. Не пойдет она за тебя. Факт. Вот если бы я за это дело взялся — капут. Передо мной все женщины падают... в обморок.

С этого дурашливого разговора и началось все, а через полгода и кончилось свадьбой. Перешла Анна из горняцкого общежития в благоустроенный барак на 25-м километре, где тогда проживал Тучин. И принесла в затянувшийся холостяцкий быт главного инженера Верхнего рудника уют и семейное счастье.

Со смехом вспомнилось им вчера само сватовство Тучина. В столовой тогда шел ремонт электроплиты, и Тучин, подбадриваемый Беспятым, все-таки набрался духу зайти в крохотный директорский закуток Анны.

— Ты, главное, не тяни только, — нашептывал Тучину Беспятыи. — А с ходу — мол, так и так. Понял? Я ихнюю сущность знаю. Баб надо влет бить. Валяй-валяй.

В общем, зашел Тучин к директорше и... отмочил:

— Анна Ивановна!

— Я слушаю вас,— сказала она.

— Как вы на это дело смотрите?.. Ну... если бы мы... То есть я... То есть вы бы и я... ну... поженились, а?

— Что-о? — ошарашенно переспросила Анна.

— Да вы не бойтесь. Я серьезно... Вы, конечно, можете не спешить. Не надо... Вы подумайте. А в обед мне и скажете, ладно? Я холостой.— Он стремительно вышел...

— Ты удрал, а я сижу и на часы смотрю...— смеясь, припоминала Анна.— До обеда-то час всего оставался.

— Иди ты! — хохотал Тучин.

— Ну да... Сижу, в ум ничего не идет. Обалдела прямо!.. После встала и к Трофимычу на кухню. Думаю, у него спрошу. А там дымище коромыслом. Горит что-то. И Трофимыч стоит ругается во все горло. Я переждала и в сторону его за рукав. Как, мол, считаете, мне быть, Николай Трофимыч?

— А он? — в который уже раз на этом же самом месте спросил Тучин, наизусть зная ответ шеф-повара.

— А он злой как черт. Подумал и говорит: «Если к завтраму плити не наладют — уйду отсюда к такой-то матери! Меня, говорит, в ресторан зовут, а я тут с вашими биточками вошкаюсь. Вот так!» Не слышал он про мое-то, оказывается.

...Перед железнодорожным переездом, на отметке 10-й километр, Тучина догнал новенький рудничный «газик». Бибикнул призывно, ярко ослепляя фарами. Тучин зажмурился и перешел постепенно на шаг. Отвернул на запястье манжет свитера, посмотрел на часы. Все точно — он бежал, как обычно, сорок пять минут.

Откинулась дверка, и Семен, молодой здоровый парень-шофер, протянул Тучину меховую куртку.

— Привет, Пал Степаныч. Как пульс?

— Здорово. Стучит. А как у тебя?

— Тоже порядок.

Тучин накинул куртку, но сразу в машину не сел, еще несколько минут выхаживал себя, уравнивая дыхание. Когда оно улеглось окончательно, снова подошел к машине и попросил у Семена полотенце. Семен, прежде чем догонять своего начальника, заезжал из парка к нему на квартиру, где и забирал у Анны полотенце, костюм Тучина, ботинки.

Тучин досуха вытер мокрое лицо и шею, а уж после и залез на сиденье. С удовольствием вытянул ноги.

— Поехали, Сема,— сказал он, отдуваясь.

И в этот момент беззвучно опал, закрывая переезд, автоматический шлагбаум.

— Привет,— фьюкнул Семен.— Я ваша тетя...

Через какое-то время из темноты справа медленно поползли, стыло погромыхивая, высвеченные фарами тучинского «газика» тяжелые, белые от апатитовой пыли хопперы. Один вагон, другой...

— Пал Степаныч,— обернулся к Тучину Семен.— Я вот вас все спросить хочу.

— Ну?

— И чего это вы себя так гоняете? Ну, я там понимаю, гроши бы за-это давали. А-то так, задарма мучиться... А?

Тучин гмыкнул, провожая глазами вагоны. Отозвался не сразу.

— Это чтобы помереть, Сема, здоровым-здоровым.

— Ха-а...— гоготнул Семен,— хорошая хохма! Надо запомнить.

Потом уже, когда они мчались по искристой, гладко проструганной частым движением дороге, Тучин спросил:

— Что у тебя-то новенького?

— С Люськой, что ли? — охотно уточнил Семен.

— С Люськой, с Люськой, — улыбнулся Тучин.

— Да кого там! — отмахнулся Семен и шлепком приплюснул на патлатой голове махонькую шапчонку, светлые волосы его сзади далеко перевесились через ворот капроновой стеганки. — Какие дела? Да никаких. Все глухо! Она мне, Пал Степаныч, знаете что вчера говорит? Мы с ней на танцы ходили. В Дэка. Что я, говорит, за извозчика — ку-чера, мол, — не пойду. Ага... И не жди, говорит. Не дождешься. Мне, мол, холуя не надо. Так и лепит — вот чтоб мне не жить: хо-лу-я... Даже целоваться не стала.

— Как это за холуя? Не понял.

— А так. Раз, мол, я на этом «газоне» персональным шофером вкалываю, то, мол, значит, и холуй.

— Ингересно. Кого же она из тебя хочет?

— Ка-а-во... — презрительно растянул слово Семен. — Это вы у нее спросите. Иди, говорит, на рудник. В проходчики. Ну как ее отец. Он же у вас на Нижнем проходчиком. Обрезанов-то.

— Знаю. А ты ей что?

— Я молчу. Чего это я в проходчиках не видел? Из них нынче умные с ходу когти рвут.

— Как же с Люсей тогда?

— Кто его... — поехался Семен. Длинные лохмы его от этого движения густо встопорчились на затылке. — Может, вы с ней это дело обтолкуете? Вас-то она железно послушает.

— Надо подумать, — задумчиво сказал Тучин, прихватывая зубами ус. — Кто же тебе про проходчиков такое наплел?

— Кореши. А что? Не так, что ли?

— Хм... Кореши... — как-то вдруг отстраненно повторил Тучин и с этого момента замолчал до самого рудника.

С него разом слетело и бесследно улетучилось навеянное вчерашним вечером и сегодняшним бегом благодушие.

Он уже сердито покосился левым глазом на шофера. Тот как ни в чем не бывало массивно горбатился над баранкой и пофьюкивал что-то отгопыренными губами. «Трепло, — подумалось Тучину, и он, раздраженно поелозив на кресле, еще плотнее вдавился в него спиной. — Так по-большому и ковыряет, дубина...» Тучин нахохлился, притираясь щекой к поднятому воротнику меховушки, и прикрыл ладонью глаза...

Почти сразу же, легко и ощутимо реально возникла перед ним теперь уже до мельчайших подробностей изученная, внешне очень смахивающая на трамплин или на лыжный ботинок схема вскрывающих и подготовительных выработок Нижнего рудника...

Капитальная и материально-ходовая штольни. Четыре рудоспускных ствола. Два глубиной по сто сорок метров — для перепуска руды с участка открытых работ, и два по сто шестьдесят метров — с участка подземных.

Тучин всматривался в схему, и она, оживая, раскрывала перед ним сейчас сложно и ясно устроенные внутренности горы. Рудник вгрызался в месторождение с северо-западной части апатито-нефелиновой дуги, двумя горизонтами высверливая рудное тело. Вытягиваясь по протиранию почти на два с половиной километра, тело это затем опадало на северо-востоке под тридцатиградным углом... Снаружи пустынная голая гора там, под покрывающими нужную людям руду моренными отложениями и пустыми рисчорритами, жила: судорожно вздрагивала от взрывов, звенела сигналами подъемов, скрежетала ковшами скреперных лебедек... И действительно, черт возьми, положение с кадрами проходчиков на Нижнем складывалось хреново. «Хреново, хреново, хрено...» — заело на месте словечко. Хоть убей,

а не доставало проходчиков на руднике. «Недоставало, — доставало, — доставало...» Ведь не впервой же ему за все эти годы работы на комбинате так или иначе доводилось сталкиваться с этой проблемой — и понаслышке и всяко, но вот как и чем изменить это «что-то», как и чем вернуть профессии проходчика ну хотя бы уж прежний престиж, он, по правде, еще не знал. Вернее, даже и знал по-своему, только бессилён был своей непосредственной властью изменить это «что-то». Вот это-то противное бессилие, равное в конечном счете незнанию, и беспокоило и тревожило Павла Степановича.

Раньше, когда он после института еще только-только начинал вживаться в новую для него профессиональную среду комбината, ему казалось, что достаточно лишь достигнуть определенных высот на служебной лестнице — и сама высота его положения тут же создаст благоприятные возможности для скорейшей и самостоятельной реализации в дело того, что уже увиделось, пережилось и продумалось им внизу. Ведь по здравому-то смыслу все так и должно быть: больше власти — больше самостоятельности — короче путь; ведь то, что не по зубам, скажем, рядовому сменному мастеру, то вполне по силам начальнику участка и так далее. Лишь бы голова была на плечах, котелок бы варил получше, а там — только держись! горы свернем! В действительности же специалиста Тучина поджидало парадоксально неожиданное: чем выше становились должности, занимаемые им, тем длинней и усложненнее становился путь реализации уже продуманного и пережитого внизу.

Его шофер был, конечно же, прав. «Прав, прав, пра...» Сегодняшние люди действительно с откровенной и ничем не прикрытой неохотой учились и шли на эту до сих пор, пожалуй, самую высокооплачиваемую и ведущую профессию в подземке.

Состав проходческих бригад на Нижнем неуловимо-руготно колебался, а без стабильной проходки, без ритмичного проколачивания в горе новых и новых подготовительно-нарезных выработок, бурения ортов, штреков, восстающих, разделки подсечек просто невымыслимо было удерживать рудник в жестко регламентированных напряженными планами показателях. «Все правильно, правильно, пра... — с каким-то злорадством думалось Тучину. — Злишь, не злишь, а все так и есть. Народ ведь зазря, ни с того ни с сего, никогда и ни про что трепаться не станет. А если в пылу и наговорит чего-нибудь лишнего, то это только для того, чтобы этим лишним хоть как-нибудь да и выболеть из себя лишнее недовольство... И Студеникин, тварина ученая... Пенки снимал с рудника. Прятал концы в модном новаторстве. Блоки, видите ли, нарезал под несуществующие вибропитатели. Разбазарил проходку. Да и все разбазарил, хапуга. И смылся. То-то Шаганский с таким наслаждением выложил Тучину на стол свое социологическое исследование. На, мол, дурачок, кушай на здоровье. Расхлебывай студеникинскую кашу. Будто бы Тучин и сам не разберется в истинных причинах отставания рудника. Шут его знает, за что его только терпит около себя Михеев?.. Пустельга ведь обычная. Шестерка...»

Тучин даже не заметил, как сплюнул себе в ладонь. Семен удивленно стрельнул на начальника глазами, думая, что тот что-нибудь хочет сказать ему, но начальник молчал, все барабаня и барабаня себя пальцами по лбу, и Семен снова уставился на подрагивающую, колко мерцающую снегом дорогу.

Вступив в новую должность, Тучин по привычке дотошно вникать во все начал свою деятельность на Нижнем с тщательного изучения рудничной экономики, финансов, кадров и почти сразу же обратил внимание на недоукомплектованные штаты проходчиков. Переговорил с нижестоящими начальниками, с народом в подземке и кое-

что понял. Тем не менее, для того чтобы еще и еще раз убедить себя в том, что он понял сам, ему вдруг пришла мысль пригласить на рудник Шаганского, чтобы тот со своими «тунеядцами» из бюро социальной психологии и социологических исследований — так обычно и думали в среде итээровцев о «конторе ЮПШ», то есть бюро, руководимом Юлием Петровичем Шаганским, — по науке разобрался в этой проблеме. «Ничего. Пусть покопаются, — думалось Тучину, — авось да и предложат что-нибудь...»

Шаганский объявился на Нижнем, где когда-то, еще в бытность Кряквина, так мгновенно закончил свою блестящую карьеру снабженца. Элегантно одетый, слегка зарозовевший от уличного холода, он, прихрамывая, секунда в секунду назначенного ему времени вошел к Тучину, небрежно захлопнул за собой дверь кабинета и, как старый приятель, прямо от порога заговорил громко и весело:

— Приветствую вас, сэр! Вот и вновь я, как говорится, с волнением посетил тот уголок земли... Так зачем разбудили невинную? — Он протянул Тучину левую руку ладонью вниз и с кряхтением бухнулся в кресло. — Слушаю вас. Впрочем, для разминки предлагаю анекдот. Самый свежий. Только что с грядки. Вам первому. Цените... — Шаганский сделал интригующую паузу, передернул нижней челюстью и с железным клацаньем закрыл рот. — Значит, так... Встречаются два собаковеда. Представляете? Со-ба-ко-веда. А? Ничего для начала, да?

Тучин кивнул. В это мгновение ему думалось вот о чем: «Какой аккуратный... явился тютелька в тютельку. Вышколили. Аккуратными ведь становятся на государственной службе или действительно аккуратные, по натуре собранные люди, или вот такие вот... бездельники. Ведь не позови я его в этот час, ему и заняться-то было бы, поди, нечем. С радостью прискакал».

— ...и один другому жалуется, — дошел до Тучина снова наигранно бравый голос Шаганского. — «Понимаешь, говорит, мне ужасно не повезло на моего зрделя. Не пес, говорит, оказался, а совершеннейшая дрянь. Тупица!» «А в чем дело, любезный?» — спрашивает с участием другой собаковед. «Как в чем?! — возмущается первый. — Я, понимаете ли, просыпаюсь каждое утро и говорю своему Чарли: «Чарли, а нука принеси мне, пожалуйста, мои шлепанцы». На чистом собачьем языке говорю ему, коллега. Так что бы вы думали? Думали, что он исполняет мою просьбу? Ха-ха! Нет!.. Он, негодяй, вместо этого отправляется на кухню и... начинает там варить себе кофе». А? — Шаганский расхохотался. — Представляете? Кобель варит кофе!.. По-моему, это прелестно! Я бы сказал, подлинный, ярко выраженный сюрр!.. Нет, не перевелись еще на земле веселые люди!..

Тучин сдержанно улыбнулся. Ему вдруг действительно представилось, как его Карabas хозяйничает на кухне.

— Ну-с, а теперь я слушаю вас, — без перехода, уже абсолютно серьезным, деловым тоном продолжал Шаганский. — Выкладывайте, Павел Степанович. Погодка сегодня отличная!

Тучин коротко и точно объяснил Шаганскому, для чего его вызвал на рудник. Юлий Петрович внимательно выслушал и вдруг торжественно заговорил, грассируя:

— Б'аво, маэст'о!.. Вы мне буквально польстили. Я... честное благо'одное слово... не ожидал. Нет, нет и нет... Молодой руководитель стартует в свою деятельность с социологии? Конгениально! Далеко пойдете. Поверьте моему слову. Я позволю себе сослаться на кое-что из классики. Вы послушайте только... Э-э... Вот: «Даже туманные образования в мозгу людей и те являются необходимыми продуктами... э-э... своего рода испарениями их материального жизненного процесса, который... э-э... может быть установлен эмпирически...»

— «...и который связан с материальными предпосылками»,— совсем неожиданно для Шаганского закончил Тучин.— Вот для этого я как раз и пригласил вас. Займитесь проходчиками. И серьезно.

Шаганский с интересом посмотрел на него.

— Поразительно... Что-то давно не встречал я людей, знающих... э-э... наизусть Маркса. Заказ принят. Бу-у сделано. Заказчик, скажем прямо, попался серьезный. Только одно небольшое-небольшое уточнение, Павел Степанович. Нам надо, так сказать, э-э... договориться заранее, на берегу... Вы требуете от меня оценки сегодняшней привлекательности профессии проходчика?

— Да.

— Анализа, так сказать, утраты этой профессией своего престижа?

— Да.

— Я понимаю.— Шаганский многозначительно поморщил лоб и, откидываясь в кресле, прикрыл глаза красноватыми подрагивающими веками.— Но ведь вы же... я сейчас сознательно эвфемирую, то есть смягчаю понятие... в социологии... э-э... некоторым образом неофит. Не так ли?

— Так, так.— Тучин облизнул губы. Шаганский уже начал его раздражать.

— Так вот именно в связи с этим обстоятельством я бы и хотел кое-что уточнить заранее.

— Так уточняйте же наконец.

— А какая вам, Павел Степанович, э-э... требуется оценка? Какой анализ?

— Не понял вас,— резко сказал Тучин.— Вы бы уж пояснее.

— Хм...— Шаганский опять многозначительно приспустил веки.— Видите ли, Павел Степанович. В данном конкретном случае вы ведь впервые сталкиваетесь с проблемой заказчика и исполнителя...

— И что же?

— ...а социологические оценки, прямо скажем, порой бывают и безжалостны в своем... Вы понимаете?

— Пока понимаю,— сказал Тучин.

— Так вот я бы и хотел знать заранее... Что бы хотелось вам в результате исследования, которое заказываете вы... иметь от меня? Плюс... Минус... Баланс плюса и минуса или так, как оно и есть на самом деле? Поверьте, это немаловажно.

Тучин даже закричал, задышал носом, усилием сдерживая рвущееся из него раздражение. При этом ему удалось также и вынести на себе долгий влажно-пытливый взгляд Шаганского.

Он встал, подошел к подоконнику и налил из графина газированной воды. Выпил, думая, чем бы таким поострее отбрызнуть Юлия Петровича, а потом неожиданно даже для самого себя сказал ему тихо и твердо:

— Я прошу вас принести мне шлепанцы, товарищ Шаганский. Понимаете? А кофе варить не надо.

... — Приехали мы, Пал Степаныч,— вторгся откуда-то извне в тучинские раздумья голос Семена.

Тучин кивнул и посмотрел в ветровое стекло перед собой. Увидел знакомую стену бытовки и сильно закуржавевшую дверь в нее.

— Лады, Сема,— сказал Тучин и, перегнувшись через спинку, достал с заднего сиденья объемистую спортивную сумку, в которую каждый раз перед утренней пробежкой еще с вечера аккуратно укладывал служебный костюм, белую рубашку, галстук и ботинки.— Пошел я творить бессмертные дела. Бывай.

— С Люськой-то не забудете, а, Пал Степаныч? — окликнул его Семен. — Она нынче на смене.

— Не забуду, не забуду... извозчик. — Он захлопнул дверцу, вдохнул глубоко-глубоко морозный воздух, как бы прощаясь с ним, и нырнул в бытовку, в ее душное застоявшееся тепло. Сразу же и направился на второй этаж в душевую, машинально считывая с часов, висящих на лестничном переходе, время — семь пятнадцать.

В раздевалке было шумно. Галдели горняки, отработавшие ночную. Тучин здоровался со знакомыми и, сбрасывая с себя одежду, с интересом прислушивался к разговорам вокруг. Он любил вот такие начала рабочих дней: с открытым текстом мужицкого юмора; с откровенной здоровостью чисто промытых тел, знакомо предчувствующих предстоящие часы свободного отдыха; с плеском теплой воды.

— Павел Степанович, можно мне до вас? — издали заокала, заранее глядя куда-то вверх, пожилая пространщица тетка Мария.

— Можно, можно, Марья Алексеевна, — подстроился под ее «о» Тучин.

— Тут это... — замялась она.

— Говори, говори, не стесняйся. Тут все свои.

— Отблагодарить я тебя хочу...

— Это за что же, тетя Маша?

— И за квартиру и за путевку в санаторию. Дали мне в рудкоме.

— Ну-у? Это хорошо! Поздравляю. Только насчет квартиры я ни при чем. За нее ты Кряквину Алексею Егоровичу кланяйся. Вот так. Когда едешь-то?

— Через неделю уж. Только это... Павел Степанович. Вы бы к нам зашли, а? И мужик мой просил об этом. Ему и поговорить с вами охота большая. Об проходчиках и так далее. У нас и рябиновая добрая настоялась, — шепотом добавила тетка Мария.

— Рябиновая, говоришь? Это хорошо, — потер ладонь об ладонь Тучин. — Зайду как-нибудь.

— Правда?

— А ей-богу!

— О-о... Спасибо. А еще это... Только я по секрету... — Тетка Мария придвинулась к Тучину. — Клыбин-то на меня зверем глядит. Ага... Вчерась поднял вон там с полу газету мокрую да как зашумит!.. Антисанитарно, кричит. Гигиенно! Это он озлился так, что мне путевку-то определили. Прогоню с рудника, кричит... Полотенцы давай нюхать...

— А-а, — махнул рукой Тучин. — Плюнь ты на это дело, Марья Алексеевна. Пускай себе нюхает что хочет, ладно? А ты езжай отдыхай.

— О-ох... Уж пойду. А вы к нам зайдете, значит? — И Мария боком-боком пошла между кабинками.

Тучин с удовольствием слушал, как струится по его телу шипучая сильная вода, потом спросил у соседа, приземистого, густо обросшего взрывника:

— Как смена-то прошла, Вася?

Тот, отфыркиваясь, забасил:

— Нормально, Павел Степанович. От ноля до двух курили. Света в орте не было. Магистраль пережало.

Тучин нахмурился.

— А потом ничего. Вон у Федьки-то портки до сих пор в мыле. Вы бы это, начальник, со шнуром-то огнепроводным подшустрили бы малость, а? Сколь они там резину тянуть собираются? Кончается на участке шнурок-то.

— Ладно.

Потом Тучин завтракал в рудничной столовке и, по-быстрому сглатывая яичницу, вникал в дела на Нижнем.

— Вроде начали мы проходку там,— говорил ему Гаврилов, начальник первого горного участка.

— И что?

— Воды многовато.

— А у тебя? — перекрестно спрашивал Тучин у другого начальника участка.

— Все пока в норме. Насчет вибропитателей не интересовались?

— Сегодня должен главный горняк приехать. Расскажет.

— Вернулся уже?

— Ага. До селекторной обещался быть на Нижнем.

В семь пятьдесят Тучин забежал в рудничную диспетчерскую.

— Привет, Люся, я тебя боюсь. Чем обрадуешь?

— Вот. — Девушка пододвинула ему лист суточного рапорта. — Пока идем в норме. На втором участке немного недодали. Энергии не было.

— Знаю.

Тучин внимательно проскользнул глазами по цифровым колонкам.

— Так, так, Люсенька. Все хорошеем, значит? И холуи тебе — это по радио на днях передавали — не нужны, да?

Люся вскинула на него из-под челочки большие глаза, она очень милостивая.

— Успел пожалобиться?

— Семен-то? Да как тебе сказать...

— Ладно, ладно! — вскипела Люся. — Все ясно! Адвокатов себе нанимает. А сам целые дни штаны в кабине просиживает, дрыхнет. А до армии ведь на проходчика учился. Конечно, холуй! А кто же! Куда повернут, туда и едет...

Тучин, сдерживая улыбку, слушал ее.

— Правильно говоришь. Я — за.

— Еще бы! Вы так и передайте ему — пусть вообще не является!

— Я на танцы с ним не пойду, — подлил маслица Тучин.

— Не пойду!

— Во-во. Я и говорю — не ходи, Люся. Пускай в гору оформляется. А шофера я себе всегда подыщу. На худой конец, сам с усам. Права-то имею.

— Значит, и вы не за него, да?

— Не-а. Я за тебя, Люся.

Она недоверчиво так, проверяюще посмотрела на Тучина. Вздохнула.

— Вы бы знали, Павел Степанович, как отец на него вчера напустился. Жуть! Это он его холуем-то обозвал. И еще по-всякому. Говорит, горняцкую породу позоришь.

— А Семен?

— Обиделся. Чай не стал пить.

— Это ничего. Еще напьется. Короче, ты, Люся, не сдавайся. Жми на него. Мне сейчас проходчики вот так вот нужны. — Тучин чиркнул себя по горлу пальцем и вышел из диспетчерской.

Люся какое-то время задумчиво смотрела на дверь удивленными глазами, а после вынула из сумочки зеркальце и внимательно прицелилась к себе.

Не успел Тучин войти в свой кабинет, как возник в нем, помахивая какой-то бумажкой, главный инженер Нижнего Юрий Ильич Семенов, чересчур уж раздавшийся в ширину и рыхлый для своих лет человек.

— Сочинил я, Павел Степанович,— каким-то носовым, тусклым голосом сообщил он от порога.— Может, прочитайте вам, а? На всякий случай. Вдруг да не так...

Тучин коротко оглядел Юрия Ильича, мгновенно почувствовал в себе недовольство от одного только вида этого апатичного, вечно сонливого деятеля и буркнул:

— Читай. Кряквин нас поддержит.

— Это бы хорошо было... «И. о. директора комбината «Полярный» товарищу Кряквину А. Е.»

— Потрясающе! Я бы сказал, подлинный, ярко выраженный сюрр! — съехидничал, вспомнив Шаганского, Тучин.

— Что вы сказали? — не понял Семенов.

— Да так. Давай дальше.

— «Планом горных работ данного года предусмотрено начать проходку западной штольни горизонта плюс триста семьдесят Нижнего рудника в соответствии с техническим проектом, выполненным...»

— Дураками, — остановил монотонную гнусавость Семенова Тучин.

— Да, да,— закивал тот. — «Группой инженерно-технических работников Нижнего рудника предложено вскрыть горизонт штольней со стороны карьера, что в корне меняет технический проект и хотя и увеличивает объем вскрыши в северо-западной части карьера, значительно сокращает протяженность штольни...»

— Конгениально!

— Я так тоже считаю,— поддакнул Семенов.— «Просим вас решить нам увеличить объемы по вскрыше во втором и в третьем кварталах данного года и уменьшить объемы по проходке в этих же кварталах. Считаем наше предложение целесообразным и экономически оправданным».

— Точка! — громко сказал Тучин и вышел из-за стола. Остановился возле аксонометрической схемы горных выработок Нижнего.— Целесообразным... Оправданным... Разумно ли, Юрий Ильич, оправдывать разумом неразумное, а?

Семенов шевельнул плечом.

— Ведь по пустой же породе собирались тащить штольню. Идиотизм!

— Да, да... Тут и дураку понятно,— вздохнул Семенов, вытирая платком взмокшее лицо.

— Дураку, говорите? — Тучин хмуро прищурился на Семенова.— Странное дело получается, Юрий Ильич. Дуракам всегда все понятно, а они от этого все одно дураки. Почему так, не скажете?.. Один дурак выдумывает, другой командует, а третий в ладошки нахлопывает. Аплодисментами это называется.

— Вы про Студеникина, да? — виновато спросил Семенов.

— И про вас тоже. Идите, Юрий Ильич...

— Привет, начальники! — В кабинет вошел Снегур, главный горняк комбината.— Не ждали?

— У-у! — обрадовался Тучин.— Как манну небесную ждем. С приездом, Петр Сергееч. Не томи, рассказывай.

— Закурить дай сперва.

— Все стреляешь, да?

— Курить бросаю.

— На, на...

Снегур, высокий, здоровый, лет сорока человек с грубоватым, обветренным лицом, закурил.

— В общем, ребята, как ни странно, а пока все в ажуре. Да... За-

несло меня аж на Дальний Восток. И, значит, один там такой хитрый-хитрый заводик решил взять наш заказ на вибропитатели.

— Иди ты!

— Точно.

— Рыбка, наверно, помогла? — неуверенно пошутил Семенов, намекая на копченого палтуса, с которым обычно и разлетались по спецкомандировкам комбинатовские толкачи.

— Да пошла она, эта рыбка! — сплюнул Снегур. — Ты за кого меня принимаешь? Я же не умею совать-то в лапу. Срамота! Одному, правда, деятелю всучил... Было дело. Ну дак мы с ним у него на дому разговоры вели. Жена у него, скажу вам... семужного посла!

— Ну? — подмигнул Тучин.

— Не-е,— отмахнулся Снегур. — Чист, как правда. Не до этого было. В общем, взяли заказ. Обещаются изготовить машины к третьему кварталу.

— Здорово! — сказал Тучин.

— Но... Но, понимаешь, есть тут одно но. Теперь все дело за металлом.

— А что такое? — с тревогой спросил Тучин.

— Металл-то нам, Паша, надо давать свой. Они, понимаешь ли, шьют из материала заказчика.

— И что?

— Не знаю. Попытаемся сговориться с Череповецким металлургическим. Молись, Пашка... Дадут нам металл — будешь вытряхивать руду вибропитателями.

— А как не дадут? — прищурился Тучин, теребя ус.

— Сам знаешь.

— В трубу вылечу. У-у!

— Вместе полетим, Павел Степанович,— искривился в улыбке Семенов и... чихнул в пухлый кулачок.

— Нет уж! — хлопнул ладонью по столу Тучин. — Местов свободных нету. Ты полетишь один. Нам с тобой, Юра, не по пути. Я, знаешь ли, про космос с детства мечтаю. Понял? Так что если уж и полечу куда-нибудь, то один. Один.

— Как баба-яга, да? — подначил Снегур.

— Во-во. Так что ищи-ка себе другого... космонавта.

Сергеа Гуридзе закрыл уши руками. Сморщился. Григорий глубоко затынулся и шлепнул Сергеа ладонью по каскетке.

— Ты чего это хмуришься? Как этот... суслик во время пионерской облавы.

Сергеа смущенно улыбнулся:

— По ушам сильно бьет.

— Салага.

— Не салага я. За день, знаешь...

— Еще не скоро. Я шнур надлинил. Считаю до сорока — потом гукнет.

Орт был сумрачен. Слабовато светили в нем редкие лампочки. Холодно искрились водяные натеки. Сидели, ожидая взрыва, на куче неошкуренных еловых жердей, предназначенных для взрывных работ,— фугасы на них, этих жердях, крепятся.

— ...хотя и сам,— закончил Григорий,— сколько палю, а все одно звук всегда врасплох...

И это было точно. Кто работал в горе, знает: жди не жди аммонитного грохота — не дождешься. Звук непременно улучит тот самый момент, когда ты секундно хотя бы рассредоточишься, соскользнешь с напряжения, а после и сдавит упруго и торжествующе тесные

подземные пространства, коротко и тупо всаживая в тебя тугой ознобляющий звон. Похоже это еще ну на... Грохнуло! И они увидели, как рванулся из скреперного штрека похожий на парус, выгнутый взрывной волной клуб пыли. Завоняло сторовшей взрывчаткой.

— На что смахивает, знаешь?— сморгнул Серега, проглотив накопец-то застоявшееся комком возле горла ожидание.— В детстве нырнешь под воду, а кто-нибудь камень об камень. Вай! Нехорошо ушам делается.

— Ну ладно, короче. Ты об чем со мной толковать собирался?— Григорий направил на Серегоно лицо струю от своего фонаря.— А то тянем резину.

Серега заметно заволновался, достал из нагрудного кармана робы сигарету, пригнулся к Григорьиному окурку, раскурил.

— Ты не спеши. Время есть. Пускай проветрится штрек хорошо. Погоди...— Он поднялся, отошел, размываясь в сумраке, вертанул там чего-то, и зашипел слышно выходящий под давлением воздух, смешанный с водяной пылью. Вернулся. Стоя и начал:— Об Зинаиде разговор будет.

— Это еще об какой Зинаиде?— передразнил Серегу Григорий.

— Шапкиной Зинаиде Константиновне.

— Зинке Шапкиной, что ли?

— Да, Шапкиной. Ты знаешь, Григорий, что у нее ребенок будет?

— Чего-о?— Григорий даже малость оторопел, а после неподдельно расхохотался.— У Зинки! Кто же у ей папашей-то избран, интересно? Уж не ты ли, а? Али ветерком?

— От тебя будет. Исключительно,— сказал Серега очень твердо.

Смешок оборвался. Сделалось очень тихо, и в этой наспелой тишине где-то далеко-далеко, на соседнем горизонте, отзвучал приглушенный породой взрыв. Стучала по лужам вода, и пар от дыхания курчаво слоился в ламповых струях.

Григорий против своей воли вдруг легко и прозрачно оживил в себе ту давнюю по времени картину...

...Небо над береговыми соснами потеряло дневную силу, и вот-вот должен был означиться закатный намек. Горы натаскивали на себя дымчатое покрывало, и солнечный гвоздь, как бы стачиваясь, отошел от лодки, прикрытой тальниковой нависью, на самую середину озера.

Чайка, надрывая безвзмаховый овал, круто поклонилась ребристой, как шифер, воде, макнула в нее натянутые азартом проволочные ноги и тут же — без ничего в них — пружинисто подобралась вверх, роняя медленные-медленные капли.

Зинка села, натянула на острые коленки измятое платье и, зажав уголок губ шпильки, глухо спросила:

— Ну что... доволен?

Григорий неужно потрогал рукой воду. Тело его набухло какой-то разрытой, спокойной истомой, и он, закрывая глаза, ответил Зинке беззвучно, про себя: «Ничего, ничего...»

Откуда было знать им тогда троим — Зинке, Григорию и чайке, снова стелющей над озером бесшумный овал, — что видел все это сейчас еще один: бурильщик Сыркин, оказавшийся в тот день на том же озере?

Сыркин, по-кошачьи поднимая ноги, чтобы не дай бог не хрустнуть веткой или издать другой какой звук, старательно-старательно выбирался из береговых зарослей. На роже его, лошадино вытянутой, исклеванной оспой, потно плавилось жирное довольство...

— Да отключи ты его!— яростно махнул на Серегин фонарь Григорий.

Ближняя лампочка ортового освещения теперь была метрах в двух-трех, и лицо Григория прикрылось сумеречью.

— Ну?.. Чего дальше-то, кореш?

— Я пришел к ней. Она рассказала. Плачет. Удавлюсь, говорит. Плохо Зинаиде. Так. Вообще у меня есть идея. Я тебе потом скажу. Зинаида мне нравится. Вот. А теперь ты говори, Григорий.

— Фу-у,— выдохнул из себя Григорий.— Да-а... Думал, хуже не бывает, а наутро еще хуже. Ты послушай, Гамлет. Я же с ней месяца три как оборвал. Наглухо! По обоюдному согласию, так сказать. Поезд ушел... Чего его ворочать? А так-то она... ничего... Добрая.

— Правильно. Добрая она. Очень даже добрая. Только болтают про нее. Сыркин, собака!

— Ну, этому я глаз выну по-быстроу. Чтобы на анализ отнес.

— Не надо. Я сам. Ты, вот ты как дальше думаешь?

— Да никак пока. Я это дело и не планировал.

— Ты у нее первым был. Так.

— Да ты что, Серега! С коня упал? Что ты можешь знать?

— Я все знаю. И с коня я не падал. А ты у нее первым был. Зачем врешь? Где твоя совесть?

Григорий ссутулился, замер... Мгновенной вспышкой возникло перед ним Зинкино перекрытое белокурыми прядями волос мечущееся лицо. И стон. И вскрик. И шепот — горячий, упрасивающий, сбивчивый: «Гри... Гриш... Грише-е-енька!.. Ми... лый... Не на-а-а...» Он мотнул головой, полез за папиросами, сплюнул и вдруг сказал глухо:

— Слушай... А не пойти ли тебе, а?.. Чего ты тут из себя ангела корчишь?

— Не шуми, Григорий. Я тебя не боюсь. Мы с тобой вместе в десантных войсках служили. Понял?

— Врежу,— отчетливо посулил Григорий.

— Тогда я тебе тоже врежу.

Григорий включил лампочку и долго разглядывал лицо друга. В конце паузы неожиданно рассмеялся:

— Ну ты и даешь! Ладно, отбой. Вольно!.. Только это... а ведь я и на самом деле не знаю, что делать-то. Вон и Нелька Чижова, ну, из маркшейдерской которая, вокруг меня теперь петли вяжет.

— Зинаида про Нельку знает. Это ты вокруг нее виражи крутишь. Вот... Но теперь Нелька с тобой не будет. Факт.

— Это еще почему?

— А потому что Нелька Зинку уважает.

В дальнем конце орта заплясали, скрещиваясь и расходясь, два светлых лучика — кто-то шел в их сторону.

— Отец, однако, бежит,— сказал Григорий, приглядываясь.

— Ничего. Проветриваем. Говори, что делать будешь? Зинаида совсем скисла.

— А у тебя-то какая идея?

— Я сперва твой план хочу знать.

— Нету у меня никакого плана.

— Тогда слушай. Я твой друг, да?

— Да.

— Я тебя когда-нибудь продавал, да?

— Нет.

— Ну вот... Я тебе говорил, что мне Зинаида очень нравится?

— Говорил, говорил. Короче.

— Так вот. Если ты на ней... Если ты от нее откажешься... Тогда я тебя после этого совсем знать не желаю! Ты из Полярска уедешь! Я тебя близко видеть не позволю! Это мое очень ба-альшее слово!..

— Чего ты орешь?— Григорий поднялся.

А Сергей вплотную придвинулся к нему и процедил сквозь стиснутые зубы:

— Месяц тебе на раздумье. Два! Как в тбилисском Дворце сочтаний. А потом — берегись!

— Эй, самопалы! — не доходя метров двадцать, окрикнул друзей голос Гаврилова-отца. — Целуетесь, что ли? Почему скрепер стоит?

Сергея отлепился от Григория.

— Отпал делали, Иван Федорович. Григорию в глаз камень ма-аленький попал. Вынимать пришлось.

— Вынул?

— Не-ет. Решили — взрывать будем. На выброс! Так.

— Ну то-то. А ты, Григорий, валяй к Сыркину. Он обурил блок. Заряжать можно.

— Знаю. Был я у рябого.

— К концу смены отпалишь. И прикурить дай-ка мне... Через часок мы тут с Кряквиным и Тучиным прогуляемся, чтобы все в порядке было.

Сергея врубил лебедку и передернул рычаги. Тяжеленный стальной ковш, натянув трос, подтолкнул размочаленные взрывом куски валуна, и порода со скрежетом пошла вниз...

Грохотала лебедка, елозил и елозил зубатый ковш по тесному штрековому лазу, и, истрачивая себя на искры, натужно мотались в полутьме маслянистые косы тросов.

Лицо Сергея стало напряженным и очень похожим по выражению на то, когда он учил гамлетовские слова...

Лестничный ход восстающей был узким, рассчитанным не на гурьбу, а на одного. Прочные перекладины, окатанные горняцкими руками и ногами, все вели и вели в сумрачную, холодную вышину.

Первым поднимался Кряквин. За ним в такт Тучин. Еще ниже, вежливо отставая, Гаврилов.

Лезли без слов, сосредоточенные, только разномастно курилось дыхание, вскрипывало дерево да изредка, оттого и по-особому звучно, процарапывали стылую тишину вертикальной проходки срывы мелкой породы с боковин.

На одной из промежуточных площадок Кряквин остановился, жестом руки пропустил вперед Тучина, а сам, отпыхиваясь, обождал Гаврилова. Стянул каску и, не скрывая, устало вытер платком накопившийся на лбу пот.

— Отвыкаю, Иван... Вишь, жабры слиплись? Не те уж, не те, брат, совсем пороха...

— Да я и то гляжу — чего это мне на каску песок всю дорогу чей-то сыплется? Твой, оказывается. А давно ли, кажись, как ужаленный прыгал?

— Ну, по части прыжков-то я и сейчас не хуже резинового...

— Во-во, — хмыкнул Гаврилов. — По конторам... на заднице, да?

— Ладно, ладно. Поговори еще у меня.

Снова поползли вверх. И снова только дыхание, только шорохи грубой горняцкой одежды.

На очередной площадке Гаврилов спросил:

— А в гости чего не заглядываешь? Большой начальник стал? Узнался, да? Походку сменил?

— Пошел ты к дьяволу, — улыбочиво отмахнулся Кряквин. — Сам же ведь знаешь — хлопот полон рот.

— Варюха как поживает?

— Ничего. Завуч, понял?

— У-у... Стало быть, тоже ба-аль-шая начальница?

- Да ты что, в самом-то деле, Иван?
- А то-о,— сплонул Гаврилов.— Киснем же, как эти...
- Ну, ты погоди, погоди.— Кряквин мотнул головой в сторону Тучина.— Он вам еще дремоту разгонит.
- А сам что — передумал, что ли?
- Нет.
- Точно?
- Точно.
- А Михеев на это?
- Да хоть как! Я теперь буду ставить вопрос — и все!
- Это когда же, интересно?
- Скоро. Только отвяжись.
- А Верещагин что говорит?
- Слушай,— Кряквин рассмеялся,— ты сейчас таким макаром и до самого господа бога доспрашиваешься.
- Ну и доспрашиваюсь, а чего? Мне-то кого бояться? Это же у вас перед господом богом жабры слипаются.
- Это у кого «у вас»? — с ехидцей уточнил Кряквин.
- У Михеева хотя бы.
- Кряквин надвинул каску потуже, поправил на груди лампу и отозвался не сразу:
- Видишь ли, Ваня.. Как бы это тебе попонятней... В общем, вот так... Я за свои жабры куда ручаюсь.
- Гаврилов удовлетворенно кашлянул в кулак.
- Ну-ну... Будем посмотреть.
- И опять застонала под их тяжестью лестничная кладь, и опять качался, отжимаясь кверху, встревоженный лампами сумрак.
- Вот и все, милай, а ты боялась,— сказал Кряквин сам себе, выбираясь из встающей, и, обернувшись, понарошке протянул Гаврилову руку.— Давай, старикан, подмогу.
- Гаврилов привычно легко выскочил на поверхность штольни.
- Закурим, начальник? — спросил Кряквин.
- Естественно,— ответил Гаврилов.— Только там, в цирке. И вместе с ним.— Он показал на отчетливо чернеющую впереди фигуру Тучина.— Он ведь с характером. Ты на него зазря не обижайся.
- Знаю, знаю. Пошли.
- На самом выходе из штольни сильно задул, приятно остужая разогретые подъемом лица, встречный свежак, подаваемый в рудник компрессорами. А вскоре за крытой галереей, где хранилось разное необходимое в подземке добро, и возник на три стороны дикий и несканзанно прекрасный простор...
- Штольня шестисотого горизонта выводила в цирк, горный, величественный и всякий раз, даже для тех, кто его уже хорошо знал, поразительный этой своей горделивой величественностью.
- Скальный массив весь в белых морщинах — расщелинах и как попало прилепленных снежных заплатах — гигантской подковой, отдаленно смахивающей на трибуны своими уступами, непроходимо огибал ровное, почти круглое плато, охраняя его покой, и какое-то особенное, торжественное беззвучие припадало сейчас ко всему, что существовало здесь под совсем уже близким-близким небом.
- Плотно прикатанный пургами наст матово отсвечивал даже и в бессолнечном дне, оттого сами собой щурились и слезились глаза вышедших только что из горы.
- Кряквин с Гавриловым с удовольствием затянулись папиросным дымом, а Тучин, сказав, что не курит, отошел по пробитой бульдозерным ножом траншее-тропе в сторонку, визжа снегом, и, отвернувшись, независимо справил малую нужду.

Кряквин подмигнул Ивану Федоровичу:

— Дельное предложение, между прочим...

Когда опять собрались все вместе, Кряквин, оглядывая горы, мечтательно сказал:

— А вообще-то, мужики, если уж так... ну... безотносительно... то здесь-то, вот на этом самом месте, не руду бы по идее крошить, не-е... а курортец горный отгрохать. Да-а... Красота-то вокруг — скажи нет? — Он подтолкнул плечом Гаврилова. — Ну чем тебе не Швейцария какая-нибудь, а?

Гаврилов, переминаясь, захрустел снегом и с серьезным видом подначил своего просвещенного товарища:

— Во-он туда, — он показал на присыпанную сугробами трансформаторную будку, — кабак с музыкой. Мой обормот, Гришка-то, в нем петь будет. А вон туда, — он перевел глаза на уснувший экскаватор, — эту... рулетку, что ли? Без плана бы точно не были.

— Факт, Федорыч, — поддержал его Кряквин. — Этим ведь горкам цены нету. Только к тому времени их, поди, и совсем не останется. Обгрызем и в вагончиках вывезем.

— Если вагоны будут.

Кряквин резко повернул к нему голову.

— И если кому их грызть охота останется, — добавил Тучин, и Кряквин так же резко обернулся в его сторону.

— Та-ак, — протянул он. — Наконец-то заговорили. Собрание считаю открытым. Тебе, значит, Иван Федорович, до полного счастья вагончиков не хватает, а тебе, Павел Степанович, проходчиков. Правильно я понял намек?

— Пока да, — уклончиво ответил Тучин.

— Да-а, — покачал головой Кряквин. — Мне бы ваши заботы. Да разве в этом только дело-то? Заладили, как попугай! Вагоны... Проходчики... Караул! Дальше одного хода подумать не хотят. Вам что, магнитофоны вот сюда встроили?! — Кряквин пощелкал себя по каске.

— Ты чего это, Алексей? — Гаврилов толкнул друга плечом. — Шумишь, будто на пожаре...

Они спускались сейчас в долину и со стороны гляделись обыкновенными горняками. В касках, с лампами, в сапогах, в брезентухах.

— А что? Не так, скажете? Ну ладно. Начнем сначала... Вопрос первый. Допустим, что будет у нас, Иван Федорович, вагонов навалом. И проходчиков, Павел Степанович, тоже — хоть ложкой ешь. И что? Райская жизнь?

— Да уж не до жиру, — вздохнул Гаврилов. — Я бы и за это уже свечку поставил.

— Кому?

— Да хоть тебе. Ты же у нас стратег.

— Вот и поставь. Вагоны-то мы в конце-то концов вышибали и теперь вышибем.

— Интересно. Каким это местом ты их вышибать будешь?

— А вот этим, понял? — Кряквин показал Гаврилову язык. — Потому как мозги на это дело не шибко тратить охота.

— Расскажи, где достал такой, а?

— Кончай! Я же серьезно. Так называемая проблема вагочов, тем более в том виде, как она складывается для комбината, если уж хочешь знать, не стоит и трех копеек. Ей-богу! И лично я если и обращал бы на нее внимание, то лишь как на результат чего-то ку-у-да более важного и пока еще не решенного...

Кряквин приостановился, и они с Гавриловым опять закурили. А день стоял вокруг уж больно хороший. С морозцем, но без ветра совсем, теплый. Снег коротенькими замыканиями искрил по бортам

бульдозерной траншеи-тропы, и все время откуда-то сверху, с абсолютно чистого неба, ссыпалась блестящая игольчатая изморозь.

— Вот тебе, значит, не хватает вагонов,— после нескольких сильных подряд затяжек заговорил снова Кряквин.— Да-а, брат. Сочувствую. Горе. А вот ему — проходчиков, вибропитателей. Еще и главный инженер у него на руднике... дырка. Правда ведь, Павел Степанович? И волюшки бы тебе, волюшки побольше, а? Чтобы уж никто над ухом не дышал. Ты бы уж тогда-то рванул. Знаю, знаю, о чем мечтает девица. Сам проходил это. Кстати, гениальное исследование Шаганского по вашему руднику, ну... «О причинах снижения престижа профессии проходчика» — так оно, кажется, называется? — я прочитал раньше, чем вы.

— Как? — удивился Тучин.— Я же...

— А-а, бросьте. Шаганские из той породы бегунов, которые, если надо, и собственную тень обгонят. Что, не понимаешь? А еще этот... бегун. У него же привычка носиться по верхним этажам — безусловный рефлекс. Чуть что — к начальству. Ну а раз Михеева нет, то ко мне. Ох и хвалил же он тебя, Паша. Ну будто стучал на тебя. Ей-богу. Понимаешь, когда Шаганский кого-нибудь хвалит, у меня после этого почему-то зубы болят,— Кряквин ткнул себя пальцем в грудь,— бр-р-р... В общем, хвалил, хвалил, а потом, значит, и попросил «конфэдэньциально»,— Кряквин похоже скопировал Юлия Петровича,— ознакомиться с его последней «скромной» работой. И очи свои при этом потупил... Тьфу!

— Но для чего он это? Не понимаю.

— Да для того же! — вспыхнул Кряквин.— На всякий случай... Шкуру бережет! И хватит об этом. Хватит! Не о нем же сейчас речь, а о вас. Это же вам, понимаете, не хватает проходчиков, вибропитателей и прочего? Вам?

— Мне, мне,— пробурчал Тучин.

— А вот Варваре моей до полного счастья учебников пацанам в школе не хватает. Нету их, говорит, в Полярске, нету! Тоже тоска, между прочим. А я вот без заварочного чайника маюсь. Честное слово. У старого, понимаешь, носок обломился, а новый никак не найду. Делать их перестали, что ли? Или мне, может, на пустой кипятик переходить? Задача, не скажи... А кому-то знаете чего недостает! Мозгов. Да, да. Этого самого серенького вещества! И вот это уже куда страшнее. Де-фицит на него явный. А почему так, а? Отчего? И вот тут-то мы и начнем новую тему. Потребность кого-то в чем-то, или дефицит по-научному, сама по себе штука вроде бы и неплохая. Стимулирует, активизирует, целеустремляет и так далее. Но с тем дефицитом, который нервирует нас, чуток посложнее. Факт. Пошли, мужики,— нервно сказал Кряквин, и снова пронзительно завизжал под ногами снег.— А для того чтобы избавиться от этих нехваток, этого проклятого дефицита, как зла, мешающего нам жить, надо бы нам думать не о сегодняшнем дне. В общем, осознаем мы насущность нужд наших и не умеем покуда увязывать их с предвидением будущего. Вот-от... А в этом увязывании — перспектива... Факт.— Кряквин вздохнул.— Appetit-то к нам приходит во время еды, и хочется поэтому продолжать и продолжать улучшения. Знаешь, Иван Федорович, о чем я теперь усиленно думаю?

— Откуда?

— О сути сегодняшнего понятия план.

— Америку открываешь?

— Нет.

— Тогда велосипед.

— Кыш! Я серьезно. Тебе не кажется странным, что мы, то есть ты, он и я, конечно, периодически перевыполняя или просто выполняя свои оперативные планы, ну, скажем, как в прошлом году, тем не менее торчим на одном месте? На каком, я тебе сейчас объясню. Ты только не ухмыляйся. Вспомни, пожалуйста, как одиннадцать минувших месяцев мы на всех законных основаниях раздавали премии. И никого не смущало, что премии эти начислялись нам всем — от коменданта общежития, методиста-физкультурника, управдома и кладовщика до меня и Михеева — в то самое время, когда комбинат не обещивал опережающего темпа роста производительности труда над заработной платой. А? Это тогда никого не касалось. Выложь деньги — и положи. А в результате? Да об этом все полярские собаки знают: не подправь нам министерство и главк план в сторону уменьшения, причем за три дня до конца года, мы бы его ну ни в жисть, что говорится, не выполнили бы. Это же химеры и фантомы! А как же! Перевыполняем, выполняем — и нате, не выполняем, выходит. В чем дело?

— Ну, знаешь, Алексей, ты эти вопросы не мне задавай. И так вот на меня не гляди. Не страшно. Я человек маленький. Во-от такой, — показал пальцами Гаврилов. — А ты у нас шишка. Бугор. Все знаешь без книжек. Стало быть, и спрашивай об этом у кого следует.

— Это у кого же «кого следует»? — передразнил Гаврилова Кряквин.

— А хоть у кого! Промеж себя, по закоулкам-то, мы все шибко храбрые. А вот моя бы воля — я бы первым делом такой... ну, рентген, что ли, придумал и просвечивал бы им всякого начальника на предмет его духовитости. Ага, скажем, у этого гайка ослабла, стал он за свою шкуру побаиваться — пошел вон! Вон он, комбинатище-то какой! — Гаврилов махнул рукой в сторону далеко-далеко дымящихся труб обогатительной фабрики. — План-то, он к чему призывает? К напряжению. Что можешь, то и давай. Вот к чему. А мы? Туфту гоним. Что, не так? Рвем у горы что поближе да пожирнее — авось обойдется. Ты-то про это лучше знаешь. Триста страниц сочинил... писатель. Толку-то от твоего сочинительства? Погоди, скоро все опять, как сначала, начнем. В третьем квартале опять станешь икру метать. Точно, могу поспорить. Хоть на что! Вскрыши не будет, вагончиков... штук по триста в сутки и — Вася, не чешись! Склады рудой завалишь, а после опять руднички останавливать? Ох и старая же песня! До каких только пор ее петь будем!

— Ну ты и разошелся. Вопишь, как на пожаре. — Кряквин двинул друга плечом. — А хочешь знать, только не обижайся, ладно?

— Ну?

— Весь крик твой — звук один. Ага, Ваня.

— Твой-то...

— И мой тоже. Успокойся, снежку поешь. Уж чего-чего, а бичевать-охаивать мы мастера. Да-а. Тут нас хлебом не корми, дай только вокальные данные потренировать. Дальше-то что? Да ни черта. И знаешь почему? Трудно. Дальше-то мозгой шевелить надо, а мозгов не хватает...

— Одолжи, если лишку.

Кряквин так и прыснул. Но резко оборвал смех и уже абсолютно серьезно заговорил:

— В этом повинен не ты, понял? И не он. И не я, как мне кажется... А наш пока еще несовершенный механизм управления производством.

— О! Нашел виноватого! — отмахнулся Гаврилов. — Механизм-то при чем?

— А при том, Ваня, при том... Как аукнется, так и откликнется... Представляешь, на одной шестой части всей земли общество людей впервые за всю историю человечества надумало планировать самое себя. А? Люди решили планировать свою судьбу. Представляешь? Это же неслыханная и прекрасная дерзость! Они, объединенные этой великой идеей, задумали планировать себя разумно, ответственно, с гарантией, понял? А в таком деле план уже не просто план. Не-ет. Его понятие с ходу подравнивается к понятию «разум». Чувствуешь? Раз у м. Значит, мы все... и ты, и он, и я... начинаем жить, живем и будем, следовательно, жить в сфере единого Плана. Все! Ну, кроме дураков... Ведь каждый из нас несет в себе свое сокровенное, личное. Планиду свою. Судьбу!.. Тут нам, людям, имеющим дело с планом, важно уметь предвидеть. Да-а. Предвидеть. Разное. Всякое... Вагоны, чайники, учебники, вибропитатели, проходчиков и так далее и так далее. Предвидение — система бездонная. И думать тут надо глубоко. Мы же пока еще позволяем себе мыслить коротко и не самостоятельно. И это очень и очень даже тревожно... Без совершенного предвидения несовершенно наше планирование. А несовершенно планирование — значит, несовершенно мышление в сфере его. Вот тебе и дефицит опять же... Вот и получается у нас — чуть что не так, не по-нашему выходит... мы vareжку разеваем... И я такой же! Не так, что ли?

Гаврилов кашлянул и пожал плечами.

— Молчишь? И правильно делаешь. Для того чтобы улучшать, совершенствовать что-то, надо хотя бы знать, как улучшать, как совершенствовать.

— И с кем совершенствовать,— неожиданно вставил Тучин.

Кряквин остановился. Достал из пачки папиросу и, раскуривая ее, внимательно посмотрел на сосредоточенное лицо начальника Нижнего.

— Что вы имеете в виду?

— Вас.

— Продолжайте.

— Скажите, Алексей Егорович, я вас об этом давно спросить хотел... Вы что же — уже заранее предвидели финал деятельности Студеникина на Нижнем?

— Да,— резко ответил Кряквин.

— И знали, что он своей деятельностью, в кавычках, естественно, сажает рудник на мель?

— Да, знал.

— И не мешали ему творить это?

— А зачем? — усмехнулся Кряквин.

— Странно. Вы... для чего?

— А для того, чтобы вы, Павел Степанович, сняли рудник с мели.

— Теперь понятно. Спасибо.

— Да пока что не за что, Тучин. Не за что... Так что ты это... дыши глубже, не напрягайся. Я же ведь вижу, как тебе охота сейчас уесть меня. Вижу, Паша. А хочешь знать, почему вижу? Да потому как я вот таким, как ты, уже был, понял? Вот так. Еще вопросы будут?

— Просьба.

— Давай.

— Снимите с должности главного инженера на Нижнем Семенова.

Кряквин медленно-медленно выдул из себя дым. Хитро прищурился.

— Имеется кандидатура на его место?

— Да.

— Кто?

— Иван Федорович Га...

— Что-о?! — Гаврилов так и подсунулся к тучинскому лицу. Тот отшатнулся. — Что ты сказал?

— Погоди, Иван, — остановил его Кряквин. — Не мешай умным людям. Вы что — серьезно решили это? — спросил он у Тучина.

— Категорически!

— О-ого... — Кряквин вытащил из кармана носовой платок и звучно высморкался. При этом он все время внимательно разглядывал Тучина. Потом размашисто хлопнул его по плечу: — Молодец, Пашка! Я бы до этого... не додумался!

— Да я бы тоже... — шевельнул усами Тучин. — Дефицит помог.

Григорий лежал на кровати и курил. Над ним на стене, улепленной всякими фотографиями и картинками, круто выгибались похожие на лопасти, ладно отделанные сохачьи рога. На них колбасным кругом — патронташ и потасканная централка. Рядом с кроватью, на табуретке, хрипел магнитофон. Высоцкий натужно, одним горлом, рассказывал историю про вещь Олега, которому волхвы якобы с похмелья натрепали, что примет он смерть от коня своего.

В комнате, узком пенальчике на одно окно, в привычном для хозяйина беспорядке стояли стол с разобранным радиоприемником, хилая этажерка с упавшими набок книгами, и, пожалуй, все.

Пепел Григорий стряхивал в пустую бумажную гильзу, что придерживал одной рукой на груди. Порвалась пленка, и Григорий не сразу остановил магнитофон. Полежал еще, косо наблюдая, как салатит кассета, но все-таки решил склеить разрыв. Тяжело сел, встал, медленно сделал что надо, запустил про Олега сначала, а сам принял прежнее положение под раскидистыми сохачьими рогами. Теперь он смотрел в потолок, двигая глазами по трещине в штукатурке, и думалось ему про разное, так, короткими вспышками возникало то одно, то другое.

Огнепроводный шнур, по которому совсем и неторопливо ползла, выедавая обмотку, точка огня.

Сергея Гуридзе... «Быт ил нэ быт? Вот в чом вапроз!»

Нелька Чижова... Стройная, в обтянувшем ее плотную, рельефную фигуру купальнике, она откачнулась посильнее на конце подкидной доски и, взлетев, изогнулась, расправила по-птичььи руки — и пошла, соскальзывая по плавной дуге к воде, оставляя высоко-высоко над собой площадку трамплина.

После смены, выходя на рудничный двор, Григорий видел, как она, веселая, усаживалась в «газик» Только Юсина, начальника комбинатовского отдела техники безопасности... «Дешевка», — подумалось в тот момент Григорию.

Зинка Шапкина... Ее голос: «Ну что... доволен?»

Хрипел и хрипел Высоцкий, а за окном густо накопилась темнота, пробитая огнями от соседнего дома. Григорий резко сел. Ткнул, выключая магнитофон, в клавишу пальцем. Соскочил с кровати. Надел ботинки и вышел из комнаты. Здесь вкусно пахло жареным мясом — мать готовила что-то на кухне. Григорий сорвал с вешалки полушубок, услышал, как мать окликнула его вопросом «ты куда?», не обратил внимания и выбежал на лестничную площадку.

Стеклопанельная дверь в телефоне-автомате была разбита. На аппарате настала горка снега. Григорий набрал цифры, приспособил к уху ледяную трубку и подул на снег.

— Нижний? Это диспетчерская? Привет, Люся! Я тебя по голосу... Ага. Не говоришь, а поешь. Кто, кто? Гаврилов. Только Гришка. Поныла? Ну ладно, ты мне это... кто там сегодня на водопое стоит — Де-

рюгина или Шапкина? Шапкина? О'кей. Работай, работай.— Он повесил трубку, сгрел с аппарата ладонью снег и, выжимая из него капли, вернулся домой.

— Ты что это? Из дому позвонить не мог? — спросила мать, пожившись на стук из кухни.— Сейчас ужинать будем.

— А-а,— отмахнулся Григорий.— Давай мне червонец.

— Зачем?

— Надо.

— Собираешься куда?

— ...спросила она встревоженно,— перехватил интонацию Григорий,— и в глазах ее засияла скупая слеза.

— Болтун,— сказала мать.

— Кто возражает? Но, понимаешь, и болтунам червонцы трэба.

— На водку?

— Еще не знаю.

— Тогда садись ешь, я тебе налью. Отец придет скоро.

— Это хорошо, мать. Но, понимаешь... не тот случай. Мне опять не повезло в любви, и разговор, стало быть, выйдет сама знаешь какой, так что буду кирять в одиночку. Тебе это не усечь. Ты, мать, женщина.

— Куда уж нам.— Она вздохнула.— И ночевать, поди, не придешь?

— Приду.

— Сказал бы уж, что у тебя, а? Все спокойнее.

— Потом. Летом. Все же нормально. Не бойсь. А я поплыл, ладно?

— А деньги?

— Обойдусь. Это я так — проверить тебя... на жмотство.— Григорий подмигнул матери, поправил шарф и шапку, выщел, гулко прихлопнув за собой дверь.

Он еще не знал, о чем станет говорить с Зинкой. Но, во всяком случае, уж не скулить. То, что ему сообщил Серега, было, конечно же, неожиданно. Сидя в пустом автобусе, Григорий кисло соображал, и что-то явно не склеивалось в его соображениях. Во-первых, он Зинке ничего не сулил, как некоторые. Нагородят бабе с три короба, а после суется язык. У них было все как обычно. Зинка сама положила на него глаз. Все понятно — гитара, то-се, песенка, поцелуйчики. Не впервой такое... Он ее на озеро не тянул, пришла, намекнула, а он намек понял — поехали... Ну а то, что она оказалась нетронутой до него, так он-то при чем тут? Сказала бы с ходу — мол, так и так, он бы и не полез. Точно. А потом, и по времени опять же ерунда получается. Это когда все было-то!..

Григорий расколупал ногтем уже затянувшуюся наново ледком смотровую дырочку на стекле и совсем ненужно уставился в нее глазом. Ему вдруг припомнилось, как пахли Зинкины волосы... Хорошо! Каким-то луговым, солнечным ароматом... А Сыркину он точно паяльник начистит. Сортирный писатель... Ничего. А с Серегой они уладят. Уладят... Как-никак — корешки. В одной эскадрилье служили, тянули до дембеля. Чего вот только Зинке-то говорить? Был бы он точно виноват — другой коленкор. Уж не слинял бы... Может, жениться на ней, а? И все чин чинарем? Во матушка бы обрадовалась! «„Тебе же пора, говорит. Двадцать восемь уже... Смотри — измылишься...” Мать у меня человек,— думал Григорий.— Душа... С ней хоть об чем толковать можно. Все усекает. А может, плюнуть и вернуться домой? — Григорий снова прицелился глазом в дырочку и по мельканию огней догадался, что уже въехали на рудничную территорию.— Ладно,— решил он.— Чего мандражить. Потолкуем с Зинкой. Хуже не будет. Послу-

шаем». А потом, с какой такой стати ему в пакостниках ходить? Все должно быть путем...

— Здорово! — сказал Григорий. Голос его слышно раскатился по безлюдному коридору бытовки.

Шапкина не глядя наполнила стакан газировкой. Стукнула им о прилавок.

— Не промахнись, Асунта!

Зина подняла глаза на сказавшего ей смешное название давно уже отошедшего в их городе фильма и... вздрогнула. Как в портретной раме стоял перед ней Григорий Гаврилов. Широкоплечий, скуластый, красивый.

— Вот такие, значит, пироги! — Он не спеша, со вкусом выпил воду, крякнул и вытер губы обшлагом. — Здорово, говорю.

Она неуверенно подшагнула к окошечку, а Григорий все стоял, утвердив локти на влажном прилавке. Вертел пустой стакан и в упор разглядывал Зинаиду.

— Фрагмент известной картины «Его не ждали». Фамилию, кто рисовал, не помню. Что молчишь?

— Обожди, — сказала Зинка.

— Жду, — сказал Григорий.

Грохнулась книзу деревянная задвижка, и через несколько секунд Зинка возникла в коридоре. На ходу набросила пальто и шаленку.

— Пошли отсюда.

Вышли на рудничный двор, довольно ясно освещенный огнями. Молча дошагали до Доски почета.

— Зачем пришел? — хмуро спросила Зинка.

— А так... Вспомнил, понимаешь, одну штуку из своей молодой жизни, а потрепаться не с кем. Дай, думаю, к Зинке съезжу, с ней потреплюсь...

— Трепись.

Люминесцентный свет от Доски почета был несильным. Григорий стоял перед Зинкой высокий, намного выше ее ростом. Лицо резкое, похожее на отцово. Глаза в глубоких впадинах.

Она отвернулась и в упор встретилась тоже со взглядом Григория. В белом своем норвежском свитере этот Григорий улыбался с большой фотографии на Доске почета.

— Ну так правда, что мне Гамлет напел?.. Будто ты от меня..

Зинка вдруг странно хмыкнула, закрыла лицо руками и прижалась лбом к груди Григория.

— Если правда — скажи?.. Я от своего не откажусь.

Григорий, откинув голову, настороженно смотрел на нее сверху вниз, потом взял пальцами светлый подрагивающий локон, поднес к губам и — понюхал.

— Вот что, — услышал он шепот Зинки, — ка-тись-ка ты... — Зинка до конца не договорила, что хотела сказать, и подняла на Григория раскрытые яростью глаза. — Пошел отсюда! Пошел, пошел!..

Григорий попятился.

— Погоди, ты чего? Я же с добром...

— А мне твое добро... — Зинка захлебнулась. — Тебя купили — ты и затрясся, да? — Она, озаренная гневом, все наступала на него, и Григорий невольно отметил эту красоту и отчаянность Зинкиного гнева.

Прижатый спиной к Доске почета, он так и сказал неожиданно для себя:

— Слышь, Зинка... А ты и красивая сейчас...

Она замерла от этих слов, вернее, от той теплоты, с которой они были сказаны, подумала о чем-то с секунду, повернулась, пошла, остановилась... снова пошла и снова остановилась...

В парткоме били часы. Били мягким, малиновым боем. Благовестили долгий, утренний, одиннадцатый час. В промежутках между ударами внутри часов что-то хрипело горлово и прокуренно. В общем, странные часы. Такие теперь не так уж часто и встретишь: ящик — выше человеческого роста. Мореного, в витых прожилках дуба. Маятник что солнце на закате — багровая тяжкая медь. И противовесы-цилиндры — каждый литра на два вместительностью... Непонятно одно — почему такому антиквариату отыскалось место в парткоме?..

А «наслаждались» их работой сейчас двое — секретарь парткома Сергей Антонович Скороходов и начальник отдела труда и заработной платы рудника Верхний Илья Митрофанович Утешев. Разговор, по всей видимости, только начался.

— Так ты, значит, и не догадываешься, почему я решил поговорить с тобой, Илья Митрофанович? — дружелюбно и располагающе спросил Скороходов.

— Что вы говорите? — Утешев приставил к уху ладонь.

Скороходов повторил все сначала, только громче.

— Слышу, слышу, Сергей Антонович. Понял, — вежливо склонил голову Утешев.

— Только ты пойми... мне же это... ну, самому неудобно. Так что не обижайся. Я к тебе сам знаешь как отношусь. Но... не могу не говорить...

— Вы бы поближе к делу, у меня в обрез времени, — попросил Утешев. — Не стесняйтесь.

Скороходов повертел головой.

— Мне-то чего стесняться? Вот чудак... Это тебе надо задуматься. У тебя жена врач. Заслуженный в области человек... И сам ты... Неужели не понимаешь, что городок наш не Рио-де-Жанейро. Ушастый, глазастый городок-то. Все видит и все знает.

— Истина всегда конкретна, Сергей Антонович, — остановил его Утешев. — В то же время она, как правило, менее правдоподобна, чем вымысел.

— Ты бы уж попроще, Илья Митрофанович, попроще. Я же с тобой безо всяких, по-хорошему, — как-то смущенно проговорил Скороходов.

— А куда уж проще? Я жду от вас конкретных экспектаций.

— Ну вот опять. Экспектаций. Истина. — Скороходов помрачнел, встал и подошел к окну. — Зря ты так... Зря. Рано или поздно, но докатится это дело до супруги твоей, а после и до парткома. Соберутся, протоколы станут писать, воспитывать. Надо тебе это, а? Сам бы подумал и... подвел черту с этой... Синицыной или как ее там?.. Я вот тебе сейчас все это говорю, а ты про себя, наверно: вот, мол, чудак у нас в парткоме. Чего, мол, лезет не в свою дверь? Думай, конечно, как тебе угодно. Переживу. Дело не в этом. Моя обязанность, уж коли вывел ты сор из своей избы, тебя предостеречь. Понял? А то, понимаете, то одна «доброжелательница» по телефончику стукнет, то другая... А вон и письмишко уже начирикали. На-ко почитай...

— Премного благодарствую, — сказал твердо Утешев. Морщинистое лицо его тронул нервный румянец.

— Дело хозяйское. Не хочешь — не читай. Письмишко, скажем прямо, низкопробное. Короче — давай порешим так. Я это дело замну.

Годится? Только и ты уж, будь другом, замни, ладно, свое дело с этой... с Синицыной.

Утешев поднялся. Поправил пиджак. Спокойно так посмотрел на Скороходова и спокойно сказал:

— Прошу извинить меня, Сергей Антонович, но вот в эту минуту я действительно позволил себе подумать о вас... — Он недоговорил.

Приглушенно протрещал телефон-коммутатор. Вспыхнула на нем пульсирующая световая точка. Скороходов придавил пластмассовый клавиш, снял трубку.

— Скороходов слушает.

— Здравствуй. Это Верещагин. Оповести-ка там, пожалуйста, Кряквина и сам приготовься. Часика через два нагрянем на комбинат. С иностранцами. Это шведы, скандинавы. Специалисты по горно-обогатительному производству. Будут смотреть, спрашивать. Понял?

— Все ясно, Петр Данилович.

Скороходов положил трубку и подошел к Утешеву, который задумчиво и отрешенно курил возле раскрытой форточки.

— Ну-ка... От-тел-ло. Так что же ты позволил себе подумать обо мне, интересно?

Утешев ответил не сразу. Покусал длинный янтарный мундштук, затаился, выдохнул в форточку дым.

— Да что вы, вероятно, не ошиблись, предполагая, что я мог подумать о вас.

Скороходов озадаченно сдвинул брови. Воткнул руки в карманы коричневых брюк и побренчал там копейками. Поднял глаза и, улыбаясь только ими, громко шепнул в самое ухо Ильи Митрофановича:

— От такого слышу, понял?

Утешев бесстрастно кивнул и, высокий, подтянутый, зашагал к двери, не показывая Скороходову теперь уже смеющегося лица...

Улицы Полярска были исчерканы тенями. На обочинах грелся под солнечным светом голубоватый снег. Рябины, акации и березы, опущенные тонко провязанным куржаком, невесомо и призрачно истаявали в светлой разъятости дня. Три «Волги» одна за другой, то прибавляя, то замедляя ход, дружно бежали, попыхивая дымками из выхлопных трубок.

В головной разместились секретарь горкома Верещагин, сутуловатый, с уставшим лицом человек, и Кряквин, оба на заднем сиденье, да гость, иностранец, в нерпичьей, блестящей лоснящейся шапочке с козырьком. Этот, в осанке, держал себя очень уж как-то прямо и недвижно — сидел будто стоял. Одни глаза только двигались на молодежом, но странно бескровном лице.

Все молчали. Работал приемник, и подпрыгивала в нем упругая джазовая мелодийка, ладно совпадая с машинным движением.

Приостановились возле памятника Кирову — попросил швед. Вывалились из машин шумной гурьбой, зашликали в Кирова из фотокамер — снежок на его плечах — и снова по теплым «Волгам».

На выезде из Полярска, с холма, сам по себе распахнулся простор... Кряквин и Верещагин поймающе переглянулись — это была родная для них, тысячи раз виденная ими красота. Тем не менее она не истрачивалась от привычки смотреть на нее, и в этом, наверно, и таилась тот самый неизъяснимый словами смысл их сопричастия и родства с этой красотой. Переглянулись и — поняли все. Как родственники. И на душе затеплело. Кряквин думал об этом. Не сейчас, не вот в данный момент... Сейчас он просто смотрел, не думая ни о чем, но то, о

чем он думал уже, все равно было живо и цело в его существе. В силу ли только безвольной уступчивости отступила вот здесь перед человеком земля? Ведь это же Север... Глушь. Отброшенность от всего и суровость во всем. Нет. Это упрямая, неотвязная неотступчивость человека, твердо надумавшего однажды обжечь, природнить к себе Север, заставила его уступить... Значит, все же не силой силы силен человек, а силой родства... Хорошо!

Распахнулся простор. В морозной дымке горы, тесно обхватившие городок, а дальше, куда глаза только могут, — тундровая плоскость, уходящая в широкую прорезь между горами, блюдечные диски промерзших озер, и все это в редкой, прерывистой графике мелких куртаников.

Не портила красоты, дополняла, встроенная в тундру людьми, прочно рассчитанная ими асимметрия фабричных корпусов на переднем плане. Простор лишь уменьшал ненамного громады горно-обогачительных цехов, а потом приглашал глаза снова — за тупые пирамиды градиен, над которыми мутно клубилось остывающее тепло, к белым-белым горам. Там опять начиналась своя неоглядность, то есть горы те белые ни в коем случае не ограничивали исснеженной безразмерности красоты...

Справа, перед спуском к рудничным строениям Нижнего, поманила иностранца крестом церквушка. Он вдруг особенно оживился, затыкал в ту сторону кулаком, обтянутым желтой перчаточной кожей. Верещагин было поморщился, посмотрел вопросительно на Кряквина сквозь отлично протертые стекла очков — мол, зачем ему это надо? — но гость продолжал настойчиво шевелить бескровными губами, и секретарь горкома приказал шоферу кивком — к храму.

Кряквину вспомнилось, как давно уже, после самого первого на Нижнем массового взрыва, не выдержав встряски, упал и повис на растяжках ажурный тяжелый крест. К Михееву тогда приходили попы, и пришлось помогать им подновлять «божью обитель».

Сейчас здесь велись киносъёмки, и Кряквин еще издали углядел Николая, который при полном церковном параде что-то изображал на паперти. Прямо на него по рельсовой дорожке надвигалась громоздкая кинокамера, а вокруг было полно народу, и каким-то пронзительным, электросварочным светом жалили Николая одноногие кинопрожекторы.

Швед и шофер моментально испарились из «Волги», и Кряквин с Верещагиным остались вдвоем.

— Черт-те что, — хриловато сказал Верещагин. — Ну так и тянет ихнего брата на рухлядь всякую.

— Семнадцатый век, Петр Данилович, — улыбнулся Кряквин. — Мы с тобой для них слишком новые.

Верещагин внимательно посмотрел на него:

— Да по твоей физиономии не скажешь, что ты шибко уж новый... Выглядишь так себе.

— Плачу́ тем же — ващ видок тоже... не очень. Как здоровье?

— А-а, — дернул щекой Верещагин. — Я тут как-то Володю, своего шофера, спрашиваю: «У тебя здесь вот болело?» Сердчишко то есть. А он мне, здоровый же, как бык, говорит: «Конечно, болело, Петр Данилович. А как же! Помните — пятого сентября?.. Ну, мы тогда еще морячкам в футбол продули». Я говорю — помню. А он продолжает: «Ну да. Нам тогда три штуки в сухом виде заложили, и у меня удар не шел. Ну и с расстройства, естественно, беленького прихватили. «Петросьяна»...» Они так петрозаводскую водку зовут. Слышал?

Кряквин кивнул.

— «А к ночи, говорит, у меня двигатель и забарахлил. Лежу, говорит, а у самого вот здесь — бух-бух! Бух-бух!» Вот такие пироги... Как жизнь? Мы, однако, давненько не виделись?

— Порядком уже, Петр Данилович. Все нормально. Что в Москве-то хорошего? Михеева видели?

Верещагин снял очки, крепко зажмурился несколько раз и снова надел.

— Михеева видел... Говорил с ним. Сейчас-то он ничего, выкарабкивается. Возможно, на майские приедет сюда ненадолго. Потом в санаторий.

— Ну?

— Видишь ли, Алексей... как бы тебе это сказать поточнее... В общем, неожиданное впечатление произвел он на меня в этот раз. Неожиданное... Болезнь эта... Понимаешь... В общем, пронзительнее он как-то мыслить стал.

— Это хорошо,— сказал Кряквин.

— Возможно... Только почувствовал я за пронзительностью этой тоску, что ли. Не могу объяснить. Чувствую, и все.

— Как же все-таки это получилось у него? Где?

— На улице. Его в подъезде каком-то подобрали. Видимо, к людям полз.

— А почему на совещании не выступил?

— Говорит, что не был уверен. Может быть, уже тогда нездоров был... Ты, говорит, выступишь.

Кряквин ухмыльнулся:

— Ничего себе — пронзительность.

— Ладно, ладно, не задирайся. Михеева я люблю. А он тебя любит. Точно. Мне бы лично жаль было потерять такого мужика. Я тебе честно говорю — в нем произошли какие-то перемены. Ты когда-нибудь, например, о равнодушии задумывался?

— А что о нем думать? Нет. Все ясно.

— Да я тоже так считал. А вот Михеев заставил меня заново прислушаться к этому слову. Равно-душие. Понял?

— Любопытно. Гляди-ка...— Кряквин опустил створку и закурил.

— Михеев хотел бы повидаться с тобой. Поговорить.

— Всегда готов.

— И еще. Это только между нами. Понял я, что у него с Ксенией что-то не так. Ты ничего не слыхал?

— Да нет вроде. Варька моя, правда, недолюбливает ее.

— Понимаешь, как мне показалось... одинок Михеев. Очень одинок.

— Может, мне потолковать с Ксенией? Чего она там крутит?

— Ни в коем случае.

— Понял.

Верещагин тоже закурил.

— Теперь главное. Разговаривал я в Москве... Сладкой жизни во втором полугодии не ожидается. Худо будет с вагонами. Все что можно бросят на вывозку урожая. И Северный порт тоже. В общем, с экспортом концентрата возникнут сложности. Но план планом. Спуска никакого.

— Я это чувствовал. Дай бог хоть в первом полугодии спокойно прожить. Тыфу, тыфу, тыфу! Выходит, решение прошлогоднего актива так на бумажках и останется, да? Дела идут, контора пишет... А ведь Госплан-то обещался практически проработать вопрос транспортировки нашего концентрата в центр и южные районы страны. Хотя чего

там!.. Они хозяйева своему слову. Дали и назад взяли. Сгорим мы ведь, Данилыч, с годовой программой!

— Я тебе сгорю. А насчет твоего прожекта я кое-где позондировал почву. Закинул удочки.

— Ну?— встрепенулся Кряквин.

— Слушали не мигая.

— Понятно.

— В общем, надо бы это дело еще раз обмозговать. Да, да. Ведь ты же своими расчетами на специальное постановление по комбинату напрашиваешься. А время серьезное, Алексей.

— Оно всегда серьезное.

— Тем более. Как там Гаврилов поживает?

— Нормально. Я его в главные инженеры Нижнего перевожу. По предложению Тучина.

— Что ты говоришь?— обрадовался Верещагин.— Иван, он хоть что потянет. Образованьица бы ему побольше. Здорово! Надо бы нам как-нибудь собраться... О!— показал он на иностранцев, возвращающихся к машинам.— Намолились.

— Да я уж и то подумал,— подхватил Кряквин.— Ну что у нас за мода такая пошла? Кого ни принесет на комбинат — ездят с ними, показывай. Что мы, понимаешь, гиды какие-то? Ей-богу, надоело. Любой инженер на это дело годится, дак нет — им верхушку подавай. Химеры и фантомы!

Верещагин с улыбкой выслушал все это, а потом приложил к прыгающим губам Кряквина ладонь:

— Тс-с... Анархист. Три наряда вне очереди!

И — многое повидали за этот день гости.

Переодевшись в горняцкое, прокатились по материально-ходовой штольне в лязгающем людском составе.

Видели их возле опрокидыв, рудоспусков, карьеров.

Изъявили они желание помыться в горняцкой душевой — и помылись, устроив веселую возню под сильными, разом снимающими всякую усталость струями.

Попили водички шипучей в сатураторной у Зины Шапкиной. Она по такому случаю была в ослепительном халате и накрахмаленном кокошнике. Нос и подглазье так и усыпали веснушки.

Кряквин допил второй стакан и сказал Зинке:

— Эх, Зинуля, так и охота мне все твои веснушки в кучку собрать. В горстку.

Переводчик перевел шведам его слова, и они засмеялись.

Когда все напились и ушли, Зинка устало сдернула кокошник, кинула его на стул и закурила...

Дальше — по технологической цепочке комбината. На обогатительные фабрики, поражающие своими размерами и устройством.

Грохотали дробилки, мерно шумели флотационные аппараты, сушильные барабаны, гигантские сгустители. Комбинат дышал, лязгал металлом, погромыхивал, грохотал, и все это, пускай и при летучем, избирательном знакомстве, все одно захватывало и соподчиняло.

Кряквина подозвали к себе рабочие-ремонтники, густо столпившиеся возле сушильного барабана. Кряквин извинился перед гостями, подмигнул Скороходову — мол, давай отдувайся — и направился к ним. Постоял, выслушал, потом горячо начал объяснять что-то. Верещагин, наблюдая за ним, не вытерпел и тоже подошел.

— ...во-от. А вы «ремонт, ремонт». Есть одна такая старая-старая байка,— повышенным голосом говорил Кряквин, чтобы его слышали

все.— Про одну карету. Карета эта была до того замечательная, что ни один в ней болт, ни один тебе винт не сломался, не попортился раньше другого. Поняли? Все, значит, так по уму было пригнано в ней друг к дружке. Ремонта никакого и не надо было. Да... Угостите-ка табачком, братцы. Вконец искурился.

Протянулись пачки, коробки, портсигары.

— Спасибо.— Кряквин закурил.— Ну и вот... Словом, такую бы нам в сушильный цех карету, а? Безотказную. История-то ее вот как закончилась. Когда, значит, пришел ей срок, она развалилась вся сразу. Вот так. Вся и сразу. Поняли? А у тебя, Семен, то там, то вот тут отскочит,— Кряквин надернул одному из молодых слесарей шапчонку на нос.

Остальные заржали.

— Ты не обижайся.

— Да нет, Алексей Егорович.

— Ну, пока.

Кряквин широко, размашисто зашагал к двери во флотационный цех. Не сразу услышал:

— Товарищ Кряквин! Товарищ главный инженер!

Остановился. К нему подбежала молодая, очень симпатичная девушка. Лет двадцати пяти, не больше...

— Здравствуйте. Можно вас на минутку?

— Можно,— улыбнулся Кряквин.— Давайте знакомиться. Кряквин...

— Я знаю. Синицына... Вера... Петровна. Я технологом здесь.

— Очень приятно. Слушаю вас, Вера Петровна.

Она засмеялась.

— В общем... Я по личному делу.

— Ну-ну. Смелее.

— Понимаете... В общем, его в партком сегодня вызывали. К товарищу Скороходову. Я знаю. Он звонил мне.— Вера заволновалась, стала шарить по клапанам комбинезона.

— Хотите закурить?— спросил Кряквин.— Так я и сам хочу. Нету. Уже стрелял.

— Нет-нет. Я не курю. В общем, там ему такое наговорили! Товарищ Скороходов... Прямо не знаю, что делать...

— Вера Петровна, милая, я же ни черта не понимаю. Во-первых, кого вызывали в партком? Кому «ему» там наговорили?

— А-а,— закивала Вера.— Поняла. Я сейчас расскажу. Сейчас.

— Ну-ну.— Кряквин взглянул на часы.— Только смелее и попомятней, пожалуйста.

— Мы,— начала Вера,— с Утешевым... Ильей Митрофановичем... в общем... дружим. А кому-то это не нравится... Извините. Не могу я совсем...— Вера напряглась и, окаменев, удержала подступившие слезы.— А товарищ Скороходов... Да и вообще... Кому какое дело до моей личной жизни! — Последние слова она выкрикнула.

Кряквин заметно ступсывался. Неловко обнял Веру одной рукой за плечо и оглянулся. Вроде бы никто за ними не наблюдал.

— Так что? Он вас обидел, Утешев?

— Что-о? Нет-нет! Илья Митрофанович такой!.. А они... Что они знают об Илье Митрофановиче?.. Ничего! А лезут... Разве так можно? А?

— Понял маленько. Он вам нравится, да?— как-то нелепо, но искренне спросил Кряквин.

Вера открыто, в упор посмотрела на него, как бы выверяя, можно довериться этому человеку или нет.

— Я люблю его.

— Простите, Вера Петровна... Только почему вы решили рассказать обо всем мне?

— Не знаю...

Кряквин смущенно улыбнулся.

— Илья Митрофанович... толковый специалист. С головой. Это я точно знаю.

— Вот-вот... Все мы о людях через работу. А он... Он мальчишкой совсем... после школы сразу... в плену был у немцев. Вот! Думаете, почему у него на руке пальцев нет? Он их там отрубил. Вот! Под вагонетку подставил, чтобы на фрицев не работать. Столько концлагерей прошел! В Польше, Норвегии... Потом они убежали. Это в Норвегии было... Кошмар! И через горы... босиком почти в Швецию. Немца бревном убили. А потом и вообще... Не могу я... Их однажды в одном эшелоне везли, так они хотели тоже бежать. Пол перочинным ножом пропилили... И жребий метнули, кому первым прыгать на ходу под вагоны. Илья Митрофановичу третий номер достался. Первый спустился — они еще не поняли ничего. За ним второй... Его крик услышали. Немцы, оказывается, под хвостовым вагоном такой специальный крюк устроили, и он сразу убивал тех, кто под вагонами был. Поняли? А Илья третьим должен был прыгать...

Кряквин слушал горячечный, сбивчивый голос Веры и невольно представлял все то, что она говорила. В нем, автоматически подстроившись на волну прошлого, срабатывала и срабатывала сейчас память своей войны, и неожиданно он отвлекся, утратив реальность минуты. Иная реальность всплыла перед ним, явившись все с теми же красками, звуками, лицами.

«Юнкерсы» выскочили из-под солнца и с разворота зашли на цель.

— Воздух! — запоздало заорал Кряквин, отшвыривая от себя мокрый канат. — Во-о-здух!

Первый же столб воды, вздыбившийся совсем рядом с не сращёнными до конца понтонами, приподнял их и разбросал, увеличивая проран.

Кряквин смахнул с лица воду, рванул ворот гимнастерки и успел заметить, как на том, ближнем от него понтоне, схватился за спину старшина, полоснув отскочившим от его медалей острым лучиком света, а затем, прорастая темной фигурой из обвала воды, широко развел руки и спиной плашмя упал в воду.

— Иван! Ива-ан! — заскрипел зубами, обдирая эмаль, Кряквин и нырнул.

Кипела река. Черным дымом закрылись горящие понтоны, а он плыл и плыл туда, где только что скрылся старшина Гаврилов. Совсем близко прошла, белопеня воду, пулеметная строчка. Кряквин вынырнул, хватая зубами воздух, и подтянул к себе бессильное тело солдата.

Гаврилов был без сознания, и Кряквин, отплеываясь и беззвучно матерясь, держал и держал его голову над водой, ухватившись одной рукой за волосы Гаврилова, а другой за пляшущий, выгибающийся понтон...

— ...Илья Митрофанович столько испытал и знает! — дошел до Кряквина снова голос Веры, и стремительно отгорел и исчез отслоившийся от пережитого сон наяву, сон-сполох. — И в живописи и в музыке... А мы... Про нас такое выдумывают!

— Скороходов, что ли? — встряхнул головой Кряквин.

— Да нет... Он-то как раз заботится. В кавычках. Чтобы я семью чужую не порушила. Да у нас все свято! Честное слово. Свято... Разве

Утешев способен на пошлость? Да и кто виноват, если вот оно... чувство? Кто виноват? Чувство-то ведь в план не загонишь, правда? Оно же само по себе. Без плана вашего! Понимаете?

— Да я-то вроде конечно. Прямо и не знаю, что сказать вам. Вот ведь какая штука. Убей меня бог, не знаю... Химеры и фантомы!

— А я у вас не совета прошу. Мне не надо ничьих советов. Сама разберусь!

— Конечно, Вера. Факт, разберешься.

— Вот и все, Алексей Егорович. Выговорилась — и до свиданья.

— Всего вам хорошего.

— Спасибо.

— Одну секунду, Вера! — остановил ее Кряквин. — Вы только вот что... Утешеву про наш с вами разговор не говорите. Пожалуйста.

— Почему? — встревожилась Вера. — Я от него ничего не скрываю.

— А вот об этом, однако, не стоит. Это может его... ну...

— А-а... — протянула Вера. — Понимаю. Какой вы... — Она не договорила, чмокнула Кряквина в щеку и убежала.

В общем, веселенький выдался день. Кряквин наговорился вдосье. Объяснял, показывал, спорил, жестикулировал. Гигантское современное предприятие открывалось перед глазами своей бесконечной производственной таинственностью. И Верецагину было приятно смотреть, как Кряквин, сопровождая гостей, в то же время оставался сейчас не просто гидом, а именно Главным Инженером. Хозяином на комбинате. С ним здоровались, обменивались репликами в гуде машин, кого-то Кряквин деловито подбадривал, кого-то резко и безжалостно распекал. И самое главное, что нравилось Верецагину, которому в этот приезд в Москву посоветовали повнимательнее приглядеться к Кряквину как, возможно, к будущему директору «Полярного», о чем он, конечно же, не стал говорить своему старому, еще с войны, другу, — Кряквин здесь всюду был своим. Знали его. Улыбались ему, деловито кивали, виновато отворачивались. И каким же разным было лицо Алексея в эти минуты — сосредоточенным, удивленным, сияющим, хмурым, улыбчивым, злым, расстроенным, думающим...

Вечером в банкетном зале ресторана «Пурга» был устроен прощальный ужин. Ничего необычного — традиционный венец гостеприимства. Тем не менее, подумав об этом еще в середине дня, Кряквин сказал мимоходом Скороходову, чтобы тот проследил и за этим мероприятием, и тот почти сразу же не задумываясь позвонил по рудничному телефону Шаганскому, организационные способности которого по части проведения банкетов, обедов и проводов ни у кого не вызывали сомнения. Тут уж Юлий Петрович блистал воистину...

Говорились тосты, стол вдохновлял разноцветьем закусок, шведы хмелели, постепенно утрачивая натренированную умеренность в жестях и словах; раскрасневшийся переводчик порой походил на Синявского, комментирующего какой-то стремительный матч; Юлий Петрович был буквально неистощим на каламбуры, тем более что сам Верецагин охотно реагировал на них, смеялся, поблескивая очками; Кряквин тоже делал вид, что ему хорошо, тоже смеялся, а сам все сильнее и сильнее тосковал, ощущая во всем теле усталость, и хотелось ему вот сейчас одного — домой, к Варьке. Несколько выпитых им рюмок коньяка не взбодрили его, а расслабили, наоборот; он все чаще и чаще зажмуривался, надавливая на глазные яблоки пальцами, и наконец, когда стало ему совсем невтерпеж, скараулил момент — Шаганский как раз начал изображать грузина, увидевшего на базаре Клавдию Шульженко, — и вышел.

Он спустился на первый этаж и в туалете с наслаждением вымыл лицо холодной водой. Это чуть-чуть освежило. Кряквин поднялся наверх, закурил, постоял, наблюдая за возней официантов возле буфета, а потом сам не зная зачем заглянул в главный зал ресторана. Именно в эту минуту перешепнулся коротко со своими коллегами из ресторанного оркестра трубач, пощелкал ногтем по микрофону и раскати-сто объявил:

— А теперь премьера песни!.. Поет всеполярно и вселедовито известный взрывник рудника Нижний Григорий Гаврилов! Сейчас он закончит во-он там свои трали-вали и выйдет. Попросим, товарищи!

За столиками, негусто сегодня занятыми, захлопали. Кряквин поискал глазами Григория, но сначала натолкнулся на одиноко сидящего возле зашторенного окна Утешева. Илья Митрофанович курил, подперев ладонью голову, и веки его были опущены. Перед ним темнела большая бутылка. Кряквин сразу же вспомнил сегодняшний разговор с Синецкой и ее рассказ об этом человеке. Кряквин было шагнул в его сторону, но тут же остановился. Что-то удержало его, и, секундно оценивая в себе это «что-то», Кряквин понял — жалость. Да, ему сделалось жалко Утешева, и он чуть-чуть не пошел на поводу этого не любимого им чувства, но сработал контроль, вставленный жизнью в него предохранитель,— с жалостью быть безжалостным. Он превыше всего уважал в человеке его независимость, его прямоту, его доброту, милосердие и отвагу. Без этих, как он определял для себя стержневых, качеств человек для него мог быть ну максимум интересным. Не более. Когда же ему удавалось столкнуться с человеком сильным и независимым, умеющим рассчитывать только на собственную силу, то есть на самого себя, да при этом еще остающимся душевно отзывчивым и, стало быть, добрым, причем если доброта эта не вывешивалась им напоказ, как плакат с призывом хранить деньги в сберегательной кассе, а проявлялась только тогда, когда для ее проявления требовалось вспомнить и об отваге, он ощущал радость.

...Однажды на Висле накануне страшного дня, после которого в их саперном батальоне останется в живых всего семьдесят человек, они разговаривали с Верещагиным про независимость, лежа под лодкой. Перед самым рассветом больно ударила в уши неслышанная тишина. Только ракеты, пускаемые немцами с того берега, слабо шипели, застревая в тумане, да бурчала невнятно, как в животе, речная вода. Верещагин сказал тогда Кряквину:

— Значит, независимость? Прекрасно. Ты, видать, про нее больше думал. Так что я и спорить с тобой и высказывать сомнения насчет ее универсальности не буду. Только спрошу тебя вот о чем... Ты подумай: а что это будет, если человеческую независимость сделать единственным нравственным критерием, а? — Верещагин и тогда уже был постарше и пообразованнее Кряквина, вот и употреблял всякие разные ученые слова.— Тебе не кажется, что такому человеку станет пусто и голо на нашей густонаселенной земле?

— Станет,— сказал Кряквин.

— И что тогда?

— Ничего страшного. Тогда этот человек сам потянется к людям.

— Во-от... Значит, в самом понятии «независимость» таится и отрицание? Ведь рано-то или поздно независимому хочется прислониться...

— К добру,— перебил его Кряквин.— А зависимость от доброты — это независимость от дерьма всякого.

— Ну-ну,— улыбнулся Верещагин.— Я к тому и клоню, что независимость сама по себе вряд ли может являться панацеей от всего.

Она же тогда островом сделается. Островом в пустоте, понимаешь? А такой островок вряд ли устроит и тебя в качестве надежного духовного пристанища... Как ты считаешь?

Кряквин подумал и сердито ответил:

— Ни черта. Когда островов много, это уже по-другому называется...

...— Итак, товарищи, отложите ваши вилки и рюмки. На первый путь прибывает Григорий Гаврилов! — громко дурачился в микрофон трубач.

Кряквин увидел Григория, ладного и сильного, упруго вышагивающего мимо отделанных деревом стен, на которых разными породами скопированы местные горы — красиво это получилось, — мимо официанток, что сгуртились возле входной в зал двери. Григорий был сосредоточен и не заметил Кряквина.

Трубач не унимался:

— Скажу вам, товарищи, по секрету, что наш оркестр давно уже ведет сепаратные переговоры с гражданином Гавриловым на предмет смены им профессии — она же ему на слухе отражается, сами понимаете. А из него бы артист... народный артист получился! Может, вы...

Григорий прикрыл микрофон здоровенной ладонью:

— Кончай трепаться!

И это хорошо легло на зал. Там хохотнули. Григорий не смутился, а спокойно, очень уверенно добавил — уже в микрофон:

— Это, извиняюсь, личное.

Ему протянули подключенную электрогитару, и он деловито перекинул через плечо ремень. Рамповые подсветки хорошо выделили Григория на фоне оркестра, подчеркнули его грубоватую, резкую внешность. А пианист уже вступил, раскатисто перегнав пальцы до самого края инструмента. Григорий поднял лицо, скуластое, открытое, заузил каким-то внутренним задумьем глаза и запел:

Отпишет мать мне старый угол дома,
Когда устанет сердце у нее...

Кряквин круто развернулся, задев плечом официантку, — она полыхнула на него подмалеванными глазищами — извинился и вышел в пустынный холл. Он не хотел больше да и не мог слышать сейчас этой неожиданно подкараулившей его песни. Первые же слова ее добрались и затронули в нем как раз именно то, что он, волевой, независимый человек, старательнее всего утрамбовывал в себе и держал взаперти от других, — нежность. А она, предательница, вдруг проснулась, отозвалась на песню и пошла за ней, подступая все выше и выше — к глазам, и Кряквин, пытаясь сбежать от нее, заморгал часто-часто, заткнул уши пальцами, чтобы только не слышать Григория, — холл-то, оказывается, тоже был радиофицирован — буквально в четыре прыжка пересек его и поймал за хромированную рукоять дверь в банкетный зал...

— О-о! А-а! — встретили его радостными возгласами подгулявшие шведы.

— Пропажа нашлась! — витийствовал Юлий Петрович. — Выше объявленный всесоюзный розыск отменяется! Алексей Егорович, дорогой, господа изъявили желание задать вам всего три вопроса. Готовы ли вы ответить на них?

Кряквин нервно улыбнулся. Мгновенно напрягся, и это напряжение отключило его от песни. Ему сразу же сделалось легче.

— Готов, готов, — сказал Кряквин. — Но в связи с тем, что вопросов будет три, позвольте в начале-то хоть одну, — он показал пальцем, — одну рюмку коньяка? Авансом...

Скороходов протянул ему хрустальный бочоночек. Кряквин поклонился компании и ухарски вкинул коньяк в рот. Крякнул. Гости зааплодировали.

— А теперь слушаю вас.

Слово взял тот долговязый, со странно бескровным лицом швед. Обращаясь к Кряквину, заговорил — будто обстрелял его короткими очередями. Переводчик переводил:

— Скажите, господин Кряквин, почему у вас на вашем вполне превосходном предприятии так много лозунгов, призывающих хорошо трудиться?

— Раз, — загнул палец Кряквин.

— Разве можно грудиться плохо, если за твой труд платят хорошие деньги?

— Два, — продолжал считать Кряквин.

— И, наконец, не раздражает ли ваших рабочих такое однообразие обращений к ним?

— Три! — скомкал пальцы в кулак Кряквин. — Я отвечу. Отвечу... Только вот как — четырьмя вопросами. Согласны?

Шведы переглянулись. Кряквин заметил, как сосредоточенно смотрит на него сбоку Верещагин.

— Ну так как же? — разрушил паузу Кряквин.

Долговязый кивнул: мол, согласен.

— Поехали, — сказал Кряквин. — Вопрос, значит, первый... Как много среди вас, господа, сидящих вот здесь, истинно верующих?

Переводчик перевел, и почти все иностранцы склонили головы.

— Благодарю вас. Вопрос второй. Как часто вы в своих молитвах обращаетесь ко всевышнему с одним и тем же?.. Третий. Не надоедает ли ему подобное однообразие обращений? И наконец, вопрос последний. Четвертый, как договорились. Не раздражает ли оно, это однообразие, всевышнего? — Кряквин лукаво-лукаво улыбнулся.

Переводчик еще не закончил перевод, а за столом уже вспыхнул смех. Кто-то захопал в ладоши. Кто-то крикнул:

— Bravo! Ка-ра-шо!

Долговязый подошел к Кряквину и молча пожал ему руку.

Когда эмоции улеглись, Кряквин подумал и добавил уже абсолютно серьезно:

— А вообще-то в подмеченном, — он посмотрел на долговязого, — резон имеется. Факт. Действительно, ну раз уж работаешь, да к тому же и деньги за то получаешь, то и работай хорошо... У меня же, к примеру, в кабинете нет вроде никаких лозунгов. И вот у товарища Верещагина, секретаря городского комитета партии, я тоже их не замечал... А, Петр Данилович? Так что обещаю подумать. Обещаю...

Тучин устало придавил кнопку звонка. Еще раз... Снял шапку и ударил ее о колено: пока договаривался с шофером на завтрашний день, шапку успело присыпать снегом. За дверью послышались шаги, брякнула цепочка, и перед Тучиным возник Егор Беспятый. Он спокойно посмотрел на стоящего перед ним приятеля:

— Вам кого, гражданин?

— Тебя. Поговорить надо.

— Заходи. Фрак надевать? — Егор был в застиранном, а когда-то голубом спортивном костюме с белыми «олимпийскими» полосками на заштопанных манжетах и воротнике.

— Не надо. Так ты фотогеничней...

Тучин разделся, и они прошли в комнату, где работал телевизор, перед которым восседала Михайловна, жена Егора. А на экране шел

бой, и бело попыхивали в наступающих французов старинные черные пушки.

— Ты помнишь, дядя, ведь недаром,— кивнул на телевизор Егор.

— Скажи-ка, дядя,— поправил его Тучин.— Добрый вечер, Михайловна.

Она, возбужденная картиной, махнула рукой. К Кутузову подскакал на запаленном коне какой-то офицер с перевязанной головой, хрипло попросил подкрепления. Кутузов не дал...

Егор гмыкнул:

— Пошли на кухню. Мы все равно победим... Чай пить будешь?

— Да нет, я ненадолго. Анна накормит.

— Тогда говори, в чем дело? — Егор закурил и поудобнее устроился в простенке между холодильником и кухонным столом.

— Я сейчас только с рудника. Понимаешь, чуть-чуть не пристукнул Клыбина.

— Так,— после паузы произнес Егор, нарочно придавливая на последний звук.— Коньячку налить? Успокаивает.

— Плесни. Только малость.

— Естественно.— Достал из холодильника бутылку, из шкафчика рюмку.— Хозяйничай.

Тучин тоненькой струйкой немного прикрыл донышко, выпил.

— Нервы, понимаешь... Что молчишь?

— Думаю. Набил ты ему или не набил ряхку? Чуть-чуть-то ведь, сам знаешь, не считается... Сюжет-то хоть расскажи, если можешь.

— Все просто. Проходчики у меня гриппуют. Сегодня опять куча станков замолчала. Мы с Гавриловым то-се... А тут еще эти шведы чертовы!.. И горнадзор на третьем участке душу вымотал. Тяги там, понимаешь ли, нет. Орт малость с ошибкой пробит, ну и не тянет... Была еще надежда на вторую смену с проходкой, но да— все к одному. И тут болеют проходчики. В общем, я—в гору. Черт его знает что меня дернуло. Веришь, нет— вот сейчас не объясню. Понесло! Встал к станкам, запустил их и давай шуровать. А перед этим предупредил взрывника, чтобы он последил и никого ко мне не подпускал. В общем, дорвался. Скважины как по мылу пошли...

Егор внимательно слушал, изредка взглядывая на Тучина.

— Ну.

— В общем, все шло нормально. И я бы душу отвел, да и все. Но тут, как на грех, этот Клыбин... Какого черта его приволокло на горизонт?.. Подваливает, в общем. А еще днем до этого я имел с ним разговорчик. По квартирным и прочим делам. В частности, он там нашу пространицу поугал. Тетку Марию.

— Знаю,— сказал Егор.

— Что знаешь? — вскинулся нервно Тучин.

— Марию Алексеевну вашу знаю.

— А-а... Ну и я ему пару ласковых слов сказал насчет того, чтобы уважал рабочих людей. Он было понес свою ахинею. «Студеникин... Трудовой подъем... План...» Я его предупредил строго.

— Таг... Ты короче. Меня интересует сцена у бурильных станков.

— Сейчас... В общем, я бурю, а он подваливает. «Так-так, говорит, товарищ начальник. Руководить не умеем, потому, мол, к станочкам?.. Интересно. Что-то я не видел, чтобы Альберт Анатольевич таким ремеслом забавлялся. А вы, я гляжу, скоро и сортиры на руднике чистить станете...» Я агрегаты на стоп— и к нему...

— А он? — спросил Егор невозмутимо.

— А он мне опять какую-то муть. В общем, затрясло меня, как... станок.

— И ты ему чуть-чуть?..

— Ага. Чуть-чуть,— вздохнул Тучин.— Прямо не знаю, как удержался.

Егор придвинул к себе бутылку, повертел ее пальцами, а потом прямо из горлышка отхлебнул. Поморщился. Раскурил погасшую папиросу. Походил по кухне. Остановился. Коротко бросил:

— Дурак. Кто же от такого удовольствия отказывается?

— Кончай, Егор, не до шуток... Муторно мне, понимаешь?

— И она зарыдала на его волосатой груди...

— Сам дурак,— сказал ему Тучин и улыбнулся.

— Во-от... Это уже хорошо. А теперь знаешь чего? Бери шинель — иди домой, как поется в одной тут песенке. И не переживай так. Береги здоровье. Предоставь это дело общественности. Хулиганству — бой! Не проходите мимо, и пусть земля горит под ногами хулиганов. Понял?... Земля,— подчеркнул Егор,— а не мой паркет.

Тучин пожелал жене Егора спокойной ночи, стал снимать с вешалки свою куртку, когда в прихожей прерывисто и как-то уж очень неуверенно прозвонил звонок.

— Та-аг,— невозмутимо протянул Егор.— Посмотрим, кто там еще кого по чайнику приласкал...— Он поддернул обвисшие, с пузырями на коленках штаны и открыл дверь.

То, что произошло в следующее мгновение, поразило Тучина. Он только и успел краем глаза отметить стоящую перед входом совсем небольшого росточка старушку в сером пуховом платке и в плюшевой кацавейке, не понял растерянно-удивленного движения к ней Егора, а потом услышал поразивший его передавленный в горле, хриплый выкрик:

— Мма-ам-ка! Мма-ам!..

Вот становится взрослым человек, значит, что-то прожившим и что-то познавшим. Возраст тут ни при чем, он в конечном-то счете не главное. Не количеством лет, не седыми бровями ставит штамп о прибытии в душу натуральная взрослость и зрелость. А ценою утрат... Да, вот именно. И бодриться тут попусту нечего: приобрел — потерял, а потом все по новой, сначала: потерял — приобрел... Заколдованный круг с расколдованной тайной взросления... Только есть в этом круге, в этой сложной системе избывного, что означено емко как ж и з н ь и с у д ь б а, ничему не подвластное, никогда не избывное: это — родина-мать и тебя породившая мама... С этим входишь на круг, с этим сходишь с него...

Мать сидела напротив сына чистенькая после ванны и измученно-спокойная. Черный платочек, на котором давно отгорели фабричные цветы, ладно обтянул ее сухонькую голову. Руки свои в старческих родимых пятнах держала она на коленях, крытых грубой тканью юбки, светлые глазки без ресничек совсем смотрели куда-то в сторону. Егор слушал и слушал мать, наслаждаясь ее говорком и словами, которые сам он теперь подзабыл и которыми она так легко и свободно рассказывала ему о своей дороге; о своей деревне, прибитой людьми еще черт-те когда к извороту сибирской речухи; об ихнем председателе колхоза, который, узнав, что Романовна трогается в дальний путь поглядеть на детей, по-скорому накатыл Егору письмишко с вежливой просьбой отгрузить им в колхоз, так сказать, по знакомству, если это, конечно, дозволено, пару-другую вагончиков с минеральными удобрениями; о том, какое в том годе выдалось сухолетье и как горела у них, подступая к поскотине, пересохлая тайга...

Давно уже сморилась вконец и отправилась спать жена Егора, в общем понравившаяся матери, а они все коротали и коротали ночь. Это был для Егора Павловича неожиданный праздник. Он давно уже не ощущал в себе такой вот, как сейчас, тихой и глубокой радости. Он слушал мать, всматривался в нее с каким-то непонятным для себя удивлением, от которого у него то и дело влажнели глаза, и ему все еще не верилось, ну никак не укладывалось в голове, это же надо! — в семьдесят семь лет, ни разу до этого случая не побывав дальше Качуга, ихнего райцентра, мать махнула одна, через всю страну, не предупредив об этом заранее ни брата, что работал конструктором на одном из заводов в Омске, ни сестру, что учительствовала под Челябинском, ни его самого.

— А к чему? — говорила мать, шевеля отверделыми губами. — Что я, министра какая-то там, чтобы меня встречать, что ли? Вы сами по себе, а я сама по себе. Деньги есть, ума не надо. Сел в этот, как его, ту-ту, и полетел себе. Ни трясет, ни каво! Ишло и кормют.

— Здоровье-то, мам, как? — с нежностью спрашивал Егор.

— А чиво с им сделается? У нас теперь в колхозе хорошо... Ий! Мужаки чуть чиво — в больницу прут, давление мерют и бульютенют. С песнями, с гармошкой... Лечутся, говорят, внутрь. Мой сосед-то, старик Супонин, не помнишь, поди, шорником был? — во-о... дак и тот в больницу сходил. Ему какую-то болезнь мудреную-мудреную подыскали... Не выговоришь... Язык сломатся. И что ты думаешь? — я тоже в больницу собралась. Раз, думаю, всем можно, дак и я не хуже других. У Супонина уж вон две пердинки до смертинки осталось, а лечится, черт кожаный. Пойду, мол, и я себе... — Мать прикрыла рот кончиком платка и прыснула, вспомнив про что-то. — Тьфу ты! Господи, прости... Срам-то какой!.. Он, ну этот, доктор-то, загорлеться велел мне, ага. А я ему говорю: не-е, мол, милок, ты меня этими проводками слушай уж через чо на мне есть, все равно услышашь... Ий! Ну, он потыкал в меня, потыкал, рот заставил открыт широко-широко, к сердцу ухом припадал и говорит: «Ты, Романовна, у нас ничего. Крепенькая. Сердце у тебя, говорит, конечно, не фонтан уже, но ты не робей. Как бегешь, говорит, так и беги. Не останавливай ритму...» Я и подумала: а чего? Айда погляжу, как вы тут без меня кукуете... Закрыла дом, наказала Супонину, чтобы он поглядывал за ним, и поехала... У-ух! И чего только нету на белом свете, оказывается!.. Страсть одна.

Егор наклонился и взял материны руки в свои. Ладони были грубы, изъедены и шершавы. Он перевернул кисти другой стороной, перевитой толсто разбухшими корневищами вен, погладил их и прижал к своему лицу.

— Ну, ты чего уж, Егорка — красная горка... Не надо. Я таперича рада. Все хорошо живут, ладют. Толька-то ой — весь прямо такой секретный. Что-то такое важное-важное изобретает. Орден показывал. За выслугу. Ага... За ним машина приезжает. А Дуняха! Дуняха — не узнаешь... Ни за что! Толстушшая стала, как эта!.. Я ей говорю: ты куда столько ешь? Мясца нажарила — гору! Пирогов напекла — другую! А мужик у ее хляк хляком, в очках, интеллигентный такой. Все тебе спасибо норовит сказать, извиняюсь. На пианине сыграл. Пальцами так и перебирает, перебирает, будто журчит. Мне понравилось. У тебя-то вроде пианины нету?

— Нету, мам. Я на других игрушках играю. Ты бы вот чего... Сделай для меня, а? Я уж столько раз во сне это видел, будто ты мне поешь. Ту, нашу... Спои, мама, а? На колени стану...

— Не надо, Егорушка... Я и за так спою. Это ведь только ты один из наших помнишь... — Она вздохнула, примолкла, чуть потуже натя-

нула за концы платок, снова неслышно устроила на коленях руки, задумалась...

Божьей свет торшера темнил и чеканил ее остренький профиль. По каемке его, отслаиваясь, держался как бы нимбовый блик. Егор это видел и чувствовал, что опять у него начинают влажнеть глаза.

Куда в эту секунду смотрела мать? Что припомнилось ей там, в существующей только в ее памяти дали? Дорога ли та с размочалившимся над ней пыльным вьюном?.. Или поле ржаное с тенями от низкого облака?.. Ну а может, лицо увидела того, кто вот с ней полюбовно зачинал всех троих, а потом и ушел насовсем в сорок первом?..

Мать запела...

Поезжает-то милый да во дороженьку,
во дороженьку...
Ой во недалнюю дорожку да во печальную,
во печальную.
Ой да не воротитца мой милый да со дороженьки,
со дороженьки...
Ой да, мой милый, да мне тошенько,
мне-е то-о-пнешенько...

После распева вступил и Егор, негромко пристроив к материному голосу свой, с хрипкой. Получился лад — странный, щемящий. Пели мать с сыном:

Ой да надорвется сердечко, ой да слезно плачучи,
слезно плачучи...
Ой да во слезах-то дружка, дружка да поминаючи,
поминаючи...
Ой да во слезах-то дружка да и помяну всегда,
помяну всегда.
Ой да помяну-то его да во каждый час,
да во каждый час...
Ой да и во каждый час, да час с минуточкой,
в час с минуточкой...

Мать опустила веки и заметно качнулась вперед...

— Спать хочешь, мама? — спросил Егор.

Она кивнула, не открывая глаз.

— Я тебя отнесу, ладно?

Она улыбнулась:

— Отнеси.

Егор подошел к ней и осторожно взял на руки, невесомую, пахнущую хлебом... Перенес, прижимая к себе, на широкий диван, заранее приготовленный к ночи женой. Уложил мать, накрыл одеялом и встал рядом с ней на колени.

Она посмотрела на сына ласково, не мигая и сказала едва различимым шепотом:

— Я уж больше, однако, никуда не поеду, Егорушка, ладно?

— Конечно, мам! — радостно закивал Егор. — Конечно... Я ведь тебя сколько звал? Живи у нас. О-о!.. — Он прильнул к ней лицом.

А мать продолжала шептать:

— Ты только вот чо, Егорий... Как помру если... крест мне поставить не забудь... Настоящий, православный. Чтоба он долго-долго стоял...

— Ну что ты про это, мам? — остановил ее Егор. — До креста еще мы с тобой проживем! Вот увидишь...

— Да-а... — со вздохом шепнула она. — Ступай себе... с богом... — Она привстала на локте и осенила Егора крестом.

Он улыбнулся, еще раз поцеловал мать, подбил одеяло и счастли-

вый-счастливым пошел к себе в спальню, где посапывала жена. Была уже половина пятого.

А через час ровно Егора разбудил телефон. Он снял трубку, буркнул в нее и услышал встревоженный голос диспетчера Верхнего:

— Егор Павлович, извините... Сейчас только звонили со второй фабрики. У них там одна за другой полетели дробилки.

— Куда полетели? — спокойно спросил Егор.

— К черту! — сказал диспетчер. — Наша руда к ним пришла с металлом.

— Интересно, — сказал Егор. — В чем дело?

— Авария была, Егор Палыч. Шестой экскаватор при погрузке зацепился кормой с противовесами за борт забоя. Вывалились из противовеса шары. А у нас тут метель началась как раз. Зачистили забой от шаров плохо. Сменный экипаж пришел и стал грузить самосвалы. С шарами, естественно. Вот они и приплыли на фабрику. Три дробилки тю-тю.

— Та-аг... — протянул Егор. — Хорошо излагаешь. Машину мне отправили?

— Да.

— Ну тогда, значит, ждите. Аварийный экипаж чтобы был на руднике. Буду разговаривать. Они, поди, в кашу себе, когда кушают, дрови не насыпают. Берегут челюсти... Все.

Он стал одеваться, мыться. Жена сонно спросила:

— Ты куда?

Ответил коротко:

— Гулять.

— А завтрак?

— На Верхнем наемся. Ты тут за матерью гляди... Максимум внимания!

Уже готовый для улицы, в унтах, шапке и полушубке, Егор все-таки вернулся от двери, прошел в комнату, где спала мать, опустился с улыбкой перед ней на колени, потянулся губами к ее лицу. Губы ожгло вдруг каким-то отстойным, тягучим холодом. Он отпрянул, еще не поняв ничего... Прислушался, сжавшись в комок, и услышал, как тонко стригут тишину часы на его руке... Егор медленно-медленно стал наклоняться к матери, напрягаясь глазами, и увидел ее остановившийся взгляд и дождединку слезы в морщинистой трещине возле белого носа...

Егор обнял мать, задохнулся от невозможности вдоха и как-то совсем уже по-детски, беспомощно закричал:

— Ма-ам-ка... Мма-а-ам!..

(Окончание следует)



СТ. КУНЯЕВ



ПО СЕВЕРНЫМ ЗВЕЗДАМ...

.

По северным звездам угадывать путь,
брести от зари до ночлега,
свалиться без сил и ладонью черпнуть
воды из лосяного следа.

По тропам звериным сквозь бурую гать
стремиться к прозрачным истокам,
выслеживать птицу и спирт разбавлять
холодным березовым соком.

Лежать в полусне и глядеть у костра,
как уголь становится пеплом,
подумать о жизни: еще не прошла,
коль пламя целуется с ветром!

А белые ночи стоят в сосняке,
ползут на болота и взгорья,
и красная рыба по черной реке
крадется из белого моря.

.

На этих угрюмых просторах,
где борются север и юг,
есть мелочи, но без которых
придет человеку какюк.
Не выживешь без сигареты,
без крепких напитков — никак,
когда эвенкийские ветры
свистят в кучевых облаках.
Загнешься без теплого слова,
без шутки в минуту тоски...
И трудно и проще простого
прожить свою жизнь по-мужски!
С молчаньем под шум листопада,
с друзьями за песней хмельной...
Немного? А мне и не надо
ни жизни, ни песни иной.

.

Вековые деревья сплелись,
как враги или кровные братья,
запрокинули головы ввысь,
распахнули друг другу объятия.

Странный звук — и опять тишина...
Если можешь — спроси у собаки:
то ль вздохнула под ветром сосна,
то ли зверь остуился во мраке.

Ты подносишь ладони ко рту —
и раскатистый зов человека,
полный смысла, летит в темноту...
Но вернет тебе слабое эхо

только а-а! только о-о! только у-у!
А тайга обступила, нависла,
и согласные звуки, в траву
зарываясь, лишаются смысла.

А без них человечья молва
приближается к речи звериной...
Только у-у! только о-о! только а-а
догоняют косяк журавлиный.

ЗАБРОШЕННЫЙ ХУТОР

Где было некогда жильё,
теперь растёт одно былье.

Чертополох да лебеда,
как будто проклятые травы
над прахом быта и труда
стоят, как орды, величавы.

Такие силы в них текут,
такие зверские замашки,
что рядом с ними не цветут
ни ирисы и ни ромашки.

Кирпич.

Бревно.

Истлевший хлам.

Следы уклада и оплота.
Мстит человеческим делам
неравнодушная природа

за то, что причинил изъян,
за то, что был слепым орудьем
своих времен...

Шуми, бурьян,

за то, что ни себе, ни людям!

Земля не знает пустырей,
есть смысл у моря и пустыни,
и тем прекрасней, чем скорей
все пересилит дух полыни.

* * *

Ворон каркал, и зяблик насвистывал,
пробивались фиалки сквозь тлен...
По весеннему лесу с транзистором
проходил молодой супермен.

Шел, не зная, чего ему хочется,
для чего от людей убежал.
А хотелось ему одиночества,
но не вынес — и клавиш нажал.

И смешалась с весенними стонами
с бормотаньем ручья и листвы
кутерьма голосов за кордонами,
налетевшая из синевы.

Взрыв посольства. Убийство заложника.
Мирный пакт и всемирный грабеж...
Погляди на листок подорожника —
может, нечто иное поймешь.

Рухни наземь. Услышь, как вскрываются
почки дуба в знобящем тепле,
как на ощупь, вслепую сплетаются
корни трав, неизвестных тебе!

Но бредешь ты сквозь лес расцветающий,
черный ящик несешь на груди,
оглушенный, ослепший, не знающий
ни весны, ни себя, ни пути.

* * *

Увядают ягоды черники,
север дышит в крылья журавлю.
Вот в такие горестные миги
я тебя по-прежнему люблю.

Ветхий лист срывается с березы,
индевет мертвая трава,
и летят на желтые откосы
самые несвязные слова.

Хлопья снега медленно роятся,
укрывают темную хвою...
Милая, не мне с тобой равняться
в светлых чувствах к травам и зверью!

Жажда цели и земные страсти
глубоко засели в эту грудь!
Но сейчас в моей последней власти
взор поднять и в небеса взглянуть.

Воздух тишины и очищенья,
шум огня и холод сентября,
вдох прозренья, выдох облеженья
долетят, быть может, до тебя.

..*

Не вчера ль я глядел в синеву,
захмелев от земного покоя,
слушал, как шелестит о траву
лиственничная мягкая хвоя?

А сегодня спустился к реке
и увидел — вода загустела,
иней выпал на желтом песке,
словно соль под ногой захрустела.

Ночью глянул — построились в ряд
островерхие черные ели...
Над вершинами звезды горят —
никогда еще так не горели!

Ночь прошла — и блистающим льдом
затянуло под утро озера...
Где ты, пес мой? Прошу тебя в дом,
ты мне надобен для разговора!



ВАСИЛИЙ КАЗАНЦЕВ



ДОРОГА

* * *

Над плотной насыпью привстав,
Напряжена, пряма, отлога,
Как оглушительный состав,
Рванулась вдаль — и ввысь — дорога.

Тугой, натянутой струной
Приподнялась, затрепетала.
И тут же всей своей длиной,
Бессильная, к земле припала.

Среди лугов, лесов, светясь,
Горит зовущей красотой —
Полуборванная связь
С неотвратимой высотой!..

* * *

Шарахался шум голосов.
Вздымался, кружился, неистов.
Я ехал среди гулких лесов
Гудения, выкриков, свистов.

В душе раскрывалось ясней
Зияние зовов глубинных.
Я ехал среди льдистых полей,
Безмолвных, оглохше-пустынных.

Стволов неотступная цепь
Грозила, теснила, сжимала.
Безгласно-просторная степь
Безбрежностью грудь разрывала.

И огненный воздух — блестел.
И ветры аукались, клича,
И ужас по сердцу летел
Пред этим дыханьем величья!..

Н. К.

Крутое небо пылью тмится.
Разит навывлет свет сквозной.
Живу разорванно, как птица,—
«С судьбой небесной и земной».

Крутое небо дышит бездной,
Кренится, дыбится, ревет.
Крыло ломает вихрь небесный.
Земля, как ветер, ввысь несет!

С поля медленно шла. Вечерело.
Холодком начинало тянуть —
Повевало землей отсырелой.
Вдруг — предчувствие сжало ей грудь.

«Как же дома сейчас ребятишки?
Целый день без догляда, одни...»
И еловые вздрогнули шишки.
Жарко вспыхнули листьев огни.

Вся вперед наклоняется, хочет
Побежать — не бежится никак.
Полорото сорока стрекочет.
Как туман, наплывает ивняк.

И ужасное в душу стучится:
Если в эту минуту — сейчас! —
Не увидит их — что-то случится!
Разом хлынули слезы из глаз.

Копны — мимо, черемухи — мимо.
По стерне, вдоль соломенных груд...
Вот они! Целы все, невредимы —
С громким криком навстречу бегут!

Обняла всех троих, обдышала...
Отступили, заглохли слова.
Предзакатно окно полыхало.
Облегченно сияла трава.

Только все еще сердце болело
От внезапной тоски ледяной.
И беда тяжкокрыло летела
Где-то рядом, вблизи — стороной.

Где ветер с соснами заводит
Осенний, долгий переключ,
Бесшумной, легкой тенью ходит
В закатном сумраке старик.

Идет по коридорам длинным.
По темным, вздувшимся корням.
Прислушивается к вершинам.
Приглядывается к стволам.

К кустам — опавшим, поределым...
И, с пестротой нежаркой слит,
Перед открывшимся пробелом
Безмолвно встанет — и стоит.

Что ищет? Старую дорогу,
Средь плотных зим, протяжных лет
Истаявшую понемногу?
Мелькнувшей юной думы след?

* * *

Поэзия бежит в неизвестность,
В неопытные голоса.
Во мглу, затерянную местность —
Дикорастущие леса.

Где тропы узкие извиты
И выси листьями расшиты.
И кочки тянутся и пни.
И тайны малые забыты.
Большие ведомы одни.

СНЕГ

Жилец белеющей пустыни.
Посланец зимней высоты.
Сухая выверенность линий.
Какие твердые черты!

Один назвал его холодным.
Другой назвал его стальным.
А он назвал себя — свободным!
Кристалльным. Вечно молодым.

* * *

Как ноги весело носили —
По сосняку, по пихтачу!
Одно лишь легкое усилие,
Одно мгновенье — и взлечу.

Одно, последнее, усилие!
Ни долгих лет, ни лучших сил
Не пожалел — крутые крылья
Для взлета близкого растил.

Над тянущей к себе землею,
Над торным, выбитым путем —

Не взмыл... Лишь крылья за спиною —
Все шире! — тяжкою волною,
Как память о мгновенье том.

* * *

Травы дышат мирным летом.
Воды светятся теплом.
Вдруг над озером и лесом
Самолетный грянул гром.

Необъятно распластался,
Напряженный и густой.
— Ты зачем сюда ворвался,
В этот край пустынный мой?

Растревоженные ели
В тон промчавшейся волне
Возбужденно загудели,
Заходили в вышине.

Всколыхнуться мир заставил —
Улетел, вдали затих.
— Ты зачем меня оставил
Посреди лесов глухих?

ТОМЬ-РЕКА

В синь лесов вплетенная.
Глухобезответная.
— Почему ты темная?
— Потому что светлая!

Я теку легко и длинно,
В свет высокий влюблена.
Не песок во мне и глина,
А одна лишь — глубина.



ЧАРЛЬЗ П. СНОУ



ХРАНИТЕЛИ МУДРОСТИ*

Роман

10

До этого лета ни Лиз, ни Дженни ни разу не бывали в суде — в отличие от Джулиана, который в молодости одно время готовился в адвокатуру с тайным, но твердым намерением так никогда и не подготовиться. И Дженни и Лиз охватило то странное неприятное чувство, которое испытывает стеснительный человек, входя в комнату больного или ненароком попав в иностранную церковь во время службы.

Зал суда в июньское солнечное утро вовсе не выглядел зловещим, и все-таки Лиз ощущала что-то похожее на суеверный страх. Правда, зал, находившийся в ближнем к Стрэнду крыле здания, несколько напоминал вставшую на дыбы базилику, потому что был несоразмерно высок. Однако ожидающие судью служители, адвокаты, поверенные и подавляющее большинство зрителей, включая Хилмортонна, по-видимому, не испытывали никаких неприятных чувств. Скамьи, правда, жесткие, а разбирательство обещает затянуться, таков уж этот судья, болтал кто-то, и, значит, копчиком предстает нелегкое испытание. Дженни и Лиз в двух разных половинах зала — хотя их разделяли всего два-три ярда прохода — тревожно поглядывали на своих поверенных, ища поддержки.

Симингтон, обменявшись несколькими словами с сидевшим перед ним адвокатом, пребывал в безмятежном спокойствии. Лиз видела его в первый раз, и хотя, как правило, красивые мужчины ее не интересовали, она подумала, что на него стоит посмотреть. Однако и она и Дженни (в это утро их чувства и мысли совпадали гораздо чаще, чем они могли бы предположить) испытывали раздражение, знакомое почти всем, кому приходилось судиться. Им не нравились дружеские улыбки, которыми обменивались адвокаты. Или у них железные нервы? Но могли бы они понять, что у других людей нервы совсем не железные!

Адвокат андервудовской стороны, похожий на сытую свинью, и адвокат Дженни, сухощавый, с орлиным профилем, поддразнивали друг друга, точно студенты. Как будто исход дела безразличен не только им, но и всем остальным, и острят ведь даже не смешно! Лиз злилась все больше и больше: почему, собственно, они воображают себя остряками? Кто-то продолжал жаловаться на жесткость скамей, словно жалобой можно что-то изменить. Ровно в половине одиннадцатого под замирающей бой курантов соседней церкви открылась внутренняя дверь, вошел судья, сделал несколько шагов по возвышению и поклонился с добродушием толстяка. Затем он неторопливо опустился в свое кресло с таким довольным видом, словно рад был посидеть в нем подольше.

На скромный и трезвый взгляд судьи Бозанкета, он имел все основания быть довольным. Судьей Высокого суда он стал поздно — настолько поздно, что уже успел оставить всякую надежду на это назначение. А теперь можно не тревожиться о зарботке, да и главная причина для тревог позади — пенсия его ожидает более чем доста-

* Продолжение в е. Начало см. «Новый мир» № 1 с. г

точная. Пост судьи именно этого отделения Высокого суда — отделения по делам наследства, разводов и адмиралтейским делам — прекрасное завершение карьеры для юриста его склада, которого абстракции закона интересуют меньше, чем живые люди. Собственно говоря, он был умным, проницательным человеком с сильно развитым любопытством.

Его круглое лицо с маленькими блестящими глазками приводило на память диккенсовских добряков, хотя в нем можно было увидеть сходство и с китайскими государственнымнми мужами. Впрочем, китайские мудрецы сидят не в креслах, а на циновках. И на циновке и на любом другом сиденье он был способен просидеть столько времени, сколько, по его мнению, требовалось, чтобы прийти к обоснованному заключению.

Женщинам вроде Дженни и Лиз, предпочитающим думать быстро и непривычным к судам, и даже их знакомым вроде Лоримера, который явился оказывать Дженни немую поддержку, процедура казалась рассчитанной по крайней мере на вечность — и это ощущение появилось у них еще до конца первого заседания, а их предстояло еще много. То же ощущение охлаждает энтузиазм посетителей, впервые попавших в парламент. Неужели у этих людей в распоряжении месяцы? Или годы? А может быть, столетия? Или времени для них просто не существует?

Беда в том, что с деловой точки зрения устная речь давно уже стала анахронизмом. Мы приучены читать, а читаем мы в три-четыре раза быстрее, чем говорим. Дженни прочла все резюме, которые Симингтон приготовил для адвоката. Ее проницательность и суховатая логичность внушали ему большое уважение. Она резко протестовала против любого огульного и против всего, на что она со скамьи свидетелей не могла бы дать четкого ответа. Заключительное резюме легло в основу вступительной речи ее адвоката. Она прочла его за полчаса, включая время, потраченное на вопросы. В суде эта речь заняла почти все утреннее заседание, включая время на мягкие, въедливые, беглые вопросы судьи Бозанкета и на несколько протестов андервудовского адвоката, которые всем, кроме юристов, казались игрой, обменом шутками, понятными только посвященным.

Пока Дженни слушала эту речь, она то словно вновь переживала уже раз пережитое, то как будто смотрела на все откуда-то издалека. Этот человек, фамилия которого была Лэндер, выглядящий в парике очень молодо, приятный собеседник в частных разговорах, говорил про ее отца и про нее. Точно она умерла и кто-то непонятно для чего написал ее биографию, которую затем переработали для сцены, — кто-то, кто совсем ее не знал и кое-что передал правильно, а многое нелепо исказил. Дженни — и в этом она отличалась от Лиз — нисколько не была суеверной, и все-таки ей мерещилось, что она вот-вот увидит привидения, но только не настоящие, не подлинные. Она чувствовала, что у нее сдают нервы. Легче ли ей было бы, если бы от этой речи не зависело решение дела, она сказать не могла.

Лэндер был профессионально безупречен, хотя отрывки из его речи, напечатанные в газетах на следующий день, могли навести на мысль, что он не то дурак, не то сверхъестественно умен. «Корделия, отринутая королем Лиром» — гласил один из заголовков, и действительно, Лэндер не сумел удержаться от этого избитого сравнения. Услышав его (в резюме Симингтона ничего подобного не было), Дженни покраснела так, как уже лет двадцать не краснела, и в бешенстве подумала, что похожа на Корделию не больше, чем на Бриджит Бардо. И опять подумала то же, но с еще большим ожесточением, когда на следующее утро открыла эту газету.

Лэндер начал с того, что Мэсси, когда составлял свое последнее завещание, был очень стар.

— Старость — понятие относительное, но, пожалуй, никто не станет отрицать, что конец девятого десятка — это все-таки настоящая старость.

Основанием для иска послужило неправомерное влияние.

— В целом старые люди легко поддаются воздействию, влиянию и уговорам тех, кто их окружает. Всем известно, что в достаточно преклонном возрасте наша память может утратить ясность и нам становится труднее противиться постороннему влиянию. Таким образом, тут мы сталкиваемся с давно знакомой историей, которую многие из нас слышат не впервые: с историей о том, как человек очень, очень преклонного воз-

раста подвергался настойчивому воздействию, психологическому принуждению — пока я не хочу идти дальше — со стороны весьма решительной женщины.

Женщина эта, объяснил Лэндер, не была дочерью старика. Для Дженни эта часть речи, занявшая не более пяти минут, была особенно мучительна, и она не могла бы потом пересказать, что, собственно, она слышала.

Лэндер не сделал ни малейшей попытки затушевать отчуждение между отцом и дочерью, и остальные юристы решили, что дело излагается отлично. Да, отчуждение имело место. Миссис Рэстал не думает это отрицать и сама скажет о нем, когда будет давать показания. Но объяснить его она не в состоянии: прямой ссоры между ними не было, отец не одобрил ее замужества, однако это было давно — она уже пятнадцать лет как развелась и больше с тех пор в брак не вступала.

Жена мистера Мэсси, мать миссис Рэстал, умерла, когда она была еще подростком, и оставила ей небольшое наследство. Человеческие побуждения трудно истолковать, но вполне вероятно, что это обстоятельство неблагоприятно подействовало на отца (вывод самого Лэндера, Дженни же не сомневалась, что ничего подобного не было). Она редко виделась с отцом просто потому, что он явно этого не желал. Она делала все, что было в ее силах, чтобы восстановить их отношения, но безуспешно. Вот тут-то Лэндер с грустной улыбкой и вставил красноречивое сравнение с Корделией.

— Миссис Рэстал не скрывает никаких подробностей того, что столько времени было ее горем. Однако — и здесь я перехожу к несомненному и, на мой взгляд, неопровержимому доказательству правомерности ее иска — в течение многих лет после отчуждения, возникшего между отцом и дочерью, и до самого последнего времени, до этого последнего завещания, составленного буквально за несколько дней до его смерти, годы и годы спустя после того, как мистер Мэсси в последний раз видел свою дочь, он, составляя завещание за завещанием, в каждом из них отказывает значительную часть своего состояния, никогда не меньше половины, а обычно и гораздо больше, миссис Рэстал. В этом нет ничего удивительного. Именно так считал бы необходимым поступить любой отец, как бы эксцентрично ни было его поведение в отношении своего единственного ребенка.

Лэндер принялся описывать пристрастие Мэсси к составлению завещаний. Судья мирно улыбался, и так же улыбались зрители в зале. Дженни перестала ежиться — это были уже факты, это была нейтральная территория.

Да, старик любил составлять завещания, сказал Лэндер. Подобная привычка — не такая уж редкость, если говорить о стариках, и особенно о стариках с несколько тяжелым характером. Им нравится ощущение власти и доставляет удовольствие дразнить надежды тех, у кого есть основания на что-то рассчитывать (эту фразу газеты также процитировали дословно). В суде послышался смех — особенно громкий там, где сидел Джулиан Андервуд. Кое-кто криво улыбался.

Эта серия завещаний будет подробнее освещена в показаниях бывшего поверенного мистера Мэсси (слово «бывший» Лэндер многозначительно выделил). Они все имеют определенные общие моменты. Они все начинаются с указания, что завещатель не намерен ничего оставлять ни каким-либо учреждениям, ни учебным заведениям, где он обучался, а главное — институтам или обществам, имеющим хотя бы отдаленное отношение к англиканской церкви.

Судья Бозанкет бесстрастно спрашивает:

— Верно ли я понял, мистер Лэндер, что покойный мистер Мэсси принадлежал к англиканской церкви, но несколько остыл к ней?

— Совершенно верно, ваша милость, — невозмутимо отвечает Лэндер.

Новый взрыв смеха там, где сидит Джулиан Андервуд.

Затем — различные благотворительные общества, фигурирующие в одном завещании, исчезающие из другого, едва они вызвали его неудовольствие. Определенные суммы слугам, врачам и прочим.

— Но нам предстоит узнать, что данные лица — лечивший его врач, экономка и другие слуги — были все сменены, когда миссис Андервуд взяла на себя ведение его дома. И затем, в конце — сумма, всегда весьма значительная, завещанная его дочери. Когда миссис Андервуд взяла на себя ведение дома, начались перемены. Указать

точно, когда именно, возможным не представляется, но где-то в тысяча девятьсот шестьдесят шестом году, за четыре года до его смерти. Был смнен врач. Я должен сразу оговориться, что мы не подвергаем ни малейшему сомнению компетентность, правомочность или добросовестность тех, кто их заменил. В частности, был смнен поверенный мистера Мэсси. Мистер Болдерстон, его бывший поверенный, который вел его дела чуть ли не полвека, практически полностью уступил место мистеру Скелдингу. А мистер Скелдинг, как оказывается, также на протяжении многих лет был поверенным миссис Андервуд. Я считаю необходимым указать, что мистер Скелдинг — известный юрист с высокой профессиональной репутацией. Ни у кого нет ни малейшего намерения бросить на него даже легкую тень. Именно мистер Скелдинг составил последнее завещание, узнав от миссис Андервуд, что инструкции завещателя заключаются в том-то и том-то. Мистеру Скелдингу были вручены копии трех предыдущих завещаний с указанием сохранить вступительную часть, включая замечания по адресу англиканской церкви. (Смех.) Однако далее вносилось весьма существенное изменение. Остальное имущество, то есть большая его часть, отказывается теперь не миссис Рэстал, чье имя, как я уже упоминал, полностью исчезло из завещания, а сыну миссис Андервуд. Мистер Скелдинг лично привез это завещание мистеру Мэсси, и оно было подписано и засвидетельствовано за месяц до смерти мистера Мэсси.

Затем Лэндер позволил себе отступление, которое знатоки подобных речей сочли ненужным и уж во всяком случае несвоевременным. Он заговорил о том, что мистер Мэсси последние два-три года, то есть все время пребывания в доме новой экономки, не покидал гостиной на первом этаже. Он находился в этой комнате круглые сутки, и свободный доступ к нему имели только миссис Андервуд и новый врач.

Хотя знатоки сочли, что это отступление было в лучшем случае скучным и ничего к аргументам не добавило, они, возможно, ошибались. Ведь дело решал судья, а этот судья принадлежал к людям, не знающим, что такое скука. Не исключено, что в бытность свою адвокатом он сам построил бы свою речь по этому делу именно так — не оставляя без рассмотрения ни одной частности и перебирая их по нескольку раз. Во всяком случае, ничего похожего на скуку его лицо не выразило и он продолжал делать заметки с усердием студента в последнюю неделю перед экзаменами. Один раз он оторвался от них и спросил:

— Есть какие-нибудь сведения о том, посещал ли кто-нибудь мистера Мэсси в этот последний период?

— Насколько мне известно, посетитель должен был получить разрешение врача или миссис Андервуд, но это можно уточнить.

— Учтивая состояние его здоровья, это вполне естественно.

Дженни с нервной подозрительностью истолковала слова судьи как оправдание миссис Андервуд.

Заседание тянулось и тянулось. Зрители начинали ерзать, подумывая, что неплохо было бы перекусить. Но последние слова Лэндера прозвучали настолько многозначительно, что все насторожились:

— Я должен указать на одно довольно характерное обстоятельство. Ни разу за все время болезни мистера Мэсси миссис Андервуд не попыталась известить о ней дочь мистера Мэсси. Даже когда близость его кончины не оставяла сомнений. Миссис Рэстал ни о чем не известила. Ей не сообщили, что он умирает. Ей не дали возможности увидеть его на смертном одре. О его смерти она прочла в «Таймс».

Лиз знала эти факты, но прежде они словно бы не имели никакого отношения к реальным людям и событиям. Она и раньше не сомневалась, что была совершена ошибка. С той минуты, как завещание было опротестовано, она вновь и вновь перебирала в памяти все эти ошибки. И тем не менее, когда о них было сказано тут... они выглядели уже не ошибками и даже не тем, чем могли бы быть — расчетом, признаком черствости, бессердечия или даже просто равнодушия, а почти преступлением или (еще хуже!) чем-то невыносимо постыдным. Словно тебя оттолкнул мужчина, а потом хвастает перед друзьями, как ты ему навязывалась. У Лиз по коже побежали мурашки. Она похолодела от ярости и стыда.

Она покосилась на Дженни. До этого утра они никогда друг друга не видели — так же, как Дженни и миссис Андервуд. Теперь они постоянно будут видеть друг друга

в суде, а потом, вероятно, никогда больше не встретятся. Лиз испытывала к Дженни только неприязнь. А Дженни к ней — неприязнь и легкое любопытство. Обе были страстными натурами, способными ненавидеть, и когда они ненавидели, в их чувстве не было ничего утонченного. Однако ни в суде и нигде еще не было человека, который знал бы их обеих, и никто не мог заметить, а уж тем более рассказать им, в чем они друг на друга похожи.

Райл, который был достаточно чуток, чтобы уловить это сходство — будь он знаком с Дженни, — сидел сейчас позади Лиз и пытался убедить ее, что ни одна из сторон пока не получила ни малейшего преимущества. Хилмортон, чья отстраненность способствовала бы подобным наблюдениям, был занят другим.

И когда судья наконец коротко кивнул и удалился, он сказал:

— Ну, все, я полагаю, должно иметь какое-то начало.

Джулиан загоготал. А Хилмортон продолжал, поглядывая на ультраготический потолок, словно все конфликты тут сводились к различию архитектурных вкусов:

— Должен сказать, когда наши деды бывали вульгарны, они бывали поразительно вульгарны, вы не согласны?

11

Постепенное посещение суда превратилось почти в привычку — впрочем, многие, и в том числе Хилмортон, приходили теперь лишь на отдельные заседания или заглядывали в зал для того только, чтобы послушать то или иное свидетельское показание, — одна сторонняя наблюдательница высказала мнение, что у тех, кто ведет процесс, нет ни малейшего чувства драмы: поставлен он из рук вон плохо. Ну совсем как английский брачный обряд — кульминация отнесена чуть ли не к самому началу.

Наблюдательницей этой была Мюриэль Калверт, которая тут же добавила, что в своем браке она предпочла бы вовсе обойтись без кульминации. У Дженни ее острота не вызвала улыбки — Мюриэль не нравилась ей сама по себе, а кроме того, ей были неприятны люди, которых, как Мюриэль, приводило в суд одно только холодное любопытство. Но в ее словах была доля истины. Свои показания, которые могли сыграть в ее деле решающую роль — а любопытствующим зрителям, вероятно, представлялись даже еще более решающими, чем в действительности, — Дженни дала в начале послеобеденного заседания на второй день процесса. После чего суд день за днем выслушивал показания свидетелей в пользу истицы, однообразные, без сенсаций, многословные — протокольная их запись занимала десятки и десятки машинописных страниц.

Мюриэль Калверт, довольная своим сарказмом, упустила из виду, что им еще предстоит выслушать не менее важные показания миссис Андервуд и что в финале, как ни плоха постановка, они все будут напряженно ждать развязки — решения, которое вынесет судья. Но кое в чем Мюриэль была права: на протяжении многих дней с десяти тридцати до часа и с двух до половины пятого не ощущалось никакого нарастания к кульминации, а вернее, отсутствовал даже намек на возможность какой бы то ни было кульминации.

Столь же пресными были и показания о психическом состоянии старика Мэсси, хотя у юристов и у горстки вдумчивых завсегдатаев процесса они вызвали немалый интерес. Показания давал врач, лечивший Мэсси до воцарения миссис Андервуд. Держался он не совсем уверенно, но ответы его были ясными и недвусмысленными. У старика были свои причуды. Он категорически возражал против того, чтобы ему измеряли давление. Он всегда с редким упорством настаивал на своем.

Для людей понимающих такой ответ подразумевал много возможностей, но произведенное им впечатление стерлось, когда затем доктор так же недвусмысленно ответил, что, по его мнению, Мэсси, когда он в последний раз видел старика за три года до его смерти, был близок к состоянию старческой депрессии, хотя признаки ее еще не носили четко выраженного клинического характера.

Бывший поверенный Болдерстон, давая показания о многочисленных завещаниях мистера Мэсси, главным образом старался дать понять, что он не лишился доверия старика и продолжал вести некоторые его дела. Слушали его невнимательно, но когда он перешел непосредственно к завещаниям, по залу прокатилась волна сдержанного

веселья. Рождественские завещания. Новогодние завещания. От такого-то года, от такого-то, от такого-то, словно речь шла о коллекции марочных вин. По-видимому, старик завел привычку отмечать каждое рождество или Новый год составлением очередного завещания, после чего он сообщал о своих распоряжениях тем, кто от них выигрывал, и тем, кто от них проигрывал, «с тем чтобы они вступили в Новый год с открытыми глазами».

Выигравшие почти без исключений оставались в выигрыше недолго. На следующее рождество, как явствовало из завещаний, они в очередной документ обычно не попадали. А однажды распоряжения рождественского завещания от 1962 года были отменены новогодним завещанием от 1963 года. Все они хранились в архивах фирмы Болдерстона. Судье были заблаговременно представлены копии. Теперь он спросил, желают ли ответчики удостовериться в подлинности этих документов. Адвокат ответчиков невозмутимо заявил, что они не оспаривают их подлинности, а когда настал его черед задавать вопросы Болдерстону, он лишь уточнил две-три незначительные частности. Кое-кого из наименее искушенных андервудовских сторонников это разочаровало, но, собственно говоря, почти все факты, упомянутые в речи Лэндера и в свидетельских показаниях, признавались обеими сторонами, и все зависело от того, как истолкует их Бозанкет.

Дженни начала давать показания на втором послеобеденном заседании, в два сорок пять, после одного из садовников — прямо как в парламенте, подумал Райл: сообщение о национальном бедствии откладывается, так как прежде надлежит ответить на вопрос о состоянии транспортного обслуживания Кайл-оф-Лохалша. Тут миссис Андервуд и Лиз впервые получили возможность как следует рассмотреть своего врага. Дженни стояла выпрямившись, и ее чуткое тонкое лицо странно контрастировало с крепкими широкими плечами. Мужчине этот контраст мог показаться привлекательным, но миссис Андервуд вообще не хотела смотреть на нее, а Лиз разглядывала ее с такой брезгливостью, словно она была одной из женщин Джулиана.

Дженни твердо отказалась репетировать заранее, что и как она будет говорить. Суоффилд навязывал ей всяческие советы, но она не поддавалась, а под конец отвечала ему даже резко. Симингтон был более деликатен (он ей скорее нравился, хотя — еще одна общая черта между врагами — его внешность обворожила ее не больше, чем Лиз), но она объяснила, что тут поступит по-своему — иначе она не может. Она скажет то, что должна будет сказать, ответила она ему мягко, почти с сожалением. Про себя она твердо решила говорить только правду — насколько это возможно. Другими словами, сама того не подозревая, она приняла то же решение, которое принимают разумные люди перед допросом в комиссии по безопасности. Она умела трезво смотреть на вещи и не ожидала, что ей будет легко.

Лэндер, которого она до этого видела всего один раз на совещании у Симингтона, начал с простого вопроса:

— Миссис Рэстал, если бы ваш отец когда-либо изъявил желание вас увидеть, вы поехали бы к нему?

— Конечно.

Дальше в протоколе заседания значится следующее:

«Лэндер: Вы остались бы с ним?»

Миссис Рэстал: Конечно.

Лэндер: Я хочу, чтобы у его милости не было никаких неясностей в отношении этого вопроса. Если бы ваш отец в дни своей последней болезни или когда-либо раньше попросил вас посвятить ему ваше время, вы поехали бы к нему?

Миссис Рэстал: Да. А как же иначе?

Лэндер: На любой срок?

Миссис Рэстал: Да.

(Эти ответы были легкими — ничего, кроме правды.)¹

Лэндер: Я вынужден спросить вас: каковы были отношения между вашим отцом и вами?

¹ Вставки в скобках в протокол не входят. (Прим. авт.)

Миссис Рэстал (она несколько утратила уверенность, но ее голос звучал по-прежнему ровно): Не очень хорошие.

Лэндер: Такими они стали в последнее время?

Миссис Рэстал: Нет, такими они были большую часть моей жизни.

Лэндер: Вы его любили?

(Она заколебалась.)

Миссис Рэстал: Мне кажется, я его любила, насколько можно любить человека, который вас не любит. (Она вновь заколебалась. Ничего лишнего она говорить не хотела.) Мне кажется, я испытывала к нему естественное дочернее чувство.

(Лэндер был готов к таким ответам — Симингтон предупредил его, что она на редкость прямодушна.)

Лэндер: Я прошу вас вспомнить ваше детство. Когда вы были маленькой, отец вас любил?

Миссис Рэстал: Он никак этого не проявлял. Нет, он вряд ли когда-нибудь меня любил.

Лэндер: Это вас огорчало?

Миссис Рэстал: Когда я была девочкой — очень. Потом я свыклась с этой мыслью.

Лэндер: Тем не менее это было вам тяжело?

Миссис Рэстал: Да. Это я могу сказать твердо.

Лэндер: Вы не помните никаких проявлений привязанности с его стороны? Когда вы были девочкой, например?

(Она неожиданно улыбнулась, словно собираясь похвастать и оттого немного смущаясь.)

Миссис Рэстал: Я неплохо училась в школе. Ему как будто было приятно читать отзывы обо мне и смотреть мои отметки. В эти минуты он как будто гордился мной — немножко.

Кое-кто из тех в зале, кто был к ней расположен, и двое-трое из настроенных враждебно вдруг на секунду увидели перед собой умную девочку, веселую, лукаво-задорную, полную ожидания счастья, еще не столкнувшуюся с жизнью.

Но тут же судья Бозанкет стер это впечатление — без всякой задней мысли, просто из-за пристрастия к мелким подробностям. Ничего не оставляя на волю случая, он спросил, были ли эти отметки самыми высокими или просто высокими.

Дженни, перестав улыбаться, ответила:

— И такими, и такими.

Затем Лэндер начал задавать вопросы о ее биографии. Она не училась в университете. Речь об этом была, но тут началась война, и она пошла работать в государственное учреждение. До смерти матери отец выдавал ей ежемесячное содержание. Но прекратил его выдавать, когда она получила наследство, оставленное ей матерью. А если бы она попросила у него денег?.. Возможно, он дал бы. Но она никогда его ни о чем не просила. Замужество. Никакой финансовой поддержки. После того как они с мужем развелись («Мой муж меня оставил», — с вызовом сказала Дженни, и тут не отступив от правды), она содержала себя сама. Да, когда она виделась с отцом (это бывало редко — раз в год, если не реже), он говорил с ней о своих имущественных делах и о том, что именно он собирается ей оставить. «Пусть деньги достанутся тебе, ведь никого другого нет», — сказал он как-то, хотя за точность выражений она поручиться не может. — Когда меня не станет, ты сможешь пожить в свое удовольствие». Что-то в этом роде он говорил ей не меньше трех раз, а может быть и больше. Во всяком случае, во время их последней встречи такой разговор был. А в последний раз они виделись лет за пять до его смерти — ее точная память и тут ей не изменила.

В заключение Лэндер спросил, знала ли она о том, что ее отец умирает.

— Нет. Мне ничего не сообщили. — Это было сказано жестким тоном. Она увидела объявление о его смерти в газете — и смогла только прийти на похороны.

Когда Дэвид Марч, адвокат ответчиков, поднялся со своего места и приготовился задавать ей вопросы, она подумала, что он вовсе не так похож на свинью, как ей почудилось вначале. Его лицо было подвижным, хотя и непроницаемым, и по-своему приятным: в другой обстановке, не в суде, оно, пожалуй, показалось бы ей даже симпатичным. Но его глаза смотрели так же остро и пронизательно, как и ее собственные.

Говорил он густым басом, и его вопросы нередко выглядели безобидными и путанными. Ей пришлось сделать над собой усилие, чтобы не соглашаться с ним чересчур уж легко (а порой она удерживалась от этого с большим трудом) и в то же время не позволить себе лишнего.

В протоколе ее ответы, в особенности прямо касающиеся дела, выглядели достаточно четкими. Так, после многочисленных незначительных вопросов Марч внезапно спросил, не дав ей времени подготовиться.

«Марч: Ваш отец разговаривал с вами о своем завещании? О своих намерениях относительно вас?»

Миссис Рэстал: Да. Я это уже говорила.

Марч: Вы говорили это моему ученому другу. Но ведь в разговоре очень легко понять что-то неверно, вы согласны?

Миссис Рэстал: Это случается.

Марч: Все мы склонны выдавать желаемое за действительное, не так ли? И вы могли вынести совершенно определенное впечатление из чего-то весьма неопределенного, не правда ли?

Миссис Рэстал: Вероятно, могла бы. Но в данном случае ничего подобного не произошло.

Марч: Вы, если я не ошибаюсь, сказали, что ваш отец... как бы это выразить?.. касался указанной темы два или три раза?

Миссис Рэстал: По меньшей мере три. А может быть, и больше.

Марч: Но в вашей памяти все это может выглядеть несколько преувеличенным, приобрести оттенок большей определенности. А на самом деле, возможно, ни о каком ясно выраженном намерении речи не было, и если вы попытаетесь вспомнить по-настоящему...

Лэндер: Ваша милость, я вынужден протестовать. Мой ученый друг, по-видимому, приписывает моей клиентке заведомое искажение истины и прямые выдумки. Для тех лет, когда эти разговоры, по ее словам, имели место, а также и для последующего времени мы располагаем самыми недвусмысленными документальными доказательствами намерений мистера Мэсси, который в своих завещаниях неоднократно назначал миссис Рэстал главной своей наследницей.

Судья Бозанкет: Мне кажется, мистер Марч ничего подобного в виду не имел. Я надеюсь, что это так. Но в любом случае завещания эти лежат передо мной. (Обращаясь к Марчу.) Я хотел бы заметить, что развивать эту тему дальше особого смысла не имеет».

Еще одна выдержка из протокола. Из тактических соображений Марч не придерживался хронологического принципа и снова задал один из своих неожиданных, ничем не подготовленных вопросов.

«Марч: Вы не станете отрицать, что со времени вашего замужества между вами и вашим отцом наступило полное отчуждение?»

Миссис Рэстал: Во всяком случае, не с моей стороны.

Марч: Вы не станете отрицать, что для полного отчуждения нужны двое?

Миссис Рэстал: Я так не считаю.

Марч: И что для него нужна причина? Что-то произошло между ним и вами...

Миссис Рэстал: Я этого не считаю.

(Через две страницы протокола.)

Марч: Вы ведь не делали никаких реальных попыток позаботиться о нем, не так ли? Покинув отчий дом, вы...

Миссис Рэстал: Я предлагала, и не один раз.

Марч: Каким образом вы предлагали?

Миссис Рэстал: Обычно я писала.

Марч: И когда вы писали в последний раз?

Миссис Рэстал: В шестидесятом году.

Марч: За десять лет до его смерти. А с тех пор нет?

Миссис Рэстал: Нет.

Марч: Почему же?

Миссис Рэстал: Предлагаешь раз, другой, третий, четвертый... А потом наступает минута, когда ты уже больше не можешь. Не можешь больше навязываться.

Марч: Навязываться? Это ли голос глубокой дочерней привязанности?»

Ответа на эту его реплику протокол не содержит. Марч прекрасно знал, что говоря «навязываться», она подразумевала нечто гораздо более резко: она подразумевала — «унижаться».

Заключительные страницы показаний Дженни.

«Марч: Вы сказали моему ученому другу, что ничего не знали о последней болезни вашего отца. Но разве что-нибудь мешало вам позвонить к нему домой и узнать?

Миссис Рэстал: Мне даже не было известно, что он болен.

Марч: О, послушайте! Он ведь был глубоким стариком. И не правда ли, было бы естественно время от времени справляться о его здоровье?

Миссис Рэстал: Я там никого не знала.

Марч: И вы совсем ничего не предпринимали?

Миссис Рэстал: Я написала ему.

Марч: Когда?

Миссис Рэстал: В апреле семидесятого года. За несколько месяцев до его смерти. Я не получила никакого ответа.

(Заключительные вопросы, касающиеся последнего завещания.)

Марч: Вы ожидали, что оно будет в вашу пользу?

Миссис Рэстал: Да.

Марч: Вы были твердо уверены в этом?

Миссис Рэстал: Его смерть явилась для меня большим потрясением.

Марч: Это звучит не вполне убедительно, если мне будет позволено так выразиться.

Миссис Рэстал: Я уже очень давно перестала думать об этих деньгах.

(Многих в зале этот ее ответ удивил больше всего. Некоторые — если не большинство — ей не поверили.)

Марч: Какие же шаги вы предприняли?

(Она позвонила Болдерстону, которого помнила по прежним дням, и он направил ее к Скеддингу.)

Марч: И вам сообщили, что вы не получаете ничего?

Миссис Рэстал: Да.

Марч: Неужели это не было для вас ударом?

Миссис Рэстал: Конечно, было.

Марч: И что же вы сделали после этого?

Миссис Рэстал: Это был не первый удар в моей жизни. Я подумала, что мне придется перенести и его.

Марч: Прошу вашу милость обратить особое внимание на этот ответ. (Обращаясь к миссис Рэстал.) Первым вашим решением было не опротестовывать завещания. Почему?

Миссис Рэстал: Я мало осведомлена в подобных вещах.

Марч: Вы хотите сказать, что приняли создавшееся положение как нечто само собой разумеющееся.

Миссис Рэстал: Ничего подобного я сказать не хочу. Я не знала, что происходило с моим отцом, я не знала людей, которые его окружали.

Марч: Короче говоря, вы не знали о нем абсолютно ничего и не ожидали, что он о вас вспомнит?

Миссис Рэстал: Я не знала окружающих его людей, но о глубоких стариках я знаю довольно много».

На страницах протокола ее слова выглядят бесцветно, но прозвучали они совсем не так — она произнесла их со свойственной ей задорной живостью, с насмешливым вызовом. Она радовалась, что все-таки сумела нигде не отступить от истины, особенно в том ответе, на который Марч попросил судью обратить сугубое внимание и который ничего хорошего ей не сулил. А теперь она была готова рассказать о стариках — о способах, какими, по ее наблюдениям, некоторых из ее подопечных побуждали завещать

их маленькие сбережения так, а не иначе. Однако Марч умел чувствовать опасность и следующий вопрос задал совсем о другом.

«Марч: Вы не сразу решили оспаривать завещание?»

Миссис Эстал: Мне кажется, даты вам известны.

Марч: Иск вы предъявили через довольно значительный срок. Быть может, за это время вы получили какие-то советы?

Миссис Эстал: Да, конечно. Мне ведь до сих пор еще не приходилось оспаривать завещания».

Скромная сдержанность уступила место ее обычной смелости и находчивости, и Марч счел, что будет безопаснее больше ей вопросов не задавать. Дженни вернулась в зал на место среди своих сторонников, испытывая радостный подъем, словно оратор, довольный только что произнесенной речью.

— Неплохо, неплохо,— сказал Суоффилд и тут же отвел глаза.

Симингтон, сидевший впереди через два ряда, на секунду обернулся с любезной улыбкой и кивнул. Это было все. Не упрек, но полное отсутствие одобрения. Она ощутила обиду и разочарование. Только Лоример, когда заседание наконец кончилось и они шли рядом через огромный главный вестибюль, холодный, как готический собор в летний полдень, неловко пробормотал:

— Вы хорошо отвечали.

Она была так благодарна ему, что у нее защипало глаза. И эта благодарность не стала меньше, когда он с той же неловкостью спросил, не поужинает ли она с ним сегодня (в нескольких шагах впереди Суоффилд, размахивая руками, кричал Симингтону что-то нечленораздельное, и оба они даже не вспомнили, что оставили ее одну). Затем Лоример попросил разрешения заехать за ней — Дженни это показалось старомодным, хотя она была ненамного моложе его.

Продиктовав ему название улицы, она заметила:

— Район, как видите, не слишком фешенебельный.

— Как и мой,— ответил он с неожиданным юмором и добавил, что у него маленькая квартира в Пимлико.

Когда Дженни вернулась домой, была еще только половина шестого. Лоримера можно было ждать не раньше чем через два часа, и она сделала то, чего не делала уже много лет — бросилась ничком на кровать и расплакалась. От усталости, от разочарования, от ощущения, что ее осуждают, вдруг осознав, что она, возможно, плохо разыграла свои карты. Но ведь она никаких карт не разыгрывала, подбодрила она себя. У нее хватало энергии рассердиться, и это придало ей сил. Если они не понимают, что она не хочет лгать, тем хуже для них. Да и ради чего все это? Ради довольно значительной суммы, напомнила ей ее практичная душа. Но чего, собственно, стоят деньги? Ну и мир! Эти люди ведут игру по своим правилам, но только эта игра не для нее. И люди эти — ей чужие. А пообедать в ресторане очень приятно. Жаль, конечно, что ее не пригласил кто-нибудь поинтересней. Надо надеть для него лучшее платье.

Оно, конечно, не такое уж великолепное, насмешливо подумала Дженни, доставая платье из гардероба. Как и ее однокомнатная квартира. Но это все, что она может себе позволить. И надо постараться не испортить ему обеда.

12

Лоример заехал за ней на такси, и они отправились из Эрлс-Корта в Сохо. Это был длинный конец, и наблюдая, как Лоример заказывает ужин, Дженни поняла, что им следовало бы поехать на метро, и пожалела, что не настояла на этом. Ведь ей, как никому в Лондоне, были известны уловки тех, кто стыдливо скрывает свою бедность. Он настойчиво предлагал ей самые вкусные блюда, а себе выбирал что-нибудь подешевле. Нет, просто он по вечерам привык есть мало, но она пусть не обращает на это внимания. Он, пожалуй, ограничится бульоном и омлетом, но она должна поужинать как следует. Вино? Дженни сделала вид, что ничего в винах не понимает, и предложила взять графинчик *vin ordinaire*². Он пил с большим удовольствием, и

² Столовое вино (франц.).

после некоторых колебаний, прикинув, какой ущерб лишний фунт может нанести его бюджету, она все-таки согласилась, чтобы он заказал еще графин. В этот вечер она испытывала потребность в алкоголе.

Однако она обнаружила, что казаться веселой ей вовсе не так уж трудно и что слушает она его даже с интересом. Особенно когда он говорил что-то ей приятное. Но выражал он свои мысли на редкость невнятно. И принудив себя заговорить о том, как она держалась на суде, он воспользовался той же фразой, которую она уже слышала от него днем:

— По-моему, вы хорошо отвечали.

— Благодарю вас.

Он довольно долго молчал, подбирая слова.

— Я мало что в этом понимаю. Но вы ведь не старались представить положение в выгодном для вас свете?

Она покачала головой.

— Мне это понравилось.

— Вы очень любезны.

Она была удивлена, даже поражена — значит, кто-то все-таки разделяет ее представление об элементарной порядочности. Такой, казалось бы, глухой ко всяким тонкостям человек. Такой необаятельный. Тем не менее она была тронута.

И ей захотелось разговорить его, узнать о нем побольше. Но тут имелось одно препятствие — он был если не глух, то уж во всяком случае нем. А кроме того, явно не привык к женскому обществу. И, безусловно, был беден. В этом она разбиралась лучше, чем его знакомые в палате лордов. Возможно, он несколько более обеспечен, чем она, но и только. Был когда-то женат, но развелся. Вечный неудачник. Наверное, ему следовало бы остаться в армии. Там, возможно, он «чего-нибудь добился бы». Ну, конечно, добавил он, к этому времени его все равно «отправили бы в отставку». Да, пожалуй, он дотянул бы до полковника, подумала Дженни.

Она поинтересовалась, часто ли он бывает в палате лордов.

— Во время сессии почти каждый день, — сказал Лоример.

— А часто вы выступаете?

— Нет, — ответил он не то сдержанно, не то смущенно. — Я еще ни разу не выступал. А знаете, мне хотелось бы попробовать, — вдруг признался он.

Дженни спросила (и сразу пожалела об этом, в свою очередь смутившись):

— И давно вы там? В палате лордов?

— Одиннадцать лет.

Когда они вышли из ресторана, на улице было еще светло, хотя стрелки на ее часах показывали половину десятого. Она не позволила ему взять такси, и они повернули к метро на Лейстер-сквер. День был напряженным, полным горечи, но теперь Дженни испытывала только приятное спокойствие. Она вкусно поела и выпила ровно столько, сколько нужно, чтобы поднять настроение. Нельзя сказать, чтобы рядом с ее спутником ей шагало особенно легко, но он ведь что-то понял, и эта мысль все еще согревала ее.

Они смотрели на афиши с раздевающимися девицами, на витрины книжных лавчонок с порнографическим уклоном. Мерзость! В этом Лондон не уступит никакой другой столице мира. В молодости он бывал в здешних ресторанах — тогда тут было много лучше. И она раза два бывала тут — совсем еще молоденькой девочкой. Да, до войны тут было много лучше.

Конечно, они чуть-чуть романтизировали прошлое, относя прелесть жизни, *douceur de la vie*, к дням своей юности, приписывая им некую чистоту. Исторически говоря, эта улица и в тридцатые годы была достаточно сомнительной, хотя мерзость, пожалуй, не выставлялась напоказ с таким бесстыдством. Они романтизировали прошлое с ностальгической грустью, со снисходительностью, к которой у него примешивалась приглушенная обида: романтизировали его как люди, которые видели лучшие дни, и не только они, а и все им подобные — можно было бы написать «и весь их социальный класс», но они происходили из разных подклассов, разграниченных тонкими различиями, — лучшие дни, навсегда невозвратимые. Однако их сожаление не было только эгоистичным. И Дженни и Лоример обладали тем, что его приучила в детстве на-

зывать «принципами», и принципы их во многом совпадали. А в этот вечер достаточно было сделать несколько шагов по центральному Лондону, чтобы вновь почувствовать, что принципы эти — как и выработавший их класс независимо от того, следовал он им или нет, — канули в вечность.

Дженни привыкла смотреть на окружавшие ее зрелища брезгливо, но без бесплодных сожалений. И сейчас она никаких сожалений не испытывала: день — тяжелый, нервный день отстался позади, и это уже само по себе было хорошо. Она обернулась к своему спутнику, чтобы задать ему какой-то незначительный вопрос, и увидела, что он смотрит в светлое небо.

Как обычно, он долго искал слова.

Потом сказал:

— Вот чего не хватало мне в пустыне.

— Чего же?

— Таких ночей. Коротких летних ночей. Северных летних ночей.

Сначала она подумала, что он пытается занять ее разговором, но тут же отбросила эту мысль. Он думал о чем-то своем, и эта единственная за весь вечер поэтическая фраза была адресована не ей.

Несколько минут спустя, когда они шли по Крэнборн-стрит, он вдруг повторил то же самое. С трудом отыскивая слова, он долго с ними не расставался и потому, указывая на небо, сказал:

— Вот чего не хватало мне в пустыне.

— Вы мне это уже говорили.

— Извините. Но мне правда их не хватало. Коротких летних ночей.

— А в Исландии они ведь еще короче, верно? — сказала она, блеснув глазами, но с полной невозмутимостью.

Он ответил совершенно серьезно:

— Кажется, да.

Примерно в то же время в прозрачных сумерках летнего вечера неторопливо прогуливалась еще одна пара — адвокаты сторон Лэндер и Марч. Выйдя из «Реформ-клуба», они пошли по Пэл Мэл. Они были друзьями, и притом гораздо более близкими, чем, скажем, Хилмортон и Райл. Их дружба нередко вызывала недоумение: слишком уж мало общего было между ними на первый взгляд. И действительно, во всем, кроме профессии, они были совершенно разными людьми. Марч происходил из старой богатой еврейской семьи — своего рода еврейских Форсайтов. Он был корректен, уклончив, сдержан, чуток, как-то излишне зрел и нередко казался усталым-флегматичным. По капризу судьбы его друг походил на стереотипное представление о евреях куда больше Марча, который нисколько не напоминал этот собирательный образ. Лэндеру была свойственна живость, щеголеватость и злое остроумие, которое в частных разговорах иногда уязвляло его собеседников, хотя, в сущности, он был гораздо добрее и совестливее своего друга — истинный англичанин, хотя иностранцы, привыкшие считать англичан чопорными и молчаливыми, никогда этому не поверили бы.

На что могла опираться близость этих двух людей? Объяснение было самое простое: они еще со школьной скамьи привыкли посвящать друг друга в свои интимные тайны, потому что в молодости некоторые черты их темперамента были схожи. В чертах этих не было ничего особенного, и они давно успели про них забыть или, во всяком случае, успешно изгоняли их из памяти, хотя не слишком тактичный Лэндер иной раз любил кое о чем напомнить своему другу. Попросту сказать, в переходном возрасте они оба остро страдали болезненными подростковыми страхами и неуверенностью в себе, оба, к немалому вреду для собственного душевного спокойствия, излишне долго сомневались в своей мужественности, опасались, что не смогут ничего дать женщине, что их не будут любить. Теперь им, уже пожилым людям, давно женатым, со взрослыми сыновьями, было как-то странно вспоминать тревоги и робость, принадлежащие далекому прошлому и даже кому-то совсем другому — тем более что, став звездами адвокатуры, они давно уже привыкли к восхищению женщины, которые в юности внушали бы им трепетную боязнь. Это-то сходство вместе с сознанием, что другому оно тоже известно, и связало их прочно на всю жизнь.

Они шли и разговаривали о банкете в Сити в ближайшую пятницу, на который оба были приглашены. Марч обсуждал вопрос о том, как им туда доехать, с глубочайшей серьезностью, словно разрабатывал план сложной военной кампании.

— Поскольку это уже почти конец недели, заторов на улицах, пожалуй, можно не ожидать. Но элементарная предусмотрительность требует, чтобы мы на это не рассчитывали.

— Ради всего святого, обойдемся без элементарной предусмотрительности! — И не удержавшись, Лэндер добавил: — Хотя бы один-единственный раз.

Марч криво улыбнулся сжатыми губами. Вскоре они свернули в дворцовые ворота, вошли в Сент-Джеймский парк и сели на скамью. Вечер был теплым, умиротворяющим. Оба они жили в Белгрейвии, неподалеку. Марч был чуть более словоохотлив и возбужден, чем обычно, — только это и выдавало, что в клубе он выпил достаточно. А достаточно в его случае было более чем порядочно. Лэндер, жизнерадостный любитель поразвлечься, был куда более воздержан. Он считал, что Марч пьет не как еврей, а как скандинав, о чем, не умея деликатно промолчать, постоянно ему напоминал. На этот раз Марч выпил бутылку бургундского и несколько рюмок неразбавленного виски. Лэндер, за десятки лет все еще не совсем привыкший к этой особенности своего друга, поглядывал на него с завистью — Марч словно вовсе и не пил, разве что заметно оживлялся.

До этой минуты они за весь вечер еще ни слова не сказали о деле Мэсси. Если оставить в стороне чисто профессиональные обязанности, само по себе оно их не слишком занимало. Они не тратили на своих клиентов лишних эмоций и не вкладывали в защиту их интересов никакого жара — в отличие от поверенных как в том, так и в другом лагере, которые с течением времени начинали принимать эти интересы все ближе и ближе к сердцу.

Лэндер и Марч были далеки от всего этого. Разумеется, по мере того как процесс затягивался, их гонорары росли (судебные издержки по нему уже составляли что-то около двадцати пяти тысяч фунтов), но и это, хотя было приятно, особого значения для них не имело. Оба они входили в число самых видных адвокатов по гражданским делам и зарабатывали в год не меньше сорока тысяч фунтов, а иногда и заметно больше. Марчу недавно дали понять, что его ожидает — и в очень скором времени — кресло судьи Высокого суда. Лэндеру из-за его пристрастия к острому словцу приходилось пока ждать, но люди посвященные утверждали, что и ему уготована судейская мантия. Деньги никакого значения не имели, и дело это никакого значения не имело, а потому, когда они уселись возле декоративного пруда, Марч вспомнил о нем лишь случайно. Он спросил:

— Ну, и как бы ты поставил на исход нынешней работы?

— Какой работы?

— А той, которую мы якобы выполняем на этой неделе.

Лэндер, хотя сам никогда не играл, давно успел набраться у своего друга соответствующих выражений. Он ответил:

— Я бы сказал — один к одному, а по-твоему?

— Пожалуй.

— Может быть, ты имеешь некоторый перевес.

— Ну, примерно шесть к четырем.

— Конечно, — заметил Лэндер, — никому не известно, как, собственно, действует то, что старой черепахе (Бозанкету) благоугодно именовать своим мозгом. Даже он сам вряд ли это знает. И решение он может вынести самое неожиданное. Но будь я судьей, я бы потребовал доказательств, что старик Мэсси был способен подпасть под чье-то влияние.

Лэндер рассуждал с позиции Марча, но этот аргумент лежал на поверхности. Они были достаточно высокого мнения друг о друге и, даже когда оказывались противниками, не видели смысла в особой скрытности.

— Судя по всему, он был порядочной скотиной, — продолжал Лэндер. — И я не уверен, что под конец он был полностью *compos*³.

³ Сокращение от *compos mentis* — в здравом уме (лат.).

— А я не уверен, что он был *compro* вначале,— сказал Марч.— Или вообще когда-нибудь.

— Да, кстати,— сказал Лэндер,— это твоя,— он имел в виду миссис Андервуд,— по-видимому, вела себя как последняя дура. Задумав выманить у старичка его денежки, стоит ли действовать так открыто? Вежливо оттирать в сторону всех, кто был ему близок прежде? Это ведь производит не слишком благоприятное впечатление. Кажется бы, она могла сообразить, ты согласен?

— Посмотрим, как ты ее отделаешь.

Марч подразумевал, конечно, не физическую расправу, а допрос. Однако несмотря на различие их приемов, и тот и другой, представляя истину, «отделали» бы миссис Андервуд совершенно одинаково. Ситуация не требовала да и не допускала особых тонкостей.

— Черт побери! В большинстве люди просто не заслуживают того, чтобы на них сваливалось наследство! — вскричал Лэндер.

Это был *сгi du соеиг*⁴ бедняка (во всяком случае, относительного бедняка — отец Лэндера был профессором в Кембридже). Потом он спросил:

— Полагаю, ты с ней уже беседовал? Ну, как?

— Не в моем вкусе,— ответил Марч.— Бездушна. Несложна. *Haute bourgeoisie*⁵. Такие сидят на конференциях консервативной партии в шляпах с перьями. Свято веруют в виселицу и в порку как средство исправления нравов. И восстановить их следуют не из прозаических практических соображений, но во имя их чистой прелести.

— Этот ее сыночек,— Лэндер все еще был под впечатлением собственного *сгi du соеиг*,— должен получить четверть миллиона.— И по какой-то неясной ассоциации идей он добавил: — Гомосексуалист, насколько я понимаю.

В этом последнем Лэндер, подобно многим и многим, теоретически, возможно, был прав, но в данном случае дал поразительного маху.

И столь же непоследовательно Марч спросил:

— А как тебе твоя? (На этот раз подразумевалась Джени Рэстал.)

— Как свидетельница она была недурна, хотя и преподнесла тебе кое-что прямо на блюде. Храни нас бог от наших друзей.

— Она тебе нравится?

— А я бы ей понравился? — усмехнулся Лэндер.— Слишком уж много пуританства. Она бы решила, что я легкомысленный шалопай. Старая, старая история.

Марч задумался, но не о том, насколько неверно было бы такое суждение о его друге. Потом он заметил:

— Мне что-то кажется, что в постели она должна быть недурна.

— У тебя странный вкус. Был и остается. Но, может быть, ты и прав, это с тобой иногда случается.

— Этого мы так никогда и не узнаем,— сказал Марч.— Как не узнаем, почему ее отец желал ей смерти. Это ведь скорее всего правда?

— Не уверен.— Иногда Лэндер бывал осторожнее своего друга.

Вот и все, что было сказано о деле Мэсси в этот вечер.

Они сидели, расслабившись, ощущая приятную усталость, и смотрели на воду.

— Чудесная ночь! — сказал Марч.

— Чрезвычайно оригинальная мысль,— заметил Лэндер.

Марч снова улыбнулся кривой улыбкой и упрямо повторил свои слова. Немного погодя они поднялись и пошли домой: два пожилых, преуспевающих юриста — во всяком случае, по виду.

13

Марч выступил от имени ответчиков только в конце недели. Он казался более медлительным, чем его друг, и в то же время строил свои аргументы гораздо более четко и сжато. Он дал понять, что дело, собственно, не в Джени: она лишь одна из тех, кому старик мог оставить свои деньги, если бы захотел, а мог и не оставить. Главное же, вдруг загремел Марч (один из обычных его приемов), главное — это его

⁴ Крик души (франц.).

⁵ Типичная представительница высшей буржуазии (франц.).

душевное состояние в тот момент: то есть знал ли он, чего хочет, или ему это внушили, а также не были ли заботы, которыми миссис Андервуд окружила его последние годы, продиктованы одним лишь человеколюбием. Это, заявил Марч, самое естественное объяснение, а самое естественное объяснение обычно бывает и самым верным. Речь идет об энергичной деятельной женщине, которой невыносимо было видеть одиночество и заброшенность старика и которая попыталась облегчить его существование. Хорошо поставленный муж, конечно, еще не все для человека на девятом десятке, но это, несомненно, предпочтительнее неустроенности и неухоженности. Ей нечего было предложить, кроме своей энергии и времени, но уж их она посвятила ему целиком.

Ничего сенсационного в его речи (это был сознательный расчет), как и в показаниях свидетелей, которых Марч вызвал в пятницу. Доктор, присутствовавший в октябре в кабинете Скелдинга, наклонял голову набок, точно на редкость мудрая птица или политический муж, дающий интервью перед телевизионной камерой; пока Лэндер, в свою очередь, не забросал его вопросами, после которых немало людей в зале пришли к твердому выводу, что старик впал в маразм. Однако нашлось довольно много таких, кто решил, что Мэсси пользовался дряхлостью как уловкой, чтобы поставить на своем, и что главным его свойством были крайне неприятный хитренький эгоизм и упрямство. Дальнейшие показания ни в этот день, ни в понедельник никак этого противоречия не разрешили.

Показания давали и другие свидетели, обслуживавшие его телесные нужды — на очень смиренных ролях, но не только. Хирург, удаливший предстательную железу, мозольный оператор, парикмахер, который видел старика чаще, чем докторá, потому что брил его трижды в неделю и раз в месяц подстригал.

— Он был старой закалки, — заявил парикмахер, явно завязанный остряк. — И длинных волос носить не желал, хотя, по правде сказать, опасность обрости ему не очень-то угрожала.

Поскольку публике в зале суда, как и в любом большом собрании, присуще самое первозданное чувство юмора, слова эти доставили немало безыскусственной радости.

Субботу и воскресенье, прервавшие поток будничных показаний, которые Дэвид Марч аранжировал так, чтобы они создавали ощущение — убаюкивающее ощущение — полной нормальности, Лиз и Джулиан Андервуд провели дома у Джулиана. При первом же и уж во всяком случае при втором взгляде на его квартиру всякая мало-мальски наблюдательная женщина, поставившая себе целью выйти замуж за ее хозяина, несомненно пала бы духом. Лиз в свое время это почувствовала — до того как попала сама.

А ведь на квартире Джулиана вовсе не лежал отпечаток чего-то скверного, каких-либо извращенных вкусов или хотя бы неряшливости. Наоборот, порядок в ней был слишком уж безупречен. Джулиан прекрасно умел позаботиться о себе — даже чересчур, думала Лиз в те дни, когда дурман бывал не так силен. Книжки без единой пылинки, картины на самых выгодных местах, вид на парк, в эту субботу озаренный солнцем. В кладовой — диетические продукты, научно подобранные так, чтобы содействовать долголетию, с преобладанием кефира и чеснока. Никаких алкогольных напитков для собственного употребления, а для гостей — бутылка хереса, которым Лиз предпочитавшая что-нибудь покрепче, вынуждена была довольствоваться, когда оставалась тут.

Эта суббота проходила для них под знаком благоразумия, а также под знаком суеверия. Лиз считала, что показания его матери в начале следующей недели сыграют решающую роль. Джулиан, который на этот раз был необычно заботлив и внимателен, сомневался. Только не в такого рода деле, мягко доказывал он. Вряд ли тут хоть что-нибудь может сыграть решающую роль. А уж если придется подавать апелляционную жалобу, то и подавно. Апелляционный суд рассматривает только документы, а на бумаге все выглядит иначе.

— Апелляция... — сказала Лиз. — Неужели будет еще продолжение?

— Ничего не известно, — ответил он. — Мы выиграем дело, но мы должны быть готовы ко всему.

Лиз не дала себя убедить. Она умела оказывать ему сопротивление, когда он руководствовался здравым смыслом. И вопреки себе сдавалась — сразу или после тяжелой борьбы, — когда он вдохновенно разыгрывал очередную свою фугу, слагавшуюся из слов, нелогичностей, псевдонаучных доводов и смутных парапсихологических объяснений. Тогда он подчинял ее. Он заразил ее своей суеверностью. И в эту субботу она даже превзошла его самого.

Джулиан был суеверен, и одно из его суеверий было связано с половым актом. В первое время их близости она считала это частью его садистской игры. Но потом поверила... а скорее не могла разобраться, когда надо верить, а когда нет. Все, что его занимало, воздействовало на нее. Невозмутимо, серьезно, красноречиво, пренебрегая логикой (а может быть, он потешался над ней, старался вывести ее из себя, поставить в глупое положение?), он поучал ее. Близость во вторник приносит неудачу на следующий день. И даже невинные ласки. Он неоднократно убеждался в этом на опыте. И больше не станет преступать запрет.

И вот настала ее очередь. Возможно, ей подсознательно хотелось отомстить, но она не отдавала себе в этом отчета. Если перед серьезным испытанием, перед решающим событием (Лиз неколебимо уверовала в критическую важность показаний его матери) они не устоят перед искушением, все погибнет. Нет, она не хочет рисковать. И ведь после они будут чувствовать себя виноватыми. Скоро все это останется позади, и они будут свободны.

Джулиан попытался переубедить ее. Он был в настроении. Великолепная погода, и так потом приятно любоваться небом с кровати. Двое суток полного уединения. Обидно терять это время понапрасну. Тревоги, кризисы действуют на него возбуждающе, а потому (он ведь хорошо ее знает) они так же действуют и на нее.

Ее лицо было сумрачным, любящим, упрямым. Ему, возможно, удалось бы ее уговорить. Он мог бы ее принудить. Она была в полной его власти. Но он удержался. Он был очень эгоистичен, впрочем, быть может, и не больше других мужчин, но только откровеннее, бесстыднее. При этом он по-своему был не лишен доброты. Ему нравилось проникать в ее настроения. Она забудется в страсти, но после почувствует себя очень скверно. А когда они снова отправятся в суд, ей станет совсем плохо. Быть может, ему было приятно искупить те случаи, когда он с ней не считался. А потому всю субботу и воскресенье он был очень нежен, готовил еду и — неслыханная уступка — сходил и купил для нее четвертинку джина. Она подумала, что так нежен он не был, даже когда добивался ее, и, несмотря на свой опыт (или благодаря ему), нарочно медлил — вскоре уже испытывая ее терпение, — прежде чем сделать первый решительный шаг.

Но эта томная интерлюдия («салонное сюсюканье», сказал бы доктор Пембертон даже еще более саркастично, чем всегда) осталась позади, а миссис Андервуд, дававшая показания утром во вторник, уже никак не показалась бы томной. Статная, элегантно одетая, она держалась уверенно, и голос ее был звучен и выразителен. В ней нельзя было заметить даже легкого следа нерешительности, того, что у нее, как она могла бы признаться, «щемило под ложечкой». Однако — о чем, правда, знал только Джулиан — после завтрака ее дважды рвало. Она принадлежала к тем людям, на которых нервное напряжение воздействует чисто физически, не затрагивая душевного состояния: так, процент заболевания неврозами тревоги среди польских офицеров в дни войны был по сравнению с американцами и англичанами ничтожно мал, а сердечными заболеваниями — много выше.

Дэвид Марч не пренебрег уроком своего противника и друга, который совершенно не пытался приуменьшить отчуждение между Дженни и ее отцом. Обдумав за субботу и воскресенье план допроса, Марч избрал даже еще более дерзкую тактику и поторопился сам задать особенно скользкие вопросы.

Первые ответы миссис Андервуд были простыми и неприукрашенными. Она и ее муж в давние годы раза два встречали мистера Мэсси у общих знакомых. Она увиделась с ним снова много лет спустя — у него дома в Суссексе, куда ее привели его соседи, у которых она гостила. В то время он был для нее просто старым знакомым. Старинным другом она начала считать его много позже.

Ей не понравилась обстановка, в которой он жил. У нее было много свободного

времени, которое она не знала чем занять. Сперва она старалась навещать его почаще, потом начала оставаться у него на несколько дней. Она не сразу разобралась в положении вещей, но потом пришла к выводу, что врач мистера Мэсси, хотя и опытный, знающий специалист, не слишком подходит человеку с его характером. Экономка оставляла желать много лучшего — он любил есть в самые неположенные часы, причем ему достаточно было самой легкой закуски, однако это случалось и ночью, и тогда он оставался голодным. Ему требовалось вино, но никто не следил, чтобы оно у него всегда было. Пил он очень умеренно, но тоже в любое время суток. Одно из немногих еще оставшихся ему удовольствий.

Сугебный протокол.

«Марч: Мы не погрешим против истины, не так ли, сказав, что последние три года ваша жизнь была посвящена ему целиком?»

Миссис Андервуд: Не мне судить об этом.

Марч: Вам приходилось быть подле него и днем и ночью?

Миссис Андервуд: Да, это правда.

Марч: Вы полностью отказались от собственной жизни?

Миссис Андервуд: Это было необходимо.

Марч: То есть вы целиком посвятили себя ему?

Миссис Андервуд: Я иначе не могла. Я чувствовала...

Марч: Вы поступали так из чувства долга?

Миссис Андервуд: Но ведь ему было тоскливо и одиноко, и я хотела помочь.

Марч: Скажите нам вот что. Когда вы начали о нем заботиться, вы знали что-нибудь о том, как он намерен распорядиться своим состоянием?

Миссис Андервуд: Об этом я не знала абсолютно ничего.

Да, она понимала, что он человек состоятельный. Но ее не интересовало, как он думает распорядиться своими деньгами. Ей приходилось слышать, что у него есть дочь. Но она не была с ней знакома и вообще ни разу в жизни ее не видела. Он никогда не упоминал о дочери, и миссис Андервуд решила, что эта дочь не поддерживает с ним никаких отношений.

«Марч: Вы о ней не разговаривали?»

Миссис Андервуд: Разумеется, нет.

Марч: И не напоминали ему о ней?

Миссис Андервуд: Он не любил, когда ему о чем-нибудь напоминали.

Марч: Вы не сообщали ей, что он умирает? Что он умер?

Миссис Андервуд: Для меня она была совершенно чужим человеком, а к тому времени у меня сложилось твердое впечатление, что и он относился к ней точно так же».

Да, в последний год своей жизни он не раз говорил о том, что намерен составить новое завещание. К этому времени он уже поручил ведение некоторых своих дел мистеру Скеддингу. Другой его поверенный был очень занят, а мистер Мэсси иногда желал получить ту или иную справку (в этих случаях она звонила и узнавала то, что ему требовалось) немедленно или вызывал поверенного к себе на очень поздний час. Сама она полностью доверяла мистеру Скеддингу, и мистер Мэсси вскоре проникся к нему таким же доверием. Под конец мистер Мэсси сообщил ей, какие распоряжения он хочет сделать в своем новом и последнем завещании. Он предполагал включить в него некоторые пункты из прошлых своих завещаний, копии которых хранились у него в письменном столе. Она передала его инструкции мистеру Скеддингу. Тот приехал лично с готовым документом. Мистер Мэсси распорядился, чтобы ему прочли текст завещания, и подписал его в присутствии свидетелей. Вот как просто все это было.

«Марч: И последний вопрос. Объясните нам вот что: вполне понятно, что мистер Мэсси пожелал отблагодарить вас за все ваши жертвы и преданность, но разве не странно, что в знак своей благодарности он оставил большую часть своего состояния вашему сыну?»

Миссис Андервуд: Это тоже очень просто.

Марч: Было бы все-таки желательно, чтобы тут не оставалось никаких неясностей. Часто ли мистер Мэсси встречался с вашим сыном?

Миссис Андервуд: Мой сын несколько раз гостил в доме мистера Мэсси, когда я жила там.

Марч: Они беседовали?

Миссис Андервуд: Да, но такое распоряжение мистера Мэсси объясняется очень просто. Мне было тогда шестьдесят пять лет, и в случае моей смерти налог с этого наследства был бы взыскан вторично. К тому же я достаточно обеспечена, но мой доход слагается в основном из пенсий и пожизненных рент, которые мой сын унаследовать не может. Я объяснила это положение вещей очень подробно».

Превентивная тактика Марча, которую все юристы оценили по достоинству, лишила его соперника многих выгодных направлений для атаки. И Лэндер, хотя внешне это никак не проявилось, против обыкновения несколько растерялся. Он уже давно решил, что использовать рассказ прежней экономки о брачных поползновениях миссис Андервуд было бы слишком рискованно. Они с Симингтоном пришли к выводу, что это вряд ли соответствует действительности, и в материалах дела об этом нигде не упоминалось. Так что ему пришлось довольствоваться уже затронутым вопросом о переменах, которые произвела миссис Андервуд в доме старика. Она отвечала невозмутимо и уверенно, как будто перед ней по-прежнему был ее собственный адвокат, и не соглашалась, что ее поступки можно было бы истолковать по-иному — любой разумный человек на ее месте сделал бы точно то же.

Лэндеру пришлось прибегнуть к более резкому тону.

Судебный протокол.

«Лэндер: Вы не станете отрицать, миссис Андервуд, что имели на мистера Мэсси большое влияние?»

Миссис Андервуд: Я, право, не вполне понимаю, что, собственно, это значит.

Лэндер: Взгляните на факты. Вы умели добиться того, чтобы он делал именно то, чего хотелось вам?

Миссис Андервуд: Ничего подобного. Он был человеком с очень сильной волей.

Лэндер: Но позволите напомнить, миссис Андервуд, что он разрешил вам... или он вообще не был в состоянии возражать?.. он разрешил вам сменить его врача, его поверенного, его экономку, хотя тогда вы еще и года не прожили у него в доме.

Миссис Андервуд: Я уже объяснила, что это было совершенно необходимо.

Лэндер: Необходимо или нет — но это произошло. Тут у нас с вами расхождений нет, не так ли?

Миссис Андервуд: Я очень рада, что это произошло.

Лэндер: О, несомненно! Но ведь он был не в силах воспрепятствовать вам, не правда ли?

Миссис Андервуд: Конечно, его пришлось убеждать.

Лэндер: Убеждать? Убеждать, миссис Андервуд?

Миссис Андервуд: Да, убеждать. А что еще я могла бы сделать?

(Лэндер сформулировал этот вопрос по-другому — раз и еще раз, но ничего не добился и был вынужден пустить в ход новое оружие.)

Лэндер: Миссис Андервуд, вы достаточно хорошо знаете жизнь. И пробыв в доме мистера Мэсси даже самое недолгое время, вы не могли не понять, что он состоятельный человек.

Миссис Андервуд: Я об этом не думала.

Лэндер: Но вы это поняли?

Миссис Андервуд: Он жил как человек, имеющий состояние.

Лэндер: И не в таком уж отдаленном будущем это состояние неизбежно должно было перейти к другим людям.

Миссис Андервуд: Я об этом совершенно не думала.

Лэндер: Так ли уж это правдоподобно?

Миссис Андервуд: Безусловно. Я видела свою задачу в том, чтобы помочь ему, облегчить последние годы его жизни, и думала только об этом.

Лэндер: И больше ни о чем?

(Лэндер продолжает язвить, миссис Андервуд держится уверенно и не сдает позиции.)

Лэндер: Однако даже вы должны признать, что его последнее завещание самую

чутьочку отличается от предыдущих. От всех, составленных до того, как вы начали распоряжаться в его доме.

Миссис Андервуд: Естественно, я была рада, что ему захотелось выразить свою признательность.

Лэндер: И не менее естественно, что вы обсуждали с ним его завещание?

Миссис Андервуд: Он говорил мне о том, что намерен сделать.

Лэндер: После того, как вы его убедили? Или, скажем, повлияли на него?

Миссис Андервуд: Это было его собственное решение.

Лэндер: А вы не подумали о том, чтобы разубедить его? Вы могли бы оказать на него несколько иное влияние. Могли бы напомнить ему, что у него есть некоторые обязательства. По отношению к его дочери, например.

Миссис Андервуд: Он не считал, что у него есть обязательства по отношению к ней.

Лэндер: Ничего не обсуждали. Никак не влияли. А ведь вы могли бы повлиять на него так, чтобы он раздумал составлять столь странное завещание, не правда ли?

Миссис Андервуд: Я была ему очень благодарна. И подобная попытка выглядела бы нелепо.

Лэндер: После стольких ваших усилий.

Миссис Андервуд: Я думаю, это его огорчило бы и обидело».

Лэндер, увеличивая нажим, спросил, сколько, собственно, раз старик видел Джулиана. Раза три-четыре. В последнее время он не желал видеть никого, кроме нее и доктора. Миссис Андервуд и тут осталась неуязвимой. Недовольный собой и своей тактикой, так и не уловив, какое миссис Андервуд произвела впечатление, Лэндер кончил допрос.

А впечатление на большинство присутствующих она произвела самое благоприятное. Многие ее сторонники были убеждены, что дело уже выиграно, и благодаря ей. Даже Лиз, готовая к самому худшему, совсем измученная сомнениями и опасениями, временами позволяла себе надеяться.

Однако нашлись и скептики. Все столь аккуратно, столь обоснованно, столь гладко — неужели кто-то действительно способен так вести себя и так думать? Впрочем, в зале суда обязательно найдутся люди, заранее отвергающие любые объяснения заинтересованных лиц. А кое-кто старался представить себе, какой же на самом деле была обстановка в этом, судя по всему, малоприятном доме. В ее описании все выглядит слишком уж упорядоченно, слишком мило и деловито, заметил кто-то. Чего в действительности быть никак не могло. Независимо от того, был ли старик уже в маразме и беспомощен или нет. Как-никак, она сама сказала, что он непрерывно пил, что бутылка вина была у него под рукой круглые сутки. Но тут же следовало возражение: она могла бы спокойно умолчать о его пристрастии к алкоголю, а потому это лишний раз свидетельствует о ее прямоте.

Заключительные свидетельские показания на мгновения приподняли завесу над тем, что происходило в комнате на первом этаже, где лежал умирающий. Мистер Скеддинг отвечал на вопросы о своих отношениях с мистером Мэсси с полным самообладанием и спокойствием. Да, мистеру Мэсси его представила миссис Андервуд. Да, он в течение многих лет был ее поверенным, а раньше — поверенным ее мужа. Да, он неоднократно разговаривал с мистером Мэсси. Да, мистер Мэсси был вполне способен заниматься делами. Да, миссис Андервуд сообщила ему распоряжение мистера Мэсси относительно последнего завещания. Да, ему показали копии предыдущих завещаний и попросили сохранить ту же форму. Подписано и засвидетельствовано завещание было, разумеется, в полном соответствии с требованиями закона.

Лэндер не сделал никакой попытки поставить под сомнение ответы, которые мистер Скеддинг дал на вопросы Марча, и был краток.

Судебный протокол.

«Лэндер: Вы спросили у мистера Мэсси, понял ли он содержание этого завещания?

Мистер Скеддинг: Нет. На мой взгляд, это было бы грубо и неприлично.

Лэндер: Вы с ним все-таки говорили?

Мистер Скелдинг: Это было бы неудобно. Когда я приехал, свидетели уже ждали в спальне.

(Свидетелями были отец и сын, жившие по соседству.)

Лэндер: А еще кто-нибудь там присутствовал?

Мистер Скелдинг: Миссис Андервуд.

Лэндер: Так что же было дальше?

Мистер Скелдинг: Я вручил завещание мистеру Мэсси. Он его проглядел.

Лэндер: Мог ли он понять его содержание?

Мистер Скелдинг: Насколько мне известно и по моему твердому убеждению — безусловно мог. Он его подписал. Его почерк оставался четким и твердым. Затем подписались свидетели.

Лэндер: Кто-нибудь что-нибудь сказал?

Мистер Скелдинг: Насколько я помню, нет.

Лэндер: Вы хотите сказать, что все это происходило в полном молчании?

Мистер Скелдинг: Пожалуй, теперь я припоминаю, что в конце мистер Мэсси сказал что-то вроде „спасибо“».

14

Утром в четверг после заключительных речей обоих адвокатов судья Бозанкет объявил, что до конца дня он будет обдумывать свое решение, которое огласит на следующее утро. Ночь тревожного ожидания для тех, кого все это непосредственно касалось, — еще час, так как судья Бозанкет не пожелал обойтись без подчеркнутую нейтрального вступления. Удобно расположившись в кресле, точно старый профессор, он начал с поучения. Он не считал себя блестящим оратором, и действительно впечатление, производимое им на слушателей, вполне оправдывало такую самокритичность. Впрочем, она не помешала судье Бозанкету произнести речь, и в душе он получил от этой речи большое удовольствие. Поучение его, подобно всем поучениям, было до утомительности верным и разумным. Смысл его заключался в том, что никогда не следует обращаться в суд, если этого можно избежать. Дела, подобные тому, которое он сейчас рассматривает, заинтересованным сторонам следует решать между собой — компромисс всегда предпочтительнее тяжбы.

Изложено это было далеко не так кратко, а время шло. Затем судья Бозанкет несколько приблизился к сути. Неправомерное влияние. На этом основывает свою жалобу истца. Из всех дел, поступающих на рассмотрение в это отделение Высокого суда, дела о неправомерном влиянии наиболее трудны для разрешения, поскольку они, как правило, имеют излишне отвлеченный характер. Неправомерное влияние — что подразумевает или может подразумевать этот термин? Удовлетворительного его определения не существует. Попробуйте представить себе, что он (судья Бозанкет) — глубокий старик, смертный час которого по самой природе вещей уже недалек. Возле него нет близких, которые заботились бы о нем, но, предположим, за ним ухаживает сиделка. Сиделка, которая всегда рядом, которая помогает ему переносить одиночество, понимает его нужды. Она разговаривает с ним о том, что его тревожит, и помогает ему принять то или иное решение. Влияние ли это? И может ли оно стать неправомерным?

Вполне естественно, что он будет благодарен своей сиделке и в один прекрасный день задаст ей вопрос, как он может ее отблагодарить. Например, он спросит, станет ли она возражать, если он упомянет ее в своем завещании. А она, возможно, скажет, чего ей хотелось бы. Неправомерное это влияние или нет? Бесспорно, она может воспользоваться угасанием его умственных способностей и внушить ему нечто такое, о чем он и слышать бы не захотел, находясь в здравом уме и твердой памяти. Это уже неправомерное влияние, но где и как можно провести границу? По-видимому, люди редко остаются безразличными к тем, кто ухаживает за ними на смертном одре, — иногда они испытывают к ним острую неприязнь, но чаще благодарность и доверие.

Обычно влияние тут наличествует, хотя это и необязательно неправомерное влияние. Выносить судебное решение в столь туманной области — большая и неприятная ответственность, но именно этого требует от него сегодня его долг.

После чего судья Бозанкет наконец перешел непосредственно к рассматриваемому делу. Он сказал твердо и бесстрастно:

— Я с большим уважением выслушал показания истицы миссис Рэстал. И без всяких колебаний скажу, что я верю каждому ее слову. Она, по моему мнению, чистосердечно рассказала нам всю правду о крайне щекотливой и тягостной для нее ситуации.

Многим это показалось зловещим предзнаменованием, но только не Марчу, который знал судьбу Бозанкета, когда тот еще не был судьей. Это ровно ничего не говорит о том, думал Марч, какое решение он принял. Марч знал, что Бозанкет, который при всей своей скучной многословности был вовсе не тицеславен, тем не менее гордился одним своим качеством. Он гордился умением понимать людей.

Он мог бы сказать — а иногда и говорил, — что его моментальные оценки свидетелей оказываются верны лишь чуть больше, чем в половине случаев, что он бывает прав лишь чуть чаще, чем ошибается, но в глубине души он верил в свою проникаемость. И в это утро он колеблемо на нее полагался. Марч слушал его с интересом. Он думал о том, что судья не умен, что это не тот собеседник, которого он выбрал бы себе за обеденным столом. Но послушать, что он говорит о людях, имеет смысл.

Бозанкет описал отношения отца и дочери и проанализировал, как характер этих отношений отразился на Джени.

— Я полностью принимаю ее утверждение, что она больше не могла навязывать свои заботы. Некоторые женщины не отступились бы, но насколько можно судить о личности мистера Мэсси — а это один из наиболее темных моментов в деле, — он, по моему мнению, оттолкнул бы ее. Далее, по моему мнению, он уничтожил для дочери всякую возможность проявить ее чувство к нему — но не самое это чувство, которое она естественно питала к отцу.

Еще несколько фраз о Джени, спокойных и сочувственных. А затем:

— Однако все это к сути дела непосредственного отношения не имеет. Отчуждение между миссис Рэстал и ее отцом признается обеими сторонами. Как признается и то, что вопреки этому отчуждению во всей серии завещаний — надо сказать, довольно странной серии, — которые составлял мистер Мэсси, главной наследницей каждый раз назначалась миссис Рэстал; во всех них, кроме последнего. Таким образом, отношения между отцом и дочерью — для дела отнюдь не основное. Основное же заключается в вопросе о том, почему мистер Мэсси изменил свою волю в последнем завещании.

И Бозанкет с подчеркнутой бесстрастностью заговорил о действиях миссис Андервуд. Никто не пытался отрицать, да никто и не мог бы отрицать, что она «посвящала почти все свое время и энергию» (эту фразу Марча судья повторял снова и снова, точно выдергивая пинцетом волосок) на протяжении почти четырех лет немощному старику. Четыре года — это немалая часть человеческой жизни, особенно если речь идет о людях далеко не первой молодости. Свидетельства врачей не слишком хорошо согласуются, но тем не менее из них следует, что к этому моменту мистер Мэсси был очень слаб физически, а в его настроениях заметны капризность и непоследовательность.

Судья продолжал:

— Он был очень одинок, и миссис Андервуд приложила немало стараний, чтобы облегчить это одиночество. Но... — это «но» на мгновение повисло в воздухе, и в зале многие насторожились, — но представляется, что некоторые из принятых ею мер могли усугубить его одиночество. Она объяснила причины, побудившие ее сменить врачей и других лиц, чьими услугами он пользовался до этого так долго. Насколько оправданными ни считала бы миссис Андервуд свои действия, в результате их старик оказался изолированным от всех тех, с кем он был связан прежде. Замена поверенного и кого-нибудь из слуг могла быть простым совпадением, но замена их всех делает простое совпадение маловероятным. Миссис Андервуд могла искренне считать, что поступает так из самых лучших побуждений. Но в результате она осталась единственным доверенным лицом, а может быть и более того — единственным возможным источником влияния на старика.

Марч и Лэндер обменялись быстрым взглядом. К этому времени им — да и всем мало-мальски проникательным зрителям — было уже ясно, что миссис Андервуд не внушает судье доверия. На него не подействовали ни ее самоуверенность, ни подчеркнутое прямотушие. Задним числом кое-кто пришел к выводу, что судье, как ни старался он побороть в себе предубеждение, это не удалось — а может быть, люди такого сорта были ему несимпатичны, и не только как человеку, но и как официальному лицу. Он сказал, и повторил, и еще раз уточнил, что она могла искренне верить, будто действует из самых лучших побуждений, но в глубине души он отвергал это оправдание. Он не сомневался, что она приводила в исполнение заранее обдуманнный и рассчитанный план. Вероятно, она представлялась ему гораздо более монолитной, чем это было на самом деле, — ему ведь не приходилось наблюдать, с какой тоскливой жадностью искала она привязанности своего сына. Но, как позже согласились Марч и Лэндер, которые, не в пример прочим участникам процесса, были способны обсуждать его с отвлеченным интересом, это ставило довольно любопытную проблему психологической несовместимости.

Судья был склонен к самоанализу. Он не прятал от себя свои чувства и не украшивал их. Миссис Андервуд была человеком действия. А между созерцательными натурами и людьми действия вечно стоит стена непонимания. У людей действия нередко правая рука не знает, что творит левая, хотя они с жаром, причем самым искренним, отрицают это. «В данном же случае, — сказал Лэндер Марчу, — правая рука ночью и днем подавала старику судно, а левая подбиралась к денежкам. Лицемерие ли это? Весьма вероятно, что и нет. Продолное расщепление, если угодно». В той же дружеской беседе Лэндер заметил весело: «Тем не менее правда тут, по-моему, на стороне старой черепахи. Послушай, Дэвид, ты не такой уж хороший человек, но ты никогда не обманывался насчет своих побуждений».

Судья на этом последнем заседании совершенно ясно дал понять, что миссис Андервуд обманывалась насчет своих побуждений — чтобы не сказать хуже.

— Миссис Андервуд говорила нам, что в тот момент, когда она поселилась в доме мистера Мэсси, и еще долгое время спустя она ничего не знала о том, как он намерен распорядиться своими деньгами, и нисколько этим не интересовалась. Учитывая все обстоятельства, трудно не усомниться в полном соответствии этого утверждения истинному положению вещей, хотя я убежден, что миссис Андервуд добросовестно старалась вспомнить... — Затем, несколько минут спустя: — Нам следует помнить, что миссис Андервуд, несомненно, обладает превосходными деловыми качествами. Она привыкла вести свои финансовые дела. Она постоянно общалась с людьми такими же, как она, с людьми, которые отдают много времени заботам о своем имуществе и о том, как им распорядиться. Вот почему трудно поверить, что такой жизненный опыт не побудил бы ее ознакомиться с тем, как намерен распорядиться своим состоянием мистер Мэсси... — Несколько минут спустя: — Все эти данные, мне кажется, дополняют друг друга и вопреки тому, что я сказал вначале о туманности такого рода дел, подводят меня к определенному выводу. Я нахожу, что при ознакомлении с последним завещанием невозможно не обнаружить в нем явного влияния миссис Андервуд. Оценивая всю совокупность материалов по делу, я нахожу далее, что столь же невозможно не обнаружить в нем неправомерного влияния. А посему я объявляю это завещание от шестого сентября тысяча девятьсот семидесятого года недействительным. — Задумчивым тоном он добавил: — Взыскание судебных издержек я откладываю.

Мюриэль Калверт на этом заседании не присутствовала. Хотя она испытывала прохладный интерес к некоторым из участников процесса, исход его был ей совершенно неинтересен. Но если бы она сидела в зале, то не преминула бы указать, что судья Бозанкет абсолютно лишен какого-либо представления о законах драмы. Например, объявив свое решение, ему следовало бы умолкнуть, а вместо этого он еще пять минут вновь строго осуждал ненужные тяжбы и подчеркивал желательность разумных компромиссов.

Слушая судью (как и адвокаты, она довольно скоро догадалась, какое решение он вынесет), Лиз ощущала темный жгучий гнев и одновременно беспомощный стыд, словно и ее, а не только миссис Андервуд, разоблачали, выставляли на позор под

насмешливыми, враждебными, жадными взглядами. Но шок и горечь разочарования пробудили в ней энергию. Судья еще не кончил, а в голове у нее уже теснилось множество планов. Сдерживаться больше не имело смысла.

А Джени, выслушав решение, вдруг испытала неизвестное ей прежде чувство — она словно очутилась в безвоздушном пространстве, где не было никого, кроме нее. Затем она вырвалась из этой пустоты и слушала нравоучения судьи с искренним и, пожалуй, чуть снисходительным удовольствием. Ей хотелось кого-нибудь поздравить — кого-нибудь, кроме себя.

Когда они вышли в вестибюль, ощущение безмятежного удовлетворения вскоре исчезло, Суоффилд и Симингтон что-то обсуждали. Суоффилд перехватил ее взгляд и сообщил, что везет их завтракать. Симингтон сжал ее локоть и сказал:

— Пока недурно.

И не такая чуткая женщина, как Джени, легко уловила бы в его голосе полное отсутствие ликования, упоения победой после тяжких, но выигранных битв.

Суоффилд повез их в одной из своих огромных машин к Прюнье. Всю дорогу он пребывал в ирравосходном настроении, то есть весело злорадствовал:

— Эта баба (миссис Андервуд)... слишком мало людей все это слышало. Слишком мало. Ну да сама она слышала, разве только господь поразил ее глухотой. И это уже что-то!

Джени он поздравил, только когда они уже сидели за столиком.

— Ну, моя милая, с судьей вы избрали правильную линию. Вот уж не думал. Из чего следует, как могу ошибиться и я.

В устах Суоффилда это было прямо-таки смиренным извинением. Затем он добавил:

— Но вам еще рано кричать ура.

— Я и не собираюсь,— сказала она сухо.

— Что случилось? — спросил Симингтон.

— По-моему, скорее мне надо спрашивать, что случилось.

— О, мы были к этому более или менее готовы. По-видимому, они подадут на апелляцию.

В вестибюле суда он ненадолго отходил от них. И она поняла, что он тогда разговаривал с ее адвокатом и с адвокатом противной стороны.

— А в этом есть смысл? — спросил Суоффилд. Но в суде он быстрее многих понял, что означает последнее решение судьи — вернее его невынесенное решение. Судья не стал бы откладывать взыскание судебных издержек, если бы апелляция была заведомо безнадежной.

Симингтон посмотрел на Джени. Он тоже успел узнать ее достаточно хорошо и понимал, что ей можно сказать правду без прикрас и смягчений.

— Старик говорил сегодня, что в подобных делах ясности не бывает. Другой судья мог бы вынести прямо противоположное решение. Ну, а что до смысла, это зависит от того, сколько кто готов потратить денег. Судебные издержки составят весьма внушительную сумму.

— Меня они не разорят,— сказал Суоффилд.

Он задумался — могучий, довольный собой. Уголки его широкого рта вздернулись.

— Мы многого добились,— объявил он затем.— И нам с вами, пожалуй, следует обсудить, какой теперь лучше выбрать курс.

Он обращался через стол к Симингтону, и Джени (в отличие от Симингтона) не уловила, что он имеет в виду. Ее занимало другое: снова ожидание, снова неуверенность.

— Это займет много времени? — спросила она.

— Если они подадут апелляционную жалобу,— Симингтон отвечал не только ей, но и Суоффилду,— нам придется ждать около года. А может быть, и больше.

— Господи! — воскликнула она.— Это что же, будет тянуться вечно?

— Почти,— ответил Симингтон с сочувствием. Она ему нравилась. Он знал, что она не только способна посмотреть правде в глаза, но и обладает особой душевной стойкостью и терпением.

Суоффилд тоже это знал, но он был исполнен такого благодушия, что его обычное стремление опекать и командовать стало даже еще более назойливым.

— Я, конечно, субсидирую вас, Дженни. Но смотрите, тысячу-другую, не больше. На ваши карманные расходы.

— Ни о чем подобном и речи быть не может.— Как бы высокомерно она с ним ни держалась, все было мало.

— Еще как может! И вам давно пора купить себе новое платье.

Они сидели за восхитительным завтраком, удовольствие от которого получал один Суоффилд, и Симингтон спрашивал себя, у всех ли этот человек вызывает Angst⁶. Даже когда он в самом добром настроении.

А Суоффилд обещал сегодня же прислать Дженни ящик шампанского и ящик виски — чтобы ей было чем поддерживать силы.

В тот же день вечерние газеты в последнем выпуске сообщили, что адвокаты миссис Андервуд подают апелляционную жалобу.

15

Дело, а с ним и кое-кто из тех, кого оно затрагивало особенно сильно, словно канули в Лету. Нет, конечно, не судья — он безмятежно сидел в своем кресле, решая другие дела, а затем отправлялся домой в Хайгейт, совершенно забыв о том процессе. И не Марч с Лэндером — они зарабатывали свои внушительные гонорары и по обыкновению раз в неделю вместе обедали в клубе, убрав дело Мэсси в архивные глубины сознания. Но вот Скелдинг и его партнеры с одной стороны и Симингтон с другой все еще посвящали два-три часа через две недели на третью подготовке на случай подачи апелляционной жалобы; ведь у пребывающих в Лете времени всегда достаточно — если там вообще есть время, — да и вопрос о подаче на апелляцию оставался открытым. Вот почему Симингтон, хотя и продельвал все необходимое для подготовки ко вторичному судебному разбирательству, одновременно и с гораздо большей энергией выискивал способы его избежать.

Чем глубже изучал Симингтон материалы процесса, тем скептичнее он оценивал шансы на выигрыш дела в высшей инстанции. Пора было прощупать намерения другой стороны. «Пусть потоматся, — сказал Суоффилд, обладавший незаурядным опытом в ведении всяческих переговоров. — Надо, чтобы они начали искать соглашения, а не мы. Их это должно заботить сильнее, чем нас. Пускай помучаются. А главное, нельзя, чтобы они догадались, на какие уступки мы готовы пойти».

Суоффилд уважал Симингтона, но хотел проконсультироваться с кем-нибудь еще. Как в свое время он сказал Дженни, что «лучшего специалиста в Лондоне», чем Симингтон, для их дела не найти, как он потребовал бы «лучшего врача в Лондоне», если бы у него закололо в груди, так теперь с той же властной самоуверенностью очень богатого человека он навел справки об именах — самых видных именах, — и в августе с делом знакомился бывший генеральный прокурор.

Дженни в этом участия не принимала, а вернее ни Суоффилд, ни Симингтон ее ни во что не посвящали.

— Она женщина разумная, — одобрительным хозяйским тоном сказал Суоффилд, а затем добавил: — И пусть будет довольна тем, чего мы для нее добьемся: ей и за это на коленях надо бога благодарить до конца жизни.

Однако в покое он ее не оставил. То ли соблазн получить хоть что-нибудь за деньги, которые он на нее тратил, был слишком велик, то ли не менее велико было желание держать свою подопечную под личным присмотром, но он попросил ее взять на себя некоторые обязанности в конторе общества — попросил с обычной своей двусмысленностью, и она не сумела отказать.

Но к собственному своему удивлению — ей еще никогда не приходилось заниматься административной работой даже в столь скромных масштабах — Дженни обнаружила, что работа эта ей скорее нравится и что справляется она с ней хорошо. Суоффилда же это не удивило. Он умел интуитивно оценивать не только специали-

⁶ Страх (нем.).

стов вроде Симингтона, но и таких вот женщин — и пусть интуиция эта служила сугубо практическим целям и была далека от психологического анализа в духе Достоевского, ему она приносила пользу. Новая работа ее подбадривает, думал он самодовольно. Его побуждения обычно закручивались смерчем, спутанные, неразличимые — не исключено, что среди них крылось и желание подбодрить Дженни.

Ожидание. Ожидание той минуты, когда судебная машина определит ее дальнейшую жизнь, ожидание будущего, которое все никак не наступало, — что же, она к подобному ожиданию могла привыкнуть. В конце концов оно так мало отличалось от *sostenuto*⁷ ее жизни, что порой она вовсе о нем забывала. На другой день, после того как судья Бозанкет объявил свое решение, она получила от Лоримера коротенькое неловкое письмо: весь июль палата лордов будет три-четыре раза в неделю заседать по вечерам — они рассматривают билль о производственных отношениях, — и она очень поддержала бы его и помогла бы скоротать время, если бы иногда «заглядывала» на заседания, конечно, если это ей не очень скучно. Он вспомнил, как Клэр приглашал Суоффилда, и воспользовался его формулой. Дженни приняла его приглашение и несколько вечеров часа по два слушала дебаты — ее английская душа наслаждалась пышной обрядностью, а въедливый ум не замедлил заключить, что любому парламентарю в первую очередь необходима незаурядная способность терпеливо переносить скуку, тягучую скуку, от которой сводит скулы. Лоример даже не подозревал, насколько близок он был к истине, но скажи она ему это, он расстроился бы.

Впрочем, хотя он был на редкость добросовестен и принимал участие в каждом голосовании, до того, чтобы выслушивать все дебаты, он свою приверженность долгу тем не менее не доводил. И значительную часть этих долгих вечерних заседаний они проводили в буфете, где Дженни вовсе не скучала. Знаменитые лица — или же не очень знаменитые, но ставшие привычными, вроде лица Шифа, — какая-то особая успокоительная атмосфера, хотя она не взялась бы определить, в чем тут секрет, и напитки (она успокаивала свою совесть тем, что Лоример, посещая палату, каждую неделю получает определенную сумму на дополнительные расходы).

Не в пример ей Лиз после первой вспышки ярости в суде, прошедшей в упрямую решимость, не желала приспособляться к пребыванию в Лете и не позволяла себе в нее погрузиться. Она тогда же обещала себе, что не станет сидеть сложа руки, не будет покорно смотреть, как бесплодно проходит время, не примет бесконечной отсрочки. Она заставит Джулиана жениться на ней. Ждать, пока дело не решится окончательно, — полгода, год, два года... нет, это невыносимо. С этим нельзя смириться: ему-то что, а женский век короток, и она уже не кажется моложе своих лет, она выглядит старше... (в вопросе о возрасте она была болезненно мнительна). Надо вынудить его жениться на ней.

А это требовало каких-то практических мер. И в первую очередь это требовало денег. Если она не сумеет их достать, у нее ничего не выйдет, это она знала твердо. Лиз гордилась своим трезвым взглядом на жизнь — никаких сантиментов, никаких иллюзий. Она была бы только польщена, если бы ей сказали, что у нее душа нормандской крестьянки. Тем не менее в ее трезвом подходе к жизни можно было и усомниться: с такой красотой и обаянием не добиться того, к чему она стремилась, слепо влюбиться в человека, которого никто не уважает! И ведь случилось это с ней не впервые — в прошлом у нее был долгий и с ее стороны столь же отчаянный роман, но тот ее возлюбленный так и не захотел оставить свою жену.

Она верила, что Джулиан женился бы на ней, получи он деньги, завещанные Мэсси. Он ведь сам так сказал — во всяком случае, с той определенностью, на какую вообще был способен, и хотя он достаточно часто одурманивал ее туманом слов, дразнящих надеждой, она верила, что на этот раз он не кривил душой. И еще она верила (поскольку ее трезвый подход к жизни внушал ей убеждение, будто она видит Джулиана насквозь), что он женится на ней, если у нее будут деньги. Значит, надо раздобыть эти деньги. Собственное ее состояние было невелико. Но для одинокой женщины его хватало, тем более что агентство по найму, в котором она работала, пла-

⁷ Музыкальный термин, означающий «сдержанно, выдерживая умеренный темп».

тило ей порядочное жалование. Хотя между ней и старшей сестрой особой близости не было, они вместе снимали квартиру в Сент-Джонс-Вуд, которая на двоих обходилась недорого. До сих пор Лиз никогда не испытывала нужды в деньгах, пусть у нее самой их и было немного. Но теперь настало время сделать то, чего раньше она никогда не делала — поговорить с отцом.

Он всегда был очень милым отцом. В юности она считала его обаятельным: с дочерьми он был так же непринужденно любезен, как с друзьями, и все-таки она не могла вспомнить ни одного серьезного разговора с ним — во всяком случае, о ее делах. У нее не было ни малейшего представления о том, как он собирается распорядиться хилмортоновским состоянием. Она, правда, узнала — хотя много позже, чем доктор Пембертон, — что суффолкское имение он передал ее старшей сестре. Это ее не удивило.

Налоги на наследство для того и существуют, чтобы богатые семьи вроде ее собственной выискивали лазейки, как их обойти. Такие передачи разыгрывались, точно комбинации в бридже, точно сложные пасьянсы: люди впятеро богаче Хилмортонов хвастали тем, как успешно сумели они избавиться от своей собственности и добиться желанной нищеты, проживая на птичьих правах под кровлей, которая отныне принадлежала их сыновьям или внукам. Но для них ничего не менялось. Пусть суффолкское имение номинально принадлежит ее сестре — их мать по-прежнему живет там и словно даже не подозревает о смене владельца.

Лиз давно уже заметила за своим отцом кое-что еще: он был скареден по отношению к себе и с возрастом становился все скареднее. Он угощал человека дорогим обедом, но, простившись с ним, не ехал домой на такси, а терпеливо дожидался автобуса. Впрочем, в Лондоне у него своего дома не было. В клубах он не останавливался, видимо, раз и навсегда решив, что в нынешние времена это обходится слишком дорого. Когда шла парламентская сессия и ему приходилось ночевать в Лондоне по будним дням, он, насколько ей было известно, отправлялся к ее младшей сестре, которая жила со своим мужем, молодым, еще не оперившимся архитектором, в небольшой квартире на задворках Талгарт-роуд.

Однако когда Лиз встретила с ним, как они договорились, он приветствовал ее с радушием человека, любящего угощать даже малознакомых людей.

— Девочка моя! Очень-очень рад. Я тебя уже столько времени не видел. Ты, наверное, хочешь чего-нибудь выпить? Двойной джин с тоником, — распорядился он. — Ты ведь предпочитаешь джин?

Было пять часов, и в открытые окна длинной гостиной Брукс-клуба с Сеит-Джеймс-стрит вместе с влажной духотой жаркого июльского дня врывались шум уличного движения и бензиновая вонь. Лиз, интересовавшаяся историей рода Хилмортонов, хотя она и маскировала этот интерес язвительными сарказмами, могла бы вспомнить, что в этой самой комнате сживали ее предки — по всей вероятности, довольно-таки пьяные, если они разделяли привычки многих именитых вигов. Она была поглощена своей задачей. Когда она ехала в Брукс-клуб, ее томила тревога, которая не рассеялась и сейчас. Невозмутимость отца не порождала ответной невозмутимости. Правда, он по-прежнему получал удовольствие оттого, что угощал других. Она не виделась с ним по-настоящему чуть ли не год. Пожалуй, он немного состарился — щеки уже не кажутся такими розовыми и полными, как прежде, — но держится совершенно по-прежнему.

— Видишь ли, — сказала она, — я хочу выйти замуж. И мне нужна помощь.

Она сказала это прямо, без предисловий. Ее красивое лицо выражало упрямую волю, зеленые глаза смотрели на него не мигая. Брови Хилмортона чуть заметно дрогнули. Его бывшие коллеги сказали бы, что он насторожил свои щупики; ему не нравилось, когда его пытались захватить врасплох.

— Ну что же, — сказал он. — Надеюсь, все будет хорошо. От души надеюсь. А впрочем, ты всегда умела постоять за себя, не так ли?

Ответить на это было нечего. А затем он ошеломил ее, спросив дружелюбно и рассеянно:

— Скажи, пожалуйста, я его знаю?

Хлестнув его взглядом, Лиз почти крикнула:

— Тебе прекрасно известно, что знаешь.

— Напомни мне, как его зовут.

— Ты прекрасно знаешь и это. Джулиан Андервуд.

— А-а, да-да! — Он словно задумался, а потом сказал, взглянув на нее из-под опущенных век: — Таким образом, исход этого любопытного дела... ну, ты знаешь, опротестованное завещание... тебя в какой-то мере огорчил.

Он еще осенью слышал об оставленном Джулиану наследстве. В июне, во время процесса, он присутствовал на нескольких заседаниях. Он разговаривал с Джулианом. У него был удивительно острый и цепкий ум. И превосходная память, которую он сохранил полностью, как тут же ей и доказал. Наблюдая эту демонстрацию, Лиз испытывала не столько злость, сколько полную растерянность. У нее было ощущение, что она совсем не знает своего отца. Одна декорация за другой убиралась словно в искреннейшем порыве, но за ними обнаруживались все новые и новые. С прозрачной ясностью, с бесстрастной отстраненностью, которая столько раз ставила в тупик его политических друзей и противников, он излагал свое мнение о деле. О, конечно, он в этой области полнейший профан, однако в целом — хотя он слышал, что юристы, видные юристы, высказывают противоположную точку зрения, да и он сам не берется утверждать безоговорочно, — но все-таки в целом он склонен согласиться с судьей.

И снова его взгляд скользнул по ее лицу.

— Но ты, я полагаю, думаешь иначе?

Его правовые изыскания заняли довольно много времени.

Она сказала:

— Что я думаю или не думаю, значения не имеет.

— Девочка моя, позволь предложить тебе еще? — И по всей комнате разнесся его хорошо поставленный ораторский голос, казавшийся особенно звучным после недавних журчащих интонаций: — Еще двойной джин с тоником!

И тут же он добавил:

— Не могу сказать, чтобы я почувствовал особую симпатию... к матери Джулиана, отнюдь нет.

Лиз промолчала. Она собирала силы для новой атаки.

— Ты ведь знакома с ним довольно давно? — спросил отец.

— Около двух лет, ты же помнишь.

Отбросив вкрадчивую мягкость, он резко спросил:

— Как он зарабатывает себе на жизнь?

— Ничка.

И вновь обволакивающая мягкость, ласковая, чуть ироническая улыбка:

— Девочка моя, но ведь это же... скажем, не слишком современно?

Вероятно, у Джулиана есть состояние? Нет, ответила Лиз то, что он знал и без нее. Но его мать вовсе не бедна.

— Он, кажется, не без способностей.

— Только до сих пор этого не проявил, так ведь? — докончила она.

— И, вероятно, очень милый человек.

Она свирепо улыбнулась:

— Я бы этого не сказала.

Он не ответил улыбкой на улыбку, но спросил с интересом, и как будто искренним:

— А насколько хорошо ты его знаешь?

— Я живу с ним тоже уже почти два года.

Хилмортон кивнул.

— С перерывами, — продолжала она. — Приходилось отваживать от него других женщин.

— Хорошо хоть что не мальчиков, — заметил он.

Лиз улыбнулась. Улыбнулась по-настоящему — в первый раз за все время их разговора.

— Женщины влюбляются в него удивительно легко. Но ты вряд ли поймешь почему.

— А это вообще невозможно понять. То есть в отношении других людей. Но раз ты хочешь выйти за него замуж, то, пожалуй, не стоило жить с ним.

— Выйти за него я хотела с самого начала. А теперь даже больше, чем раньше,— добавила она.— Я люблю его. Очень.

Ее отец сказал:

— Так-так.

За последние минуты между ними протянулась нить понимания. Лиз решила — она не могла бы объяснить почему, но она не ошиблась,— что чужую интимную жизнь он никогда не осуждает. И на мгновение (единственный раз в их разговоре) ей стало любопытно: а как он сам? В прошлом или даже теперь. Ходили слухи о давнем и прочном романе, с которым ее мать мирилась из политических соображений. Но ходили и другие слухи, возможно, оставшиеся Лиз неизвестными и далеко не столь романтичные — о случайных мимолетных связях. Он был скрытен и в любом случае постарался бы скрыть все. Вскоре нить взаимопонимания истерлась. Лиз не могла и не хотела ждать, пока он будет неторопливо размышлять вслух о ее любовных делах. Она снова бросилась в наступление.

— Мне нужна твоя помощь именно из-за него.

Он как будто предугадал, что последует дальше. И исполнил первое изящное па в сторону.

— Разумеется, девочка моя... но не представляю, что я мог бы сделать, совершенно не представляю...— Его голос замер.

— Мне нужны деньги,— сказала она.

— Деньги...— повторил он, словно впервые услышал это слово.

— Ты же что-то намереваешься сделать для меня потом. Если бы я получила деньги сейчас, это могло бы сыграть решающую роль.

— Тут есть определенные трудности, но тебе будет скучно...— И он начал одно из тех объяснений, которые заведомо ничего не объясняют, а затем внезапно отрезал: — Но если бы деньги и были, мне кажется, ты его вряд ли купишь.

— Все-таки стоит попробовать.

— Признаться, я сомневаюсь.

— Я его знаю, а ты нет.

— Прости, но мне кажется, если его можно купить, он вряд ли стоит того, чтобы его покупать.

— А уж это касается только меня.

— Но ведь есть и такая вещь, как мужская гордость,— заметил он.

Лиз засмеялась — весело, без сарказма.

— Он без нее прекрасно обходится, можешь мне поверить.

— Ну что же. Значит, он человек, которому на редкость повезло.

— Он очень счастливый человек,— ответила она и тут же добавила, чтобы помешать отцу еще дальше отклониться от темы: — Ты ведь понимаешь, что я не стала бы просить у тебя денег, если бы они не были мне очень нужны — по-настоящему.

— По правде говоря, мое финансовое положение довольно своеобразно и от меня зависит гораздо меньше, чем может показаться. Я предпринял, вернее предпринимаю кое-какие весьма сложные действия.— И он опять принялся обстоятельно убирать декорации, за которыми не крылось ничего, кроме новых декораций. От преувеличенной отстраненности он переходил к преувеличенной откровенности и обратно. Он пустил в ход привычный прием политиков, сообщив ей по секрету то, что ей давно уже было известно. А именно: что родовое поместье было некоторое время назад переведено на имя Джорджианы (ее старшей сестры). Он ведь не так давно объяснил им всем, насколько необходимо исходить из принципа неравных долей. (Когда же это было, подумала она. А если и было, то какое же это объяснение.) А потому в настоящее время он абсолютно бессилен.

— Но ведь ты знаешь,— в конце концов перебила она,— что ты намерен сделать для меня.

— Такие вещи далеко не столь просты, как может показаться.

— Ты можешь сделать их гораздо проще, если захочешь.

— Ну, разумеется, я был бы этому только рад.

Она даже не представляла себе, что человек — любой человек, и тем более ее отец — способен так ускользать от прямых утверждений. Джулиан умел быть уклончивым не хуже всякого другого, однако его уклончивость всегда преследовала какую-то выгоду. Но тактика ее отца выглядела абсолютно бесцельной — как будто тебя бьют по голове мягкой подушкой. И при этом он сохранял полную невозмутимость. Инициатива, казалось, должна была бы принадлежать ей, но каким-то таинственным образом незаметно перешла к нему.

И добиться ей удалось только одного обещания. Оно было дано с большой прямоотой и сопровождалось условием, поставленным с той же прямоотой. Он обещал посоветоваться со своими поверенными и бухгалтерами. Они определят, в каком положении находится в данный момент их родовое состояние. Это будет сделано безотлагательно, но больше он ничего пока гарантировать не может.

Хотя он непрерывно ускользал от нее в разговоре, никаких попыток просто ускользнуть от нее он не делал. Он все так же изысканно вежлив, подумала она с унылым отчаянием. Он готов сидеть в этом элегантном игорном зале, пока она сама не захочет уйти, — сидеть и слушать, любезно, с улыбкой и... да, и с нежностью. Но добиться она ничего не сможет. И только когда она сказала, что ей пора, он упомянул, что ему необходимо быть на вечернем заседании в палате.

Поцеловав дочь на прощанье, Хилмортон направился в сторону парка и Вестминстера. Он ходил этой дорогой добрую половину своей жизни, и она ему по-прежнему нравилась. Низко нависали тучи, стоял душный летний лондонский вечер. Хилмортон не думал о Лиз — он умел отключаться от обязательств и обещаний. Свойство необходимое или, во всяком случае, удобное для человека, избравшего своей профессией политику. И пересекая угол парка, он думал, что, несмотря на все разговоры о том, насколько опаснее стал Лондон, в этой его части людей сто лет назад грабили и избивали гораздо чаще, чем теперь. Разумеется, если верить книгам.

Отвлеченные размышления как всегда действовали на него умиротворяюще. Не менее умиротворяюще приятным было и ощущение, с каким он вошел в палату лордов, словно в уютный клуб, в обитель покоя. Однако на этот раз особого покоя там не ощущалось, как он заметил, когда присоединился к своим друзьям за рюмкой перед ужином. Билья о производственных отношениях проходил стадию рассматривания в комитетах, ожидалось, что голосование продлится до часу-двух ночи, и невозмутимая сдержанность к некоторой тревоге поклонников корректности кое у кого начала давать трещины. Люди вдумчивые выражали беспокойство. Кто-то сказал:

— А имеет ли кто-нибудь хоть малейшее представление о том, как следует управлять индустриальным обществом нашего типа? *

— Разумеется, нет, — ответил Хилмортон с бесстрастием умудренного опытом государственного мужа.

Обычно те, кто занимается политикой, даже члены верхних палат, предпочитают не заглядывать далеко вперед. Тем не менее еще кто-то рассуждал о том, справятся ли с подобными трудностями другие страны после того, как избавятся от крайней нужды.

В этот вечер в нервных окончаниях словно ощущался непонятный зуд, и Хилмортону это не понравилось: слишком уж похоже на предвоенные заседания или на период суэцкого кризиса. Тем не менее было приятно ужинать с Седжвиком и Райлом, а к тому же за длинным столом свободных мест не оказалось и они устроились особняком около одного из нелепых гобеленов, что было еще приятнее. В этот вечер в предвидении позднего заседания им предлагался стандартный холодный ужин. Райл принес Седжвику тарелку с ростбифом и языком и, глядя на его непослушные пляшущие руки, жалел, что не может нарезать мясо за него. Во всяком случае, рюмку Седжвика он предусмотрительно налил только до половины.

Их беседа действовала бы на энтузиастов обоих лагерей не менее удручающим образом, чем разговор адвокатов в парке на Джени и миссис Андервуд, подслушай они его.

Седжвик, несмотря на болезнь, приехал в палату, как нередко приезжал этим летом, и прогуливался по кулуарам до полуночи — оставаться дольше у него не хватало физических сил. Он намеревался голосовать за лейбористские поправки. Старые

привычки, старая приверженность — он был в том возрасте, когда их уже не меняют.

— Однако отсюда вовсе не следует, — сказал он, — будто ничего возмутительнее этого билля мир не видал со времен распятия. Хотя те, с кем я голосую, и пытаются, по-видимому, убедить себя в этом.

Хилмортона, всю жизнь проживший среди политических эмоций и знакомый с ними гораздо лучше своего друга, не удержался от соблазна и тоном оракула заметил, что не помнит ни одного парламента, в котором сторона (не важно какая), категорически настаивавшая на том или ином курсе, не ошибалась бы самым непростительным образом, что и обнаруживалось в удивительно короткий срок. И нынешний билль — прекрасный тому пример.

— Наши молодцы искренне веруют, будто билль этот сотворит новое небо и новую землю. А ведь даже человек с политическим чутьем головастика понял бы, что пользы этот билль не принесет никакой, зато некоторый вред причинить может. Слишком уж много тут святой простоты, а она куда опаснее любых злоумышлений.

Ему понравились собственные слова, и у него поднялось настроение. Он сказал, что бургундское очень недурно, и спросил еще бутылку. Более того: как бы ни решили другие, он для своей партии кое-что сделает — останется до конца и проголосует за их нелепый билль. Но слушать бессмысленные дебаты? Нет уж, увольте.

Если бы Лиз увидела его таким, он показался бы ей непривычным, почти незнакомым, и это впечатление только усилилось бы, когда несколько минут спустя он упомянул ее собственное имя. Они все втроем перешли в буфет как раз вовремя, чтобы занять столик в углу, и тут Седжвик, который не видел Хилмортона после окончания процесса о завещании Мэсси, хотя с тех пор прошло две недели, задал ему вопрос:

— Это было большой неожиданностью?

Собственно говоря, многие знакомые Хилмортона, и Седжвик в их числе, были очень недовольны — отчасти потому, что газетные хроникеры получили удобную возможность для всяческих намеков как на причастность Суоффилда к делу, так и на «дружбу» Джулиана и Лиз.

— Для некоторых из них довольно большой, я полагаю, — ответил Хилмортона с мраморным спокойствием. — В мгновение ока лишиться двухсот — трехсот тысяч фунтов — что еще может быть неожиданной, как по-вашему? — Затем он добавил: — Боюсь, это несколько расстроило мою дочь Лиз. Я разговаривал с ней сегодня как раз перед тем, как отправиться сюда. Вы, возможно, знаете, что человек, которому завещаны деньги, ей не безразличен. Откровенно говоря, он как-то не располагает к себе. И мне ее жаль.

Хилмортона говорил словно бы с легким раздражением, но в его словах крылось гораздо больше чувства, чем он позволил заметить Лиз.

— Мне ее очень жаль, — сказал Райл, и Хилмортона взглянул на него остро и внимательно, без следа недавней ленивой небрежности, но тут же вернулся к тону бесстрастного наблюдателя.

— Просто поразительно, как плохо умеют выбирать мужчин умные женщины. Даже хуже, чем мы — женщин.

Буфет наполнялся, и около них собрался целый кружок. У Хилмортона тут всегда находились слушатели, как находились они и у Седжвика — но среди тонких ценителей. Хилмортона не без удовольствия принялся рассуждать на общие темы, однако Седжвику было тяжело слушать собственную невнятную речь, и, не доверяя непослушному языку и губам, он замолк задолго до того, как настало время уходить. Райл с грустью наблюдал, как этот строгий классический ум сковывает немота. Позже Райл поймал себя на том, что рассердился совершенно несоразмерно с поводом; около одиннадцати часов Хилмортона пожаловался на усталость и заметил, что прежде выдерживать до конца заседания было легче. Здоровые люди, подумал Райл, не должны позволять себе подобные замечания в присутствии больных. И как не похоже на Хилмортона: обычно он в таких случаях бывал более чуток.

Тем не менее когда Райл позже вспоминал эту минуту, он припомнил и другую свою мысль — он тогда подумал, и не в первый раз, какая все-таки непринужденная

атмосфера царит в их микроскопическом обществе. Никогда больше он не встречал такого тихого покоя. У Джени, когда она попала туда, возникло то же впечатление, хотя она и не сумела бы его объяснить. Райлу это было проще. Безусловно, пожилые люди умеют делать свое существование сносным, но дело было не только и не столько в этом. Объяснения скорее следовало искать в том, что на уровне палаты лордов честолюбие — то есть политическое честолюбие, дух соперничества — практически исчерпывало себя. Кое-кто еще вел какую-то свою игру, строил какие-то свои планы, но из сотен ее членов не набралось бы и двух-трех десятков профессиональных политиков, еще рассчитывающих на новые посты и должности.

Значительное большинство составляли бывшие профессиональные политики. Никому из них так и не удалось добраться до вершин, но и разочарование тоже ушло в прошлое вместе с честолюбием. Некоторые чувствовали, что достигли далеко не всего, но что в свое время надеялись, — быть может, Хилмортон в минуты полной самообнаженности испытывал подобные сожаления. Некоторые не получили того, на что надеялись. Но большинство составляли более скромные и нетребовательные — они считали, что получили гораздо больше, чем могли надеяться. Они чувствовали себя баловнями счастья, их душевная успокоенность способствовала общей безмятежной атмосфере.

Теперь надежды вместе с честолюбивыми замыслами, разочарованиями и улыбками удачи принадлежали былому. Вернее, надежды, свойственные тем, кто к чему-то стремится. Но другие более скромные надежды они вынашивали по-прежнему с упорством, в которое не поверили бы в молодости, и эти надежды как будто обещали не угаснуть до самой смерти. Нередко они не отдавали себе ясного отчета, что это за надежды, или не решились бы признаться в них. У Седжвика они были предельно ясны и просты — перестать быть калекой. Райл также отдавал себе полный отчет в своих желаниях, хотя никому о них не сказал бы. Хилмортон, менее прямодушный, даже от себя прятал картины будущего, его собственного будущего, которые рисовало ему воображение. Но пусть эти картины были туманны и даже нелепы — без них он не мог бы жить.

Последние пэры покинули палату, когда Биг Бен вызванивал второй час ночи. На них пахло запахом дождя, прибитой пыли, и, как бывало всегда, этот запах принес с собой легкую грусть, неясные воспоминания и надежду.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

16

В это лето Лиз открыла для себя истину, сформулированную в дни юности предшествовавшего поколения, — что любое решение диктуется настроением минуты. Ей приписывали железную волю, но она-то знала, что воля эта проявляется лишь вспышками, сменяясь ощущением вялого бессилия. Одна неделя августа сменяла другую, а отец, мастерски проведя сложный оборонительный маневр, казалось, забыл о ней, и у нее не хватило духу обратиться к нему еще раз. Все-таки сказать Джулиану, что он должен жениться на ней? Вопреки своему твердому решению она так же была неспособна сделать это теперь, как и прежде.

Ей требовалась поддержка, хоть какая-нибудь, и она вдруг без особых раздумий позвонила Джеймсу Райлу. Если бы кто-нибудь поинтересовался почему, она могла бы ответить, что из всех друзей ее отца он кажется наиболее способным на человеческую теплоту и отзывчивость. Но сама она над этим не задумывалась и спросила только, нельзя ли ей поглядеться с ним, чтобы кое о чем посоветоваться.

Райл, удивленный — приятно удивленный — ее неожиданным звонком, пригласил ее приехать сегодня же и, ожидая в своей уайтхолл-кортовской гостиной, рассердился, или, вернее, расстроился, когда наступила и миновала половина шестого, а Лиз не появилась. Четверть часа спустя она позвонила в дверь и начала извиняться обычным твердым и неизвиняющимся тоном:

— Прошу прощения, лорд Райл. Ни одного такси...

Но тут все обернулось совсем не так. Лиз, хотя и не была смущена, вошла в дверь стремительно, словно стараясь загладить свое опоздание, и мгновение спустя

проехалась на коврике по натертому паркету. Она ударилась о Райла, который собирался поздороваться с ней, и, утратив всякую эlegantность, неуклюже, как малыш, едва научившийся ходить, обеими ладонями уперлась в настенное зеркало, чтобы удержаться на ногах. В этой позе она оглянулась через плечо на Райла с бессмысленной, растерянной, почти игривой улыбкой, как может улыбнуться женщина, когда она подбегает к поезду метро, а двери смыкаются перед самым ее носом.

Райл расхохотался громко и искренне. Лиз ойкнула, и он в первый раз увидел ее лицо таким — недоумевающим и даже не очень красивым. Когда немного погодя сын Райла Фрэнсис зашел за книгой, Райл сидел в одном кресле, Лиз в другом, и Райл улыбался, а Лиз сосредоточенно сдвигала брови, словно он был учителем, а она ученицей. Фрэнсис, который прежде не был с ней знаком, подумал, что она эффектная женщина, и спросил себя, что, собственно, тут происходит: отец его был радостно возбужден и явно хотел, чтобы он поскорее ушел и оставил их одних.

То, что происходило, на первый взгляд казалось простым: пожилой мужчина слушал исповедь молодой женщины. Лиз думала ограничиться конкретными вопросами о денежных делах своего отца. Но почти сразу же оставила эту тему словно второстепенную, побочную и внезапно, без всякого перехода заговорила о тупике, в который зашли ее отношения с Джулианом. Несколько раз она принималась повторять то, что объясняла отцу, но теперь это звучало иначе. Она не то плакала, не то смеялась — ее глаза вспыхивали, в ней чудилась бесшабашность отчаяния. Райл решил, что у нее нет близких друзей. Она говорила так, словно впервые дала волю своей истерзанности, своей тоске.

— Как мне избавиться от этого наваждения? — И сразу же: — Ну назовите хотя бы одну здравую причину, почему ему не жениться на мне!

На первый вопрос Райл ответил, что может перечислить ей все избитые средства — не видется с ним, не разговаривать о нем, не писать... — но, насколько ему известно, ими никто никогда не пользуется. Это было единственное саркастическое замечание, которое он себе позволил.

Он не решался ни о чем спрашивать и лишь слушал ее рассказ, вылавливал отрывочные сведения, дразнящие намеки, понять которые можно было бы, только установив в их спальне микрофон. Райл наблюдал Джулиана на судебных заседаниях. Против воли он улыбался его язвительным остротам и думал, что, пожалуй, ни разу в жизни не встречал еще человека столь бесчувственного, столь недоступного никакому воздействию. Он разобрался в нем лучше Хилмортона и проникся к нему более острой антипатией. Когда Хилмортон в буфете палаты лордов выразил легкую озабоченность и Райл поддержал его (что тот заметил), на самом деле он испытал гораздо более сильное чувство. Он представил себе Джулиана: человек, который всецело поглощен собой и неуязвим для прочих людей, но отлично знает, как он на них действует, и умеет этим пользоваться. Солипсист, если хотите, сосредоточивающий все свои чувства только на себе, но с нервами, настроенными на женщин вокруг, чуткий к любым ощущениям. Могучее сочетание. И нетрудно было догадаться, что он с невозмутимостью восточного султана упивается возможностью властвовать.

Но Лиз рассказывала Райлу — вернее, не рассказывала, а давала понять — нечто совсем другое. Она прибегала примерно к тем же словам, какими описывала Джулиана отцу. Она была честна, прямолинейна и не отступала от истины, какой эта истина ей представлялась, только потому, что говорила теперь не с отцом, а с другим человеком. И все-таки тон ее был иным, хотя она этого не сознавала. С отцом, который смотрел на все отстраненно, забавляясь чужими сексуальными вкусами, она говорила так, словно Джулиан ей вовсе не нравился, словно все исчерпывалось нерассуждающей страстью. Райла она почти не знала и все-таки говорила с ним как с отзывчивым человеком, которому не все равно, какое чувство испытывают друг к другу мужчина и женщина и какое она испытывает к Джулиану.

Именно честность и прямолинейность нередко толкали ее на самообман. Она гордилась умением смотреть на все трезвым взглядом. Не только в разговоре с отцом, но и наедине с собой она находила слова, рисующие Джулиана вполне беспристрастно, и не просто беспристрастно, а и в достаточно неприглядном виде. Ну, конечно,

ему нельзя доверять. Ну, конечно, он в высшей степени корыстолюбив. (Тем не менее, сказав все это Райлу, она тут же прибавила, что в денежных делах он скрупулезно честен, никогда ни у кого не занимает и у нее не берет ни пенса, разве что иногда позволяет заплатить за такси или за обед — хотя излагалось это, как клинический диагноз, говорила она со все большим жаром, словно упрасывая Райла поверить.) Ну, конечно, Джулиан делает только то, что ему хочется. Ну, конечно, он никчемный человек.

Это все были клинические диагнозы — то, что, по ее мнению, она чувствовала. Но даже человек куда менее чуткий, чем Джеймс Райл, без труда понял бы, что на самом деле чувствует она нечто прямо противоположное. В действительности она испытывала к Джулиану — вопреки собственным утверждениям и, бесспорно, вопреки объективным фактам — нечто близкое к страстному почитанию.

И во время этого разговора, пронизанного волнением, разговора о чувствах, а потому порождающего новые чувства, Райл узнавал о ней что-то новое. Она была совсем не такой, какой казалась. Или нет, это уже фантазии. В своем обычном будничном существовании она была именно такой, какой казалась: решительная и волевая, как ее четкий, медальный профиль, готовая распоряжаться без робости и смущения. Она могла бы стать отличным администратором... а может быть, уже и стала? С ним она держалась чуть более жестко и властно, чем обычно держится женщина ее возраста с мужчиной его возраста. И тем не менее в ней был надлом. За ее страстью скрывалась даже не нежность, а униженная покорность. Она была рождена, чтобы стать игрушкой такого вот Джулиана — потому-то он с первого взгляда и выбрал ее своей добычей.

У нее уже был примерно такой же роман — она любила сильнее, чем любили ее, и безоговорочно уступала во всем, сама предавая себя на заклятие. А Райл давно уже убедился, что повторения одних и тех же схем не бывают случайными. Чего ты ищешь, то с тобой и происходит. Сумел бы он подметить в ней эту беззащитность, если бы не балаганный эпизод в прихожей, когда она поскользнулась на коврике, если бы не эта виноватая улыбка из-за подобного пустяка, горько-смущенная, как у Адама Седжвика, когда он беспомощно наткнулся на дверь? Помогла мелочь, такая, казалось бы, нелепая, но, решил Райл позднее, в конце концов он все равно заметил бы в ней этот надлом. Только дурак безоговорочно верит своим догадкам, но тут, пожалуй, можно было не сомневаться.

Разговор о чувствах рождал новые чувства, завораживал. Лиз находила какое-то очарование в том, что говорила о человеке, которого любит, анализировала свою любовь перед посторонним. Эта любовь в нынешней своей стадии, возможно, и не давала ей счастья, но говорить о ней здесь в этот вечер уже было по-своему счастьем — словно оттого, что она рассказывала кому-то о своих надеждах и желаниях, они должны были скоро сбыться, словно в ином, вневременном мире они уже сбылись.

И не она, а Райл разрушил чары, внезапно, почти резко спросив:

— Вы ведь пришли узнать что-то конкретное? Что-то про деньги вашего отца?

Лиз испытала удивление и даже досаду оттого, что ее оборвали. Нахмутив брови, она взглянула на морщинистое непроницаемое лицо и ответила:

— Да.

— Ну так спрашивайте.

Она взяла себя в руки.

— Мне хотелось бы узнать поточнее, насколько богат мой отец. Вам это известно?

Райл оставил резкий тон и был опять непринужденно приветливым.

— Он никогда об этом со мной не говорил. У него нет обыкновения посвящать других в свои дела.

— Но какое-то представление у вас есть?

— Я могу только предполагать.

— Ну так предположите.

Это уже было властное распоряжение. Райл ответил, что, по-видимому, основную часть их родового состояния составляет земельная собственность. Стоимость земли выросла колоссально, но это иллюзорные деньги, так как Хилмортон продавать

свои земли, вероятно, не собирается. Тем не менее, если его дед в начале века был человеком богатым — а это почти несомненно, — значит, он в 1900 году имел по меньшей мере двести тысяч фунтов, а скорее вдвое больше. И лишь полнейшее неумение вести дела могло бы помешать этому богатству к настоящему времени удесят�риться.

— Вы сами можете подсчитать, — сказал Райл.

Лиз представляла себе примерно такую же сумму.

— Но учтите, — добавил Райл, — пусть даже его состояние теоретически исчисляется миллионами, тем не менее наличных денег в его распоряжении может быть очень мало.

— И все-таки он мог бы выделить мне что-то, не откладывая до тех пор, пока будет уже поздно.

Лиз задала еще один бесцеремонный вопрос. Не знает ли Райл, как ее отец распорядился своими деньгами в завещании? Нет, об этом он ничего не знает.

— И вы совсем ничего не слышали?

— Как я уже говорил, — ответил Райл, — у него нет обыкновения посвящать других в свои дела, не так ли?

Лиз взяла перчатки.

— Я отняла у вас много времени, лорд Райл, — сказала она. — Благодарю вас за терпение, с каким вы меня слушали.

Она не забыла, что ее оборвали. И говорила с раздражением, словно почувствовала, что вела себя назойливо. Она улыбнулась ему жесткой, властной улыбкой. Это лицо совсем не походило на то — жалкое и растерянное, — которое так растрогало его полтора часа назад.

Когда дверь прихожей закрылась за ней, Райл прошелся по комнате, невидящими глазами глядя на огни за рекой, а потом тяжело сел на диван. Теперь, когда она ушла, он испытывал глухое разочарование. Он перебил ее неожиданно для себя, внезапно испугавшись. Слишком это было опасно. Не для нее: ей хватало собственных опасностей. А для него. Какая глупость — допустить, чтобы твои чувства сосредоточились на женщине, которая всецело поглощена другим мужчиной.

Да, он ходил в суд не просто как старинный знакомый преклонных лет, чтобы поддерживать ее и подбодрять. Он думал о ней постоянно и даже не пытался себе помешать. И это тоже была глупость. Но ведь одно время, пока такие мысли не начали подкрадываться все чаще, в них крылось свое наслаждение: предвкушать радость, распознавать источники чувства. И они все еще могли преобразать будничные дни. Хилмортон, который вовсе не был равнодушен, что-то заметил — это и означал его взгляд на том ночном заседании.

Но разочарование по-своему было утешительным. Классическая ловушка, комический штрих с точки зрения постороннего наблюдателя. Стоит позволить чувству окрепнуть, и возраста уже не будет. Собственный опыт учит немногому, но все-таки учит. Он вовремя остерегся, сумел положить этому конец. Иначе его уже терзала бы безнадежная любовь — настолько смехотворная и нелепая, что он не признался бы в ней даже себе, куда более смехотворная, чем безнадежная любовь в юности.

Возможно, он слишком погоропил поздравить себя с благополучным избавлением. Когда человек говорит себе, что он спасся от опасности, не исключено, что на самом деле он уже не в силах спастись. Райл об этом не подумал — или не позволил себе подумать. Ему есть на что опереться. Он практичен и деятелен. Он поищет среди женщин, которым когда-то нравился. Душевное удовлетворение он вряд ли обретет, но напряжение все-таки смягчится. Следовало бы подумать об этом раньше, тогда он не оказался бы столь уязвимым.

И даже если бы Лиз не была всецело занята другим мужчиной, это ничего не изменило бы. Она слишком молода... никакого будущего для нее, да и для него тоже. Неужели, когда он в этой самой комнате осенью размышлял о женщинах, слишком для него молодых, мысли его уже бессознательно обращались к ней? Ведь она даже не в его вкусе. Слишком остра, слишком узка, слишком скованна. Женщин теперь он видит мало, и по чистой случайности, по грустной случайности он встретился именно с ней. Она бы ему не подошла, да и он ей не нужен.

Скорее всего тут он не ошибался. Но такая правота вряд ли его утешила бы. Встреча с возможной подругой зависит от чистой случайности. В этом есть что-то фатальное — как и в несостоявшихся встречах. Звонок к голосованию раздался как раз в ту минуту, когда Райла должны были познакомить с Дженни Рэстал. И по чистой случайности они в тот вечер не обменялись ни единым словом, а когда потом встретились, было уже поздно, хотя они и видели друг друга в зале суда.

А ведь возможно, что они, как в свое время сказала бы мать Райла, были созданы друг для друга. Решить это точно не мог бы никто, ведь на земле не было человека, который одинаково хорошо знал их обоих, проверить же, действительно ли они созданы друг для друга, были способны только они сами. Однако, судя по их привычкам, склонностям, вкусам и характерам, они скорее всего прекрасно подошли бы друг другу — уж во всяком случае больше, чем те, с кем их на деле свела судьба. И Райл, не склонный к саркастическому юмору, в своем нынешнем настроении счел бы это довольно скверной шуткой.

Перевели с английского И. ГУРОВА и О. КРУГЕРСКАЯ.

(Продолжение следует)



М. КУДИНОВ



ИЗ ФРАНЦУЗСКОЙ ПОЭЗИИ

XVII век нередко называют великим веком французской литературы. В самом деле: Мольер в комедии, Корнель и Расин в трагедии, Буало в сатире, Лафонтен в баснях и сказках, Паскаль, Ларошфуко и Лабрюйер в прозе, если говорить только о самых крупных и прославленных именах,— разве все это не свидетельствует о необычайном творческом взлете? И, однако, классицизм, то есть то литературное направление, представителями которого были все перечисленные писатели, оказался для поэзии удивительно бесплодным. Произведения Корнеля, Расина, Буало, Лафонтена и частично Мольера были написаны стихами, причем очень хорошими стихами. Но поэзия и стихи — понятия не однозначные, и в этом смысле классицизм от поэзии был далек. Так же, если не в большей степени, был далек от нее и XVIII век, век великих французских просветителей, хотя и в те времена создавались оды, трагедии, комедии и сатиры, написанные стихами.

Возрождение французской лирической поэзии относится к середине XIX века и связано прежде всего с именами Жерара де Нерваля, Бодлера, Верлена, Корбьера и Рембо. Им предшествовала поэзия романтиков, которую во Франции теперь воспринимают довольно сдержанно, считая ее мало созвучной XX веку. Однако все больший интерес проявляется к поэзии далекого прошлого, и в частности к поэзии XVII века. Дело в том, что XVII век не исчерпывается полностью одним классицизмом, господство которого в литературе падает на вторую половину века. Первая же половина столетия была также отмечена активной литературной деятельностью, оставившей после себя заметный след и в лирической поэзии.

Если XV век дал миру Вийона, одного из величайших лириков мировой литературы, если поэзия XVI века определяется во Франции прежде всего именем Ронсара, чье творчество в начале следующего столетия было отвергнуто и надолго прочно забыто, пока его не воскресили романтики, то с поэзией первой половины XVII века дело обстоит иначе: есть много имен и нет ни одного, чья слава затмила бы многих. Одни поэты (такие, например, как Теофиль де Вио, Сент-Аман или Скаррон) пользовались широким признанием своих современников, другие были известны только в литературной среде. Но одно, два, три стихотворения этих малоизвестных поэтов, иногда опубликованные в коллективных сборниках, оказались поразительно долговечными и выдержали испытание временем протяженностью в три с лишним столетия. Однако и от знаменитых при жизни поэтов осталось не так уж много стихов, выдержавших это испытание. Перед лицом современного читателя оказались равны и прославленные когда-то авторы и малоизвестные поэты, чьи имена иной раз были спасены от забвения всего лишь одним сонетом. Нередко те произведения, которые вызывали восхищение современников и принесли славу их создателям, сохраняют теперь только историко-литературный интерес. Современные антологии французской поэзии (особенно когда их составители — сами поэты) большей частью не руководствуются этим историко-литературным критерием.

В XVII век Франция вступила отягощенной воспоминанием о религиозных войнах и вызванной ими разрухой. На первую половину века падает царствование Генриха IV, убитого в 1610 году католическим фанатиком, царствование Людовика XIII, при котором страной управлял всемогущий кардинал Ришелье, и регентство Анны Австрийской.

матери Людовика XIV, вступившего на престол в пятилетнем возрасте (годы ее регентства связаны с именем кардинала Мазарини и с бурными событиями Фронды). Культура первой половины XVII столетия характеризуется борьбой, а иногда и переплетением различных стилей и направлений: барокко, зарождающимся классицизмом и, наконец, бытовым реализмом, особенно проявившим себя в романе. Все эти направления были широко представлены и стихотворными формами. Однако поэзия, которая выдержала испытание временем, оказалась выше литературных школ и стилей, хотя она и была неразрывно связана с породившей ее эпохой.

Эта эпоха была бурной и противоречивой, и по-разному складывались судьбы поэтов, имена которых читатель встретит в публикуемой ниже подборке (оговоримся только, что она далеко не исчерпывает всех имен, ставших значимыми для французской поэзии). Среди этих поэтов есть и такие, чьи биографии почти неизвестны, хотя их творчество вызывает у современного читателя живой интерес.

Так, очень немного можно сказать о жизни Жана Батиста Шасинье (1571? — 1620?), опубликовавшего в юности сборник стихов, который в нашем столетии называют вершиной поэзии барокко. Родился и жил он в Безансоне, отец его был врачом и дал сыну хорошее гуманитарное образование. Вот почти и все, что достоверно известно о Шасинье. Ни дата рождения, ни дата смерти точно не установлены.

Также немного известно и о замечательном поэте Шарле Вионе Далибре (1600? — 1650?). Но в отличие от Шасинье, чья поэзия большей частью посвящена философским раздумьям, Далибре в стихах воссоздает и черты своего бытия. Он рано отказался от военной карьеры и, умея довольствоваться немногим, вел в Париже скромное существование. Его быт — это тесная каморка для работы и сна, дешевые кабачки, застольные беседы с друзьями-вольнодумцами, книжные лавки, где можно перелистать интересную книгу и поговорить с эрудитами. При чтении стихов Далибре возникает образ человека, чем-то напоминающего аббата Жерома Куаньяра, мудрого эпикурейца, созданного воображением Анатоля Франса.

Далибре был близким другом знаменитого при жизни Сент-Амана (1594—1661), биография которого известна довольно хорошо. Молодым человеком он обратил на себя внимание литературным дарованием и благодаря высоким покровителям смог удовлетворить свою страсть к путешествиям. Сент-Аман побывал во многих странах, знал несколько языков, был принят при разных дворах и стал одним из первых членов Французской академии. Все это не мешало ему быть тесно связанным с литературной богемой и писать веселые застольные песни и бурлескные стихи. Но творчество его было разносторонним, и одна из этих сторон позволила французским романтикам считать его своим предтечей.

Другой очень известный в свое время поэт, Теофиль де Вио (1590—1626), прожил недолгую и полную злоключений жизнь. Приехав из провинции в Париж, он, так же как и Сент-Аман, был сразу замечен, и ему стали оказывать покровительство видные литераторы и образованные вельможи. Но его вольнодумие навлекло на него ненависть иезуитов. Поэт прошел через тюрьмы, изгнание, мучительные и долгие судебные процессы. Его последнее тюремное заключение длилось два года и так подорвало его здоровье, что после освобождения он вскоре умер.

Еще страшнее была участь талантливой поэта Клода Ле Пти: церковники обвинили его в безбожии и в двадцать четыре года он был сожжен на костре на Гревской площади.

Знаменитый поэт, драматург и автор «Комического романа» Поль Скаррон (1610—1660) слыл у своих современников одним из самых остроумных людей, но с молодых лет он был разбит параличом и, испытывая жестокие страдания, до конца своих дней оставался прикованным к креслу. Жил он литературным трудом и на ту небольшую пенсию, которую назначила ему королева. В его доме собирались самые интересные люди Парижа: их неизменно привлекали ум и остроумие этого удивительного калеки. При всех его литературных успехах он был так небогат, что гости приходили к нему со своим вином и снедью. Как бы по иронии судьбы его вдова стала впоследствии фавориткой Людовика XIV, с которой в конце концов Людовик вступил в тайный брак. В истории она известна под именем маркизы де Ментенон.

Не будем говорить о судьбах других поэтов, чьи стихи публикуются в нашей подборке: сейчас наша задача представить не отдельные творческие индивидуальности, а только дать читателю самое общее (и далеко не полное) представление об этом интереснейшем периоде французской поэзии.

ЭТЬЕН ПАВИЙОН

Чудеса человеческого разума

Блеск царственных одежд из кокона извлечь,
Заставить красками заговорить полотна,
Поймать и удержать все то, что мимолетно,
Запечатлеть в строках и голоса и речь;

Влить в бронзовую плоть огонь души бесплотной,
Гул хаотический в мелодию облечь,
Исторгнуть из стекла лучи, что могут жечь,
И приручить зверей лесов и мглы болотной;

Сцепленьем атомов мир сотворить иной,
Все числа звездные постичь во тьме ночной
И солнце вновь создать в химической вселенной;

Ад подчинить себе, проникнуть в глубь времен,
Стихии укротить с их тайной сокровенной —
Вот человека цель! Ее достигнет он.

ЖАН БАТИСТ ШАСИНЬЕ

Вдоль берега реки

Вдоль берега реки гуляя одиноко,
Присядь и посмотри, как движется вода:
Мчит за волной волна неведомо куда
И вслед им шелестит прибрежная осока.

Ты не увидишь здесь вчерашнего потока,
Чьи воды унеслись, исчезли без следа:
Река уже не та, хотя для нас всегда
Названье ей одно от устья до истока.

Вот так и человек сегодня уж не тот,
Каким он был вчера иль будет через год:
И помыслы не те и силы убывают.

Не изменяются лишь наши имена,
И как бы ни была вся суть изменена,
До самой смерти нас все так же называют.

Я странствовать хотел

Я странствовать хотел — жизнь кочевая вскоре
Меня заставила о доме горевать;

Вновь домоседом стал — и худо мне опять:
Я в четырех стенах тоскую о просторе.

Пустился в плаванье — опасности на море
Меня заставили о берегу вздыхать;
Расстался с кораблем, чтоб сеять и пахать, —
Мне землепашца труд не радость дал, а горе.

Решил науками заняться, но умней
Не стал от этого; был на войне, но к ней
Лишь отвращение испытывал все время.

О глупая душа во власти суеты!
Всем недовольная, всего желаешь ты
И, к цели устремясь, несешь сомнений бремя.

ТЕОФИЛЬ ДЕ ВИО

Существа в обличье странном

Существа в обличье странном
У природы не в чести:
Редки встречи с великаном,
Трудно карлика найти.

Мало женщин, как Елена,
Нет, как Нестор, мудрецов,
Крепче пьяницы Силена
Мало в мире молодцов.

Мало псов, как Цербер, грозных,
Нет реки, как Ахерон,
Нет ночей совсем беззвездных,
Не всегда в ладье Харон.

Нет синей небесной сини,
Лучше нет, когда весна,
Горче нет, чем сок полыни,
Ничего нет слаще сна.

Громче грома редки крики,
Мало гор, как Пелион,
Редкий зверь, ручной иль дикий,
Львиной силой наделен.

Редко высшее блаженство,
Редок час великих мук,
И так мало совершенства
В том, что видим мы вокруг.

ФРАНСУА ДЕ МЕНАР

Прощай, Париж

Прощай, Париж, прощай! Ты видишь, я устал
Поддерживать огонь на алтаре Удачи.
Хочу я видеть вновь мой край лесов и скал,
Где все мне по душе и где живут иначе.

Ни за богатством там не надо гнаться мне,
Ни жалких почестей не надо домогаться;
Что бедность при дворе, то в сельской тишине
Могло бы, как и встарь, достатком называться.

С тех пор как понял я, что век наш развращен
И что достоинство ни в грош не ставит он,
Одно мне дорого — мое уединенье.

В нем жизни каждый миг, и радости, и боль
Лишь мне принадлежат... Жить в рабском подчиненье
Постыдно для того, кто сам себе король!

Места пустынные

Места пустынные, где я так мирно жил,
Мой одинокий дом в тени высоких сосен,
Нас королевский двор уж год как разлучил,
Но к вам я возвращусь: двор для меня несносен.

Достоинство и честь встречают здесь враждой,
Здесь во дворцах живет невежество и чванство,
И стыдно мне, что я, усталый и седой,
Питал надежды здесь и верил в постоянство.

Смешной слепец, я мнил опору обрести
В краю, где все обман, где все ведут пути
К ловушке золотой, к великому паденью.

О сосны, я хочу увидеть вас опять
И под чудовищно прекрасной вашей сенью
Наперекор судьбе о смерти размышлять.

Стихи, посвященные Малербу

Писатель редкий, ты бы мог
Обогатить свое семейство
Не хуже, чем любой налог
Обогащает казначейство.

Но только не в цене теперь
Стихи у нас: закрыта дверь
У власть имущих для поэта.

И вот я думаю подчас:
В наш век куда нас мчит Пегас?
Увы! К воротам лазарета.

ПОЛЬ СКАРРОН

Надгробья пышные

Надгробья пышные, громады пирамид,
Великолепные скульптуры и строенья,
Природы гордые соперники, чей вид —
Свидетельство труда, искусства и терпенья;

Старинные дворцы, одетые в гранит,
Все то, что создал Рим до своего паденья,
Безмолвный Колизей, чья тень еще хранит
Народов варварских кровавые виденья, —

Все времени поток в руины превратил
Или безжалостно развеял, поглотил,
Не пощадив ни стен, ни цоколя, ни свода...

Но если времени всемогущий произвол,
То стоит ли скорбеть, что скверный мой камзол
Протерся на локтях в каких-нибудь два года?

Париж

Везде на улицах навоз,
Везде прохожих вереницы,
Прилавки, грязь из-под колес,
Монастыри, дворцы, темницы,

Брюнеты, старцы без волос,
Ханжи, продажные девицы,
Кого-то тащат на допрос,
Измены, драки, злые лица,

Лакеи, франты без гроша,
Писак продажная душа,
Пажи, карманники, вельможи,

Нагромождение домов,
Кареты, кони, стук подков:
Вот вам Париж. Ну как, похоже?

СЕНТ-АМАН

Трубка

Поближе к очагу присев на связку дров,
Я с трубкою в руке задумался глубоко
О горестях моих, о власти злого рока,
О том, что чересчур со мною он суров.

Но теплится в душе надежда, и готов
Я верить, что судьба по истеченье срока

Изменит жизнь мою, я вознесусь высоко
И в славе превзойду властителей миров.

Но стоит табаку в горсть пепла превратиться,
Как мне с моих высот приходится спуститься,
Сойдя в низину бед, чей мрак непобедим.

Нет! Что ни говори, различие большое
Никак нельзя найти меж трубкой и душою:
Надежда иль табак, то и другое — дым.

ШАРЛЬ ВИОН ДАЛИБРЕ

О судьбе

Словами «рок», «судьба», «удача»
Мы склонны злоупотреблять:
Случись беда у нас — и, плача,
Судьбу мы будем обвинять.

А если в чем-то преуспели
И хорошо идут дела,
При чем тут разум, в самом деле?
Судьба нам, видишь, помогла.

И также мы к судьбе зываем,
Когда исхода дел не знаем —
Хорош он будет или плох.

Судьбу мы превратили в бога,
И это, рассуждая строго,
Знак верный, что она не бог.

Большой и толстый

Большой и толстый, я с трудом
Вмещаюсь в тесном кабинете,
Где о тщеславии людском
Пишу сонет при тусклом свете.

К чему просторы, если там
Из виду близких мы теряем?
Не лучше ли заняться нам
Пространством, где мы проживаем?

Я в тесноте своей постиг,
Что не был бы я так велик,
Владея царственным чертогом:

В каморку втиснутый судьбой,
Заполнив всю ее собой,
Я стал здесь вездесущим богом.

Ты смертен, человек

Ты смертен, человек, так помни, помни это!
Строй планы дерзкие, верши свои дела,
Но пролетят века, развеется зола —
И был иль не был ты, никто не даст ответа.

Где Александр царь? Где Цезарь, чья комета
Мелькнула, причинив народам столько зла?
Ушли в небытие, где нет ни тьмы, ни света
И где исчезло все, сгорело все дотла.

Так пусть же участь их тебе примером служит,
Пусть голову твою тщеславие не кружит,
Ведь все равно не знать тебе таких побед.

Но от деяний их, от всех чудес, что были
Когда-то свершены, какой остался след?
Для слуха — легкий шум, для ветра — горстка пыли.

Я отслужил свое

Я отслужил свое... Любовь, расстаться надо.
Я не прошу наград за прошлые труды;
Без чувства горечи и не страшась беды,
Дожить спокойно жизнь — вот лучшая награда.

Слуге, чей пыл угас, ты вряд ли будешь рада:
Не рвусь, как в юности, я в первые ряды;
А у больших господ, что свитою горды,
Былые подвиги для гнева не преграда.

Ты властвуешь, Любовь, и повергаешь в прах,
И при твоём дворе, как и при всех дворах, —
Обман, предательство, и лесть, и тайный ропот.

За преданность тебе, за службу с давних пор
Ну что я получил, твой покидая двор?
Седые волосы и уж ненужный опыт.

ПЬЕР МОТЭН

От Жанны я ушел

От Жанны я ушел в час поздний, как обычно.
Я под дождем шагал, и вдруг из-за угла
Навстречу мне патруль. Ночь темная была,
И в этой темноте я крик услышал зычный:

«Стой! Кто идет?» Стою. Тогда рукой привычной
Мне обыск учинив, сказали: «Ну, дела!
Он мокрый, он продрог, еще спалит со зла
И королевский двор и город наш столичный».

Сказал я: «Господа, в чем дело, не пойму.
Школяр я...» «Черт возьми, в тюрьму его, в тюрьму!
Как! Ночью... под дождем... слоняться? Очень странно!»

И тут я, вырвавшись, пустился наутек.
Что это? Бунт? О нет! Но я насквозь промок,
И ведь меня в плену и так уж держит Жанна.

ГИЙОМ КОЛЬТЕ

Осмеянные музы

Какой изъян в мозгах быть должен с юных лет,
Чтоб с музами водить знакомство год из году!
Посадят, подлые, они на хлеб и воду
Того, кто разгадать надумал их секрет.

С тех пор как я пишу, мне все идет во вред,
Фортуна прочь бежит, а я терплю невзгоду,
Забрался на Парнас — и в скверную погоду
Там пью из родника и в рубище одет.

О музы, это вы причина невезенья!
Однако с возрастом пришло ко мне прозренье,
И больше вам в игру не заманить меня.

Я буду пить вино, а воду пейте сами,
Замечу щель в окне — заткну ее стихами
И брошу лавры в печь, чтоб греться у огня.

Поэтическая жалоба

Я много написал, и от стихов моих
Богаче стал язык, а я еще беднее,
Земля запущенней, под крышей холоднее
И пусто в кладовой, где писк мышей утих.

Растратю души оплачен каждый стих!
Чем совершеннее поэты, тем виднее
Их сумасшествие и тем еще сильнее,
Им расточая лесть, осмеивают их.

Трудясь так радостно над книгой бесконечной,
Я убивал себя во имя жизни вечной,
Я истощал свой ум, чтобы других развлечь,

Чтоб славу обрести, чей гул наскучит скоро,
Чтоб высоко взлететь — и не иметь опоры,
Чтоб с музою дружить — и счастья не сберечь.

КЛОД ЛЕ ПТИ

Шоссона больше нет

Шоссона больше нет, бедняга был сожжен...
Известный этот плут с курчавой головою
Явил геройский дух, погибнув смертью злою:
Никто не умирал отважней, чем Шоссон.

Отходную пропел с веселым видом он,
Рубашку, что была пропитана смолою,
Надел не побледнев, и, стоя пред толпою,
Ни дымом, ни огнем он не был утрашен.

Напрасно духовник, держа в руке распятые,
Твердил ему о том, что вечное проклятые
И муки вечные душе его грозят,—

Он не покался... Когда ж огонь, пылая,
Стал побеждать его, упал он, умирая,
И небу показал свой обгоревший зад.

Когда вы встретите...

Когда вы встретите того, чей важен вид,
Кто в рваной обуви по улице шагает,
Чью шею сальная тряпица украшает
И кто с презрением на всех людей глядит;

Кто, как дикарь, зарос, нечесан и немыт,
Забрызган грязью весь и наготу скрывает
Разодранным плащом (чья шерсть не согревает)
И панталонами (забывшими про стыд);

Кто мерит каждого косым и диким взглядом,
Слова какие-то бормочет с вами рядом
И ногти на руке грызет, смотря вам вслед;

Так вот когда с таким вы встретитесь, то смело
Вы можете сказать: французский он поэт!
И я вас поддержу: вы говорите дело.

ТРИСТАН Л'ЭРМИТ

Корабль

Я, древо пышное, плавучим судном стало,
В горах возросшее, мчусь ныне по волнам;
Когда-то я приют отрядам птиц давало,
Теперь солдат везу к далеким берегам.

Плеск весел заменил веселый шум ветвей,
Листва зеленая сменилась парусами;
С Кибелой разлучась, я чту богов морей,
Как встарь соседствуя вершиной с небесами.

Но прихоти свои есть у судьбы слепой,
Я у нее в руках, она играет мной,
Гнев четырех стихий сулит мне участь злую:

Нередко ураган мой преграждает путь,
Волна, обрушившись, мне разрывает грудь,
И я боюсь огня, но больше — твердь земную.



ПУБЛИЦИСТИКА

ЮРИЙ АЗАРОВ,
доктор педагогических наук



СТАНОВЛЕНИЕ

Заметки о нравственном воспитании

ПОДРОСТОК

Я педагог, и потребность давать педагогические советы у меня в крови. Конечно, хотелось бы избежать дидактизма и ограничиться раздумьями (жанр модный и лично мне изрядно осточертевший). Но это невозможно. В педагогическое эссе, на мой взгляд, должна быть вкраплена дидактическая идея (это, простите, все тот же голос крови) — иначе для чего все эти раздумья?

Общепризнанно: ранний подростковый возраст самый непонятный и самый сложный. В школе (в семье в меньшей мере) почти не делается различий в воспитании девочек и мальчиков.

Если вашей дочери стукнуло двенадцать лет, знайте, что вы имеете дело не просто с ребенком, а с маленькой женщиной. Она не торопится еще заявить о себе, но она уже вобрала в себя некоторые тонкости поведения женщины: изящную слабость, солидарность и умение (ни за что!) не выдать тайну, необыкновенное единство (в чем-то, однако не во всем) с мамой: общие взгляды, вкусы, привязанности. И некоторые расхождения с отцом. Некоторое пренебрежительное отношение к этому странному мужскому полу — неприспособленному, неуправляемому...

Если вашей девочке стукнуло двенадцать лет и в ней ни разу не вспыхнуло (пусть крошечное!) светлое, радостное чувство от встречи с другим человеком, то это такая же беда, как и плохие отметки в журнале.

Так называемое освоение социального опыта у девочек проходит преимущественно в русле их эмоционального развития. Именно поэтому класс, в котором учится ваша двенадцатилетняя дочь, кипит от выяснения отношений. Борьба за лидерство идет не только между звездами, но и в среде непопулярных. Кто кому как сказал, кто кого пригласил пройтись по коридору, кто первый заговорил, кто показал товарища в лучшем свете перед другими, кто ни за что не изменил и кто предал навсегда (пришла новенькая в класс — и подружка с ней, а не со мной пошла в буфет!) — все это приобретает первостепенное значение.

Именно в эти годы оттачивается женское начало. Флигранную утонченность приобретают интонации, в которых можно уловить самый разный подтекст (десятки оттенков понятны подружкам — и ни один недоступен взрослым). Кружевная изысканность взглядов, полуулыбок, полукивков, полунамеков. Четверть тона, три четверти тона, восемь четвертей одной градации слова «нет» и столько же вариаций слова «да».

Ну а мальчишки в двенадцать — тринадцать лет? Мужчины? Вот уж чего нет так нет! В чем-то полная противоположность девчонкам. Их совсем по-иному занимает проблема человека в эти годы. Выяснению отношений, этому бесплодному, скучному занятию, право, нет смысла уделять внимание: и чего так мечутся девчон-

ки, галдят, как сороки,— этот так сказал, а тот так сказал! Ну и что? Кто как сказал! Разве слова можно потрогать, «спаять», зачистить, погладить?

Нет, у мальчишек свой ажиотаж. Предметный, осязаемый. Весомый. Их влечет мир вещей, животных, камней, минералов, токов, полимеров, транзисторов. Все, чем можно изменить этот мир — долбануть по нему, раскрошить, раззять, откусить, разогнуть, расплавить: молоток, плоскогубцы, тиски, паяльник, огонь.

Духовное будто отходит на задний план. Точнее, духовное они измеряют вещественной конкретностью. Жизнь собак, змей, носорогов, черепах, птиц — все это захватывает детей, и они через этот мир познают тонкую и радостную одухотворенность живого...

И спорт: лыжи, футбол, хоккей, коньки, борьба.

И проба сил: «Я ему так дал!», «А мы давай вдвоем на него нападём!», «А если ты еще раз полезешь, схватишь»...

И ожидания: «Эх, скорее бы вырасти да на Луну слетать!», «Кончить бы восьмой класс да податься куда-нибудь!»

И надежда: «Когда вырасту, ни за что на своих детей орать не буду!»

А как они относятся к кружевным изяществам своих юных однолеток-подруг? Несклько непонятно. Что-то навевает их ажурная, неясная загадочность. Но так уж все это смутно. Так отдаленно, хотя и приятно: столько очарования. И, конечно, с этими удивительными существами здорово у костра, в походе, да и в перерыве или на уроке перебраться словом, в кино сходить...

Но есть какая-то благоговейная нейтральная полоса, которую почему-то никто не переступает... Нет! В этом возрасте ребятишки будто в шоке. Девчонки точно дунение теплого ветра: раз — и нет! И только розовый запах теплоты, молочная душистость мерцающей мглы. Трепет полутонов, ореолов, нимбов, флюидных костров, вспыхивающих светлячками надежд. И глаза девчонок в остром ласкающем блеске, и блеск исчезает и теряется в звонкой, счастливой чистоте...

Стена.

Неразбужденная неясность оборачивается вдруг резкой выходкой, кувырком, шлепком, прыжком, бегом сломя голову. И сожаления девчонок: «Ненормальный!» И только кажущаяся разобченность. Они неразлучны в мыслях, поступках. Подсознание, как пожизненно приговоренный, устремлено к своей единственной свободе, приглушенной плотным пластом повседневных забот. Они неразлучны и тогда, когда их отделяет расстояние. Подсознание — та единственная свобода, которая неподвластна контролю взрослых. Никому не подвластна. Она объединяет мальчишек в скывающих одеждах своего полушока, девчонок — в вихре своих ажурных надежд. А может быть, все это не так? Мгновения непрочны! Потому родительский «синхрофазотрон» и разбивает любые подсознательные комбинации. Удар — и нет душистого аромата весенней мечты! Удар — и розовый запах надежд размыт потеками черной гуаши. Еще удар — и детство, невинное, беззащитное детство, просит пощады: «Я думала в тот момент о другом! Я ничего тогда не соображала!»

И где-то на другом конце экрана возникает система «сын — отец»: взрослых интересует совсем не то, что занимает его, мальчишку. Им безразличны собаки, лемуры, носороги, транзисторы, полимеры.

Безразличны россыпи серебряных девчоночьих голосов.

Безразлично появление мускулов (как камень на правой руке, а вот на левой совсем кисель!).

У взрослых на первом плане свое, только и знают: удар! — по какому спрашивали? Удар! — замечания были? (Не было. Ну какой дурак мальчишка в этом сознается?) И еще удар! — покажи дневник! (Дневник, это ужасное клеймо провинностей, этот камень на шею, этот доносчик в собственном портфеле, этот разграфленный, черно-белый, с красными вопросительными знаками и с приписками внизу — все кому не лень пишут!)

И пусть отец смотрит на замечания в дневнике: опоздал на второй урок, снова играл в футбол, явился на ботанику весь в грязи... И сидит он, подросток, на скамье подсудимых. Он, гордость футбольной команды. Ах, какой он забил гол тогда, перед

вторым уроком! Да за этот гол он согласился бы и на двадцать записей в дневнике. Он один пробился через защиту. И ребята бросились обнимать! Да, такое разве часто бывает? А что знает отец о том, что этот удар многое решил в его судьбе? В его отношениях с ребятами?

...Нет, другие заботы у мальчишек. Но есть у девчонок и мальчишек нечто общее — это поэтическое состояние души, одухотворенность порывов, загадочность ожиданий!

Все эти состояния как-то уживаются с отчаянием, скованностью.

Что называть отчаянием, детским горем, тупиком?

Если у ребенка тройка по математике и по русскому, он лишается радости учения. Его урок делится на две части: в первой он скован страхом — как бы не спросили, а во второй он «отходит» от страха, расковывается и поэтому, разумеется, не слушает. На уроках запоминают в основном те, кто хорошо учится. Остальные ждут перерыва, ибо перемена для большинства настоящая жизнь! Десять минут удивительной свободы, счастья, света, полная грудь воздуха, весь мир в твоей власти!

Пять-шесть учеников внимательно следят за рассказом учителя: им интересно, местами смешно, местами напряженно. А ваш хлопец тычет карандашом в лопатку соседа и шепчет какую-то глупость, и тот оборачивается, и учительница делает замечание. Делает второй раз, третий... Не станем продолжать возможное развитие событий...

Позволю себе рассказать историю. Я в ней ни слова не придумал. И даже специально точный адрес этого человека взял. Около двадцати дней я пролежал в больнице, и все это время мой сосед по койке Борис Иванович Зверев, инженер балашинского завода, проходил программу седьмого класса по алгебре, геометрии, физике.

— Понимаете, мой сын болел, потом в санатории был. Отстал. И вот сейчас приходится помогать. И я решил освоить учебники...

Мальчик приходил в больницу, и отец растолковывал ему теоремы.

— Разве может учительница знать все о каждом ребенке, — рассуждал отец, — когда у нее сорок один человек?

— Ну, вы, по крайней мере, проконсультируйтесь с ней, — посоветовал я ему.

— А что это даст?

— Возможно, она по-иному станет относиться к мальчику. Это так важно.

И я рассказал ему об эффекте Розенталя (опыт сводился к тому, что психологи обманули учителя, сказав, что пять его отстающих учеников обладают выдающимися математическими способностями, учитель стал по-иному относиться к этим детям, и через некоторое время эти школьники стали намного лучше учиться).

Что произошло? Детей избавили от страха, недоверия.

Действительно, на перекрестках страха, скованности, незащищенности порой концентрируются главные причины неуспеваемости, низкого статуса ребенка, принижения его человеческого достоинства.

Социальные психологи установили такие закономерности. Человек, который думает о себе как о никчемном, не способном ни на что, слабо включается в работу, чтобы улучшить свое собственное положение. И наоборот. Человек, который высоко ценит себя, склонен работать с высоким напряжением, максимально использовать свои возможности. Такой человек считает ниже своего достоинства спастись перед трудностями. Чувство собственного достоинства является своеобразной мерой развитых способностей, мерой самочувствия и самооценки личности.

Если ребенок знает, что его встретят дома недовольным взглядом, упреком, впросом, он чувствует себя скованно.

Скованность нарастает по мере приближения к дому. Переступил порог. Движения точно в замедленной съемке: вешает пальто (так бы и прилип к стене и не оттапал сто лет!), медленно опускает руки, снимает ботинки. А спиной чувствует вопрос: «Что получил?» И ведь давно уже догадались, что ничего хорошего не получил, иначе какого черта эта замедленная съемка: в глаза стыдно смотреть, потому что прилип к стенке, уткнулся носом в ворсистый шероховатый запах одежды... Но все равно спрашивают.

Еще секунда — и «короткое замыкание», и кто знает, что испепелят на сей раз искрящиеся контакты родительской беспощадности!

Неужели не понимают, что он ничего, кроме тройки, не может принести из школы? Откуда же взяться хорошим отметкам, если все так беспросветно запущено? Если те же густые потемки незнания и неспособность осилить предмет как паралич сковали волю, уничтожили способность соображать.

На сложном воспитательном пути всегда возникают невидимые преграды. Не только незащищенность, но и перезащищенность ведет к образованию потребительской психологии, иждивенчества.

Чувство собственного достоинства подростка — всегда отражение стиля жизни семьи. Если ребенка в семье любят, уважают и по заслугам, не перехваливая, оценивают его поведение, то он растет уверенным в своих силах. Если в семье складывается такой стиль жизни, когда кто-то дискриминируется (дедушка, бабушка, младший брат; над ними посмеиваются, на их слова и просьбы слабо реагируют), то такой стиль отношений непременно отрицательно скажется на воспитании ребенка. Подросток обязательно впитает эти формы неприязни. Если в семье складывается авторитарный стиль общения (кто-то один властвует и злоупотребляет своей силой), то такие отношения неизбежно сформируют негативные свойства характера: жестокость, неполноценность, равнодушие и неуверенность в себе.

Накопление опыта «вседозволенного поведения» часто приводит к деформации отдельных сторон личности. Особенно опасной «вседозволенность» становится тогда, когда ведет к недоброму отношению к людям. Приходит гость. Ребенок подходит и лупит его рукой. «Так его!» — подбадривает мальчика мать или отец. Ребенок хочет: счастлив. Здесь вседозволенность сливается с перезащищенностью. Ребенок усваивает шаблоны поведения, которыми вряд ли ему удастся воспользоваться в общении с друзьями, на улице. А если воспользуется, то ему придется через каждые полчаса бегать в дом и говорить, что с ним играть не хотят, что его опять кто-то ударил. Все это будет означать, что его «стандарты вседозволенности» не прошли в детском общении, а их автор был наказан.

Тот разрыв, который образуется между воспитанной дома вседозволенностью и непозволительностью в иной среде, рождает неуверенность, неполноценность. И так как ребенок не в состоянии разрешать образовавшиеся противоречия, то он часто оказывается в крайне критическом положении. С ним случаются истерики, развивается мнительность, недоверие.

Мы взяли крайний случай перезащищенности (термин американского психолога Дэвида Леви). Но всякое тепличное (нетрудовое, без должных физических нагрузок и напряжений, без чувства ответственности) воспитание ведет к образованию отрицательных черт характера.

Диалектика защищенности состоит в том, чтобы ребенок не чувствовал себя в привилегированном положении в сравнении с другими. Чтобы защищенность его складывалась не за счет незащищенности других.

Я все чаще и чаще встречаю родителей, которые стремятся к своеобразному педагогическому творчеству. Московский слесарь Петр Иванович Панов развил музыкальные способности своего незрячего шестилетнего ребенка, Алеша Панова, до такой степени, что музыкальный звук стал для мальчонки средством общения. Мальчик с увлечением исполняет сложные классические произведения, находит в музыке радость самовыражения. Петра Ивановича интересовали методы воспитания. Все то лучшее, что было в его собственном детстве, он воспроизводит в своих отношениях с сыном. И всячески избегает тех отрицательных эмоций, которые сохранились в памяти. Его требовательность к сыну очень высокая, она основана на внутренней потребности самого ребенка. Требовательность, в основании которой лежат терпимость и уважение к личности человека, к его достоинству.

Один из недостатков нашей школы таится в равном темпе продвижения вперед. То есть к отличнику предъявляются такие же требования, как и к слабому ученику. Поэтому он работает не в меру своих сил. Не в меру своего развития.

Чем раньше ребенок будет включен в процесс самообразования, тем успешнее станет его подготовка к жизни, к труду.

...В последние годы интерьер квартир начинает меняться: появляются рабочие уголки школьника. Я видел разные «типы рабочих мест». Мальчишка увлекся химией — в доме установлен стеллаж, появляется специальная посуда, горелка, отводная трубка в окно, цинком обита стена... Подросток увлекся радиоделом — в квартире шкаф, ящики с деталями, место для паяльника, маленькие тисочки, верстачок, приборы...

В семье Никитиных великолепно и скромно оборудована мастерская для работ по электричеству, слесарному и столярному делу, резьбе по дереву и т. п. В этой мастерской все — и жечь, и краски, и лаки, и растворители, и дерево, и провод, и радиодетали, и точило, и прочее. Когда я был в этой мастерской с группой ребят, то у них глаза разбегались: вот это дом! Я видел и совершенно уникальное явление. В комнате (лак на полу, хрусталь, полировка, ни пылинки) стоял обыкновенный шкаф. Николай Иванович открыл дверцу — и я увидел чудо: на средней полочке разместились крохотный токарный станочек, тисочки, сверло, управляемая настольная лампа. Я смотрел, как вытачивал Николай Иванович мне на память две крохотные шахматные фигурки (длиной не более сантиметра), и думал, что вот такой бы шкаф каждому подростку.

Почему ребенок должен мастерить? Можно привести много причин и доводов в пользу ручного труда: и физическое усилие, и выработка трудовых навыков, умений, и прочее. Ручной труд помогает ребенку глубже познавать современный мир техники, явлений природы. То, что проходит через детские руки (а именно — знание, умение, навык), дает обильный материал для самых широких обобщений. Ребенок познает мир прежде всего рукой, а затем уже глазом, ухом. И движение рук — не просто механическое ощущение. Рука — это тоже разум! Прикосновение к полированной поверхности — это не просто ощущение прохладной гладкости скольжения. Это и осмысление. Это «приятие» целостности вещи, предмета. Никакие умозрительные представления, никакие книги не смогут заменить то, что ребенок может и должен сделать своими руками. Руки развивают мозг в такой же мере, в какой разум делает движение рук осмысленным.

Вспоминается мне встреча с четырнадцатилетним американским мальчиком Марком Макфортом, отдохавшим в Артеке. Переводчик американской группы Саша Трепелков, студент четвертого курса Московского института международных отношений, сказал о нем:

— Его отличают удивительная целенаправленность, трудолюбие, деловитость. Марк выполняет любую работу с удовольствием: моет пол в столовой, подметает, командует, дежурит.

На счету у Марка около трех тысяч долларов. Работает он то ли с шести, то ли с восьми лет. Он, например, сказал так:

— На ферме я работаю восемь лет. (А ему сейчас четырнадцать.)

А потом Марк обронил такую фразу:

— Когда я был маленьким и еще не работал, я ездил с отцом по Америке.

Это было, по его словам, десять — двенадцать лет назад. Отец тогда изучал фермерские хозяйства, и он, Марк, вникал в дело...

— Если мы не будем как следует работать, — сказал Марк, — мы не выживем. Какие работы я выполняю? Вожу трактор, ухаживаю за садом. С семи лет занимаюсь всеми ирригационными работами. У нас насос на семьдесят пять лошадиных сил. Я его включаю и с помощью шланга поливаю растения.

— Но ведь ты ребенок и тебе, наверное, хочется погулять со сверстниками, — сказал я явно с намерением спровоцировать его на жалость к себе.

— О'кей! — ответил Марк, понимающе улыбаясь. — Эти все проблемы с развлечениями, играми, спортом я решаю в школе.

— А что ты делаешь после школы?

— После школы я ежедневно три часа работаю. Чищу конюшни. Ремонтирую трактора и машины. Езжу с отцом в Лос-Анджелес, где выполняю роль грузчика.

— Часто ходишь в кино?

— Не более пяти раз в год.

— А что ты делаешь летом?

— Летом мы работаем по двадцать четыре часа в сутки,— говорит он и добавляет: — Ну, я, конечно, нахожу время поиграть на тромбоне. В день по часу.

Скажу прямо: деловитостью и трудолюбием Марка нельзя не восхищаться. Меня пленила и его зрелость, рассудительность. Ну а где же его детство? Было ли оно в той неустанной борьбе за жизнь, в которой пришлось ему участвовать с малых лет? Это страшное слово — «выжить», познанное ребенком через людскую боль, через судьбы разоренных фермерских семей, которые отец Марка пытается объединить в кооператив. Мне нравится, что он с детства работает. И нравилось бы еще больше, если бы труд его являлся средством нравственного становления личности, а не способом адаптации к жестким условиям конкуренции.

Но трудолюбие действительно высшая нравственная ценность, которую, как заметил в свое время Ушинский, нельзя купить за все золото Калифорнии. Сделать труд средством осуществления нравственных целей значительно сложнее, чем этап, по-американски, «приземлить» труд, превратив его в способ борьбы с себе подобными. И хотя Марк отнюдь не производит впечатления несчастного мальчика, все же я не хотел бы, чтобы мой ребенок был поставлен в условия такого нечеловеческого усилия. В то же время я как педагог не могу не восстать и против той лени, которая порой воспитывается у наших детей именно потому, что в силу наших социальных условий у них нет необходимости с малых лет трудиться. Но эта социальная защищенность ребенка приводит к длительному отсутствию практической цепкости и делового расчета, в которых могут быть закалены его жизнедеятельные силы.

Мы много рассуждаем о трудовом воспитании и недостаточно создаем реальных условий для включения детей в труд, и прежде всего производительный.

Трудовое воспитание не сводится ни к приобретению трудовых навыков, ни к разговорам о любви к труду. Если малыш умеет клеить коробочки и красить кубики, это еще не значит, что у него сформирована потребность в труде. Пора нам наконец понять, что труд выполняет свою воспитательную функцию тогда, когда он заключает в себе какой-то экономический смысл, является каким-то делом, а не просто физическим усилием. «Сизифов труд» ничего хорошего не воспитывает, скорее наоборот: отвращение к труду появляется именно тогда, когда он напрасен, бессмыслен. Необязательно зарабатывать трудом деньги, хотя можно и зарабатывать, ничего плохого в этом не вижу. Но обязательно надо приучать детей делать дело и отвечать за него.

Иностранцы восхищаются нашей самоотверженной, трудолюбивой молодежью на БАМе, КамАЗе, в Братске. Восхищаются и тем, что наши школьники работают без вознаграждения в колхозах, совхозах. Все чаще и чаще у нас дети в летний период становятся официантами, почтальонами, курьерами, разнорабочими, и это, я думаю, хорошая тенденция. Ребенок не только рано начинает понимать, что любая профессия престижна, но и учится неинфантильно смотреть на мир, на себя. Отличительной чертой наших ребят является воспитанное в них с ранних лет бескорыстное участие в труде на общую пользу.

И все же деньги, как замечал Макаренко, являются величайшим воспитателем и личности и коллектива. Как-то я рассказал о бескорыстном трудовом подъеме школьников одному знакомому экономисту. Он спросил:

— А сколько заработали ребята на строительстве школы?

— Почти ничего. Они же для себя строилч...— ответил я.

И мой знакомый пришел в неистовство. Получалось так, что неоцененный труд детей есть наихудший вид трудового воспитания: так мы растим и бездельников и тунеядцев. Посыпались примеры о том, как рабочие едут оказывать шефскую, опять же бескорыстную, помощь колхозу, а в это время кое-кто из колхозников приписывает себе выполненную рабочими норму.

Пренебрежительное отношение к проблеме денег часто ведет к двоякому роду просчетов. У детей воспитывается иждивенчество и нежелание знать о возможных

экономических трудностях школы и семьи. И другая крайность — деньги могут воспитать алчность, зависть, стремление к накопительству.

Недавно я был на заседании одного художественного совета кинематографистов, где обсуждался педагогический сценарий, одна из тем которого была посвящена труду. Речь зашла о том, что сельские школьники выращивали растения и коллектив школы получал от этого доход. Какое возмущение вызвало у именитых людей это слово «доход»! И наготове штамп: «Это не наше воспитание!» «Не наше» оно было бы только в том случае, если бы мы использовали труд для поощрения алчности, обучения детей конкурентной борьбе друг с другом, как это происходит с Марком Макфертом. Но в наших условиях это невозможно. Так чем же тогда вызваны страхи и ужасы? Можно ли школьникам зарабатывать деньги? Не развратят ли деньги детский коллектив? Не воспитают ли корыстолюбие? Опыт лучших советских воспитательных учреждений (московский школьный завод «Чайка», ставропольские школьные полеводческие бригады, школа имени В. А. Сухомлинского и др.) свидетельствует о целесообразности самого широкого развития производительного труда в школе.

Когда я однажды написал о том, что наших детей надо учить деловому расчету, мне заметили, что наши дети прекрасно знают что почем, знают цену каждой копейке. Все это правильно. Дети у нас не лишены некоторой расчетливости. Но эта расчетливость очень часто направлена на самих себя: они подсчитывают свою мелочь, одалживают друг другу, иногда что-то продают, меняют — одним словом, «ведут свое собственное хозяйство» на «исключительно экономных и выгодных началах». Но я сейчас говорю несколько о другом. Не о развитии собственнических инстинктов и той ненужной расчетливости, которая отчуждает детей от взрослых, — я говорю о той великой коллективистской силе, которая заключена в деловом расчете, направленном на улучшение жизни и школы и семьи.

ДИАПАЗОН ПРЕКРАСНОГО

А что же, видеть мир по-своему, в своей гамме, в своих красках, в своих звучаниях, — это привилегия живописцев? Конечно, бывает и так, что мы смотрим на мир глазами художника. Реальность вдруг совпадает с зафиксированными красками одной индивидуальности: «Смотрите! Море точь-в-точь как на картине Айвазовского». Или: «А эта улочка Утрилло!», «А вот весна саврасовская. Даже грачи те же»... Таким образом, созданные «образцы видения» обогащают наше восприятие, как бы расширяя наш диапазон прекрасного.

Ветка сирени Ван Гога.

Ветка сакуры японских мастеров.

Ветка оливкового дерева Иванова.

Ветка сирени Кончаловского.

Все это не только разные краски, но и разные мировоззрения. Человек воспринимает реальную ветку сирени со всей душистостью звуков, сверканием бело-фиолетовых капель росы, с излучением того радостно-нежного опьянения, которое чуть-чуть кружит голову и тут же освежает, потому что эта затуманенность сознания разрывается вдруг чистой пронзительной струей ароматной прохлады.

Иногда человек может оставаться глухим к собственным переживаниям, потому что чувство красоты в нем не развито: эстетическое не затрагивает тех нежнейших струн, которые определяют нравственное становление человеческой личности.

Я не хочу, чтобы ребенок воспринимал жизнь в восторженно-розовых тонах. Но и страшно, когда яркий мир завлакивается потухшей асфальтовой серостью. Я всегда убеждался в том, что эмоциональная глухота была следствием не только эстетической неразвитости, но и эмоциональной черствости, духовной бедности, лениности, общей апатии и многих-многих других пороков детской жизни.

Можно заранее почти с точностью на сто процентов предсказать, кто из детей и как будет воспринимать прекрасное.

Я много ходил в походы с детьми. По-разному воспринимали дети природу. Вот типичные оценки. Духовно развитый школьник (трудолюбив, хорошо учится, хоро-

ший товарищ) впервые сталкивается с морем, он взволнован. И подбирает сравнения. И философские какие-то аналогии приходят ему в голову: «Реку можно не брать в расчет, а море — оно живет, оно как народ в праздничный день». И вечером он не может оторваться от мерцающего света, от сверкающей густой темноты, от таинственной загадочности и фантастической размерности мелодий...

И вот восприятие мальчика, в общем-то трудолюбивого (заметьте, я не самый крайний случай духовной бедности беру), спокойного, уравновешенного, послушного, но несколько ограниченного, которого надо бережно вести к пониманию красоты. Он, впервые сталкиваясь с морем, уныло замечает: «Скучно. Так много воды надито». И вечером он не видит таинственного очарования, не слышит скольжения лунной дорожки, не волнует его неумная сила могучих волн. Отогреешь такого мальчишку, научишь видеть прекрасное — и весь его облик становится другим: меняются глаза, появляется та пытливая приподнятость, которую ничем нельзя заменить, он и лучше соображать начинает, и к ребятам добрее, и с родителями мягче, отзывчивее. И труд его окрашивается особенной духовностью. И воображение становится одухотворенно-просветленным.

На вопросы родителей: «Можно ли каждого ребенка эстетически развить, научить рисовать, видеть и слышать прекрасное?» — я всегда отвечал утвердительно.

За четверть века работы с детьми мне удалось на опыте доказать, что каждый ребенок в чем-то да талантлив. И без его собственного творчества в области искусства нравственное воспитание ущербно.

Одна взрослая мама заметила мне:

— Да вы что же проповедуете? Шарлатанство? Если каждый будет рисовать? Да вы знаете, что искусство — удел избранных? Я, например, ничего не могу.

— А хотите, я докажу вам обратное. Вы напишете великолепную картину и изумительный портрет. И представьте себе, маслом. На холсте...

Мама расхохоталась. Ей очень понравились слова «масло», «холст», «портрет»...

Я принес кисти, холст и краски. Попросил хоть что-нибудь нарисовать карандашом. Она набросала две елочки, два облачка, волка с раскрытой пастью и зайчишку. Я надавил красок; они так великолепно блестели, что этот радужный блеск, наверно, что-то и задел в этой маме. Я ей предложил:

— Выберите какие угодно тона. И раскрасьте рисунок. Суриков однажды сказал: «Наконец-то я нарисовал «Боярыню Морозову», осталось только раскрасить». И вы только раскрасьте. Хотите, небо сделайте красным, деревья голубыми.

— Что ж, по-вашему, я такая дура? — рассмеялась она. — Нет, небо будет у меня синим...

Через полчаса мама ликовала: у нее получился пейзаж.

— Великолепно! — сказал я. — Но как жаль: вам никто не поверит, что это ваш рисунок...

Я играл, и она приняла эту игру. И в ней проснулся ребенок: ей захотелось еще что-нибудь нарисовать. И я подсказал:

— Портрет. Чей портрет вы бы хотели нарисовать?

— Мужа, — сказала она.

Портрет ей понравился еще больше. Между рисунком и ее характером было много общего: такая же напористость, искренность, откровенность в красках и твердость линии.

Ну а самое главное, она начала рисовать с дочерью...

Какую ошибку можно допустить в приобщении ребенка к прекрасному? Попробуем проанализировать результат воспитания в семье Макаровых. Сам Макаров рассказал о себе так:

— Я рисовал, потому что у нас в семье все рисовали. Но у меня не получалось так, как у старших братьев, и надо мной смеялись. И я бы никогда в жизни не взялся за кисть, если бы однажды не увидел рисунки и картины французских импрессионистов да и наших русских художников, живших в начале века. Поверьте, я почувствовал себя точно обкраденным. У многих из них я увидел такую же неправильность форм и взлохмаченность, которая была в детских моих работах. И яркость тонов без переходов... И я стал лихорадочно писать. Естественно, что я хотел во что

бы то ни стало приобщить и своего сына к искусству. Но вот парадокс: я сделал ту же ошибку, которую по отношению ко мне допустили мои родители и старшие братья. Помню как сейчас этот отвратительный вечер, когда мой сын (Саше тогда было не более шести) возюкал акварелью на бумаге, нанося один слой на другой (чего, как вы знаете, в акварели не рекомендуется делать), и я, наверное, с искаженным от злости лицом стал говорить: «Да нельзя же так помногу краски.. Бумага должна светиться». И финал был грустный. Больше Саша не взялся за кисточку. Как я его ни завлекал, а к краскам он больше не прикоснулся. Впрочем, попробовал он года через три нарисовать карася: задание по биологии получил. Акварель была так чисто и изящно нанесена, что каждая чешуйка, косточка, вены — все светилось, как должно светиться в акварельном рисунке. Я с огромным опозданием похвалил рисунок. Подумал, что отныне Саша возьмется рисовать. Но не тут-то было. Он за своего великолепного карася схватил трояк: оказывается, не на том формате нарисовал рыбу. Он расстроился (не карась, а Саша) и в том году больше к краскам не прикасался.

Прервав рассказ Макарова, чтобы подчеркнуть главную мысль: когда мы стремимся приохотить человека к чему-либо, мы на первых порах должны воздержаться от критических замечаний. Это всеобщий закон, распространяющийся на все виды творчества, на развитие всех человеческих интересов без исключения. Бывают, конечно, самые неожиданные ситуации. Искусство затрагивает философские проблемы бытия, коренные вопросы становления духовного мира подростка.

— Однажды Саша,— рассказывал Макаров,— нарисовал странную картинку. Я, разумеется, для себя твердо решил: что бы он ни сделал, все равно, следуя своей установке, похвалю, чтобы укрепился в нем интерес и прочее.. Но то, что я увидел, меня привело в смятение. На картине был нарисован длинный белый гроб какой-то резной работы, с выступами, с крышкой, с основанием, с карнизами — то есть такой гроб, который я, возможно, и не видел, но именно таким должно быть последнее убежище человека, — а по краям восемь разноцветных то ли урн, то ли круглых подставок. Я сейчас,— рассказывал Макаров,— могу как-то оценить свое психологическое состояние: ощущение какой-то внутренней боли сменяющей растерянной беспомощностью, ужасными догадками, предположениями... Хотелось спросить: «Зачем же так?» Не так давно наша бабушка умерла. Это самое тяжкое горе, о котором, правда, никто из нас не напоминает, но оно не покидает нас, висит в воздухе.. Приходили мысли и другого плана: когда-то Саша задал говорить о том, что ему надоело жить. Может быть, и этот гроб, думал я, навеян страшными мыслями.. И пока я размышлял, он, точно кожей ощущая мое замешательство, спрашивал: «Ну что? Ну как?» И все-таки, верный своей установке, я сказал: «Ты знаешь, удивительно прекрасно по цвету...» «Но я чувствую все же,— сказал он,— что тебе что-то не нравится в ней». «Да, не совсем оптимистично по сюжету,— промямлил я, натужно улыбаясь, и добавил: — А ты попробуй сделать еще что-нибудь. По-моему, у тебя с цветом получилось что-то необыкновенное». Саша отправился к себе в комнату и через полчаса принес мужской портрет одного из битлзов, чуть-чуть смахивающего на Харисона. Портрет был необычен в выборе красок. Кажется, я такого сочетания никогда и не видел. Фон густой чернильной фиолетовости, лицо лимонно-желтое, однако не ядовито-желтое, а мягко и тепло желтое, с некоторой белизной, волосы иссиня-черные, местами с коричневым отливом, и одежда — крапала с какой-то глубокой тенью. «Прекрасный портрет,— сказал я.— Кажется, ты сможешь сделать нечто совершенно необычное. Нет, портрет просто восхитительный...»

Я говорил так, а в голове у меня сидела мысль об этой картине с гробом. И он это понимал. И знал, что все эти мои штучки с портретом — вариант отвлечь его, замаять историю с той картинкой.. И может быть, протестуя против этого, а может быть, по какой-то другой причине, только я отлично знал, что он заговорит о своей первой картине. Так оно и получилось. Он сказал: «А мне первая штучка больше нравится. Знаешь, как я ее назвал? «Жить, чтобы жить»...» «Что же, очень по-философски.. А какой ты смысл вкладываешь в это название?» «Мне трудно это сказать,— ответил он,— но жизнь так прекрасна, что смерть лишь подчеркивает ее красоту и ее вечность...»

И все-таки в тот вечер я не смог рассуждать о его картине. Я вспоминал его разговоры о сюрреализме. Единственно чего я не могу,— рассуждал Макаров, и я с ним соглашался,— это запретить моему ребенку думать так, как он хочет. Конечно, он мыслит понятиями и ассоциациями, которые черпает из разных источников. Ведь слышался же он от кого-то о сюрреализме. Чьи-то комментарии засели в его башке. «А ты знаешь,— сказал он мне однажды,— твои Моне, Ван Гоги, Серовы, Борисовы-Мусатовы, Кузнецовы, Фальки и Ларионовы давным-давно устарели. Это официальная живопись двадцатого века. Новое искусство должно быть иным». «Абстракционизм?» — спросил я. «Абстракционизм — это тоже старо,— ответил мой сын.— Бессмыслица. Искусство делают искусством три вещи: мысль, предмет и краски. Я не занимаюсь и не буду заниматься искусством, потому что никогда не смогу овладеть такой техникой изображения предмета, какой владеет тот же Сальвадор Дали». Я не спорил. «Ты почему молчишь?» — спросил он. Я ничего не ответил. Мне надо было не то чтобы собраться с мыслями — мне надо было обдумать все. Взвесить. Подобрать аргументы. Увидеть тех моих закулисных противников, с которыми я должен был скрестить шпаги. «Тебе не нравится ход моих рассуждений?» — явно лез на рожон мой сын. И я чувствовал, как он ершился, как его всего перекручивало, как он весь сжимался и ждал моих возражений, чтобы броситься на них, загнать меня в ловушку. Ему мерещились легкие победы, этикие дары. И я поэтому отступил. Отступил весьма доброжелательно. Без какого-нибудь ехидства или провокации. «Нет, пожалуй, нравится мне ход твоих рассуждений», — ответил я, заметив тут же, как он расслабился (атака отменялась, звучал горн к отбою, вместо окопов — пуховые подушки!).

А я думал над тем, что нарисованный гроб — это вовсе не случайность, что это отраженный свет его мировоззрения. «Понимаешь,— сказал я,— в сюрреализме есть немало интересного. Хочешь, я покажу тебе одну картину? И если ты пожелаешь, сниму с нее копию и повешу у тебя над головой». Я разозлился, и он приготовился, может быть, сопротивляться. Но я знал: то, что я ему покажу, непременно снимет напряжение и он рассмеется, и это будет мое самое лучшее оружие против его «новых» взглядов на искусство. Я показал Саше картину Виктора Сонье, на которой был нарисован огромный писсуар общественной уборной: все точь-в-точь с дырочками, кафель белевский, удлинненное горлышко. Фотографическая точность предмета отрицала хоть какую-нибудь общность с живописью, и Саша понял это. «Тебе это нравится?» — спросил я, улыбаясь. «Не очень...» «Но если во имя этого шедевра можно снять со счета Ренуара и Серова?» «Ты меня не так понял...» Вот это был тот ответ, в котором я нуждался. Эта оправдательная, защитительная, оборонительная реакция была началом моей победы. История с гробом еще не закончилась. Но уже близилась кульминация. И я подходил к ней бережно, точно подо мной была тоненькая корка таявшего льда. «Впрочем,— заметил я,— мне не хотелось бы допустить нечестный прием. Я, конечно, выбрал для тебя не самое лучшее творение модерна. Вот я могу тебе показать картину, которая называется «Черви», очень увлекательный сюжетец...» Саша рассмеялся. Но это был не тот открытый смех, который снимает напряжение и разрешает противоречие. Это был смех-прикрытие. За ним был собственный мир каждого. И надо было думать и думать, чтобы вывести моего сына из тех губительных настроений, которые подкрадывались к нему и чем-то притягивали.

Так уж мне повезло,— рассказывал Макаров,— удалось достать два билета на американскую выставку «Сто шедевров из музея «Метрополитен». Когда мы пробежались по всем залам и уже имели общее представление о выставке, я сказал ему: «А вот теперь выбери то, что тебе очень и очень понравилось. И мы еще раз подойдем к этим картинам...» В первую очередь он потащил меня к Эль Греко. «Вот этот «Вид Толедо» настолько современен,— сказал он,— что я мог бы увидеть такую вещь на выставке в Измайловском парке. И написана черт знает когда — триста семьдесят пять лет назад. А его автопортрет так понятен,— добавил он,— мне кажется, что он думает о том, о чем и мы. Только он мудрее нашего...» Потом мы подошли к Яну Вермееру, к его «Даме с лютней». Саша стал рассуждать примерно так: «Вот вроде бы те же краски, что у Коро. Но Коро мрачен, романтичен, а Вермеер весь из света, тепла...» Затем мы оказались в зале французских импрессионистов. Саше понравились работы Эдуара Мане и Боннара. Когда мы вышли из музея, Саша сказал: «Все, что

мы видели, это за человека. Я многого не понимал...» «А почему некоторым твоим товарищам нравится сюрреализм?» — спросил я. «Мода», — ответил он, и я с испугом уловил мои интонации в его голосе.

Собственно, что произошло с сыном Макарова? Ведь не только в живописи здесь дело. А в том, каково отношение ребенка к жизни вообще. Конечно, духовный мир, так сказать, идеален, но он строится исключительно на предметной основе. Разговоры духовного порядка всегда вертятся вокруг материальных вещей: природа, человек, труд, искусство. По тому, как человек судит об искусстве, можно судить и о его отношении к людям. Конечно, жестокий человек тоже может любить искусство (фашисты, прослушав Бетховена или Моцарта, пытали и убивали людей), но это патологическое смещение «любви» и ненависти, «нежности» и жестокости лишь подчеркивает и некоторую нейтральность искусства. Искусство тяготеет к некоторой автономии. Именно поэтому очень важно, чтобы оно оказалось в системе нравственных гуманистических представлений, в системе, защищающей гуманистические идеи.

Отец Макаров натолкнул сына на ряд размышлений относительно унифицирующей силы влияния моды. Однажды он вытащил журнал «Иностранная литература» и привел выдержки из статьи Пьера Гаскара «Латинский квартал»: «Двадцатилетние нынче похожи друг на друга, как родственники. Да и мода смешивает их в однородную массу. Не то чтобы все они одинаково одевались. Напротив, каждый одевается на свой вкус. Но полеты фантазии, любая оригинальность меркнут в таком изобилии. Слишком уж их много, всех этих смелых фантазий, так что они в конце концов обезличиваются: своеволие в одежде становится чуть ли не униформой. Равно как и поведение, хватки, речь. Смысл различий всегда одинаков, а отсюда и неизбежное это сходство. Тут не просто совпадение, тут скорее единодушие. Такой нивелировки требует сама жизнь; а если ты уже отличаешься от других, если ты обособился, вот тут-то и начинается смерть»¹. Саша попросил еще раз прочесть эту выдержку. Стали спорить. Неопровержимость того, что подметил Пьер Гаскар, была очевидна: всюду Саша наблюдает одно и то же — ребята так и тянутся к оригинальному, а на самом деле все стремятся к одному и тому же. И может, кое-кому и нравится что-то свое в искусстве, в одежде, в манере держаться, но выстоять в этом натиске моды почти невозможно: тебя «засмеют», «унизят», «не станут водиться».

«Странное дело,— рассуждал Саша,— молодежь сама стремится к придуманной унификации, к стандартам. Что же, все конформисты?» «Многие,— заметил отец.— Надо, пожалуй, отделить моду от конформизма. Мода — это неплохо, и моде следовать надо. А вот конформизм — это слепое следование моде. Это такое подражание, которое уничтожает самобытность личности целиком». «А я стремлюсь к моде, или у меня конформизм?» — спросил Саша. «Когда ты пытаешься противостоять конформизму в том же искусстве и той же моде, ты критичен, самостоятелен и поэтому антиконформен. Но когда ты во что бы то ни стало хочешь напаять на себя только что увиденное, это ужасно! Но здесь есть и другая парадоксальная крайность — экстремистское отрицание моды есть тот же конформизм, тот же мнимый бунт... Вот какая здесь диалектика...»

И еще мне хочется затронуть одну проблему, связанную с гармоническим развитием личности сельского школьника.

Когда сравнивают условия трудового воспитания в городе и селе, предпочтение единодушно отдается селу. Когда же речь идет об эстетическом развитии, первое место, безусловно, отдается городу: там и специалисты, и музеи, и театры... Но так ли это бесспорно?

Научно-исследовательский институт общей педагогики АПН СССР решил несколько лет назад провести эксперимент в селе Прелестном Донецкой области. Цель его состояла в том, чтобы доказать, что в сельских условиях имеются свои преимущества для эстетического развития детей. Особенность эксперимента в том, что художественное воспитание связывалось с нравственным, и прежде всего с трудовым. То есть речь шла об условиях становления всесторонне развитой личности.

Основная идея нашего опыта казалась многим дерзкой и потому увлекла нас.

¹ «Иностранная литература», 1975, № 1, стр. 229.

Мы исходили вот из чего: дети не делятся на бездарных и одаренных. Никакого коэффициента способностей нет и быть не может. Все дети необыкновенно талантливы, и каждый способен к уникальному творчеству. Мы стремились создавать такие условия, чтобы неизбежен был высокий воспитательный результат. Я подчеркиваю: неизбежен! Главная установка учителя: талантливость каждого раскроется, если пробудить в ребенке духовную потребность видеть и чувствовать прекрасное, если соединить труд с различными формами человеческого наслаждения. И одно из этих условий — гарантия полной защищенности личности ребенка, которую я понимаю и как свободу личности, и как атмосферу творчества, и как такую коллективность, которая ведет к развигым формам общения, к раскованности внутренних сил ребенка.

Ребенок в рисунке непременно проявляет свою индивидуальность. Он выбирает именно те краски и сюжеты, которые наиболее полно выражают его «я».

Вот почему главным в своей работе Александр Иванович Шевченко (учитель рисования и участник нашего эксперимента) считает «расковать» силы ребенка. А для этого надо создать обстановку игры, фантазии, непринужденности.

Вот почему он начинает свои уроки не с карандаша, а с ярких акварельных красок.

— Главное — пробудить в ребенке радость цвета, — говорит он, — радость ощущения красок и процесса творчества. А затем, увлекшись, ребенок овладевает и техникой... Он сам придет к карандашу, линии, рисунку...

Вот почему он начинает с того, что учит детей присматриваться к своему селу, прислушиваться к тревогам своих отцов, вспоминать свои ощущения от прикосновения к первым зеленым побегам, прислушиваться к ночной тишине, видеть в каждом дереве живую душу. И радоваться, радоваться, радоваться. Даже самая «страшная тема» звенит неподдельным смехом. Вот одна из них: «Ой як страшно було у лиси». Какой хохот стоял, когда ребята рассматривали на рисунках совсем не страшных волков и медведей, похожих на хрюшек...

Заметьте: главная направленность работы — ориентация на детскую радость, на детский смех, на детскую увлеченность! И целые каскады поощрений! Эта стремительность, эта нарочитость непременно разбудит каждого на уроке. Да и урок-то начинается с порога.

— А ну, кто нарисует весенний ветер? — бросает Александр Иванович, входя в класс.

И вот первые акварельные рисунки в руках учителя. В каждом он находит индивидуальное, неповторимое. И не скупится на похвалу. Да и не хвалит, а просто говорит то, что думает...

Я привожу не случайный набор удачных решений, а то, что изо дня в день повторяется в неповторимом педагогическом процессе. Это повторение создает то творческое поле детской энергии, которое ободряет каждого, придает уверенности.

...Вернисаж на полевом стане. Выставка под названием «Рисуют ваши дети». Около ста детских работ посвящено труду отцов и матерей. Я наблюдал, как постепенно расправлялись морщины на лице у тракториста колхоза Ивана Давыдовича Педана, к которому вдруг обратился его товарищ:

— А, дивись, Иван, твий Сашко тебя намалевал.

И смотрит Иван Давыдович на свой синий трактор, поднимающий зябь (так уж совпало: Иван Давыдович и в этот день подымал зябь), на бескрайние просторы вспаханного поля, на надпись под картинкой, аккуратно выведенную сыном: «Папа на работе» — и лицо его смягчается улыбкой...

В последнюю нашу встречу мы составили с Александром Ивановичем на новое пятилетие план экспериментальной работы. В перспективе эти наши занятия объединят учителей-предметников, ибо осуществление синтетических программ по искусству (живопись, литература, история, труд) приведет к тому, что элементы эстетического видения станут частью мировоззрения, одним из действенных способов утверждения в детях духовных ценностей, формой приобщения к труду.

Вот пришла к Александру Ивановичу пятиклассница Галя Заборская — принесла

свой лучший рисунок и сочинение к нему. Галя месяц проработала в колхозе и поэтому нарисовала своего бригадира тетю Лену. Тетя Лена, в ярком голубом платочке с красными цветами, стоит на колхозном току среди только что намолоченного хлеба. Колхозный амбар полыхает оранжевой крышей, синяя машина уходит в степь, и сама Галя в красном сарафане. Нежное, трогательное чувство к своему бригадиру девочка выразила и в своем сочинении. «Тетя Лена,— пишет она,— работает у нас бригадиром. (Заметьте это уверенное «у нас».) Она очень хорошая, ласковая. Тетя Лена выбрала меня учетчиком. Я очень старалась, чтобы не подвести нашу хорошую тетю Лену. Ей 40 лет. Ее все уважают. Работает она хорошо. На лицо она красивая. Видно, что умная. Тетя Лена лучше всех!»

Одна из картинок Гали, грустная, но поэтичная,— «Печальная мать». Научить ребенка видеть в глазах другого человека не только радость, но и боль, печаль, грусть, тревогу — это и есть одна из сторон воспитания потребности человека в человеке, величайшей основы личности, основы формирования коллективизма.

И то, что искусство детей вошло в духовный мир колхозников, органически вписалось в их трудовые будни, стало привычным для глаза, для сознания, является результатом многолетней кропотливой работы, пронизанной большой идеей подлинного гражданского и патриотического воспитания средствами труда и искусства. Не случайно председатель колхоза Константин Харитонович Лысак на протяжении многих лет следит за уроками Александра Ивановича, за развитием студии, нет-нет да и заглянет к ребятам, поинтересуется:

— Может, еще что-нибудь надо: краски, холсты, машину для выставки в соседнем селе?

Вся эта работа помогла как-то по-иному осознать многие теоретические положения педагогики, в частности понятие «коллектив». Вот за одним столом сидят и первоклассники, и старшие ребята, и учителя, и пожилые колхозники. У них общие интересы, общие дела. Шофер «скорой помощи» Николай Карпенко написал картину «В кузнице», и она очень понравилась детям. А каждый пейзаж колхозного художника Николая Жижченко, который ведет с ребятами кружок рисования, прямо-таки событие для всех. По вечерам ребята вместе со взрослыми много говорят об искусстве. На столе репродукции Серова, Врубеля, Ван Гога, Ренуара... Так духовные ценности объединяют взрослых и детей. Коллективная самостоятельность, помноженная на индивидуальное творчество каждого, и дает настоящее гармоническое всестороннее развитие детей.

СВЕТОТЕНИ

Вы знаете, что творится с вашими детьми, которые на подходе к шестнадцати? Вы знаете их тайные переживания, которые так же неожиданно вспыхивают, как и бесследно исчезают?

Вы не чувствуете угрызений совести, когда изо дня в день ставите в укор своим детям: «Ты ленив! У тебя мозги ленивые! Встряхнись!»?

Вы уверены, когда утверждаете: «Мой ребенок никогда этого не позволит»?

Каждый из этих вопросов в моей педагогической практике прозвучал в трагической ситуации. Мера трагизма для каждой семьи разная. Для одних трагедия — непослушание и своеволие ребенка. Для других — совершенное преступление. Наверное, есть и непоправимые шаги. Роковые.

Передо мной два письма от родителей, чьи дети учились в одной из школ: десятиклассница и шестиклассник покончили жизнь самоубийством. Родители обвиняют учителей. Будто причиной тому, что девочка выбросилась с седьмого этажа, были такие неосторожные слова: «По-моему, ты скатываешься, Света...»

Но ведь и мама и папа были рядом с дочерью. Были рядом и не заметили тревоги. Точнее, заметили — и не придали значения!

Я глубоко верю, что те эксцессы, которые имеют место в воспитательной практике, могли быть предотвращены. Если бы воспитатели пользовались иными методами. Если бы атмосфера и личности общения были иными.

В жизни любого подростка существуют кризисы. В одних случаях критические моменты являются условием дальнейшего роста человека, а в других случаях ведут к накоплению безнравственного опыта.

Великая сила педагогического искусства как раз и состоит в том, чтобы даже отрицательные моменты в становлении характера поставить на службу гармонического развития личности. Педагогический идеал требует, чтобы принцип бережного отношения к ребенку соблюдался всюду, в большом и малом. В воспитании лучше недогнуть, чем перегнуть. Лучше лишний раз поощрить, чем наказать.

Для родителей свой ребенок самый дорогой, самый лучший. Каким бы он ни был. И в этой некоторой идеализации воспитания заложен самой природой великий смысл. Такого рода идеализация создает обстановку защищенности ребенка в своей семье. Я имею в виду не всепрощение, а готовность родителя понять и разделить детское горе, если такому суждено случиться.

Незыблемость педагогического идеала основывается на бескомпромиссности нравственных установок. Ребенок не может совершить аморальный проступок, если изо дня в день всем укладом жизни ориентирован на такие нравственные нормы: самое выгодное — быть честным человеком, лучше отдать свое, чем взять чужое, нет большей радости, чем сделать доброе дело для другого. Привести в соответствие нравственные нормы с педагогическим идеалом — значит, правильно определить гармонию между целью и средством воспитания. Нельзя вдавливать нравственные принципы. Нельзя колотить ребенка, говоря ему: «Будь честным и добрым!» Дисгармония цели и средства неизбежно приведет к отрицательному результату. Чтобы определить меру оптимальных, то есть гармонических, решений, надо знать те крайности, которые сопутствуют идеалу.

Бывает и так, что «идеализация» уводит от реальной картины. Вместо действительных представлений в голове родителя иногда складывается такой контур наклонностей своего ребенка, что даже самим детям делается смешно от удивительной наивности своих пап и мам.

— Ах, мой ребенок,— говорит мама о своей пятнадцатилетней девочке,— да она и понятия не имеет о физической близости мужчины и женщины.

— Ах, мой ребенок,— говорит другая мама,— да он не позволит руку поднять на живого человека. Вы знаете, как он любит кошек и собак. Ни одной передачи о животных не пропустит...

— Ах, наша девочка,— говорит третья мама,— да она, бывало, и когда предложит ей выпить в праздник, откажется... Как случилось, что она так много выпила?..

Все три мамы потом были в зале суда. Все три девочки были замешаны в хулиганском поступке: избили девочку, будучи в нетрезвом состоянии. Мотив избиения: их подруга не выполнила требования — не вступила в физическую близость с парнем...

Оля Кравцова, так звали девочку, которую привлекли к суду за избиение подруги, рассказывала:

— Мы научились отстаивать свои права не хуже мальчишек. У каждой из нас мускулы, сильные ноги... Мы и мальчишек поколачивали.— И добавила: — А все дерутся. Только вот мы попались...

Когда в «Литературной газете» был опубликован очерк Е. Богата «Урок» (восьмиклассницы одной школы избили подругу, а мальчишки при этом стояли и один из них корректировал удары), то я провел обсуждение этой статьи с десятиклассниками московской школы. Общий ответ был таким:

— Это, конечно, садизм, но он есть везде. Человека никогда не бьют просто так. Но когда неприязнь выражается в такой форме — это аморально...

И не было в лицах девчонок нравственного потрясения: точно им рассказали не о том, что до полусмерти избили человека, а о каком-нибудь самом заурядном случае.

И такая деталь. Девчонки этого класса, как и те, которые избили подругу, любили животных.

Я давно заметил, что доброе отношение детей к собакам, кошкам, курам совсем

иное, чем доброе отношение к человеку. Если ребенок любит животных и не способен рубить им головы, это еще не значит, что он будет добр к людям. Я бы предпочел, чтобы мой ребенок прежде всего был добр ко мне и к другим людям, а затем уже души не чаял в животных. Точнее: человек, который любит людей так, что готов положить за них душу свою, будет любить и все живое. Когда я работал в интернате, часто возникали такие ситуации: надо было резать кур, уток. Мальчишки вызывались сами. Дома они встречались с такой «естественной ситуацией». Я, разумеется, замечал и тот совершенно необычный блеск в их глазах (точно некоторая опьяненность вспыхивала в зрачках), когда они прямо-таки рвались продемонстрировать свое «бесстрашие». Господи, думал я тогда, что это? Вылезшая из глубины веков специфическая черта мужчины? (Ведь только мальчишки рвались к «убийству» — девчонки в это время визжали и прятались по углам, но уже через десять минут спокойно четвертовали выхоженных ими уток и курочек.)

Я и тогда думал: а не воспитывает ли такое отношение к животным жестокость? И тут же поправлял себя: но ведь таким способом можно дойти и до индуистского обоготворения всего живого — и тогда прощай говядина, биточки, отбивные и даже безобидные фрикадельки!

Я длительное время изучал судьбы преступников-рецидивистов, имевших большие сроки за убийства. Почти каждый из них любил животных, и почти никто из них в детстве не вешал кошек и не казнил собак, не отрывал крылья и головы птицам. Напротив, у некоторых была почти патологическая любовь ко всему живому, точно компенсировалась за счет той жестокости, которая проявлялась в совершенных преступлениях.

Если ребенок любит зверушек, это прекрасно. Но если он на первое место ставит внимание к своему щенку или котенку, а на второе — заботу о бабушке или товарище, то над этим надо серьезно задуматься.

Коренное отличие отношения ребенка (в каком бы возрасте он ни был) к животным и к людям заключается в том, что забота о животных связана преимущественно с игрой и с удовольствием. Кроме того, в общении с животными ребенок выступает всегда в роли хозяина. Он, если хотите, приобретает не столько опыт доброты, сколько опыт власти.

В общении с людьми доброта всегда связана с преодолением в себе каких-то своих желаний. Доброта всегда и долг и отказ от собственных удовольствий. Отказ во имя того, чтобы получить более высокую радость: радость творения добра! Не тот добр и щедр, у кого всего много и он небольшую часть отдает другим, а тот, кто отдает последнее!

Проблема «позволительности» в воспитании девочек имеет совершенно другую окраску, чем при воспитании мальчиков. Если позволительность ведет к вседозволенности, это всегда плохо. В воспитании девочек малейшее приближение к недозволенности, как правило, приобретает уродливые формы. Попробуем коснуться тех социальных причин, которые связаны с проблемой «позволительность — вседозволенность» в воспитании девочек.

Социальная тенденция эмансипации женщины не миновала и школу. По сути дела, девочки получают и равное образование и почти одинаковое воспитание: одни и те же общественные дела, одни и те же способы разрешения противоречий, один и тот же опыт трудового, физического и духовного становления. И вполне закономерен тот факт, что девочки стали самоутверждаться мальчишескими способами. Телевидение, кино, книги, радио изо дня в день вырисовывают отдельные детали и черточки идеала девочки XX века: этакий мальчишка-подросток, который вертится в мире техники, спорта, труда. И одежда мальчишечья — брюки, куртка. И стрижка как у заправского парня. И манеры резкие, точные. И сила необычайная. И в ситуациях самых сложнейших и решительных не теряет самообладания. И готовность к риску. И бесстрашие. И зубы стиснуты, И губы в ниточку. И подбородок — сплошная воля. И заметьте: всегда в чем-то сильнее, умнее, мудрее парня.

Девочкам позволили делать то, что нередко их огрубляет, уничтожает их нежность, ту прекрасную «слабость пола», в которой нередко сказывается истинная сила девушки, женщины.

Что? Назад к XVIII веку? Нет. Дело не в этом. Надо использовать все преимущества современного воспитания (в смысле условий) и сделать все возможное, чтобы учесть специфическое в воспитании девочек.

Воспитание в школе должно быть одновременно и «совместным» и «раздельным». Очевидно, отдельные мероприятия в школах надо проводить только с девочками. Иной может быть и физическая нагрузка в труде, в походах. Вряд ли надо культивировать женскую слабость. Но воспитывать женский «аристократизм», если можно так сказать, необходимо. И это воспитание должно идти параллельно с развитием рыцарского отношения мальчиков к девочкам. На одном из диспутов старшеклассников вспыхнул неожиданно спор об идеале девушки, которую можно полюбить и жениться. Говорили о достоинствах женщины-жены. Помню самые разные высказывания: «Я хочу, чтобы она была фанатично предана мне», «Она должна работать», «Она должна быть равной», «Она должна быть помощницей», «С ней обо всем можно говорить», «Ей можно доверить самое главное». И никто не сказал о том, что ей надо создать условия, чтобы она могла воспитывать детей. Никто не сказал, что ее надо беречь, что самое главное ее качество — нежность.

Культивирование идеала сильной женщины (женщины-капитана, женщины — крановщицы, бетонщицы, шофера, моряка, летчика) неизбежно привел к такому варианту повольтельности, которая и сделала необходимым проявление различных форм чисто мужского поведения.

У мальчиков и девочек должны быть, на мой взгляд, разные способы самоутверждения в детской среде.

Когда мы говорим — пусть дети сами разберутся, мы допускаем некоторый вариант конфликтного столкновения: может ведь дело и до кулаков дойти. Что ж, у мальчишек это почти нормальное явление: вспыхнули, налетели друг на друга как петухи, а через пять минут уже мирно разговаривают. «Когда я вижу, что дерутся двое мальчишек одинаковой силы, — пишет Я. Корчак, — я не прерываю, а смотрю вместе со всеми. Лучше обождавать. Ведь если сразу вмешаться, ожесточение возрастает».

Детство несет в себе много такого, что противоречит нормам морали. Ребенок слабо контролирует свои действия. Чем он меньше, тем «аморальнее» может выразить свои чувства: ударить взрослого, плюнуть в товарища, толкнуть — и рассмеяться, если удар оказался «удачным», выкрикнуть бранное слово, содержание которого он едва лишь понимает, и т. д. Но по этим отдельным выходкам нельзя судить о нравственности ребенка в целом. В поступках шаловливого мальчишки есть некоторый элемент привлекательности, той дозволенности, которая адекватна самой природе детства. Ребенок проходит все ступени своей социализации через преодоление «аморальных» форм своего самоутверждения в среде своих сверстников. И, очевидно, миновать эти ступени и соответствующие им способы реагирования на окружающий мир невозможно.

Я вовсе не хочу подвести читателя к тому, что драка в детской среде — закономерное явление. Считаю: воспитание должно быть так поставлено, чтобы исключались драки и в среде мальчиков и тем более в среде девочек. Некоторым кажется, что если их ребенок — девочка — умеет постоять за себя (с кулаками!), то таким образом воспитается сильная личность. Один родитель написал в «Литературную газету» письмо, где он откровенно призывал к тому, чтобы воспитывать в детях бойцовские качества. «Я рад, — рассуждал он, — когда моя тринадцатилетняя дочь приходит из школы вся в синяках и ссадинах, но гордая и непобеденная: так воспитывается сильный характер».

Читатели газеты в своем большинстве ответили ему: так воспитывается жестокость! Воспитывается не сила, а бессилие. Ибо единственная нравственная сила человека состоит в творении доброты, в утверждении норм нравственности нравственными средствами, исключаящими любую аморальность.

Итак, современные девочки-подростки перенимают некоторые «аморальные» способы утверждения своих ценностей у мальчишек. Эти драки носят характер самоиспытания, испытания себя на силу, на вседозволенность. И в этой тенденции кроется страшное зло. Девочка более эмоциональна и более последовательна в своих дей-

ствиях. Больше того, в драке мальчишек, как правило, срабатывает то рыцарское великодушие, которое неукоснительно требует выполнять ряд правил: лежачего не бьют, нарушать законы чести нельзя, запрещенные приемы не использовать... У девочек нет своей рыцарской эволюции. Может быть, поэтому девчонка в драке становится бешено-неразборчивой, она прямо-таки тяготеет к недозволенности: норовит расцарапать лицо, укусить, схватить за волосы... Все это гнушно, ужасно и отвратительно. Какую меру самоутверждения можно противопоставить тем отвратительным способам, которые используются в среде «сильных личностей»? Только единственную: женственность, доброту, нежность, ум.

Сила женской духовности в чем-то да особенная! Уже в девочке-подростке формируется такая природная красота, которая проявляется в движениях, поступках, во взгляде, в какой-то удивительно привлекательной настойчивости и непорочности, в какой-то мягкости, в какой-то совершенной цельности и противоречивости. Если у нее порыв чувств, то он настолько беззаветен, что трудно не откликнуться на него таким же чувством. Если она страдает, то так мужественно, что хочется возвыситься до такой способности переносить горе. Если она добросовестна, то невольно задумываешься, откуда же такое терпение у нее. Если она смеется, то светлеет все вокруг. Она облагораживает детское общение своей внутренней силой, которую отлично чувствуют мальчишки и подсознательно ценят очень высоко. Берегут эту силу. Берегут как высшую ценность.

Если девочка трудится, то ни в чем не уступает сильному полу, и работает, как правило, с радостью, ибо любит любое дело, а не только то, которое по душе. Вот, казалось бы, простенькая задача: убрать в комнате, что-то приготовить на завтрак в турпоходе,— а девочка непременно внесет в это занятие свою крупицу изящества. Это «врожденное» чувство красоты связано с историческим развитием идеала нравственности, если можно так выразиться.

Представления о том, что идеал женственности был в прошлом лишен трудового, деятельного или даже спортивного начала, неверны. Даже дворянское воспитание в России ставило одну из первых и главных целей — физическое развитие девочек. Широко культивировался с малых лет конный спорт, позднее коньки, санки, а систематические упражнения в танцах не уступали по нагрузкам спортивным занятиям по гимнастике. Если учесть тот факт, что эти занятия чередовались с прогулками на воздухе, пребыванием летом и зимой в деревне, систематическим сидением за пядьцами или музыкальными инструментами, то нетрудно воспроизвести и некоторую картину единства духовной и физической подготовленности. Собственно, об этой физической закалке свидетельствуют и такие факты: русские декабристки мужественно переносили те страдания, которые вышались на их долю, они не жаловались на судьбу, когда им пришлось перейти на крестьянский образ жизни — носить воду, топить печь, вести хозяйство. О мужестве женщин-революционерок говорят многие документы, свидетельствующие не только о хорошей физической подготовке, но и о том, что эта физическая развитость находилась в сплаве с такими качествами, как непреклонность, смелость, вера в свои силы.

Если внимательно всмотреться в лица современных девочек-подростков (особенно когда они захвачены трудом, учением, игрой), то в их самоотверженности, благородстве, чуткости и необыкновенной доброте невольно в мельчайших подробностях улавливаешь тот исторически сложившийся идеал женственности, который складывался веками. Не случайно в повести Тендрякова «Весенние перевертыши» мальчишка видит в своей однокласснице черты прекрасной Наталии Гончаровой. Именно глядя на свою одноклассницу, мальчишка говорит о духовно-физическом совершенстве девочки словами Пушкина:

Тебя мне ниспослал, тебя, моя Мадонна,
Чистейшей прелести чистейший образец.

Когда мы говорим об идеале девочки-подростка, мы не исключаем из ее облика и некоторую спортивность и физическую закаленность. Эти качества не только не помеха тому духовному совершенству, о котором писал Пушкин, но и физическая основа нравственной цельности. Подлинная женская красота — это красота, соединя-

ющая в себе три начала: здоровье и жизнелюбие будущей матери, деятельностно-духовную силу будущей хранительницы семейного очага и святому непорочность любящей жены.

Вот мы и подошли к одной из самых тонких тем воспитания. В последние годы наблюдались две различные тенденции в подходах к детской влюбленности. Сторонники одной яростно защищали детскую любовь, призывали к бережности. Появились книги и фильмы о первой любви. Их общая направленность: большое и светлое чувство одухотворяет, обогащает, делает детей счастливыми. И другая тенденция: детям любить вредно. Доводы: им надо заниматься. Если все «повлюбляюся», то что же тогда будет? И методы: насмешки, осуждения, одергивания.

Но вот что любопытно. Сторонники первой тенденции, защитники детской любви, в конечном итоге, когда дело касалось их собственных детей, замечали:

— Нет, я против того, чтобы мой ребенок влюбился...

Аргументы? Они несколько сбивчивы, стыдливы, и все-таки в них просматривается зрелая бескомпромиссность. Приведу разговор с одной мамой.

— Вы против, чтобы ваша девочка нравилась другим?

— Ну что вы! Разве найдется такая мама, которая была бы против того, чтобы ее дочь нравилась окружающим? Мне приятно, когда знакомые восхищаются моей дочкой (девочке тринадцать лет), говорят, что она красивая... Мужчины? Они обращают внимание на какие-то особенные черты или вообще мимоходом говорят: «Какая симпатичная...» Нет, иногда замечают и красоту глаз, и цвет и пышность волос, гибкость и силу тела... Разве в этом есть что-нибудь дурное?

— Конечно, нет ничего дурного. А девочке эти комплименты приятны?

— Невероятно. Моя дочка, когда мы отдыхали летом, все меня на танцы тащила. Ее не сами танцы интересовали, а то, сколько раз ее пригласят танцевать. И когда она убедилась, что пользуется успехом, успокоилась и больше на танцы не ходила.

— Значит, девочке не безразлично отношение к ней со стороны противоположного пола?

— Не только не безразлично. Девочка постоянно должна ощущать, что с ней приятно общаться другим.

— Что же васстораживает?

— Ничего. Я просто не хочу, чтобы ребенок мой раньше времени влюбился. Любовь — сильное чувство и может преждевременно заслонить девочке весь мир. Я не хочу, чтобы моя дочь преждевременно замыкалась в узкую «любовную пару».

— И вы не хотите, чтобы ваша девочка испытала радостное светлое чувство детской любви?

— Детской? Хочу. Она у меня, кстати, постоянно находится в состоянии некоторой влюбленности. То в учителя физики влюбилась, только о нем и говорила. А как говорила — с благоговением, счастье в глазах! То в парня из соседней школы, только и трещала о нем: «Ах, как он играет на гитаре! Как держится!» А неделю тому назад в кино пригласил одноклассник, и она решила, что он влюбился, потому что парень вел себя несколько ошалело: стал заикаться, дарить какие-то вещи, писать записки. И когда такого внимания через три дня не стало, моя Катька у меня спрашивает: «Что же он даже не звонит?» Я ей объяснила, что у него дела, что он, значит, серьезный, что у него... Катька успокоилась.

— И это все вы считаете естественным, допустимым?

— Разумеется! Не в монастыре же она, а в нормальной школе учится!

— Тогда давайте уточним, что же вас в первую очередь смущает в ее отношениях?

— В первую очередь?

Мама подумала. Но я чувствовал, что она знает, что ее смущает в первую очередь, но сказать об этом не решается даже не потому, что стыдится, а потому что скорее боится неточно выразиться. Точнее: опасается, как бы ее суждения не прозвучали слишком односторонне.

— Понимаете, что бы я ни сказала, все будет не так истолковано: уж больно тонкая тема... Ну, конечно, я не хочу, чтобы моя дочь замыкалась на ком-нибудь одном...

— Ну а разве сам факт того, что она сегодня с одним, а завтра с другим (ведь кто-то кого-то, наверное, бросает, оставляет, доставляет горе), не смущает вас?

— Вы меня не так поняли...

— Я не вкладываю дурной смысл в эти слова «сегодня с одним, а завтра с другим».

— Понимаете, я хочу, чтобы мой ребенок полноценно развивался...

Попробуем сделать выводы.

Поведение ребенка должно соответствовать его возрасту. Когда мы говорим о детской влюбленности, мы имеем в виду детское чувство, детское увлечение, детскую потребность испытывать счастье от сознания определенной духовно-чувственной общности с другим человеком. Я склонен определить детскую влюбленность как эмоциональное состояние, которое не несет в себе сексуальной нагрузки. Выражение этой влюбленности — взгляд, слово, смех, разговоры, письмо, записка, совместное посещение кино, театра, катка. Это и готовность помочь и прийти в трудную минуту на помощь, это и умение выслушать, вникнуть в эмоциональное состояние другого. Такого рода общение полезно, хотя и не надо его поощрять какими-то специальными мерами. Это общение возникает само по себе.

А если не возникает?

Вот еще один разговор с другой мамой.

— Просто не знаю, что делать с девочкой. Так страдает, так мучается. Все вечера так и простоят у стеночки: никто не пригласит на танец. Вроде бы и одевается не хуже других и на лицо не уродина...

— А что вас так пугает в дочери? Отличная девочка...

— Все правильно. Но вот замечаю, что в ней накапливается какая-то злость. Почти не смеется. Скованная. Всего боится...

— И вы думаете, это оттого, что она не нравится мальчишкам?

— Только мне, матери, видно страдание моей девочки... И я сердцем чую, что эти ее мучения не на пользу ей...

Итак, а если не возникает? Вот в данном случае: мама этого не знала, но именно семья была причиной того, что их дочь была непопулярной в классе. А объяснялось все очень просто: девочке покупали и пальто навыворот, туфли навыворот, шапку навыворот — все добротное, но с упреждением года на два. И выглядела она в этой «упреждающей» одежде, мало сказать, неуклюже — просто все на ней было несовременно, как-то топорщилось, над ней посмеивались, и себя она чувствовала скованно. А родители этого не замечали, и девочка боялась заявить о себе...

Должна ли мать думать о том, чтобы их девочка хорошо выглядела? Чтобы одежда была удобной и современной? Чтобы девочка в первую очередь сама себе нравилась? Непременно. Одна из задач полового воспитания девочки как раз и состоит в том, чтобы научить ребенка следить за собой, за чистотой и цветовой гаммой одежды, женственностью своих манер.

Должна ли мать думать и заботиться о том, чтобы девочка нравилась не только девочкам, но и мальчишкам? Непременно.

Должна ли мать опасаться серьезной любви своей дочки-школьницы? Непременно.

Почему? Всякое перенесение «взрослых моделей» в чувственную сферу жизни детей уродливо. А Ромео и Джульетта? — спрашивают многие в таких случаях. Ромео и Джульетта Шекспиром даны не как вариант детского увлечения, а как большая, прекрасная взрослая любовь. Здесь сложившаяся взрослая модель и никакого отношения к нашему разговору не имеет. Больше того, вариант Ромео и Джульетты в наших социально-экономических условиях крайне опасен и губительно безнадежен.

Как понять эту двоящую трудность детской жизни?

У ребенка жизнь намного сложнее, чем у взрослого. У него самый большой в мире рабочий день — до четырнадцати часов в сутки. Вторая трудность связана с собственным ростом, а это очень сложная работа. Ребенку приходится постоянно «осваивать» свое новое тело, улавливать новые желания, которых раньше не было и которые гулко заявляют о себе. Рост изнутри — к этому нельзя привыкнуть, ведь ничего не повторяется, все только один раз. Новая энергия скапливается в душе ребенка, она требует выхода. Если не дать ей выйти, непременно случится беда... Бесконечные подавления желаний и потребностей часто приводят к внутренним конфликтам.

Девочка, которая однажды встретилась с мальчишкой и который ей понравился

и возникла некоторая взаимность, живет долгое время в прекрасном очаровании: ей и работаете легче и учится она с большей радостью. И вся жизнь приобретает тот высокий смысл, который нужен будет впоследствии. Ребенок больше, чем взрослый, нуждается в одухотворенной взаимной симпатии! Детская влюбленность — это то прекрасное чудо человеческой жизни, которое может сделать всю судьбу человека настоящим подвижничеством, гражданским порывом. Ребенок без романтической влюбленности чахнет, как чахнет взрослый человек без надежды, без веры, без радости.

Две главные нравственные добродетели должна культивировать педагогика: трудолюбие и любовь к человеку. Крайне опасна и недопустима здесь тенденция некоторого абстрактного упрощения. Не вообще любовь к человеку, а к конкретным Ване, Лене, Кате, тете Даше, дяде Пете. И не простое благоговение перед этими конкретными именами, а деятельное участие в их жизни. Чем конкретнее будет чувство ребенка: помог задачу решить или растопить печь, вытащил занозу или принес нужную вещь, отказал себе в чем-то, уделил внимание близкому человеку — именно такая конкретность поступков и чувств создает правильное эмоциональное развитие ребенка.

Было бы ошибкой, разумеется, здесь и такое упрощение. Ребенок может любить другого человека всем сердцем — жить помыслами о нем, ориентироваться на него в своем поведении — и ни в чем не выражать своего отношения. Точнее, эта ориентация на обожаемое лицо и есть своеобразное выражение чувства, за которым стоит порой готовность пойти на что угодно во имя этого человека.

И снова мне хочется подчеркнуть и выделить нечто самое главное. Опасно, если это чувство захватит настолько, что ребенок не в состоянии работать и думать о чем-либо другом. Если любовь к человеку только расслабляет, только уводит от действительности, она неизбежно творит зло. И это вовсе не догмат примитивного мышления (любить — значит, лучше работать), а то единственное педагогическое кредо, которое может и должно спасти детскую любовь, дать ей право на законную жизнь.

И еще одна существенная деталь: нужно знать, как любит ребенок — умом или сердцем. Детское сердце неопытно, поэтому крайне важно научить ребенка анализировать свое чувство. Конечно, позиция «чувство анализом можно убить» интересна сама по себе. Но она лишена педагогического содержания: ведь ребенка надо всему учить. Поэтому если мать или отец задают ребенку вопросы: а что тебе в нем, или в ней, нравится? а что ты больше всего ценишь в нем? а как бы он поступил в такой ситуации? а как ты относишься к нему? а не смогла бы ты ему помочь? а почему он тебе не помог? — все эти вопросы крайне нужны ребенку. Не верьте ребенку, когда он уходит от подобных вопросов. Конечно, нельзя вламываться в личные дела дочери или сына. Эта тема настолько деликатна, что говорить о ней можно лишь в том случае, когда уже сложились самые доверительные отношения. Но даже в этом случае надо быть крайне осторожным. Ребенок всегда испытывает некоторую неловкость от подобных разговоров. И это чувство стыдливости ни в коей мере нельзя уничтожать. И все-таки, учитывая все эти деликатные нюансы, надо изредка проговаривать эту сложную, вечно закрытую тему. Ребенку всегда может понадобиться совет старшего друга. Ведь многие беды и несчастья так или иначе связаны с «личной неустроенностью» ребенка.

Никто не изучал этот прекрасный мир детских чувств. Этот скрытый, клокочущий вулкан переживаний. Мир детских чувств педагогика стыдливо обходит, полагаясь на писателей, на кино...

Родительский опыт не придает детским чувствам особенного значения: дескать, все прошло через это и незачем голову ломать...

Вообще в такой позиции есть много рационального: невмешательство родителей в личную сферу жизни ребенка создает обстановку полной защищенности подростка. Но диалектика защищенности состоит в том, чтобы, «вторгаясь» в самые глубокие уголки души ребенка, защитить его от неоправданных неудач, избавить от мучительных страданий, объяснить неведомое... И это «вторжение» будет оправданно только в том случае, если ребенок сам обратится к маме или отцу за разъяснением. Если по каким-либо соображениям ребенок не желает разговаривать на эту тему, ни в коей мере не надо настаивать, высказывать и т. д. Ребенок должен знать, что его личная жизнь

является его собственным неотчуждаемым достоянием, что он на эту жизнь имеет законное право и доверять ее тайны может сам, и самому близкому человеку. Степенью близости в подобных ситуациях и определяется поведение родителей. Разумеется, если в это время по каким-либо причинам отношения стали холодными, то никакого разговора об интимной стороне жизни ребенка быть не может. Поэтому крайне важно, как бы ни конфликтовали взрослые и дети, надо непременно беречь ту доверительность, которая сложилась однажды. Ребенок должен знать: «У нас есть с мамой нечто такое, что дороже всего...» И родитель должен изредка напоминать ребенку об этой сокровенной стороне отношений: «Мы можем как угодно спорить и даже в чем-то обижаться друг на друга, но нас объединяет не просто кровное родство, а такая духовная связь, которая обязывает и попросить помощи и протянуть руку, когда это понадобится... Если этого не случится, то будет самое большое предательство...»

Одним словом, приблизить к себе ребенка надо, только таким образом можно обеспечить возможность влияния на развитие его духовного мира. Таким образом, тактика «вторжения», о которой я говорю, не уничтожает логику невмешательства в личную жизнь ребенка: суверенность прав личности всегда должна быть на первом месте.

Я не разделяю точку зрения некоторых педагогов, которые с позиций невмешательства в жизнь ребенка рассуждают так: организуйте правильно всю жизнь ребенка (главным образом трудовую) — и все станет на свои места. Это не совсем так. В мире чувств ничего не происходит само собой, это не менее сложная и трудоемкая работа сердца, мозга, души, чем учение или любой другой труд.

Если мы научим ребенка любить, мы научим его всему! Такая формула может показаться неожиданной. Но я готов привести некоторые доказательства. Любовь к человеку тогда будет настоящей, когда она принесет радость любящим. Когда станет условием развития творческой активности каждого. Когда станет фактором саморазвития, актуализации духовных и физических сил. Если этого самораскрытия нет, если чувство «оглуляет», убивает лучшее, что есть в человеке, значит, произошла нелепая ошибка и надо непременно ее исправить...

Я понимаю, насколько рационалистически подхожу к столь тонкому и щепетильному вопросу, но иного подхода (напомню, педагогического) быть не может. Я непременно связываю любовь с творческой деятельностью человека, с трудом. И эта связь закономерна, на мой взгляд. Любовь к труду, конечно, великое дело. Но если труд не опосредован отношением к человеку, то какова цена этому труду? Труд может выразить всю полноту человеческого счастья, всю полноту нравственного отношения к человеку, кем бы он ни был — папой или мамой, бабушкой или тетей Дашей, товарищем или близким другом, учительницей или целым коллективом школы. Весь смысл человеческого существования заключен в том, что человек, живя для себя, живет и для других. Если человек только для себя (со своим трудом даже), то зачем такой человек? — так сформулировал в свое время соотношения «я» и «мы» Горький.

Может быть, здесь я что-то путаю, что-то подставляю, накручиваю с логикой? Давайте еще раз вместе прикинем. Цель: ребенок должен приобрести опыт проявления своих лучших человеческих чувств. Гармоническое развитие требует того, чтобы им был накоплен опыт эмоциональной культуры. Без опыта светлых чувств к другому человеку не может быть ни хорошего труженика, ни семьянина, ни гражданина. И так, с целью все обошлось нормально. Детский опыт любви не противоречит великим воспитательным задачам.

Ну а средства?

Вот со средствами несколько сложнее. Что же, специально заниматься организацией столь интимных и прекрасных процессов? Нет, специально не надо. Но помочь разобраться в переливах души ребенку надо непременно. А эти движения души всегда на поверхности.

Если подросток не находит себе места, стал либо чересчур нервным, либо сонно-апатичным, значит, к нему подкрались те чувства, в которых надо помочь разобраться. Если подросток вдруг стал ярким негативистом, стал низвергать авторитеты, значит, он где-то и в чем-то потерпел неудачу и ему грозит «личная неустраивенность». Если подросток не слышит ваших советов или обращений, если он вообще никого и ни-

чего не слышит, значит, к нему пришло то светлое чувство, которое может стать и великим счастьем и большой бедой. Когда в народе говорят: в любви добра не ищи, — очевидно, имеют в виду и то противоположное содержание, которое таится в этом сильном чувстве.

Детское чувство более опасно, чем чувство взрослого. С обрыва своей неопытности ребенок вдруг попадает в неизведанный бурлящий водоворот стремительных переживаний. Впервые вспыхивает ревность, обида, боготворение и та томительная сладость ожидания, которая уничтожает собственное «я», и та готовность отдать все, сделать все, достичь всего, и та страшная непоправимая ответственность — все это вдруг! неожиданно! необъяснимо!

И еще одно предположение: если главное качество личности — коллективизм, то его основа — любовь к человеку.

Когда учитель в классе зачитал очерк, в котором рассказывалось о том, что девочки избili свою подругу, девятиклассник Сергей Рапилин не задумываясь сказал: — Все такие. Тут нечему удивляться.

Ответ мальчишки насторожил учителя. После уроков учитель разговорился с мальчиком. Рапилин низвергал класс, мораль, воспитание, обычаи, семью, своего отца, бабушку, мать. Рапилин умен. Отличник. Прекрасно ориентирован в музыке, литературе, политике: готовится быть дипломатом. Наблюдателен, обычно спокоен, дисциплинирован. А тут точно безумец: резок, беспощаден, гневен.

— Вы меня извините, — говорит он учителю, — но вы и представления не имеете, как мы живем и как мы затаенно ненавидим друг друга! У нас нет ни одной нормальной пары друзей, которая хоть как-то ладила бы внутри себя. Впрочем, есть одна. Седова и Корнеева. Но побудьте с Седовой пять минут — и она такую поливку устроит своей подруге, что только удивитесь, сколько злости вмещается в этой крохотуле. И тут же поговорите с Корнеевой — и она вам расскажет о всех пороках своей подруги, и про ее большие зубы, и про ее бесконечные гастриты с поносами, одним словом, нарисует такую картиночку, что рвать станешь, а не то чтобы общаться с нею. И все с расчетом, с умыслом, чтобы себя выпятить. А ходят в обнимку: коллективизм! А Евтеев? Вы посмотрите, как он шестерит на уроке. Историку самописку подарил. Мы ему говорим: «Ты подонок». А он: «Ну и что?» Ну как с ним общаться? Понимаете — душу не на кого положить! Вот какая жизнь у нас получилась. И в классе и дома.

— Дома у тебя вроде бы нормально было? — спросил учитель, знавший, в общем-то, благополучную семью Рапилиных.

— А вы знаете, что я неделю тому назад собирался из дому сбежать?

— А что так?

— Вы не представляете, что у меня за отец! Вот если у него на работе все благополучно, приходит в дом нормальным человеком. Но как только какая-нибудь неприятность (а сейчас их все больше и больше — почти каждый день), так спасайся кто как может. Месяц может не замечать, где висят мои штаны. Но в этот день он поднимет визг, что деться не знаешь куда. И ходит, и зудит, и пилит — и меня, и бабушку, и мать... Да если бы пилил, а то орет на всех без разбору. Мать, конечно, тоже шумит, но ей я могу простить, а вот ему не могу. Никогда не смогу...

Рапилин доволен произведенным эффектом: он кажется себе убедительным и неотразимо взрослым.

— А знаете, какая основная причина нашей разобщенности? — спрашивает Рапилин и тут же отвечает: — А то, что мы слишком много общались. Слишком хорошо узнали друг друга. Всю подноготную. Все мелкие мыслишки и недочетки каждого. Гипертрофия общения, как сказал бы Макаренко... Вот у нас компания шесть человек — и только одного я по-настоящему уважаю...

Как только Рапилин, говоря о классе, касался Марины Карасевой, так его уверенность исчезала в голосе и блеск глаз смягчался.

— Ну а Марина? — не удержался учитель.

— Ну, тут мне трудно говорить, есть на то некоторые основания.

Учитель в отчаянии: что делать? Ищем причины вспыхнувшего, как скарлатина, негативизма Рапилина. Выясняем, что он отвергнут Мариной, — и теперь весь свет ему

не мил. Личная неудача рождает огромную энергию в силу отщепености. Отщепенство неизвестно кому. А может быть, потребность в нежности обернулась такой черной пропастью, извергающей зло? Рапилин — лидер в классе. Идеолог. Его настроение точно пороховым наполняет все обозначившиеся трещины, а слово как спичка: малейшее приближение — и пороховые переплетения летят обломками бывших симпатий. Опасная и ненужная игра чувств! Опасный неоправданный негативизм!

Нужны меры. А мера может быть только одна — учить культуре чувств. Учить доброте любви. Учить беречь и хранить тот бесценный дар, который человеку удалось сохранить, несмотря ни на что.

Ну а педагогические выводы? Они несут в себе вечные проблемы человеческого общения, когда один «треугольник» накладывается вдруг на другой.

И все же?

Ах, как Сереже нужен долгий рассказ! Спокойный голос. Мягкий свет настольной лампы. Или мерцание звезд. И все по деталям. Неотступно. Показать ему, как он богат, как счастлив. Как не сумел распорядиться своим богатством. И рассказать ему о том, чтобы вел себя мужественно, что в его ситуации все не так уж плохо, не все потеряно. И показать ему (очень тонко и тактично) всю мерзость его бестактности: нельзя проклинать то, что ты любил. Только тогда ты сможешь полюбить еще раз, когда сумеешь не запятнать того, что было...

А с Мариной? Надо ли говорить с Мариной? Непременно!

И нельзя недооценивать эти разговоры о чувствах, о привязанностях, о вкусах и ценностях.

В педагогике долгое время неоднократно подчеркивалось, что только деятельность и только деятельность формирует личность. С этим нельзя не согласиться. Но пусть в понятие «деятельность» входит и то интимное общение, которое направлено и на освоение нравственных норм, и на постижение высоких нравственных идеалов в труде, любви, учении, в занятиях спортом, искусством, наукой.



ДНЕВНИКИ. ВОСПОМИНАНИЯ

М. М. ГРОМОВ,
генерал-полковник авиации,
Герой Советского Союза



ЧЕРЕЗ ВСЮ ЖИЗНЬ *

Я СТАНОВЛЮСЬ ЛЕТЧИКОМ-ИСПЫТАТЕЛЕМ

Зимой двадцать четвертого года на соседний с нами научно-опытный аэродром поступил из Голландии самолет «Фоккер Д-11» — истребитель, видимо для испытаний с целью закупки серии. Его сопровождал представитель фирмы летчик Мейнеке. Самолет этот долго испытывался несколькими летчиками НОА, недостаточно тренированными и мало летавшими. Никто из них не мог выполнить чисто ни одной фигуры высшего пилотажа. Я до того загорелся желанием показать, как можно летать на этом самолете, что надоел начальству просьбами перевести меня с педагогической работы на испытательную. Я видел в испытаниях и романтику, и спортивный интерес, и большие возможности для творческого участия в прогрессе авиации. Моя настойчивость в конце концов восторжествовала, и меня перевели в НОА. Но тут, на мою беду, наступила дружная весенняя распутица и полеты временно прекратили. Я ходил по аэродрому как замороженный и мысленно представлял свой будущий полет и как он будет выглядеть с земли.

Проснувшись однажды утром и выглянув в окно, я увидел ясное синее небо. Вскочил с постели, немедленно оделся и побежал на аэродром. Посмотрев на высохшую полосу, с которой можно взлететь, побежал к начальнику летной части Василию Васильевичу Карпову по прозвищу Дядя Вася. Увидев его, еще издали закричал:

— Дядя Вася, дай, пожалуйста, пролететь на «фоккере»!

— Не могу, — спокойно ответил он. — Самолет приказано разобрать и отправить на испытания в воинскую часть.

— Дядя Вася, да ведь я перешел к вам, чтобы пролететь на нем. Ведь я ночами не спал в ожидании...

— Тогда звони начальнику НОА.

Позвонил и получил разрешение. Сердце мое забилося от счастья. Дядя Вася, получив такое разрешение, заявил:

— Сначала я пролечу сам, а затем полетишь ты.

Он взлетел, набрал высоту полторы тысячи метров, попробовал сделать вираж и... сорвался. Другая попытка — и опять неудача. Я ходил, как тигр перед прыжком. Дядя Вася приземлился, подрулил и выключил мотор.

— Очень уж чуткая машина, — заявил он. — Будь осторожен. Чуть тронешь ручку — и она бурно реагирует.

Пришли все летчики НОА и немец-сдатчик Мейнеке посмотреть на мой первый полет в новом амплуа. Сел в самолет. Привязался и попросил ознакомить меня с системой охлаждения. Осталось мне данные о самолете и моторе я заранее знал. Знакомство продолжалось не более пяти минут, так как зрительная память у меня отличная.

— Контакт?

— Есть контакт!

Мотор заработал, температура воды поднялась до 60 градусов — можно взлетать.

* Продолжение. Начало см. «Новый мир» № 1 с. г.

Даю полный газ, отрываюсь от земли и сразу ввожу самолет в вираж с крутым креном сначала влево, а затем, замкнув круг, вправо, снова вираж влево, затем спирально с большим креном попеременно влево и вправо, чтобы доказать, что возможность выполнения чистых виражей не случайность. Набрал высоту триста метров, без промедления делаю переворот влево, из него в петлю, из петли переворот вправо, из него снова в петлю, из петли бочка влево, бочка вправо. Высота стала двести метров. Набираю спирально высоту до семисот метров. Штопор. Влево виток, вправо виток, вход в петлю, два переворота, теперь уже высота сто метров, делаю скольжение влево, вправо и с большим креном иду на посадку. Когда я подрулил к ангару, меня встретил Мейнеке, потряс мне руку и сказал по-французски:

— O! C'est un pilot du monde! («О, это один из пилотов мира!» Или, как говорят у нас, мировой пилот!)

Дядя Вася также с жаром пожал мне руку:

— Ну, брат, ты нас порадовал!

Через тринадцать лет, после моего полета через Северный полюс с установлением двух мировых рекордов дальности, Мейнеке прислал мне телеграмму: «Я Вам предсказывал Ваше будущее!»

Этот полет повлиял на всю мою будущую авиационную карьеру. Я его запомнил как лучшее мое дерзание за всю жизнь. С этого момента я уверовал в себя как летчика-испытателя.

Если я садился в самолет уже испытанный, с нормальным поведением, я в первом же полете делал на нем все что только позволяла его прочность. Если же самолет оказывался «сырой» и о нем не существовало еще определенного мнения у ранее летавших или же шел просто первый вылет еще не летавшего, опытного образца, то я старался, начиная со взлета, уловить, как самолет реагирует на движение рулями. Обычно начинал изучение опытного самолета в конструкторском бюро в чертежах, расчетах, продувках. Особо интересовался устойчивостью. До того времени, когда мы, летчики, узнали, что такое устойчивость и как она проявляется в воздухе, мы летали, не понимая истинного значения этого свойства самолета, обеспечивающего управляемость и безопасность пилотажа. Не сразу сосредоточили на нем свое внимание. Но об этом я расскажу позже.

Через год в НОА пришел только что закупленный «Фоккер Д-13». Он был крупнее «Фоккера Д-11», и на нем стоял мотор уже не в 300 лошадиных сил, а в 450. Я увидел этот самолет впервые на московском аэродроме, когда на нем приземлился Мейнеке. Посадка была с сильным разгоном на большой скорости. Мейнеке подрулил к ангару, около которого стояли В. В. Карпов и я. Выходя из самолета, он спросил:

— Кто будет испытывать наш самолет?

— Не знаю, — ответил я.

Но Дядя Вася знал.

— Испытывать будет Громов.

— Тогда я спокоен и завтра же улетаю в Голландию, — сказал Мейнеке.

До испытательного полета за это время я должен был ознакомиться с некоторыми изменениями в конструкции знакомого мне самолета и с теми возможностями, которые ему давал более мощный мотор. А кроме того, меня волновала мысль: а что нового смогу я продемонстрировать на нем в моем искусстве пилотирования самолета? Меня можно упрекнуть в честолюбии, но я не принимаю этот упрек. Я всегда слыл за скромного до застенчивости человека на земле, но в воздухе никогда не был скромным и стремился раскрыть все свои способности. Да и смог ли бы я стать летчиком-испытателем, если бы летал, ничем не отличаясь от других пилотов, и не показывал своего мастерства? Конечно нет. «Фоккер Д-13» предоставил мне возможности поднять искусство пилотирования самолета на более высокую ступень, и я, конечно, не мог от этого отказаться. После долгих раздумий я решил выполнить на нем иммельман — очень сложную для тех времен фигуру высшего пилотажа, которую никто до этого не делал в нашей авиации.

Взлетел длиннейшей горкой. Затем несколько левых и правых замкнутых крутых виражей с набором высоты. Переворот влево, из него вправо, из него в петлю, а из пет-

ли иммельман. Он удался. Бочка влево, вправо. Переворот, петля, еще петля, из нее — иммельман. Два поворота, скольжение и посадка. После этого полета иммельман как фигура высшего пилотажа быстро вошел в моду, многие летчики стали делать его на «Фоккере Д-11», которым комплектовались военные части.

Эту новую фигуру высшего пилотажа я выполнил чисто потому, что был хорошо тренирован. Самолет же имел чуткое управление и совершенно нормальное поведение. Уже в то время для меня никакой трудности в пилотировании любого самолета с нормальным поведением не существовало. Принципиальной разницы в управлении большим самолетом с каким угодно числом моторов или малым, истребительного типа, нет никакой. Разными бывают только нагрузки на рычаги управления и некоторые особенности реакции самолета на действия рулями, но они решающей роли на самолете, доведенном до нормального поведения в воздухе, не играют. Все зависит от опытности, а вернее сказать, от чуткости пилота в обращении с этим сложным механизмом.

Помню, как на одном из собраний инструкторов нашей школы обсуждались вопросы успеваемости учлетов в каждой инструкторской группе. Одному инструктору задали вопрос: как успевает такой-то курсант? Он ответил весьма несложно:

— У него плохое чутье к самолету.

А что же это такое? Чуткость летчика на заре авиации имела особенно большое значение. Тогда в распоряжении пилота еще не было никаких приборов, кроме счетчика оборотов мотора и в некоторых случаях высотомера, который пристегивался к руке или ноге. Представьте себе следующий обычный эпизод в летной практике тех лет. Для выполнения горки самолет после отрыва от земли разогнался до максимальной скорости и на высоте полуметра, набрав скорость, быстро переходил в очень крутой (близкий к вертикальному) подъем. Естественно, при этом скорость самолета постепенно уменьшалась. Но чем выше горка, тем больше оценивалось искусство пилотирования и храбрость пилота, а заканчивалась она переходом в горизонтальный полет. Но я не помню случая, чтобы кто-либо при этом разбился. Спрашивается, каким образом пилот определял без приборов, что пора заканчивать горку и перевести самолет в горизонтальное положение? Чутье, только чутье подсказывало ему, когда наступал этот решающий момент.

Я мог бы привести десятки примеров, когда это труднообъяснимое свойство человека выручало его из беды, но в этих примерах столько специфических тонкостей, разобраться в которых несведущему человеку затруднительно. Утверждаю, что даже теперь, при совершенной технике и тончайших и многочисленных приборах, чуткость, чутье летчика остается важнейшим фактором в авиации. Чутье присуще человеку в управлении и другими видами техники, оно незаменимо. Шофер, например, инстинктивно сбавляет скорость на повороте, как бы он ни спешил. Бывают, правда, случаи, когда, не рассчитав, а точнее не почувствовав, какая скорость допустима, шофер при спешке переворачивает машину, но это очень редко бывает и объясняется психической ущербностью водителя. Все, кто плохо чувствует машину, летают и ездят до поры до времени. Человек и машина представляются мне как единый живой организм.

Что же это за такой «прибор» — человек? На этот вопрос я не берусь ответить, но в совершенство его очень верю. Некоторые ученые и сейчас утверждают, что никакого чутья нет, все дело в приборах. Но как объяснят они мне, каким образом множество раз я летал без всяких приборов, делал высший пилотаж над землей на большой и малой высоте и не убится?

Но возвращаюсь к прошлому.

НОА в те времена был решающим и контрольным органом при оценке свойств самолетов. В НОА поступали уже испытанные на заводах самолеты как советского производства, так и иностранного. Для заводских испытаний опытных экземпляров советских самолетов назначались летчики по выбору самого конструктора после соответствующих, разумеется, рекомендаций. Привлекались для испытаний такого рода и летчики НОА. Меня пригласили в ЦАГИ (А. Н. Туполев) и на авиационный завод (Н. Н. Поликарпов). Кроме испытаний самолетов, в НОА осуществлялись практически все проблемы, связанные с организацией и осуществлением полетов в

различных условиях. Мне пришлось участвовать в решении почти всех этих проблем. Расскажу об одной из них — о ночных полетах.

Начинали мы их на самолете «авро». Сперва взлет и посадку осуществляли на полосе, освещенной лучом прожектора. Но постепенно задачи, которые мы решали, усложнялись. Мы научились подниматься в темноте, а садиться при фаре, установленной на левом крыле. Затем и самолет стал посложнее — «Р-1». Тренировки — далеко не безопасные.

Летчик Андрей Юмашев с наблюдателем Борисом Вахмистровым однажды вынуждены были сесть в полной темноте вне аэродрома. Шасси снесло, самолет лег на фюзеляж, но оба остались невредимыми. Юмашев мне рассказывал:

— Ты понимаешь, ночь как нарочно темным-темна. Когда остановился мотор, то впечатление такое, будто мы опустили в могилу.

— Да, — ответил я, — наверное, заскучали?

Вахмистров, остро слов, никогда не терявший присутствия духа, оценил это событие так:

— Как всегда: дон Педро был уже в пасти крокодила, как вдруг раздался выстрел...

Этот каламбур принадлежал ему и применялся им, когда счастливая случайность выручала из беды.

Чудесный парень, как мы его называли. Ни с кем в те годы я не любил так летать, как с ним. Приятно было сознавать, что рядом с тобой человек, который не спасует ни перед какой опасностью.

Навигация в темные, безлунные ночи сложна тем, что тогда в авиации не применялось радио и приходилось искать хоть какую-нибудь зрительную связь с землей. К чему это приводило, если такой связи не существовало, можно убедиться хотя бы на одном из полетов, где я был пилотом, а аэронавигатором — Иван Тимофеевич Спири. Мы взлетели с Московского центрального аэродрома темной осенней ночью на самолете «дежвиленд» с мотором «пума». Выше нас — сплошная облачность, а под нами — ключья полупрозрачных облачков. Мы должны удалиться от аэродрома на семьдесят километров к намеченному заранее озеру и вернуться назад. До озера долетели благополучно и развернулись обратно, но в темноте потеряли ориентировку. Прошло время, должна показаться Москва, а ее нет. Еще пять—семь минут — и сквозь пелену облаков начали проглядывать огни, которые говорили о том, что мы над каким-то городом. Мне казалось, что это не Москва. Спири уверял, что Москва. Я продолжал кружить над огнями и наконец в одном месте увидел речку... Не похоже на Москву-реку. Продолжая кружить над огнями, решил подождать рассвета, который должен был вскоре наступить...

Начался рассвет. Наконец по виду реки и контурам города я определил, что это Подольск, повернул самолет и полетел над железнодорожной линией. Когда приземлились, нас встретили особенно тепло — опасались, что мы уже не вернемся.

Одной из интереснейших проблем была проблема полетов в облаках. Необходимые приборы тогда уже появились, но расстановка их, сделанная по иностранному образцу, оказалась неудачной и затрудняла управление самолетом. К тому же полеты в облаках мы проводили «под колпаком» — для тренировки полета вслепую, только по приборам. На самолете устанавливали колпак из материи, которым закрывался передний пилот, а сзади сидел другой на спаренном управлении. Понятно, что такой полет ко многому обязывает ведущего пилота и его напарника. Я это очень остро почувствовал, когда мне и штурману Николаю Потапову поручили пролететь полтора часа в «болтанку» под колпаком.

Мы вылетели по заданному курсу Москва — Тверь. Видимость была хорошей, но, создавая условия полета в облаках, закрылся колпаком и ориентировался только по приборам. Болтало здорово. Прошел установленный срок — полтора часа, спрашиваю Потапова:

— Как, время вышло?

— Да, вышло. Я вас открываю.

— А где мы? И какой курс обратно?

— Мы, по моему, слева от Октябрьской дороги Курс — такой-то.

Слово «по-моему» мне всегда не нравилось и не нравится до сих пор. Оно не только ни в чем не убеждает в обычном житейском обиходе, а уж там, где должна быть точность и определенность, это слово совсем неуместно. Меня сразу это насторожило. Прошло десять минут, а я не видел ни слева, ни справа никакой железной дороги.

— Где она? — спрашиваю Потапова.

— По-моему, слева.

— А курс?

— Я уже дал.

Прошло время, которое говорило о том, что мы уже должны быть на аэродроме. Но вместо аэродрома пересекли еще какую-то двухколейную железную дорогу. Прошло еще минут семь, и я увидел еще одну железную дорогу.

— Что это за дорога и куда лететь дальше?

— Не знаю.

Тогда я снизился и попробовал прочесть название станции, но без успеха, так как мешали деревья. Затем выбрал около железной дороги небольшую площадку среди леса и приземлился благополучно. Сходил на станцию и узнал, что это Наро-Фоминск. Мы поднялись и скоро оказались дома. Задание выполнили, а над Потаповым посмеялись. Штурман оплошал. По-видимому, хорошая погода и хорошая видимость (для него без колпака) настолько успокаивающе подействовали на него, что он несколько размечтался и, целиком доверившись летчику, ослабил свое внимание. А в нашем деле надо быть всегда начеку.

Сколько у меня было вынужденных посадок! И все-таки все заканчивались благополучно. Расскажу об одной из них.

Я летел на испытание радиосвязи самолета с аэродромом на «Р-1» с радистом Чернавским. Летели над рекой Окой, приближаясь к Тарусе, как вдруг мотор остановился. Я мгновенно отдал ручку от себя, чтобы не терять скорости, и самолет перешел в планирование, но ни слева, ни впереди — ни кусочка земли для приземления. Оглядываясь назад и вдруг вижу маленькую полоску заливного луга рядом с Окой. Но туда нужно лететь и приземляться по ветру, что очень рискованно. Решаюсь сделать это, другого выхода нет. Дохожу до полоски луга по ветру и вижу, что хотя и на пределе, я все же успею развернуться для посадки против ветра. Развернулся, как галка, над землей и сел против ветра. Удивительно, как мне всегда везло! Вспоминал в таких случаях Боба Вахмистрова и его дона Педро, который «уже в пасти крокодила, но...».

Чернавский остался у самолета, а я стал добираться до Москвы. В этот день я использовал все виды передвижения: пешком, на велосипеде, на лодке, на катере, на поезде, на автобусе, на трамвае... Но вынужденная посадка, как видите, и на этот раз прошла благополучно.

Работа летчика-испытателя была для меня захватывающе интересна. Участие в разработке новых методов навигации в трудных погодных условиях и особенно испытание самолетов новой конструкции очень увлекали меня. Конечно, все это связано с риском, но что поделаешь — такая должность. Должность не по назначению, а по призванию.

ПЕРЕЛЕТ МОСКВА — ПЕКИН — ТОКИО

Наконец наступил знаменательный для меня 1925 год. Ранняя весна. Стоял чудный яркий солнечный день.

Закончив полеты, я собирался уходить с аэродрома. Меня остановил товарищ Райвичер, начальник Центрального аэродрома. Широко улыбаясь, он шел навстречу:

— Ну поздравляю! Здорово, здорово!

— С чем поздравляете? — удивился я.

— Как, вы еще не знаете?

К слову сказать, мой собеседник обладал редким свойством знать все раньше всех. И на этот раз он оказался «на высоте».

— Вы же назначены в перелет — в Китай.

Я буквально задохнулся от восторга. Помню как сейчас, вышел с аэродрома, перешел Ленинградское шоссе, перешагнул через мутный ручеек, «гонимый вешними лучами»... Все кругом утопало и сверкало в весеннем ярком солнце. Я не чувствовал земли под ногами. В таком состоянии «невесомости» вошел в НОА в Петровском парке, где меня официально оповестили о состоявшемся назначении.

Теперь, осмысливая события тех дней, я думаю, что мои полеты, описанные выше, сыграли в этом назначении решающую роль. Предстоящему полету придавалось большое политическое значение, предполагалось широко освещать его в печати, в кино. Именно поэтому с нами летели, кроме специалистов, журналисты, писатели, кинооператоры. Намечаемый полет по праву мог продемонстрировать многонациональному советскому народу и всему миру, что теперь Советский Союз, опираясь на свою авиационную промышленность, мог совершать смелые перелеты.

Началась подготовка.

Шесть летчиков выслушали задание на соответствующем заседании. Каждый из пилотов назвал своего бортмеханика. Были определены самолеты и указано, на каких кто полетит.

Начальником экспедиции назначили И. П. Шмидта. Высокий, с огромной каштановой бородой, с вечно расстегнутым воротником рубахи и небрежно заломленной кепкой, Шмидт выглядел весьма импозантно. Он был не авиационным специалистом, а пропагандистом, агитатором как по профессии, так и по своей натуре.

Борода Шмидта вскоре стала среди летчиков и механиков притчей во языцех. Он сразу получил прозвище Борода. Кто-то узнал, что по-китайски борода — «тахуза», с этого момента весь состав экспедиции иначе не называл его как Тахуза. Относились к нему неплохо, но добродушно между собой посмеивались над ним. Таков уж русский человек: сердце доброе, но язык остер. Да специалисты всегда любят подтрунивать над людьми, несведущими в их специальности.

Старшим помощником Шмидта по летной организации назначили Михаила Волковойнова.

То была зра, когда еще не существовало в авиационной промышленности парашютов, мало кто летал и по компасу. Вся экспедиция на шести самолетах летела, ориентируясь только по картам. Первый самолет нашей, советской конструкции — «АК-1», профессора Александрова; три самолета — нашего производства: два из них «Р-1» и один «Р-2»; два самолета — пассажирские, «Ю-13» — происхождения иностранного. Они предназначались для перевозки сопровождавших нас корреспондентов. «Юнкерсы» пилотировали Иван Климыч (Клементьевич) Поляков, старый инструктор московской школы, практиковавший на «Фарманах-4», и Н. И. Найденев, Кеша, как звали мы его, в свое время известный конькобежец. На «АК-1» летел А. И. Томашевский, сильный и решительный человек несколько божьего характера. На «Р-2» летел обаятельный, скромный, молчаливый, красивый и храбрый А. Н. Екатов. На «Р-1Б» летел М. А. Волковойнов, зарекомендовавший себя в крупных полетах по стране как опытный летчик и хороший организатор-командир. С ним был механик В. П. Кузнецов. На втором «Р-1А» летел я с механиком Е. В. Родзевичем.

Писателей, журналистов, кинооператоров летело не меньше, чем летчиков и механиков вместе взятых, они не умещались в «юнкерсах», и некоторых из них взяли вторыми пассажирами на «Р-1» и «АК-1». Ко мне в самолет подсаживалась Зинаида Рихтер, мятущаяся душа. После потери мужа она, казалось, выискивала специально рискованные и труднейшие предприятия. После полета вышла книга З. Рихтер, в которой содержалась лестная для меня характеристика. Публикаций об экспедиции было немало, среди них интересные, иные легковесные. Так, помню дамски восторженный отзыв о моей внешности ленинградского журналиста, долго служивший для моих товарищей поводом к розыгрышам. Словом, писали все, и писали так, как пишут о героях.

Летел с нами Шнейдеров — кинооператор и режиссер. Тот самый, которого так еще недавно все мы часто видели в телепередачах как организатора «Клуба кинопутешествий», любили и ждали встреч с ним. Скольких уже участников полета в Китай нет в живых! Лишь остались в архивах интересные снимки, кино, остались они и в памяти сверстников, помнящих об этом полете.

Старт был дан 10 июня 1925 года. Мы летели этапами по пятьсот — семьсот пятьдесят километров, останавливаясь по нескольку дней в наиболее крупных городах европейской части СССР, Сибири, Монголии. В Китае, в местечке Мяотань, мы долго ждали разрешения на посадку в Пекине (около двух недель, насколько помню).

Первый этап — путь на Казань.

У нас был установлен определенный порядок вылетов и договоренность о взаимной выручке. Волковойнов и я летели парой на однотипных самолетах и вылетали последними, чтобы в случае вынужденных посадок оказать помощь или в крайнем случае определить место посадки. Два «Ю-13» держались тоже вместе как однотипные. Томашевский на «АК-1» и Екатов на «Р-2» летели в одиночестве, так как их самолеты имели другие, отличные от наших скорости. Они всегда поднимались первыми. Были утверждены условные сигналы ракетами в случае вынужденной посадки. Например: «нужна техпомощь» — одна зеленая ракета, «посадка возможна» — две зеленые ракеты, если посадка опасна — одна красная ракета и т. д.

В Казань все прибыли благополучно. Встреча в городе была чрезвычайно многолюдной и торжественной. Этому немало способствовало предварительное широкое освещение полета в печати. Обычно на другой день после посадки — митинг на аэродроме с участием всей экспедиции. Шмидт выступал первым. Его агитаторские и пропагандистские способности раскрывались в этой обстановке с особой силой, и каждое выступление награждалось дружными аплодисментами.

На аэродром стекалось колоссальное число народа. Особенно трогало нас, что приходили приветствовать экспедицию крестьяне. Некоторые из них шли по двадцать — тридцать километров, чтобы взглянуть на самолеты и летчиков. Пристальное внимание проявляли к нам сибиряки.

Через три дня мы направились к Сарapulу. На этом перегоне у Волковойнова произошла вынужденная посадка по какой-то незначительной технической неполадке. Он дал мне знать ракетой, что в помощи не нуждается, и вскоре действительно приземлился в Сарapulе...

Не так было просто в те годы выбрать подходящую площадку и сесть против ветра. В полете летчики, умудренные опытом, уже заранее определяли направление ветра над землей. Какой контраст с современной авиацией! Самолеты надежно несут сотни пассажиров в любую погоду, иногда не видя земли, и приборы точно определяют путь самолета. Связь с землей в любой момент всегда надежно обеспечивается.

В Сарapulе пробыв два дня, тронулись дальше через Урал. Впереди нас ждал Курган. На этом перегоне у меня произошла вынужденная посадка: за Уралом, недалеко от города Шадринска, не сработал добавочный бензобак. Как выяснилось позже, задрался дюрит (резиновая соединительная трубка) при стыковке двух бензотрубок.

Я дал сигнал Волковойнову «нуждаюсь в техпомощи». Мы с Родзевичем моментально выложили ему «Т». Он приземлился, отлил мне часть своего бензина. Наши механики, два замечательных смекалистых техника с золотыми руками, действовали отлично. У Волковойнова — Василий Петрович Кузнецов, а у меня — Женя Родзевич. Они очень подружились за время нашего перелета, хотя и по характеру и по внешнему облику удивительно разнились. Василий Петрович, настоящий русский самородок, говорил мало, но уж если влепит слово, то так метко и так остроумно, что пристанет оно навеки. Небольшого роста, невзрачный, простой, ничем не выделявшийся на вид. Труженик примерный. Женя же был высокого роста красивый парень, необычайно сметлив в работе, с неисчерпаемой энергией, абсолютно неутомимый.

Дальше все шло благополучно.

В Новосибирске мы задержались на пять дней. За это время успели побывать в кино, в театре. Но с утра вовсю кипела работа — самолеты готовились к следующему этапу. Лишь однажды произошла заминка. Явившись на аэродром, к своему удивлению, не обнаружив Жени. Можно представить, как обеспокоило это меня. Все разрешилось благополучно — оказывается, он накануне провозжал домой после спектакля одну новосибирскую балерину, проводы, видимо, затянулись. Но Женя был достоин снисхождения — рыцарские чувства я считал необходимым поощрять. Шмидт об этом не узнал, и, возможно, к лучшему...

Нам предстояло лететь до Красноярска над сплошной тайгой, начинавшейся сразу за станцией Тайга. Это расстояние предельное для наших самолетов. До Красноярска мы с Волковойновым и два «Ю-13» долетели благополучно. День стоял отличный. Некоторым затруднением для нас оказался дым от горевшей местами тайги. Немногие ориентиры в виде рек, железной дороги лишь временами виднелись в густом дыму.

Тайга — беспредельный лесной массив, и о вынужденной посадке не могло быть и речи. Впервые мы увидели под самолетами насколько хватало глаз сплошной массив леса — зрелище необычайное.

...Прилетели в Красноярск. Екатова и Томашевского, вылетевших первыми, там не оказалось. Их долго не было. Это всех нас очень взволновало. Запрашивали по телеграфу железнодорожные станции, но никаких признаков местонахождения летчиков обнаружить не удалось. Собрались на совещание. Решили, что если через три-четыре часа не получим сообщений, организуем поиски с воздуха. Приступили к подготовке самолета. Однако вскоре пришла радостная весть: Екатов сел недалеко от станции Тайга на единственную, очевидно, после новосибирских степей площадку, пригодную для посадки. Что-то у него случилось с системой охлаждения двигателя. В тот же день он нас догнал.

Позже появился и Томашевский. Его «обманул» компас: механик поставил железный бидон недалеко от компаса, а Томашевский не заметил такой промашки. Причину выяснили, лишь когда обнаружили потерю ориентировки. Восстановить ее удалось только после того, как пилот совершил вынужденную посадку и опросили местных жителей — где они находятся. Хорошо, что случилось это до начала полета над тайгой.

Не стану описывать встреч в Красноярске: взволновали они нас чрезвычайно теплотой, торжественностью, многолюдностью, проявлениями искренней радости.

Аэродром в Красноярске находился за Енисеем; река в то время разлилась и текла с необычайной быстротой. На другой день, желая попасть на аэродром, Волковойнов, Екатов, Кузнецов, Женя и я сели в моторную лодку. Капитан уверенно повел лодку, но на середине бурной реки мотор нашего «корабля» заглох. Выяснилось, что магнето вышло из строя. Весел в лодке не оказалось. Зато у кого-то нашелся плащ. Мы развернули его, соорудив нечто вроде паруса. Ветер понемногу направлял нас к берегу. Все мы по очереди кричали, зывали о помощи. Долго никто не отзывался. Миновали аэродром, проплыли еще с километр, и нас начало прибывать к берегу, заросшему кустарником. Пробовали схватиться за поросли, но течение оказалось настолько сильным, что прутья обжигали руки, а удержать лодку нам не удавалось. Кроме того, моторка сильно крепилась в те мгновения, когда мы хватались за прутья, и легко можно было опрокинуть ее. Наконец мы увидели другую лодку. Мужчина и женщина гребли что было сил, догоняя нас по течению. Они настигли нас, кинули веревку, взяли на буксир и таким образом помогли пришвартоваться к берегу. Километра три мы бежали до аэродрома. Усталые, веселые, как всегда, острили, смеялись, радуясь, что избежали опасности. На другой день о происшествии не вспоминали: новые впечатления поглотили старые.

Дня через три после обычных многолюдных митингов и осмотра достопримечательностей города мы вылетели на Нижнеудинск. На аэродроме ясно виднелось выложенное для нас «Т». Все благополучно приземлялись, но с Екатовым произошло то, что называется ум зашел за разум: он приземлялся по ветру (против выложенного «Т»). Когда мы его спросили, почему он «применил такой метод», наш товарищ, сам искренне недоумевая, признался:

— Не знаю.

Все хорошо, что хорошо кончается: аэродрома хватало и самолет Екатова остановился у самой границы.

Совершенно такой же случай произошел с Волковойновым в Иркутске. Он садился первым. За ним должен был садиться я. Наблюдая в воздухе за посадкой Волковойнова, я заметил какую-то несуразицу: «Т» выложено, как и подобает, на границе аэродрома, откуда нужно идти на посадку, а Волковойнов заходит с противоположной стороны и катится через весь аэродром. Моторная часть его самолета оказалась над кильевой, а шасси у ее края. Самолет остался цел, но... объяснить причину столь стран-

ного явления летчик не мог. Бывает, вернее бывали, в нашей практике и такие сюжеты.

Незабываемое впечатление произвела на нас Ангара удивительно прозрачной, холодной водой и быстрым течением.

Дальше предстояло преодолеть по тем временам трудный участок — озеро Байкал с окружающими его горами. По сложности эти препятствия ничего особенного не представляли. Но то, что человек совершает впервые, ему и тем более окружающим кажется необыкновенным. В нашем положении все было ясно, кроме одного — погоды. Метеослуживание тогда находилось на невысоком уровне. Там, где проходили железные дороги и существовала прямая связь, удавалось узнавать обывательскую оценку погоды в момент разговора по телеграфу или даже по телефону. К примеру, «ясно» или «идет дождь». Но высоту облаков узнать было невозможно, да и как поверить в сообщения на глазок. В таких случаях принималась формула: солнышка нет — облака закрывают небо.

При перелете из Иркутска в Улан-Батор погода стояла архиплохая, поэтому и происшествий на этом этапе оказалось немало. Никто из вылетевших из Иркутска не прилетел в тот же день в Улан-Батор: все по дороге вынужденно садилось, и каждый по-своему. Происходило это так. Решено было, что Екатов и Томашевский вылетают одновременно. Затем летят два «юнкерса» под управлением Полякова и Найденова. И после — Волковойнов и я. Облачность стояла при вылете сплошная — высокая. И на этом фоне шли низкие разорванные облака в несколько слоев. Все говорило о наличии циклона и сложных условий для перелета через горы. Однако мы приняли решение: вылетать. И перелет продолжался.

Поднялись с аэродрома, полетели на высоте пятьсот — шестьсот метров. Под нами плыли рваные облака, мы задевали иногда второй слой облачности над нами. Так долетели с Волковойновым до Байкала. Другую сторону озера закрывала сплошная стена облачности, горы виднелись только снизу, перелететь их невозможно. Над самым озером, как это обычно бывает, рваных облаков не было. Мы догадались, что пробиться можно только по реке Селенге, то есть по ущелью ее русла сначала долететь до Верхнеудинска, а там будет видно, что делать дальше. Решение рискованное, но возвращаться не хотелось.

Ущелье, по которому извивалась Селенга, становилось все уже. Прижатые облачностью, мы не могли развернуться и лететь назад. В довершение всех бед ухудшилась видимость из-за дождя. Лавируя между скалами над водой на высоте от пятидесяти до ста метров, мы долетели до Верхнеудинска, благополучно сели на предельно маленьком аэродроме и дали знать о себе по телефону в Иркутск.

На другой день погода над нами улучшилась, и мы полетели прямо на Улан-Батор. На этот раз везде по пути нашего следования стояла отличная видимость. Пролетая над пограничным городом Кяхта, мы заметили на аэродроме «Ю-13». С земли нам дали сигнал ракетой, означавший «помощь не нужна — следуйте дальше». Мы благополучно долетели до Улан-Батора.

На аэродроме оказался всего один самолет — «АК-1». Вскоре прилетели «юнкерсы». Но Екатов на «Р-2» все не появлялся. Один из «юнкерсов» вылетел на разведку и вернулся без каких-либо результатов. Начали готовить местные экспедиции к наземным поискам. Но вечером вдруг раздался шум мотора — к всеобщей радости, Екатов наконец прилетел.

Оказалось, Екатов и Томашевский, вылетевшие раньше всех, могли еще перетянуть через частично открытые горы за озеро Байкал, но дальше вынуждены были сесть, потеряв друг друга. Оба благополучно совершили вынужденную посадку среди холмистой местности. Лил дождь. Они спрятались под крыло самолета и ели то, что взяли с собой. К вечеру дождь прошел, но лететь дальше было поздно. Екатов — охотник — взял ружье и пошел бродить в поисках ночлега, оставив у самолета механика. Километрах в четырех от самолета он нашел монгольскую юрту. Хозяева не понимали пришельца, а он не понимал их. Знаками они дали ему понять, что приглашают его отдохнуть и поесть. Но он поблагодарил, от ночлега отказался и вернулся к самолету; здесь заночевали под крылом. Утром после бессонной ночи и проголодавшись, они долго мучались с запуском мотора, поэтому и задержались с прилетом в Улан-Батор. У Томашевского ночевка прошла комфортабельней — в пассажирском самолете было уютнее и не так холодно.

В Улан-Баторе несколько дней мы знакомились с достопримечательностями города и его окрестностей и бытом монголов. В то время, в 1925 году, во всем городе стоял, как мне помнится, один каменный двухэтажный дом. В нем местные власти столицы торжественно принимали нашу экспедицию. Один большой двухэтажный деревянный дом служил гостиницей. В ней мы и остановились. Остальной город представлял собой рассыпавшиеся маленькие деревянные домики попеременно с юртами.

Впервые оказавшись в Монголии, мы с огромным интересом знакомились с ее жизнью, бытом, удивляясь простоте нравов и обычаев, весьма разнообразных и необычных для нас. В то время религиозный культ имел широкое распространение среди населения и хорошо жилось, как мы видели, только духовным лицам. Среди народа свирепствовали болезни, лекарями являлись все те же священнослужители. Нам рассказывали: если они предсказывали больному смерть, то иногда человека заживо уносили за город и оставляли в поле... умирать. Нас познакомили с двенадцатилетней девочкой, приговоренной «лекарем»... к смерти. Вопреки его предсказаниям через несколько дней она вернулась домой из мест, отведенных для умирания.

Горячо сочувствуя людям, находившимся в те годы в таких тяжелых условиях жизни, мы не могли не откликнуться душой на радушие и гостеприимство монголов.

Из Улан-Батора нам предстояло перелететь через пустыню Гоби, или Шамо, и опуститься в Китае около местечка Мяотань. Но сразу одолеть такое расстояние в то время не представлялось возможным, и мы должны были сесть среди пустыни. Туда предварительно отправили караван верблюдов — автомашины здесь проходили редко. Через пустыню тянулись телеграфные столбы, служившие единственным ориентиром в полете. В середине пустыни около нескольких фанз и разбросанных бочек с бензином, маслом и ящиков с различными продуктами находилась плотная площадка — аэродром, заранее выбранный посланным туда специалистом. Прилетели все благополучно, кроме Томашевского. Летевшие после него обнаружили в ста пятидесяти километрах от центральной остановки в пустыне его самолет, лежавший вверх колесами. Вечером снарядили единственный автомобиль с несколькими рабочими-китайцами и провиантом. Утром с вернувшимся шофером мы получили записку от Томашевского: «Летите дальше. Не беспокойтесь, я могу починить самолет и через несколько дней прилечу. Мне нужен клей, полотно и продукты». Все знали упорство и волю Томашевского, даже Шмидт не стал изменять его решения.

Мы вылетели в Мяотань, что на границе Китая. В конце пути появилась зелень, телеграфные столбы стали расходиться, проглянуло несколько дорог, и мы с Волковым сбились с правильного пути. Хорошо, что это случилось в самом конце полета. Долетели до конца рваного плато, которое резко обрывалось; внизу пропасть, вдали горы — картина грозная и своеобразная. При ярком освещении темная пропасть и зигзагообразный горизонт являли собой что-то таинственное, зловещее, до того никогда не виданное. Мы решили, не теряя времени, сесть. Приземлились с тайной надеждой узнать у местных жителей, что это за местность. Не успели вылезти из самолетов, как увидели вдали наши приземляющиеся «юнкеры». Китайцы — мужчины и женщины с ребятами на руках — окружили нас и машины. Мы попали в затруднительное положение: наши выразительные жесты, означавшие просьбу разойтись, чтобы подняться и улететь, не помогли. Нас не понимали. Отчаявшись, мы решили запустить моторы. Это решило успех предприятия: шум и затем движение самолетов заставили собравшихся разбежаться. Мы поднялись и присоединились к экспедиции. Здесь снова неожиданное огорчение. Иван Климыч Поляков при посадке зацепил вал канавы на подходе к аэродрому и, сломав шасси, сел на фюзеляж. Мы утешали бедного «старика» (он был старше всех нас) как могли. Действительно обидно: оставался один этап, последний, и затем торжественная встреча в столице Китая Пекине — всеми желанный, самый приятный конец всех приключений. Но починить его самолет не удалось. И Иван Климыч пересел к своему напарнику Найденову.

В Мяотане мы долго ждали разрешения. Эту длительную остановку использовали для ознакомления с первым китайским городом Калганом, расположенным в нескольких десятках километров от Мяотаня. И опять встречи с народом, мужественно переноси-

сившим житейские тяготы и сохранившим в этих условиях и подкупающее простодушие и приветливость.

При въезде в самый город Калган мы увидели ошеломившую нас картину: рикша, худой, как и все рикши, до такой степени, что казался просто скелетом, обтянутым кожей, вез холеного англичанина в белом костюме и белом шлеме. Рикша остановился около магазина. Англичанин медленно сошел с коляски и бросил на землю какую-то медную монету. Более отвратительного и непривычного для нас зрелища нельзя было представить.

Мы остановились в небольшой гостинице, чтобы передохнуть. С балкончика второго этажа наблюдали уличную жизнь Калгана. Екатов и я вышли на улицу, остановили первого попавшегося рикшу и попросили у него колясочку, чтобы самим покатасть друг друга (разговаривали мы, разумеется, через переводчика). Он смотрел на нас удивленно и детски-восторженно. Екатов сел в коляску, и я повез его, а затем он меня. Но тут произошел казус: на повороте следовало опустить оглобли, а он сильно поднял вверх, они сломались, и я, совершив обратное сальто, очутился на земле. Нам было не смешно, а очень неловко перед рикшей. Через переводчика спросили, сколько он хочет, чтобы мы заплатили. Он назвал сумму. С радостью дали ему гораздо больше. Через некоторое время перед нашим балконом появилось такое количество рикш, предлагавших свои услуги, что нам пришлось черным ходом удирать из гостиницы.

Через несколько дней вылетели в Пекин. Нас встречало все наше посольство во главе с послом Караханом и высокопоставленные военные и гражданские чины Китая. Огромные толпы китайцев с флажками и цветами заполнили площадь. Счастливые, улыбающиеся, засыпанные цветами, мы тронулись в гостиницу. А затем в торжественной обстановке нам вручили китайские ордена.

Наш полет длился тридцать три дня.

Пока мы совершали свой **египтополет**, французы **решили**, очевидно, нам «доказать», с какой скоростью следовало совершать полеты на такие расстояния. Летчик Аррашар в это время совершил рейд по европейским столицам такой же дальности, как и мы, за три дня. Мы все кинулись на Шмидта и корили его за продолжительность нашей экспедиции. Конечно, накинудись зря: наша экспедиция не преследовала целей скоростных. Но мы взорвались и поклялись, что покажем на деле результат не хуже французов.

За **этим** известием пришло другое: Волковойнов и я должны были нанести ответный первый авиазвизит СССР в Японию. Дело в том, что в то же время, в то же лето 1925 года, японцы прилетели к нам в Москву, но по дороге мы разминулись: японцы летели через Мукден, а мы через Улан-Батор.

В Пекине нам пришлось поменять моторы, они отработали полный ресурс, и, к великой гордости нашей страны, нашей авиапромышленности, нашего славного завода, без сучка и задоринки. Все это заняло ровно месяц, так как новые моторы пришли в Пекин лишь через три недели после нашего прилета. Времени свободного было много, но не хотелось сбиваться с режима, которому я следовал многие годы. Ра́нним утром я шёл на крышу отеля и занимался утренней гимнастикой. Со мной шел Екатов и фотографировал. В семейном альбоме Екатовых сохранились интересные фотографии той поры. Затем после завтрака мы разбивались на небольшие группы по два-три человека. За нами любезно заходили свободные от занятий люди из нашего посольства (конечно, большей частью женский персонал), знающие китайский язык, и мы отправлялись осматривать достопримечательности, посещали базары, знакомились с городом. За месяц мы побывали во многих примечательных местах столицы и ее окрестностей, отведали настоящий национальный обед из сорока двух блюд.

В центре города тогда находилось несколько крупных, европейского типа зданий, в которых помещались преимущественно английские магазины и фирмы, а также французские и немецкие. В этих магазинах можно было купить все, что требовалось европейцу и что было недоступно подавляющему большинству местного населения, которое пользовалось в основном базаром. На базаре стоял оглушительный шум. Каждый продавец, чтобы привлечь внимание покупателя, стучал металлическими чашечками одна о другую. Одновременно он что-то выкрикивал, по-видимому расхваливая и предлагая свой товар.

Начиная с рикш, нас поражало обилие чрезмерно худых людей. Исключение составляли купцы, повара.

Когда прибыли из Москвы моторы, мы вчетвером — Волковойнов, Кузнецов, Женя Родзевич и я — стали каждый день ездить на аэродром. Нам предстояло лететь из Пекина в Токио через Корею и Японское море. В том месте, где предстояло лететь над водой, ширина моря составляла двести двадцать километров.

Главная забота моя при подготовке к перелету — впервые в жизни решить задачу полета по компасу. Если погода будет хорошей, то условия значительно облегчатся, но если метеоусловия окажутся плохими, тогда без компаса лететь вовсе нельзя.

Когда установили на самолете новый мотор и опробовали в воздухе, я решил проверить свои замыслы. Из Пекина точно на восток примерно до тридцати километров тянулась прямая, как натянутая нитка, железная дорога. Я стал летать вдоль этой дороги и наблюдать за компасом. Радости моей не было границ: при любых отклонениях от курса компас оказывался выверенным и точным.

Мы с Волковойновым решили из Пекина до Токио долететь в три дня. Я летел в качестве ведущего. Это означало, что мне предстояло везде взлетать и садиться первым.

29 августа 1925 года наконец назначили отлет. Погода стояла ясная, солнечная. Первая посадка должна произойти в Мукдене. Этот первый этап — предельный по дальности для наших самолетов: девятьсот километров. В начале пути до самых берегов океана внизу — сплошные посевы риса и гаоляна. Рис растет в воде. В случае вынужденной посадки сесть благополучно абсолютно невозможно. Поднявшись на высоту полторы тысячи метров, мы наконец почувствовали, что дышать стало легче. Влажность воздуха в Китае обычно 90 процентов, и для дыхания он тяжел, как в бане. Особенно неприятно надевать на себя сырое белье. Когда мы полетели уже вдоль берега океана, Волковойнов вдруг начал снижаться. Я стал делать над ним круги. Сел он благополучно на берегу реки и дал мне сигнал, что помощь ему не нужна. Я полетел дальше в Мукден. Увы, план трехдневного перелета срывался, так как Волковойнов прилетел в Мукден во второй половине дня и лететь дальше в Сеул было поздно.

Вылетели на следующий день.

Японский аэродром произвел на нас хорошее впечатление своей организованностью. Когда мы приземлились, к нам навстречу уже бежали «в ногу» — к каждому самолету — по два солдата. Подрулив в их сопровождении к ангарам, мы сошли с самолетов и были встречены торжественно офицерами и их семьями. Маленькие девочки по японской традиции первые преподнесли нам цветы. Затем женщины подарили памятные жетоны на лентах. Затем поздравляли офицеры.

Мы заметили: к аэродрому подходила специальная железнодорожная ветка для подвоза различных техматериалов и горючего, находившегося в подземном бензохранилище. Аэродром оцеплен охраной. Специальные помещения для хранения военного имущества и жилые помещения представляли собой образцовый военный авиационный ансамбль того времени.

Часа через два-три мы вылетели дальше и приземлялись среди гор высотой до тысячи восьмисот метров на крошечном аэродроме около местечка Тайкю в Южной Корее. Аэродром был так мал, что, приземлившись, я стал в конце его заворачивать, ибо длины не хватало. Располагался он среди гор, и подходы к нему были затруднены. Волковойнов сел после меня и над границей аэродрома выключил мотор. Все сошло благополучно.

Нас встречали летчики Трофимов и Михеев, организовавшие прием наших самолетов. Они пришли, чтобы встретить нас на автомобиле, которым управлял японец. Приехали в гостиницу, где у входа нас приветствовали глубокими поклонами служащие, в основном женщины. Мы сменили ботинки на специальные туфли. Поднявшись на закрытое крыльцо, сняли и туфли, а далее разрешалось идти либо в носках, либо босиком. Кроме того, следовало снять летные комбинезоны и облачиться в японские халаты. Когда мы с Родзевичем надели их, все кругом начали смеяться: халаты были так малы, что выглядели мы в них, видимо, примерно как в современных мини-юбках.

На ночь нам постелили матрацы на полу, а под головы положили жесткие четырехугольные валики. Когда японцы удалились, мы накрыли валики чем-то мягким и таким образом благополучно переспали. Двери в нашу комнату не закрывались, и когда мимо проходили женщины, они становились на колени и кланялись, улыбаясь. Нас это очень смущало.

На другой день мы вылетели дальше через пролив. К сожалению, ничего не удалось узнать о погоде на пути следования. Утром над аэродромом стояла солнечная хорошая погода, но затем начали появляться небольшие рваные облачка над горами, ничего хорошего они не предвещали. К моменту отлета облака преобразовались в кучевые с небольшими просветами. Пришлось пробираться сквозь окна, и на высоте примерно тысячи восьмисот метров взяли курс точно на восток по компасу. Вскоре подошли к берегу моря. Перед вылетом Трофимов и Михеев снабдили нас сведениями об особенностях дальнейшего воздушного пути. Пролив между Кореей и Японскими островами кишел, как говорили, акулами. Лететь нужно было севернее острова Цусима на сто километров, так как этот остров для нас запретная зона. В случае вынужденной посадки следовало приземляться со стороны моря в устьях рек или на пляжах, так как Япония окутана сетью электрических проводов с током высокого напряжения.

В небольшое окно между облаками мы простились с корейским гористым берегом и на высоте уже две тысячи двести метров пошли курсом 90 градусов. Через десять минут под нами уже тянулась сплошная слоистая облачность, впереди она стояла стеной какого-то сине-серого цвета. Стало очевидно: назад возврата нет — гористая Корея закрыта, а на западных берегах аэродромов нет. Полчаса полета, впервые в жизни ведомого по компасу, казались вечностью. Вдруг сплошная облачность кончилась, и сквозь разрывы мы увидели море того же серо-синего цвета, все в барашках. По расчетам, впереди должен был быть виден берег. Но вместо него перед нами опять сплошная хмурая темная стена облаков. Начал постепенно снижаться. Волковойнов в пятидесяти метрах шел за мной. Я знал — перелететь остров через горы и облака невозможно, нужно попытаться обойти его кругом вдоль берега. Западная сторона острова почти в отвесных, крутых горах без единого аэродрома, все они, к нашему несчастью, на другой стороне острова.

При снижении почувствовал какие-то странные толчки. Обернулся — Родзевича не видно: он спрятался зачем-то в кабину. Я взглянул на самолет Волковойнова — он легла всего в двадцати пяти метрах от меня. Увидя мой взгляд, поприветствовал меня, а я его. Но его механик тоже почему-то нырнул в кабину. Как выяснилось позже, оба не сговариваясь в момент снижения начали накачивать на всякий случай запасные камеры от колес, считая их средством спасения на воде.

Мы снизились до трехсот метров. Под нами и над нами разорванная облачность. Мы летим уже пятьдесят минут, а берега все нет. Тревожное неприятное ощущение неопределенности... Щеки горят. Вдруг (как часто приходится произносить это слово, когда описываешь полеты) слева немного впереди появился маленький скалистый островок. Быстро взглянув на карту, определил, что мы в двадцати километрах от ожидаемого гористого берега и идем севернее всего на восемь километров — для расстояния в двести километров при боковом ветре это небольшое отклонение. Настроение резко изменилось, мелькнула надежда на удачу. Определилось, где мы находимся. Через несколько минут в полкилометре появились горы. Я разворачиваюсь вправо, Волковойнов — за мной. Летим вдоль берега среди рваной облачности, в дожде, на высоте двести метров. Вскоре горы стали переходить в холмы, впереди обозначилась железная дорога. Дальше лететь вдоль берега нельзя: вновь запретная зона, нас предупреждали — здесь могут обстрелять. Свернул влево и стал пробираться сквозь рваную облачность. На свое счастье, слева увидел через небольшой просвет в облаках над холмами море. Мгновенно развернул самолет и устремился в просвет, чтобы выйти на восточную сторону острова, не заходя в запретную зону. Проскочил благополучно и облегченно вздохнул в надежде, что теперь, летя над водой, дойду до ближайшего аэродрома. Выбора не было. Родзевич прокричал, что не видит Волковойнова.

Как только свернул налево вдоль восточного берега, вдруг новое неприятное явление: пошла тропический дождь. Мотор в дожде прибавил сто оборотов. Видимость — не более ста метров. Ближайший аэродром в Хиросиме еще далеко. В одном месте на бе-

регу океана в устье реки попался городок, выступавший несколько в океан. Я летел над ним и чуть не зацепил фабричную трубу. По улицам буквально текли реки. Далее слева потянулись отвесные скалы, рядом с которыми мы и летели над океаном на высоте метров пятидесяти.

Дождь лил непрерывно, сверкали молнии, и иногда сквозь гул мотора прорывались раскаты грома. Но когда подлетели к аэродрому в Хиросиме, дождь прекратился и мы удачно приземлились. Как только подружили к палаткам, в которых укрывались самолеты, дождь полил вновь. Через пятнадцать минут хвост нашего самолета стоял на подставке. Вода в палатке глубиной до двадцати сантиметров. Вызвали саперов, чтобы вырыть канавы и отвести воду. Опоздай мы минут на двадцать, самолет обязательно перевернулся бы при посадке, так как аэродром буквально залило водой. Везение!

Нас встретили наши представители и японский полковник от местного гарнизона, поздравивший с благополучным прибытием. В эти числа, добавил он, у них никто не летает из-за дурного предзнаменования. Это малообнадешивающее замечание нас крайне обеспокоило в связи с полной неизвестностью о судьбе Волковойноу и Кузнецова. Однако японский полковник тут же сообщил нам, что другой самолет опустился благополучно на пляже.

Нас с Женей отвезли в отель, где мы переоделись, так как промокли до нитки. Часа через два раздался телефонный звонок: у аппарата Волковойноу. Он сообщил, что дальше не полетит и мне надлежит следовать завтра до Токио одному. Ночью, как нам сообщили, состоялось заседание министров, обсуждался инцидент с вынужденной посадкой Волковойноу. Принято будто бы решение: Волковойноу разобрать свой самолет и в таком виде доставить его на аэродром в Хиросиме, где находился я, затем, собрав самолет, продолжать путь. Разумеется, мы не могли принять подобное предложение.

На следующее утро погода установилась отличная. Мы с Родзевичем вылетели рано, опустили для заправки на аэродроме в городе Окаяма и вскоре полетели дальше до Токио. Набрали довольно большую высоту. Впереди вулкан Фудзияма. Когда мы поравнялись с ним, увидели дымящийся главный кратер, поднимавшийся выше нас,— в это время мы пролетали над нижним кратером. Вдруг откуда ни возьмись японский самолет. С него нас непрерывно снимали киноаппаратом с разных расстояний и в разных ракурсах. Затем с самолета дали знать, чтобы мы следовали за ними, и повели к аэродрому Такарзава, находившемуся, как я знал, в тридцати километрах от Токио. Подлетев к нему, я скользнул с большим креном перед посадкой, приземлился и подрулил к группе людей.

Спрыгнув с самолета, увидели прежде всего представителей нашего посольства. Затем, как всегда по традиции, маленькие японские девочки преподнесли цветы. В знак особого почета меня попросили взять на руки девочку, вручившую мне цветы, дочь крупного японского писателя, и сфотографироваться с нею.

Первое в моей жизни воздушное путешествие закончилось. Радостно было сознавать, что надежды своего народа мы оправдали и задание партии и правительства выполнили с честью.

На другой день появился Волковойноу, и мы вместе с механиками тотчас же отправились в Окайму. Дело в том, что наш полет, так же как и полет японцев в нашу страну во главе с летчиком Абе, организовала газета в городе Окайяма.

Как только мы прибыли в редакцию, нам вручили памятные подарки и, конечно, сфотографировали без конца. Как жаль, что фотографии того времени не сохранились. За чашкой кофе японцы показали нам кинофильм о перелете японцев к нам в Москву и... о моем полете над Фудзиямой, о прилете в Токио, торжественной встрече на аэродроме. Оперативность, заслуживающая внимания! Фильм был заснят и смонтирован блестяще. С огромным интересом разглядывали мы свой самолет на фоне Фудзиямы, приветствия в воздухе на расстоянии не более пятнадцати метров. В том, с какой легкостью я соскочил с самолета, чувствовалось отличное настроение и непринужденность молодости. Увы, промчались не годы — десятилетия...

Японцы представили меня к высшей своей награде — «Ордену восходящего солнца». Но тогда наша страна не принимала наград капиталистических государств, и ордена заменили... серебряными вазочками.

Мы пробыли в Японии восемь дней. Принимали нас отлично, знакомили с авиационным институтом, со многими достопримечательностями Токио и его окрестностей.

В то время японцы широко использовали лицензии лучших зарубежных образцов авиационной техники передовых стран. С того далекого времени осталось впечатление от многочисленных встреч с японцами как людьми энергичными, живыми и хорошо владеющими техникой. А театр удивил национальной самобытностью. Надо ли подробно останавливаться на увиденном тогда в Токио и поразившем нас — столько вышло за эти годы ярких и глубоких рассказов об одной из крупнейших столиц мира.

Мы возвращались домой поездом, с тем чтобы позже переплыть на пароходе из Симоносеки в Фузан.

Поезд проходил в то время тысячу километров в сплошь гористой местности ровно за сутки. Нас поразили железнодорожные мосты, сделанные без верхних ферм, а некоторые из них даже не прямого направления, а с поворотом и соответствующим наклоном. Нам порой казалось, что мы висим над пропастью, да еще с наклоном. Ощущение, скажу прямо, непривычное.

На пароходе нам предоставили отличную каюту. Принесли громадную корзину с фруктами, цветами и карликовые деревья в глиняных горшочках.

Переплыв пролив, пересели на поезд, идущий по Корее, в Мукдене соединились с остальной пекинской экспедицией.

Непередаваемые чувства возникают, когда после долгой разлуки возвращаешься домой, в Москву. Торжественная встреча. Многочисленные друзья. Объятия. Поцелуи. Расспросы. Родная земля.. Москва.

Но жизнь быстро входит в свою колею, повседневные интересы захватывают вновь все внимание, увлекают решением новых проблем.

Вскоре мы узнали об оценке нашего перелета Советским правительством. В решении Президиума ЦИК СССР по итогам перелета Москва—Пекин сказано: «...экспедиция одержала блестящую победу над огромным расстоянием и преодолела чрезвычайные трудности пути длиной почти в 7000 километров. Ею пересечены Урал, сибирская тайга, озеро Байкал, горы Забайкалья и Монголии, пустыня Гоби и горный хребет Колгана... Советская авиация и авиапромышленность дали новые доказательства своей технической мощи, советские летчики — новое подтверждение своей доблести и искусства». Постановлением ЦИК СССР участники перелета Москва—Пекин были награждены орденом Красного Знамени, а летчикам, кроме того, присвоено звание заслуженных летчиков.

Чем объясняется такая высокая государственная оценка полета в Китай в 1925 году? О его политическом и техническом значении указано в постановлении правительства. В моих сухих конспективных записках того времени, конечно, нельзя увидеть то, что хотелось бы досказать теперь. Волковойнов и я летели на самолетах «Р-1». На наших самолетах были установлены первые серийные моторы. Моторы под номерами 5 и 6! А что такое серийные моторы номера 5 и 6 самого первого выпуска на самолетах тоже серийного производства, могут особенно ясно понять автолюбители. Вряд ли кто-нибудь из них с полной уверенностью скажет, что мотор может прослужить полный ресурс без сучка и задоринки до капитального ремонта. А ведь в полете буквально ничто не имеет права отказать, иначе — вынужденная посадка.

Наши моторы отработали до Пекина свой полный срок именно без сучка и задоринки! И, к великой чести создателей, выдержали испытание в условиях эксплуатации. Для полета из Пекина в Токио нужно было установить новые моторы! Напомню, что полпути фактически отсутствовала какая-либо возможность вынужденной посадки. Например, от Новосибирска до Байкала. К счастью, вынужденные посадки произошли в местах, где приземление было возможно. Искусство пилотов и их опыт сыграли немалую роль в благополучном исходе.

Вспоминая то время, могу добавить одно: перелет из Пекина в Токио оказался несравнимо сложнее, труднее и опаснее, чем полет из Москвы до Пекина.

Считалось, что мне везет. Но не могу не вспомнить слов Суворова: один раз повезет, второй повезет, а третий раз надо и уметь (так, кажется).

В 1966 году я прочитал следующее сообщение в газетах: заключено соглашение

между СССР и Японией об организации воздушного сообщения. Летать будут и наши самолеты. Весь путь от Москвы до Токио занимает десять — одиннадцать часов без посадки! Таков прогресс за сорок с небольшим лет! Прочитал я также, что вскоре состоится наш первый рейс в Японию. Кроме руководителей гражданской авиации, на самолете полетят представители общественности. Сообщалось, что первым советским летчиком, прилетевшим в Японию, был М. М. Громов и что тогда полет длился месяц с небольшим.

А вскоре неожиданно-негаданно раздался телефонный звонок из редакции «Известий». Говорил представитель газеты:

— Михаил Михайлович, вы знаете о том, что сегодня в шестнадцать часов прилетает наш самолет из Японии? На нем летит летчик Абе, тот самый, который нанес нам первый визит в Москву в двадцать пятом году, а вы ответили на этот визит полетом в Токио. Это ведь был первый авиавизит в Японию из Советского Союза.

Я ответил:

— Признаться, ничего не знаю о прилете Абе.

— Михаил Михайлович, вам нужно бы поехать на аэродром встретить Абе. Прошло сорок с лишним лет, тогда вы с ним разминувшись в воздухе, летя навстречу друг другу, да, кажется, так и не увиделись?

Все было верно, но я засомневался:

— Удобно ли мне это делать без приглашения?

— Стоит, Михаил Михайлович!

Я подумал и решил поехать. Престиж нужно соблюсти. Поехал с представителями газеты. Они доложили заместителю министра гражданской авиации о том, что я на аэродроме. Нашей встрече с Абе уделили большое внимание. На нее приглашали много народу, и среди них была славная девушка Наташа Кучинская, которая произвела в Японии большое впечатление своими недавними выступлениями по гимнастике.

На банкете я выступил с небольшой речью, в которой, между прочим, с удовлетворением отметил, как и все присутствующие, что наконец-то через сорок лет мы с Абе познакомились.

НАЗНАЧЕНИЕ НОМЕР ОДИН

Осенью 1925 года я со своим другом Бобом Вахмистровым продолжал различные испытательные полеты.

Как-то в один из дней я узнал, что меня назначили в перелет, намеченный на 1926 год, в ответ на полет француза Аррашара. Предполагалось, что я совершу его за три дня и побываю в этот период в ряде европейских столиц. Думаю, что предыдущее задание (успешно преодоленное воздушное пространство Пекин—Токио), как я уже писал, чрезвычайно сложное и рискованное, сыграло в этом новом назначении немалую роль.

В 1926 году правительство СССР наметило три перелета: один в Турцию, в Анкару, другой в Иран, в Тегеран, и третий по европейским столицам. В Турцию должен был лететь Межераяв, в Иран — Яша Моисеев, а мне предстоял рейд по столицам Европы.

С радостью готовился я к выполнению интересной, увлекшей меня задачи. Но началось язвенное кровотечение. Причин тогда установить не могли. Легко понять мое волнение — болезнь могла сорвать мой перелет. К счастью, через месяц я поправился. Рентген и прочие неприятные процедуры засвидетельствовали, что в желудке у меня нет никаких ненормальностей. Но для того чтобы исключить ошибку в диагнозе, мне предложили еще раз пройти все этапы исследований. Я решительно запротестовал: чувствовал себя отлично и все происшедшее со мною казалось каким-то недоразумением. Однако то, что это было все же язвенное кровотечение, выяснилось значительно позже.

Лететь я должен был на «АНТ-3», цельнометаллическом самолете конструкции А. Н. Туполева.

Открыл запланированные рейды П. Х. Межераяв. Из Москвы он долетел на самолете «Р-1» до Севастополя, пополнял запас горючего и, перелетев Черное море, сел в Анкаре, но, на беду, при посадке снес шасси и самолет лег на фюзеляж.

Затем полетел Яша Моисеев в Тегеран. Он благополучно долетел до цели и вернулся в Москву, преодолев это расстояние в одну сторону за два дня, а в другую — за один..

Полет по европейским столицам в три дня на «АНТ-3» «Пролетарий» — так сообщили газеты.

В три часа ночи 30 августа впотьмах я взлетел с московского аэродрома и взял курс на запад. Такой ранний час отлета диктовался необходимостью: надо засветло долететь до Парижа. На аэродроме меня провожал в путь С. С. Каменев, возглавлявший организацию перелета, и иностранные представители стран, через которые мне предстояло пролететь.

Стало светать, когда мы миновали станцию Сычевка, что в ста двадцати километрах от Москвы. Летели мы с Родзевичем на высоте триста метров. Под нами лежала легкая пелена утреннего тумана, небо чистое. Вдруг на переднюю кабину полилась вода из расширительного бачка, находившегося в верхнем крыле.

— Что делать? — спрашиваю Женю Родзевича. — Как думаешь, хватит ли воды в одной трубке без бачка?

— Наверное, — в тоше Жени нотки сомнения, — хватит, только, конечно, придется ремонтироватьсь в Кенигсберге.

Какой же может быть ремонт, когда в нашем распоряжении на все про все три дня? С тяжелым донелъзя сердцем (это трудно передать словами) я повернул назад и сел на московском аэродроме в 5 часов 30 минут утра. Нашел номер телефона Евгения Ивановича Погоцкого, ответственного инженера моторного оборудования нашего самолета «АНТ-3». Ошеломленный неприятным известием, он тотчас же примчался на аэродром. Причину вскоре определили: днище бачка сделали плоским, от вибрации на нем образовались три зигзагообразные трещины, и вода, конечно, мгновенно вытекла. Вскоре приехал и А. Н. Туполев. Он посмеялся, произнес свое традиционное «спукойно» и посоветовал: закруглить днище, сделать его слегка овальным и лететь завтра. Новый бачок изготовили в тот же день.

В скверном настроении поехал я домой. В ту пору я снимал комнату на частной квартире на Большой Дмитровке. Мне, естественно, не спалось — пошел прогуляться. Неожиданно столкнулся с начальником воздушных сил П. И. Барановым.

— Вы что не спите? — удивился он. — Вам нужно рано вылетаты

— Слушаюсь, я как раз возвращаюсь с прогулки домой.

Вспоминается, что перед полетом мне пришлось выдержать тяжелый спор с Андреем Николаевичем Туполевым из-за того, с кем лететь. Я настаивал на кандидатуре механика Родзевича, испытанного в рейдах на Пекин и Токио. Андрей Николаевич настаивал на Иване Ивановиче Погоцком, инженере-аэродинамике (брат Евгения Ивановича, о котором я упомянул выше). Меня это предложение никак не устраивало. В предстоящем полете мне нужны были «золотые рабочие руки», а не помощь в разрешении аэродинамических проблем. Андрей Николаевич разгневался и в пылу спора бросил мне что-то обидное. Взорвался и я, заявив категорически:

— Или я лечу с Родзевичем, или как будет угодно начальству!

Начальство оставило свое решение в силе, и Родзевич «устоял». Это был первый и единственный в жизни конфликт между мной и Андреем Николаевичем. Полет убедил, видимо, Андрея Николаевича в моей правоте. Далее у нас с Андреем Николаевичем установились отношения полного доверия и взаимопонимания, как принято говорить. Я нашел в нем не только гениального конструктора, но и человека неповторимого благородства, нравственной чистоты, человечности, истинно русской прямоты. Когда он уверовал в меня, а я (немного раньше) в него, дело у нас пошло на лад.

31-го нас снова провожал С. С. Каменев. В печати сообщили, что я вернулся вследствие плохой погоды. Пришлось принять «кляксу» на свой счет. Обидно, неприятно, но разумно.

Снова на рассвете Сычевка.. Все идет благополучно. Погода хорошая, как и в первый раз. Временами утренний сплошной туман закрывал землю. Это нас не смущало. Теперь я уже научился ценить компас.

Перелетели через границу Польши в точно указанном месте. С интересом разгля-

дывали незнакомую зарубежную землю — обсаженные деревьями дороги, помещицы усадьбы, узкие полоски земли, непривычный архитектурный облик городов и деревень — все иначе, чем у нас. Миновали границу Центральной Пруссии — и вновь изменившаяся наземная картина: будто во много крат увеличенные и ожившие гравюры, знакомые с детства по книгам, географическим учебникам.

Прилетели в Кенигсберг, подружили к ангарам для пополнения горючим. Тут обнаружили, что из правого радиатора системы «ламблен» капает вода. К сожалению, эта система радиаторов не поддается пайке: течь внутри, радиатор дюралевый. Решили лететь в Берлин. Там выяснили, что вода из радиатора продолжала капать почти так же. Решили, что в Париже должны быть радиаторы этой системы, за ночь, которой мы предполагали, можно заменить.

В Берлине на аэродроме меня пригласили на короткий банкет, организованный в ангаре. Женя на нем не мог присутствовать, так как занялся осмотром мотора.

Вскоре мы распрощались с гостеприимно встретившими нас хозяевами. Они завернули нам несколько бутербродов в салатные листья, для того чтобы сохранить свежесть, снабдили на дорогу апельсинами, и мы вылетели с надеждой попасть, как и полагалось по плану, в Париж. Летели на высоте метров пятьсот.

Западная Германия отличается от Восточной местами гористо-холмистой местностью. Много попадалось старинных замков, общая же картина рисовалась в несколько хмурых оттенках, сменившихся при приближении к французской границе светлыми тонами. Дома, дороги — все приобрело разом веселый вид.

Но что это такое? Мотор начало слегка трясти, а через несколько минут тряска стала еще более окутимой. До Парижа недалеко, но нас крайне взволновало непонятное явление: радиатор мог выйти из строя. Со сжимающимся сердцем, с щемящим чувством тревоги долетели мы и благополучно сели на аэродроме Ле-Бурже. Подружили к ангарам, где ожидали нас товарищи из советского посольства. Цветы, рукопожатия, приветствия... Главным организатором встречи оказался Минов, в будущем знаменитый советский парашютист.

Осмотрели радиатор и пришли в ужас: вода из него уже не капала, а текла струйкой. Дальше лететь нельзя. Выяснили — тряска произошла из-за отскочившего небольшого кусочка шпаклевки винта. Минов пошел звонить фирме, выпускающей такие радиаторы... Оказалось, что нужных размеров у них нет. Начало смеркаться. Пассажирские самолеты садились почти каждые пять—семь минут. Француз-механик шепнул нам:

— Вон машина, она становится на ремонт. Могу попросить разрешение снять с нее радиатор и поставить вам. Он чуть больше, но ничего: держите обороты мотора побольше — и все будет в порядке.

Ничего не оставалось как согласиться с его предложением и пообещать хороший «пур буар» (на чай). Предстояло выгнуть новую водяную трубку — процедура сложная и требующая времени. Но наш француз не унывал и обещал, что до рассвета все сделает наилучшим образом.

Мы с Женей порядочно устали: в ночь перед дорогой поспали всего три часа и весь день находились в пути, да под конец еще испытали огромное волнение. Однако отдыхать особенно не пришлось. Нас повезли на автомашинах осматривать достопримечательности Парижа. При ночном освещении мы увидели так хорошо ранее знакомые Эйфелеву башню, Сену, Лувр. Все оглядывали на скорую руку. Наконец попали в отличный ресторан. Французская кухня полностью вознаградила нас за пережитое: ор-девр, бычий нос в маринаде, бифштекс, какого я никогда в жизни не ел и который запомнился мне поэтому на всю жизнь — так он был пухл, кровейист и необыкновенно нежен. Поглощая все это, убеждались: по тонкости вкуса, разнообразию, изобретательности у французских кулинаров конкурентов нет.

В двенадцать часов вошли в свои номера. Все утопало в розах, преподнесенных нашими заботливыми соотечественниками. Я разделся, бросился поперек кровати и буквально утонул в перине. Вскоре почувствовал, что кто-то трогает меня за плечо; поднял голову и увидел над собой лакея гостиницы, протягивающего телеграмму. Быстро прочел: «Поздравляем с успехом. Работники Дерлюфта» (воздушной линии Берлин—Москва). Слов нет, телеграмма приятная, но в тот момент я был раздосадован прерван-

ным сном, однако заснул тотчас же. Опять ненадолго. Перед рассветом меня поднял Минов. Я подскочил как ужаленный:

— Как радиатор?

— Не знаю,— отмахнулся он.— Дело в том, что лететь дальше сегодня нельзя: проливной дождь.

— Ты сошел с ума,— решительно оборвал я его, начав поспешно одеваться.— Будь скорее Женьку!

Мчямся на аэродром, заходим в ангар к нашему самолету. Дождь действительно льет вовсю. Ни зги не видно. Француз-механик заканчивал работу. Женя стал ему помогать. В ненастный предрассветный час мы вывели свой самолет из ангара. Несколько тревожило небольшое увеличение размеров радиатора, регулировать же температуру при этой системе охлаждения нельзя.

Сели в самолет, опробовали мотор, помахали Минову и начали выруливать на старт. Еще не рассвело. Но что это такое? Черная кошка перебежала дорогу перед самым носом самолета. Мы с Женей переглянулись. Обстановка и условия оказались таковы, что мы эту кошку вспомнили лишь в Москве.

Поднялись и сразу взяли курс на Лион. Лететь нужно было в Рим без посадки. Высота сто метров, дождь лил как по заказу, но ориентировались легко. Компас и контрольные ориентиры каждые десять—пятнадцать километров вели нас к цели по намеченному маршруту. Легко сказать... но лететь и ориентироваться самому в дождь, на высоте сто метров, в незнакомой местности, ночью! Это много позже оценил по справедливости мой дорогой штурман С. А. Данилин, выступив с поздравлением на моем семидесятилетии.

В голове уже зрел план, какое принять решение, если до Альп погода не улучшится. Придется, видимо, свернуть к Средиземному морю и, облетев Альпы, над водой дойти до Рима. Неподалеку от Лиона, когда уже совсем рассвело, я увидел разрыв в облаках. Немедля прошел в окно, и облака вскоре плыли под нами.

Температура воды 70 градусов — отлично! Мы набрали высоту, чтобы перелететь Альпы над перевалом Монт-Сени. Картина под нами необыкновенная, величественная и красочная. Вдали снеговые вершины, вблизи свежие, яркие альпийские луга. Среди скал попадались иногда небольшие озера на большой высоте среди зеленевших лугов. Поистине необыкновенное зрелище! До перевала Монт-Сени под нами тянулось ущелье. На его дне кипел белый ручей, вернее река. Вдоль нее шла железная дорога. Ущелье так узко, что, казалось, самолет в нем не поместится. Наконец железная дорога входила в тоннель. Горы в том месте сходились, и над перевалом мы летели уже всего на двухстах метрах, не более.

Перед нами расстилалась Северная Италия. Сильная дымка очень затруднила полет. Миновали Турин и вскоре пересекли горы. Вышли к Средиземному морю над Генуей, светлой, сверкающей живыми красками.

Снова чудесные превращения. Прибрежные горы покрыты темной тропической растительностью. Белые виллы, поселки, а на синей воде множество яхт. Ослепительны картинные пейзажи. Мы успокоились и начали с аппетитом уплетать берлинские бутерброды и сочные апельсины.

Благополучно приземлились на римском аэродроме. Нас приветливо встретили итальянские офицеры и наши товарищи из советского посольства. Однако и здесь произошла задержка из-за длительной заправки самолета. Чувствовал я себя как на иголках, но старался не выдавать волнения. Когда мы с Женей сели в самолет, стало ясно, что только полет с использованием девяти десятых мощности мотора и попутный ветер смогут помочь нам долететь до Вены в светлое время. Ветер оказался попутный. Мы выжимали из мотора все возможное. Когда шли над Альпами, солнце уже садилось за горами. Внизу, в ущельях между горами,— темень. Наступили сумерки, а нам еще предстояло лететь сто километров. Я довел мощность мотора до полного предела. Оставалось пятьдесят километров. Появились огни на земле, особенно справа, так как мы летели над краем гор, а справа долина. Наконец совсем стемнело, нам оставалось еще двадцать километров. Я начал снижение. К счастью, удалось увидеть костры на аэродроме. Благополучно приземлились в Вене.

Какое щемящее чувство теснило грудь за час до конца полета и как легко теперь

дышалось после посадки! Никогда в таких случаях не думаешь о своей безопасности, но чувство ответственности за честь родины во много крат возрастает в такие мгновения. Вот и сейчас, вспоминая эти мгновения, которые запоминаются на всю жизнь, и как бы вновь переживая волнения тех лет, ощущаю, как сильнее начинает биться сердце, острее работать мысль, а если при этом рассказываешь кому-нибудь о минувшем, то испытываешь необыкновенный внутренний подъем. Снова и снова нахлынут волнение, тревога... Прекрасная это вещь — память сердца и память ума!

Встречавшие нас в Вене волновались не менее, чем мы. Тут же мне объявили, что вылет из Вены не может состояться рано, так как нас придут приветствовать различные делегации. Неожиданное обстоятельство поставило нас в затруднительное положение: новая угроза срыва сроков. Но, взвесив ситуацию, прикинув, что важнее — облететь Европу в три дня или, воспользовавшись случаем, выполнить задачу агитполета, я поблагодарил и сказал, что мы обязательно придем к рассвету, так как нам предварительно нужно подготовить самолет к дальнейшему полету. Меня предупредили, что и далее нас будут приветствовать делегации. Это известие нас с Женей смутило, так как мы знали, что при этом всегда произносятся длинные речи, а время у нас весьма ограничено.

На аэродром мы прибыли позднее, чем рассчитывали, так как опоздала машина, присланная за нами. На приветствия времени уже не оставалось. Мы договорились с Женей, что, когда я проверю работу мотора, он вынет колодки из-под колес, быстро прыгнет в кабину и мы улетим. Так мы и сделали. Все сработало очень точно. Мы помахали руками, я дал полный газ, и через несколько секунд мы находились в воздухе. Погода стояла отличная.

Но пражский аэродром настолько заволокло дымкой, что пришлось лететь прямо в Варшаву. Мы знали, что важно зафиксировать прилет, а не посадку. Но все же было досадно не присесть в Праге.

И вот мы на последнем пункте нашего облета столиц. В Варшаве нас встретили пышно и гостеприимно. Жене пришлось заняться самолетом, а мне выпала дипломатическая миссия разговоров с офицерами. Наши советские представители, как и везде, с любовью и теплом приветствовали нас и выражали сожаление, что мы так скоро должны их покинуть. Меня провели в офицерское собрание тут же на аэродроме. Разговоры касались взаимоотношений наших государств. Поляки высказывали надежду, что мы никогда не будем воевать между собой.

Общее настроение — дружественное, товарищеское. После теплой встречи все собрание провожало нас до самолета. Наши советские женщины — сотрудницы посольства просили нас сбросить громадный букет цветов на нашу территорию, когда мы перелетим границу. Мы охотно выполнили их просьбу. Наши соотечественницы, видимо, не знали (а мы не верили) приметы, что дарить на дорогу «по воздуху» цветы нельзя: обязательно приведет к вынужденной посадке. Цветы мы сбросили, а потом «вынужденную» посадку совершили... в Москве.

Сколько бы раз ни подлетал к Москве, не могу привыкнуть и спокойно воспринимать облик родной столицы. Прежде всего (так бывало раньше) вспыхивает под лучами солнца купол храма Христа. Потом разворачивается неповторимая панорама Москвы — города, с которым буквально сросся душой, сердцем.

Мы сели с ходу и подрулили к большой группе людей. Они обступили нас, и мы с Женей очутились в объятиях встречавших. От имени Советского правительства нас приветствовал товарищ Уншлихт. Он расцеловал нас, поздравил и произнес краткую речь, выразив большое удовлетворение по поводу нашей победы.

Полет произвел в Европе настоящий бум. Европейские газеты неустанно публиковали отзывы о нашем рейде. Старые летчики Франции прислали поздравления и пригласили меня в свой клуб (Viel tige) старых корифеев авиации.

После этого полета за мной утвердилось негласное звание летчика номер один. Что может быть более почетным, высоким и дорогим! С гордостью старался пронести я это звание через всю мою жизнь и был счастлив, что в день моего семидесятилетия на настольном подарке друзья выгравировали надпись: «Летчику № 1».

Снова потекли трудовые будни. К весне появился самолет «И-1» в 400 лошадиных сил в серийном варианте. Сначала испытание головного самолета поручили

летчику Шарапову. Когда он стал проверять безопасность производства штопора на этом самолете, то произошло следующее событие (как и все испытательные полеты того времени, оно проводилось без парашюта): набрав высоту две тысячи метров, Шарапов перевел самолет в правый штопор. Желая вывести его из штопора, он, как обычно, дал левую ногу и ручку от себя. Однако самолет продолжал вращаться и, кроме того, стал так задира́ть нос, что, казалось, шел к земле подобно тарелке, не прекращая вращения. Подождав немного, летчик взял снова ручку на себя и держал ее некоторое время в этом положении. Самолет снова опустил нос и стал круто штопорить. Тогда Шарапов еще раз дал ручку от себя — самолет вошел в плоский штопор. Тогда у нас никому не было известно, что существует такой вид штопора. Летчик понял, что ничего уже нельзя сделать для прекращения вращения, и принял единственное в его положении решение: держать машину в этом положении до встречи с землей. Встреча произошла. По счастью, самолет ударился о ровный плоский холмик и разломился пополам, летчик остался жив, отделавшись переломом руки и ноги. Всю описанную выше картину он нам рассказал, когда окончательно пришел в себя в больнице.

После случившегося все стали размышлять, почему же Жуков и Громов ранее штопорили на этом самолете в обе стороны по семь витков и благополучно завершали полет, а у Шарапова произошло столь непонятное явление? Никто тогда не мог учесть, что в серийном самолете центр тяжести из-за некоторого перетяжеления, как обычно, сместился несколько назад, и это оказалось решающим фактором неустойчивости и перехода в плоский штопор. Но подобные открытия приходили не сразу и не легко. Вспоминаю я об этих и других эпизодах, о младенческих годах нашей авиации, потому что последующие успехи тесно связаны с этим славным минувшим, во многом подготовили победы, принесшие всемирную славу и признание советской авиации, ее мужественным летчикам и талантливым конструкторам.

Командование НОА предложило провести еще один опыт — поручить мне проверить возможность выхода из штопора, но приказало взять парашют. К этому времени мы закупили партию парашютов американской фирмы «Ирвинг».

25 апреля 1927 года около самолета, готовящегося к этому эксперименту, собралась группа летчиков и инженеров. Мы прилегли на травку возле машины и пустились в рассуждения, каким образом надо выбрасываться из самолета на парашюте, в какую сторону, принимая во внимание правое или левое вращение. Все единогласно пришли к мнению, что выбрасываться нужно вправо при правом штопоре. Но обсуждение закончилось единогласным убеждением: самолет не может не выйти из штопора. С такой уверенностью я сел в машину. Набрал две тысячи двести метров, перевел машину в правый штопор, как и Шарапов. Отсчитал три витка и дал быстро левую ногу, немного позже — ручку до отказа от себя. Жду, считаю. Три витка, а самолет не выходит, а поднимает нос и начинает идти тарелкой, совершенно плоско. Жду, считаю витки. Еще семь. Опять ручку на себя, левую ногу не снимаю с педали. Самолет начинает круто штопорить. Все как у Шарапова. Даю снова ручку до отказа от себя, и снова то же: тарелка. Еще несколько витков. И вовсе непредвиденное — заглох мотор. Все. Борьба дальше бесполезно. Преодолевая с большим трудом нелепое чувство необходимости покинуть самолет, бросаю управление.

Все действия представляются противоестественными. Но логика заставляла, голова соображала молниеносно, волнение ускоряло мышление, работавшее в этот момент как никогда четко и быстро. Пробую подняться, чтобы сесть на борт кабины самолета. Не тут-то было. Казалось, я прилип к сиденью. Снял ноги с педалей, подтянул их к сиденью, положил локти на борт кабины и начал с невероятным усилием выбираться постепенно из кабины, чтобы сначала сесть на ее борт. Как хорошо, что в те времена я тренировался со штангой. Сел на борт кабины, убедился, что держусь за кольцо парашюта, в последний раз взглянул на выотомер и оттолкнулся на двадцать второй витке от сиденья в правую сторону по вращению самолета. Несмотря на сильное волнение, явственнее всего ощущаю странность, необычность и противоестественность покинуть в такие минуты самолет. Мозг работал четко, последовательно и необыкновенно быстро. Секунды казались часами. Где самолет? Сосчитал: раз, два, три... кольцо выдернуто. Самолета не видно. А что же парашют? В этот момент меня что-то сильно дернуло. Поднял голову: надо мной купол. «Ага, еще повоюем!» — подумал про себя.

Я сидел в кресле, причем очень удобном, в воздухе. Удивительно и необычно. Впервые для меня и впервые в СССР 25 апреля 1927 года был совершен благополучный прыжок с парашютом из плоского штопора!

Но куда я приземляюсь? Управлять парашютом я не умел и не имел представления, как это делается. Меня несло по ветру спиной. Оглядываясь назад и вижу, что, вероятно, треснул о крышу домика или сяду на рядом с ним стоящую березу... Опустился на территорию Ходынского военного лагеря. О домик не ударился, а парашютом одел березу. Вокруг меня собралась толпа красноармейцев. Я не спешил вставать, так как боль в правом колене подвернувшейся ноги давала здорово о себе знать. Надо мной вдруг наклонился молодой человек и, представившись, предложил довести меня на автомашине до НОА. Я поблагодарил его, и мы вскоре оказались на опытной станции НОА. Расспросы, удивление, поздравления со вторым рождением и т. п. Я еще раз поблагодарил любезного товарища, оказавшегося супругом любимой мной известной поэтессы Веры Инбер.

На другой день, несмотря на боль в колене, я поднялся в воздух на лучшем нашем учебном самолете Поликарпова «У-2» в первый испытательный полет (без парашюта). Пролетал все, что только мог сделать этот самолет. Однако в штопор он входил только при полной потере скорости, а выходил из него мгновенно.

Когда мне поручили испытание самолета «У-2», известного в дальнейшем как «П-2», с двигателем «М-11», я и не предполагал, что этим самым приобщусь к одному из замечательных достижений нашей авиационной промышленности. В первом же испытательном полете, который совершился над Центральным московским аэродромом, я быстро выявил, что машина устойчива, чрезвычайно проста в управлении и обладает отличными летными качествами. Поскольку это учебный самолет, то я проделал все эволюции, необходимые для обучения, но с такими отклонениями, которые мог бы допустить неопытный ученик. Что же оказалось? Машина прощала очень грубые ошибки, которые легко можно было исправить. Двигатель оказался на редкость надежным и выносливым, прост и удобен в эксплуатации как на земле, так и в воздухе. Его мощность, вес, габариты, экономичность и прочие данные как нельзя лучше гармонировали с данными замечательного самолета. Завершив испытания, я дал самую высокую оценку и машине и мотору. Впоследствии к этой оценке присоединились тысячи советских летчиков. Наша авиация получила лучший в мире учебный самолет, на котором многие поколения нашей молодежи прошли начальное летное обучение.

Примерно в это же время я провел полностью испытание другого самолета Поликарпова, «И-3», истребителя. Он оказался устойчив, с довольно большими нагрузками на рычаги управления. Но я никогда не жаловался на нагрузки в управлении самолетом, учитывал прежде всего устойчивость, потому что она определяла надежность и простоту управления. Устойчивый самолет всегда, во всех случаях постоянно отвечает на управление совершенно определенно и всегда одинаково в равных условиях. Свойство, формирующее определенный навык, а навык — это результат повторения с точным сохранением последовательности и точности самих действий. Такой самолет, я считал, летает и управляется надежно, то есть соответственно с законами психической деятельности человека.

На этом этапе я уже начинал серьезно задумываться о проблеме надежности полетов и начинал понимать, насколько взаимосвязаны законы аэродинамики с законами психической деятельности в их взаимодействии для решения проблемы надежности полета при управлении человеком такой фантастической машиной, как самолет.

В то время меня исследовали в психофизиологической лаборатории при НОА. Я служил неким эталоном того времени по здоровью — по физиологии и по психике. Поднимался на самолете для определения его потолка без кислорода до семи тысяч двухсот метров в течение сорока пяти минут. Все прочие показатели, определявшие нормы, необходимые для успешного производства полетов, как определяли тогда специалисты, были у меня на высоте. Что ж, я это принимал со скромным удовлетворением. Данные эти сослужили мне хорошую службу и при испытательных полетах и при выполнении сложных и трудных рейдов.

В августе 1928 года к нам пришел материал из Англии «О происхождении штопора» и опубликован труд Пышнова «Штопор самолета». Прошел год с небольшим со

времени моего прыжка с парашютом. Наконец-то наши глаза раскрылись, и мы познали всю сущность и научную обоснованность происхождения авторотации (самовращения самолета) и основные причины, влияющие на надежность вывода из штопора. И случай с «И-1» стал понятным и получил наконец объяснение.

Трудно мне сейчас вспомнить хронологию всех сложных полетов, которые я вел в тот период. Но не могу не описать одного, который буду помнить до конца моих дней.

Глубокая осень. Октябрь в Подмоскowie. Опали листья с деревьев. Моросит скучный мелкий дождичек, местами туман, низкая сплошная облачность. Приказ: срочно вылететь в Одессу в такую-то часть для определения причин плохой работы некоторых приспособлений боевых машин. Там шли маневры. После выполнения этого задания мы должны были проинспектировать состояние вооружения и учебный процесс обучения по применению вооружения в одной из школ. Получив такое приказание, я и мой друг Боб Вахмистров без всяких рассуждений, с надеждой и верой выполнить задание во что бы то ни стало отправились в путь.

Как сейчас помню это осеннее московское утро. Рассвет. Быстро одеваюсь, взгляд в окно: о, кислятина! Дождь, плохая видимость. Бегом на аэродром. Карта подготовлена с вечера. Все продумано на самый трудный вариант погоды. Тревожные мысли во время обязательной и традиционной пробежки.

Самолет «Р-1» выведен механиками из ангара. По их вялым действиям и виду можно сразу угадать, о чем они думают: не тратьте, кумы, силы понапрасну. Но самолет все же выведен. Поставлены колодки под колеса для пробы мотора на полной мощности. Во время этого приготовления мы видели, как взлетел «дорнье» Гражданского воздушного флота и взяла курс на Харьков, куда и нам предстояло лететь для первой дозаправки горючим. За ним, немного раньше нас, поднялся «Фоккер С-4» с летчиком Федоровым.

Вырулили на старт. В это время садился вернувшийся «дорнье». Федю Федорова мы не видели, но впоследствии узнали, что и он тут же вернулся после взлета.

Полетели. Идем на высоте ниже фабричной трубы Подольска. Попробовали прыгнуть выше рваной облачности, но потеряли ориентировку, а этого я терпеть не мог. Снова снизился на пятьдесят метров. И так, прыгая вверх и вниз, дошли до Серпухова. Ока всегда открыта от тумана. Мы знали это из нашего опыта. За Окой увидели сплошной туман, лежащий над землей, но над ним прозрачный слой, суливший возможность лететь. Дождь продолжался.

— Давай, Боб, попробуем дальше идти над туманом, — сказал я Вахмистрову.

— Давай, Слон, — откликнулся он.

Мы перелетели Оку и дальше шли в дождь над пеленой. Минут через десять вдруг сверху нас накрыли облака; верхний слой сошелся неожиданно с нижележащим и мы очутились в сплошном мраке. Высота триста метров. Лететь по приборам мы еще не умели. Знали только, что нельзя ни уменьшить, ни прибавлять скорость самолета резко, чтобы не образовался крен. Кроме того, для продолжения благополучного полета надо прислушиваться, не дует ли в какую-либо щеку, чтобы определить, нет ли скольжения в ту или другую сторону. Я сбавил немного газ и начал медленное снижение.

Скорость по показателю начала расти, и когда вместо 150 уже значилось 190, я начал тихонечко брать ручку на себя. В этот момент вдруг увидел, что справа пашня, да в такой близости, что пришлось ручку быстро взять на себя. Самолет, казалось, ударится о пашню! Но он не ударился. Неведомая сила подхватила нас и понесла через пашню вперед. Вдруг перед нами в каких-нибудь тридцати метрах березняк! Ручку — на себя! Летим над березняком в десяти метрах высоты. Вокруг ничего не видно. Березняк кончился, снова — пашня.

Видимость... Читатель, очевидно, знает, что такое густой осенний туман и какая может быть в нем видимость. Снял очки. Дождь режет глаза. Какой выход? Куда летим? Нужно вернуться назад. Но некогда взглянуть на компас! Начинаю постепенно в прыжках снизу вверх и наоборот поворачивать самолет вправо, чтобы вернуться назад к Оке. Там туман приподнят. Мелькнула железная дорога. Ага, значит, на 45 градусов развернулись. Вдруг передо мною три сосны, которые я никогда не забуду. Еле успел поставить самолет на крыло, чтобы не задеть их. Опять вниз, снова прыжок

вверх. И так сорок пять минут! Время казалось нескончаемым. Наконец показалась Ока. Ура, мы спасены! Соображаем: раз железная дорога и мы, поворачивая вправо, вышли на Оку, значит, Серпухов справа. Летим вдоль Оки. Высота триста метров. Но что такое? Вроде мы идем не к Серпухову. Посовещались и решили, что надо разворачиваться на 180 градусов, тогда долетим до Серпухова. Долетели. Оказывается, железная дорога делала зигзаг и ввела нас в заблуждение. Взглянули на часы. Прикинули. Если мы сядем в Серпухове, нас могут вернуть назад, так как будет уже поздно принести какую-либо пользу на маневрах.

— Давай, Боб, попробуем еще раз. Честь родины! Задание надо выполнить!

— Конечно, Слон!

И мы снова тронулись над туманом в направлении Тулы на высоте трехсот метров. Я был теперь настороже и следил за тем, чтобы облака выше нас не сошлись с густейшим туманом, лежащим под нами.

Вдруг мелькнул просвет. Внизу, к нашей радости, я увидел землю. Устремился к ней, но в ту же минуту дернул ручку на себя, чтобы не врезаться в землю. Мы летели около Тулы. Передо мной мелькнули какие-то незнакомые холмики и вдруг направо рядом — фабричная труба, а слева — двухколейная железная дорога. Устремился вперед и полетел над дорогой, с двух сторон обсаженной елками. Летели над железной дорогой в тумане. Внимание мобилизовано до предела. Вдруг — переходный мостик... через полотно железной дороги. Нужно прыгнуть вверх, но не так уж высоко, чтобы снова прижаться к полотну, ведущему на юг, к Харькову. Над нами начало светлеть. Облачность стала прозрачной, и... наконец — засветилось синее небо. Победа, победа! Я не поднимался выше и продолжал полет на высоте двести—триста метров над землей до самого Харькова. Заправили наш самолет горючим, и мы вылетели в Одессу.

На другой день мы с Бобом прилетели в воинскую часть. Там все проверили и наладили как полагается. Нас благодарили за своевременную помощь, и мы улетели в Одессу.

Вспоминаю еще один полет с Бобом Вахмистровым в этот же период. Мы получили задание присутствовать на первом испытании сброса трехсоткилограммовой бомбы. На место мы долетели без приключений. Закончив работу, тронулись домой, в Москву. Сводку о погоде тогда не получали. Лететь нужно, значит, нечего и раздумывать. Утро стояло хорошее. Мы взлетели. Но чем дальше, тем хуже становилась погода. Появилась высокая слоистая облачность. А за двести километров до Москвы мы уже летели на стометровой высоте. Начался дождь, а затем начало так болтать, что ручка «Р-1» стала гулять от борта к борту, причем синхронно с ножными педалями. Перелетев Оку, увидели листья деревьев с их нижней стороны. Ветер, как мы узнали позже, был сто километров в час, почти встречный, и от Оки мы летели ровно час до московского аэродрома. Когда производили посадку, то казалось, что опускаемся не на самолете, а на воздушном шаре, почти не продвигаясь вперед. Сели благополучно. Дождь лил вовсю. Повернуть самолет для руления к ангару оказалось невозможным. Я сидел в самолете, а Боб вылез и позвал механиков. Мне пришлось удерживать повышенные обороты мотора, чтобы самолет не катился назад. По три человека повисли на крыльях и четыре держали за хвост. С таким сопровождением мы черепашим шагом добрались до ангаров. Пошли на доклад к начальнику НОА. Не успели войти в кабинет, как услышали:

— Ну конечно он! Кому же могло прийти в голову лететь в такую погоду!

Начальник улыбался и явно был доволен и удовлетворен. Журить нас ему вовсе не хотелось.

Однако не все эпизоды завершались столь благополучным финалом. Были конфликты, столкновения, оставившие в памяти неприятный след.

В тот период я испытывал самолет Поликарпова «Р-5». Очень удачная, хорошая машина. Испытал полностью и без задержки. Заметил лишь, что выход из правого штопора после трех витков штопора задерживается на полвитка. Так я и записал в отчете. На другой день меня вызвали к директору завода. Он с ходу объявил, что я отстранен от испытаний и уволен с «их» завода. Причиной послужила моя «дотошная» объективность в оценке самолетов, которой я, признаться, гордился и горжусь. Особых последствий это «грозное» распоряжение не имело, вспомнил о нем, потому что и его не

вычеркнешь из памяти, а главное, чтоб подчеркнуть: объективность — самое трудное и самое необходимое в нашей повседневной жизни и труде.

Весной 1929 года Центральный аэрогидродинамический институт построил трехмоторный самолет пассажирского назначения «АНТ-9» конструкции А. Н. Туполева. Испытание его поручили мне. Они прошли быстро, без доводок. Самолет оказался очень удачным. Не могу не вспомнить одно удивительное событие, случившееся в самом начале испытаний. Сделано было всего несколько полетов, как совершенно неожиданно Андрей Николаевич привез на аэродром всю свою семью, посадил в самолет, и я должен был их поднять в воздух. Мы, все работники, принимавшие участие в испытаниях, восприняли этот поступок, глубоко растрогавший нас, как пример высокой ответственности за свое дело, как доверие и веру в добросовестность коллектива. Впечатление было, что говорить, исключительное и вызвало много самых добрых отзывов о Туполеве.

После испытания в ЦАГИ самолет передали в Научно-испытательный институт ВВС для контрольных государственных испытаний. Некоторые летчики НИИ заявили, что самолет поперечно неустойчив. Заместитель командующего ВВС товарищ Алкснис вызвал меня к телефону и спросил, что это значит. Я попросил разрешения проверить самолет самому и разобраться, в чем дело. Он разрешил и добавил:

— Доложите о результатах мне.

Я сразу обнаружил по нагрузкам на штурвал еще на земле, что сильно перетянуты тросы управления. С механиком самолета мы проверили натяжку тросов: они оказались действительно сильно перетянутыми, мы отрегулировали их. Сел в самолет и пригласил летчиков НОА полететь со мною вместе. Они садились по очереди за второе управление. Все оказалось в порядке: самолет проявил устойчивость по всем осям (направлениям). Товарищ Алкснис справедливо пробрал, как говорят, с песком тех, кто поспешил с выводами. Об Алкснисе я расскажу подробнее несколько позже. Сейчас же мне хочется только сказать, что это был человек необыкновенной воли, честности по отношению к делу, к людям, необыкновенной работоспособности: он вникал абсолютно во все, что касалось авиации, и был вездесущ. Я гордился и дорожил его доверием.

Но для меня в этом самолете таился неприятный сюрприз: у магнитного компаса, установленного на специальном пульте между двумя летчиками (сиденья разделялись проходом), от вибрации в первом же полете вылилась жидкость, и он прекратил работу. Так как испытания нельзя было задерживать, то переделку с установкой компаса оставили без внимания. Испытания почти закончились, когда я узнал, что правительство приняло решение пустить «АНТ-9» в перелет по столицам Европы с целью его демонстрации, а летчиком назначили меня. Надо ли говорить, какую радость испытал я. На втором пилотском сиденье должен был лететь механик Русаков. Самолет в то время безусловно являлся лучшим в Европе.

Перед рейдом следовало проверить «АНТ-9» в эксплуатационной обстановке, и мне предстояло сделать на нем предварительный перелет по маршруту Москва — Одесса — Киев — Москва. Компас стал самым важным для меня предметом. Я выяснил, почему он отказал: концы винтов (пропеллеров) в момент работы на земле на большой мощности моторов начинали вибрировать. Если в этот момент смотреть на концы винтов в профиль, то отчетливо рисовалась не одна линия их контуров, а как бы две, расходившиеся к концу примерно до двух-трех сантиметров. Я обратил на это внимание аэродинамиков. Но кроме покачивания головой, мастера логарифмической линейки ничего не предпринимали. Самолет к этому времени поступил в распоряжение начальника экспедиции товарища Зарзара. Мой доклад о неисправности компаса потерпел крах. Он ответил, что такой летчик, как я, может лететь и без компаса. Пришлось самому заняться конструкцией установки компаса на принципе амортизации, но осуществить ее перед вылетом в Одессу не удалось. Компас поставили новый, но меня это не утешало: я знал, что через несколько минут полета он развалится. Так оно и случилось. Перед полетом я предупредил Зарзара, что нет гарантии в точности ориентировки. На это он объявил мне, что я просто, очевидно, нерешителен! Продолжать разговор не имело смысла.

Полет начался. Погода в самом начале полностью соответствовала поговорке «хороший хозяин собаки не выгонит со двора». На высоте пятьдесят метров в сплошном дожде летели мы на юг, ориентируясь по железной дороге, ведущей на Серпухов. После Серпухова погода стала постепенно улучшаться, и полет можно было продолжать на высоте триста метров. Я изменил направление и шел прямо на Одессу. В рейде участвовал известный штурман Иван Тимофеевич Спириин. Но что он мог сделать без компаса? Следил за картой и подсказывал примерное время прибытия к месту назначения. Я понимал его трагическое положение, так же как и он мое. К счастью, погода дальше стала ясной и основные трудности миновали.

В Одессе в это время находился командующий Воздушными Силами СССР П. И. Баранов и конструктор А. Н. Туполев. Через два дня они стали пассажирами на «АНТ-9». Мы тронулись в Киев при ясной погоде. Но с полпути погода начала портиться. Пошел дождь. Высота полета всего сто метров. Летели над лесным массивом и должны были выйти к правому берегу Днепра. Летя над лесом, я стал прислушиваться к какому-то странному звуку, примешивающемуся к звуку моторов. Кроме того, скорость начала падать. Двинул сектора управления моторами вперед, чтобы увеличить их мощность, но скорость все же продолжала падать. Звук, возникший ранее, еще усилился. А лесной массив все не кончался. Дождь лил проливной. Скорость падала. Я подозревал Ивана Ивановича Погосского, заместителя Туполева. Он пожал плечами и, так же как и я, не мог разгадать неприятного явления.

Сектора даны на полную мощность работы моторов, а скорость стала вместо 200—140!

Пролетели лес, но скорость — 120! Наконец справа показался Днепр. Лететь дальше вдоль правого берега я уже не мог: холмы по берегу впереди оказались выше нашего уровня, а подняться выше мы теперь не могли. Я тщетно кричал спутникам:

— Ищите площадку для посадки!

Скорость 118, почти предел. Решил перелететь Днепр на левый, низкий берег. Пролетая мимо островка на реке, увидел, что труба на стоявшем на нем домике выше нашего уровня. Скорость — 115! Впереди на левом берегу наконец-то мелькнула полоска земли, по ней тянулась тропинка, а за нею далее телеграфные столбы, перелететь которые мы уже не могли. Я сел на полоску со стороны Днепра. К счастью, все обошлось благополучно. Самолет остановился. Фатальное везение! Все мы сошли на землю и увидели: дождь разрезал по кромке полотно, обтягивающее винты, так как на передней кромке они не были окованы. Полотно постепенно отставало все больше и больше, как бы образуя надувные карманы. Аэродинамика винтов нарушалась, а это ухудшало тягу винтов и создавало добавочный звук.

— Дате-с, нуте-с! Что мы далее будем делать? — спросил Баранов.

Туполев быстро оценил ситуацию:

— У кого есть перочинные ножи?

Нашлось несколько ножей. Погосский сел ко мне на плечи и стал срезать полотно с винтов. Затем и другие таким же образом сажались друг другу на плечи и чистили винты. Работа сопровождалась смехом. Туполев шутил и ободрял всех окружающих:

— Любимь кататься — любви и саночки возить!

Когда процедура закончилась, решили часть экипажа снять с самолета и отправить до ближайшей деревни и там искать средства транспорта. Часть бензина слили. Эти меры предприняли для облегчения веса самолета, так как полоска, на которую я сел, оказалась очень короткой.

Мы с Андреем Николаевичем решили подняться по ветру, незначительному в это время, используя хоть и небольшой, но все же ощутимый уклон для разбега.

(Окончание следует)



ПУБЛИКАЦИИ И СООБЩЕНИЯ

ПИСЬМА МАРИНЫ ЦВЕТАЕВОЙ МАКСИМИЛИАНУ ВОЛОШИНУ*

Письма Марины Цветаевой, предлагаемые здесь читателю¹, имеют особый интерес. Они написаны восемнадцатилетней гимназисткой, только что выпустившей свой первый стихотворный сборник «Вечерний альбом» (1910). За исключением нескольких стихотворений в этом сборнике не так-то легко узнать привычную нам Цветаеву, но это и не мудрено: в «Вечерний альбом» вошли стихи, написанные в пятнадцати-, шестнадцати- и семнадцатилетнем возрасте, а некоторые, по-видимому, и еще раньше. И все-таки то было и а ч а л о трудного и яркого творческого пути.

Письма юной Цветаевой тоже мало похожи на поздние образцы ее эпистолярного наследия (с ними познакомил читателя «Новый мир» в № 4 за 1969 год). Однако, читая письма 1911 года, наблюдая Цветаеву в беседе со старшим другом, мы оказываемся свидетелями — на небольшом, но биографически важном отрезке времени — самого процесса становления ее личности. Личности, незаурядность которой во многом и определила главные черты цветаевской лирики. Напряженная работа самосознания, острота эмоциональных реакций, смесь детскости и ранней зрелости в суждениях — все отражено здесь с непосредственностью, которой уже не будет в письмах взрослого поэта, и это то, что делает письма, помимо всего, еще и интереснейшим психологическим документом.

Первый стихотворный сборник Марины Цветаевой «Вечерний альбом» вышел из печати в октябре 1910 года. «Ни одного экземпляра на отзыв мною послано не было, я даже не знала, что так делают, а знала бы — не сделала: напрашиваться на рецензию! — вспоминала Цветаева много лет спустя. — Отзывы тем не менее появились...» И первым был отзыв поэта и критика Максимилиана Волошина. «Это очень юная и неопытная книга — «Вечерний альбом», — писал Волошин в газете «Утро России». — Многие стихи, если их раскрыть случайно, посреди книги, могут вызвать улыбку. Ее надо читать подряд, как дневник, и тогда каждая строчка будет понятна и уместна. Она вся на грани последних дней детства и первой юности. Если же прибавить, что автор ее владеет не только стихом, но и четкой внешностью внутреннего наблюдения, импрессионистической способностью закреплять текущий миг, то это укажет, какую документальную важность представляет эта книга, принесенная из тех лет, когда обычно слово еще недостаточно послушно, чтобы верно передавать наблюдение и чувство...»

Интересно, что Брюсова, например, который через несколько месяцев тоже одобрительно отозвался о стихах неизвестной Цветаевой, все же несколько шокировала именно дневниковая искренность «Вечернего альбома». «Временами, — писал он, — создается впечатление подглядывания в замочную скважину...»² «Смелую (подчас чрезмерно) интимность» книги отмечал в своем отзыве и Гумилев, добавляя, однако, что автором «инстинктивно угаданы все главные законы поэзии»³.

Для Волошина даже чрезмерный объем цветаевского сборника не был минусом, ибо обилие и неотобранность стихотворений позволяли полнее и достовернее увидеть живое девичье шестнадцати-семнадцатилетие. Тут сказывался в Волошине не столько

* Публикация, вступление и примечания *Ирмы Кудровой*.

¹ Копии писем были предоставлены публикатору дочерью М. И. Цветаевой А. С. Эфрон. Сверены с подлинниками, хранящимися в настоящее время в рукописном отделе Пушкинского Дома (ИРЛИ), архив М. А. Волошина.

² «Русская мысль», 1911, № 2, стр. 233.

³ «Аполлон», 1911, № 5, стр. 78.

критик, сколько человек, относившийся всегда с огромным интересом к тайне неповторимой личности и обладавший редким даром угадывания творческой основы в человеке.

Вскоре после появления статьи в «Утре России» Волошин пришел в Трехпрудный переулочек — незваным гостем, знакомиться. Принес и статью, о которой Цветаева ничего до тех пор не знала. Первая встреча положила начало яркой, одной из самых значительных дружб, которыми судьба одарила Цветаеву. Еще через день, прочтя статью и присланные Волошиным по почте стихи, ей посвященные, Цветаева пишет Максимилиану Александровичу первое письмо.

Волошин чуть не вдвое старше Цветаевой: ему тридцать три, ей восемнадцать лет. За плечами старшего — насыщено и пестро прожитая жизнь: путешествия по странам Европы, споры в парижских кафе, множество знакомств и дружб и известность автора многих статей об искусстве. Волошин регулярно печатается, но первая книжечка его стихов выйдет только в том же 1910 году, на полгода раньше цветаевской. В литературных кругах отношение к Волошину неустойчиво. Поначалу, когда его только еще «открывали» в Петербурге и Москве (1903), — почти всеобщая влюбленность. Волошин покоряет мастерством блестящего рассказчика, умением слушать, умением примирять спорящих, необычайной добротой и способностью быть своим в самых разных кругах. О нем много рассказывает в своих мемуарах Андрей Белый; Блок восхищен его знанием языков и мировой поэзии; контакты с Брюсовым более деловые, но обоюдно весьма уважительные.

Однако склонность Волошина к парадоксам, сама широта его увлечений и интересов скоро начнут многих раздражать. Даже близким ему людям подчас кажется странной его «эстетическая прозорливость», чрезмерной — терпимость к людям и мнениям. Эренбург, тепло написавший о Волошине в мемуарах, тоже недоумевал, как совмещается в этом человеке столь разное: страсть к всевозможным мистификациям и розыгрышам и глубокая преданность искусству, почти легкомысленное жизнелюбие и широчайшая эрудиция. Для Цветаевой тут нет вопроса. Ее очерк о Волошине «Живое о живом»⁴ (1933) открыто пристрастен, автор не скрывает восхищения своим героем. Цветаева пишет о человеке, по-настоящему ей близком и понятном, легко проникает в его суть, природу, направленность. И поэтизирует даже волошинскую внешность — его «семь пудов мужской красоты». С чисто цветаевской любовью к обобщениям эта телесная «полновесность» и «физическая обширность» увидены и поданы здесь как «введение в обширность духовную». И эта-то «духовная обширность», пожалуй, завораживает Цветаеву больше всего в Максимилиане Волошине. Это и горячая сердечная отзывчивость на все, что происходит вокруг, и всегдашнее настороженное внимание к самым различным попыткам истолкования мира, и потребность постоянного собственного обновления пусть ценой гибели прежних пристрастий... Таким увидела его Цветаева в первый же год встречи, таким он остался в ее памяти.

Зима 1910/11 года была для самой Цветаевой трудным временем. По многим стихам «Вечернего альбома» видно, что она мучительно тяжело переносила ту изоляцию от мира, в которую сама себя поместила в подростковые годы. Дом Цветаевых в Трехпрудном переулке никогда не был людным и шумным, но и внутри него Цветаева привыкла отъединяться — книгами, стихами, упорной работой над переводом ростановского «Орленка». Весь 1910 год прошел еще и под знаком тяжело пережитого и не слишком понятного разрыва с человеком, которому внутренне посвящен «Вечерний альбом» (особенно его раздел «Любовь»). «Можно тени любить, но живут ли тенями восемнадцать лет на свете?» — это строки из стихотворения осени того же 1910 года.

И тут-то является Волошин. Живой, энергичный, восхищенный, не собирающийся ни влюбиться, ни жениться, но предлагающий дружбу — и выход в живую жизнь, в интересные литературные дома, редакции, собрания, а летом — в гостеприимный и веселый мир Коктебеля. И не как знакомую гимназисточку ведет он Цветаеву на Новинский бульвар, в дом молодого талантливого прозаика Алексея Толстого, а как поэта, как своего друга — на началах равноправия.

В первых письмах Цветаевой Волошину преобладает тема прочитанных книг — она возникла, как мы знаем по очерку, с самого начала их знакомства: «А Бодлера вы ни

⁴ «Литературная Армения», 1968, №№ 6.7.

когда не любили? А Артюра Рембо — не знаете?.. А Франси Жамма вы никогда не читали? А Клоделя вы...» Со вздохом примирясь с упрямым неинтересом Марины к современным французским поэтам, Волошин снабжает ее романами Жорж Санд, Гюго, Дюма, к искреннему ее удовольствию. Но вот в письме, написанном 5 января. Цветаева сама горячо рекомендует новое для нее имя — Генрих Манн. В это время в Москве выходит собрание его сочинений. Цветаевой нравится у писателя смешение реальности с фантастикой, прихотливость сюжетных ситуаций. Но надо помнить, что все это ранний Генрих Манн, до «Верноподданного», и трилогия «Богини», о которой идет речь в письме, явственно окрашена в декадентские тона. Чтобы понять горячую увлеченность романами Дюма и Жорж Санд, одами Гюго и пьесами Ростана, нам достаточно помнить, что Марине Цветаевой только что исполнилось восемнадцать лет. Но героиня трилогии — образ совсем другого ряда, чем Консуэло или трагический герцог Рейхштадтский; у нее куда больше родства с ибсеновской Геддой Габлер. Это «сильная личность», смело идущая по жизни, не оглядываясь ни на чьи мнения. Ницшеанская идея о том, что для избранных натур обычные мерил поведения непригодны, к концу трилогии как будто развенчивается. Но симпатия самого Манна к его героине ощущима все-таки больше, чем осуждение. То и другое разделяет и Марина Цветаева. На наш сегодняшний взгляд, «Богини» — роман попросту безвкусный, а герцогиня фон Асси претенциозна и временами смешна, — что может быть убийственнее для того, кто должен был выглядеть «сверхчеловеком»? Как же Цветаева этого не замечает?..

Но не будем навязывать нынешнее восприятие читателю 1911 года. Совсе не только восемнадцатилетняя девушка обольщена была новыми веяниями, не только ей кружила голову мечта о полном — без границ — выявлении потенциальных возможностей личности. Сильная личность стоит в центре пьес Ибсена, книг Гамсуна, Уайльда, стихотворений молодого Брюсова. Знаменитая строчка «Я, гений Игорь Северянин», так же как и названия иных поэтических сборников («Я!» Маяковского, «*Me eum esse*» Брюсова), появилась именно в этой атмосфере. Значит ли это, что юная Цветаева просто дышит воздухом времени? Конечно; но такое объяснение было бы неполным.

В том же письме она пишет Волошину с восхищением: «Вы — воплощенная жадность жизни...» И нет сомнения — ту же жадность она ощущает в себе, жадность, идущую от кипения жизненных сил. Вот что воплощает для нее герцогиня. Вся искусственность образа заслонена этим узнаванием. «В чужом мы всегда любим свое», — сформулирует Цветаева много позже, в очерке о Наталье Гончаровой.

В начале апреля 1911 года она уезжает в Гурзуф, и в письмах Волошину из Крыма мы находим весь букет юности: одиночество, проскальзывающие между строк сожаления об утраченной любви, музыка, море... Но все темы перекрывает мотив душевной тревоги: «...мучаюсь и не нахожу себе места...» Книги не утешают, знания уже кажутся враждебной силой, мешающей жить. Формулировки подчас весьма категоричные: «...много читавший не может быть счастливым». К живой реальности у юной Цветаевой «глубокое недоверие». «Значит, — продолжает она размышлять, — я не могу быть счастливой?..»

Пройдет всего три недели — и Цветаева переедет из Гурзуфа в Коктебель, к Волошину, в его гостеприимный дом, который к началу мая уже был полон дачниками.

Этот дом был резким контрастом цветаевскому дому в Трехпрудном. Там спартанский аскетизм во всем укладе, подчиненность ежедневного ритма только одному — суровому, хоть и любимому труженичеству, с одиночеством всех, порознь, за своими письменными столами. Здесь тоже сидели — кто за письменным столом, кто за мольбертом, здесь тоже много писали и читали, бродили в одиночку, но праздник, радость и дружелюбная совместность были неизменными спутниками уединения. Праздник и радость, которых так недоставало Марине в ее собственном доме!

Внешних событий в Коктебеле было немало, но вряд ли осталось бы в памяти Цветаевой это лето самым светлым пятном жизни, если бы оно исчерпывалось калейдоскопом внешних впечатлений. Рядом с ними, внутри них, в Цветаевой стремительно развивался процесс благотворного освобождения от замкнутости в самой себе. Она освобождалась от гурзуфской неврастности, от своих гнетущих и бесплодных размышлений, во многом придуманных, но доставлявших реальные страдания.

И когда спустя немногим больше двух недель в Коктебель приехала младшая

сестра Ася, ее изумлению не было пределов: «Это — Марина?..» В прежней Марине «я» и «мир» всегда противостояли друг другу — так будет и много лет спустя, в эмиграции. Но в Коктебеле 1911 года была другая, счастливая Марина Цветаева. В какой-то неуследимый момент эти «я» и «мир» слились. Еще в Гурзуфе перед глазами были то же море, те же горы, то же солнце над головой, но не было места себе самой в мироздании. И только теперь мир разом обрел цвет, запах, высоту, глубину — в о п л о т и л с я. Тут не было одного Пигмалиона, их было сразу три — сам Коктебель, новый, неузнаваемый Волошин и, конечно, Сергей Эфрон, ставший меньше чем через год мужем Цветаевой.

В отношениях с Волошиным не осталось никакой «светскости», которая все же сковывала в Москве. Макс стал дорогим другом, которому можно было доверить все, да и доверять не надо было, потому что он угадывал все с полуслова и без слов. «Чем я тебе отплачу?» — спрашивает Цветаева в одном из писем, уже уехав из Коктебеля. «Это лето было лучшее из моих взрослых лет, и им я обязана тебе». Но лучшим это лето оказалось — из всех лет, прожитых Цветаевой, и она не раз об этом говорила потом своим друзьям. Отплатила же — по-цветаевски щедро — через двадцать с лишним лет, написав блестящую литературную эпитафию «Живое о живом».

Из летнего Коктебеля она уехала тогда вместе с Сергеем Эфроном, сыном давней приятельницы Волошина; вдвоем они решили отправиться в Уфимскую губернию, где больной туберкулезом Эфрон намеревался лечиться кумысом. Письма из Усень-Ивановского завода заполнены радостной болтовней. С трудом Цветаева останавливает себя, чтобы сообщить друзьям хоть какие-нибудь конкретные жизненные подробности. И — знаменательно! — о книгах сообщается в последнюю очередь: вовсе не они заполняют теперь жизнь. Во всяком случае, не этим хочется делиться.

Ждут нас пыльные дороги,
Шалаши на час
И звериные берлоги,
И старинные чертоги,
Милый, милый, мы как боги,
Целый мир — для нас!⁵

В Уфимской ли губернии написаны эти стихи или уже позднее, в Москве, в предвкушении свадебного путешествия — не столь важно. Главное тут — как в письмах всей второй половины года — резко изменившийся тонус: искренний захлеб счастья, порыв души навстречу жизни и миру, который перестал ощущаться враждебным.

Приехав в сентябре в Москву, Марина Ивановна и Сергей Яковлевич сначала поселяются в Трехпрудном, а затем в Сивцевом Вражке. Чуть позже, когда в Москву приедет мать Волошина (Пра, как зовут ее все со времен одной из озорных коктебельских мистификаций), образуется то самое общее гнездо, которое Алексей Толстой весело прозвал «обормотником», а его обитателей и гостей — «обормотами».

Сохранившиеся письма Елены Оттобальдовны сыну (Волошин осенью 1911 года уехал в Париж) передают напряженные поначалу отношения внутри «обормотника». Сестры Эфрон встревожены не на шутку: брату всего восемнадцать лет, он болен, а Цветаева, они убеждены, не способна заботиться о его режиме и здоровье. «Марина бьет баклуши вместе с Сергеем, — жалуется Пра, — и оба живут как посторонние жильцы в доме...»⁶ Живут отъединенно и обособленно, где-то пропадают, неизвестно куда ходят, неизвестно чем занимаются... Это с точки зрения «взрослых». А между тем 27 октября Цветаева свезет в типографию рукопись своей второй книги стихов — «Волшебный фонарь». И в эти же недели, когда сестры сокрушаются о бездельничавшем брате, С. Я. Эфрон отдает в печать свое прозаическое произведение — «Детство». Оно выйдет в свет одновременно с «Волшебным фонарем», и в нем дан первый литературный портрет Марины Цветаевой, созданный ее женихом!

Письмо Цветаевой Волошину от 28 октября звучит резким контрастом к общей встревоженности: «Со многим, что мне раньше казалось слишком трудным, невозможным для меня, — я справилась и со многим еще буду справляться! Мне надо быть очень

⁵ Из сборника М. Цветаевой «Волшебный фонарь».

⁶ Архив ИРЛИ.

сильной и верить в себя...» И тут же — прямая переключка с письмами из Гурзуфа: «Потом я еще думала, что глупо быть счастливой, даже неприлично! Глупо и неприлично так думать — вот мое сегодня».

Волошин пытается из Парижа ослабить напряжение, возникшее в «обормотнике». «Я боюсь,— пишет он матери, явно надеясь, что его строки прочтут и сестры Эфрон,— что ты Марины не понимаешь: в ней есть действительно много к себе не подпускающего, замкнутого. Но я это объясняю большой полнотой ее природы и инстинктивной самостоятельностью ума. Она... защищает свою самостоятельную жизнь с эгоизмом молодого существа, жившего гораздо больше сердцем в мечте, чем сердцем в действительности...» (25 ноября 1911 года)⁷. Поразительно тонкая характеристика!

О вскоре последовавшем первом, и, кажется, единственном, «разминовении» Цветаева коротко рассказывает: «В ответ на мое извещение о свадьбе с Сережей Эфроном Макс прислал мне из Парижа, вместо одобрения или по крайней мере ободрения,— самые настоящие соболезнования, полагая нас обоих слишком настоящими для такой живой формы жизни, как брак. Я, новообращенная жена, вскипела: либо признавай меня всю, со всем, что я делаю и сделаю (и не то еще сделаю!), либо...»

К сожалению, мы не знаем текста волошинского послания. Цветаевское же «я вскипела» выразилось в короткой записке, решительной и непримиримой, тут же отосланной в Париж (№ 11 нашей подборки). Однако с Волошиным нелегко было поссориться: он «не давал своего согласия на ссору», как писала позже Цветаева. Вскоре, растроганные очередным добрым приветом старшего друга, с вершин своего счастья легко забывающие обиду, Марина и Сергей шлют телеграмму своему «Медведюшке»: «Ta patte, cheg ours unіque» («Твою лапу, дорогой и единственный медведь»). И тем размова была исчерпана.

Чтобы закончить «свадебный» сюжет, скажем, что Волошин приехать на свадьбу все же не успел, приехал на месяц позже — в середине февраля 1912 года, но молодые дождались его приезда в Москве, подарили свои только что вышедшие из печати книжки и только тогда уехали в свадебное путешествие. Опасения родных не оправдались: союз оказался устойчивым, хоть бурь над ним пронеслось немало...

И еще одно событие упомянуто в письме от 3 ноября: предстоящее выступление в «Эстетике», точнее — в «Обществе Свободной Эстетики», которым руководил Брюсов. Об этом выступлении мы знали до сих пор по воспоминаниям Анастасии Цветаевой. Но есть одно маленькое добавление — открыточка, написанная Эфроном Волошину на следующий день, 4 ноября. В ней строки: «Вчера Марина с Асей читали стихи в Эстетике. Их вызывали на бис. Из всех восемнадцати поэтов, читавших свои стихотворения, они пользовались наибольшим успехом...»

Так кончался 1911 год, наступал новый, 1912-й. Встретили его в «обормотнике» весело. «Пили шампанское...— пишет Пра сыну,— и вино у нас не по усам текло, а и в рот попадало. А рождественская наша елка при зажигании ее в первый же вечер сразу вспыхнула вся, пришлось ее заливать, а она стала чадить, заволочло дымом все обормотское гнездо, но не помешало веселью обормотов и их гостей...»⁸.

Итак, далеко позади осталось время, когда Марине достаточно было мира собственной комнаты с книгами и стихами. Когда внешний мир ей так назойливо мешал, что и уйдя из четырех стен, она не ощущала ничего, кроме своей неслитности с людьми и природой. А ведь прошел только год, да даже и меньше года (вспомним письма из Гурзуфа). Цветаева вышла из своего девичьего «терема», хлебнула всей грудью воздуха живой жизни, узнала радость настоящей, преданной дружбы, настоящей любви. Увидела себя вполне пригодной к чувству счастья, а так было уже в том сомневалась! Года два назад книги казались чуть не высшей радостью, а теперь она пишет Волошину: «Наслаждаться — университетом, когда есть Италия, Испания, море, весна, золотые поля!..» Она знает, кому жалуется: не Волошин ли, сам неутомимый путешественник, и заразил ее неодолимым желанием — ехать, смотреть, вбирать в себя новые впечатления...

Писем Цветаевой более позднего времени тому же адресату, к сожалению, сохранилось мало. Но мы знаем, что дружеские отношения не прерывались. Цветаева

⁷ Там же.

⁸ Там же.

еще не одно лето проведет в Коктебеле, а в трудные годы гражданской войны, узнав о страшном голоде в Крыму, пойдет в Кремль к Луначарскому с письмом Волошина в руках просить о помощи писателям Крыма. Луначарский приветливо встретил Цветаеву и горячо откликнулся на принесенные известия: вскоре голодающим писателям была оказана денежная и продовольственная поддержка.

1

Москва, 23 декабря 1910 г.

Многоуважаемый Максимилиан Александрович,

Примите мою искреннюю благодарность за Ваши искренние слова о моей книге. Вы подошли к ней, как к жизни, и простили жизни то, чего не прощают литературе.

Благодарю за стихи.

Если Вы не боитесь замерзнуть, приходите в старый дом со ставнями¹. Только предупредите, пожалуйста, заранее. Привет.

Марина Цветаева.

¹ То есть в дом Цветаевых в Трехпрудном переулке, 8

2

Москва, 5 января 1911 г.

Я только что начала разрезать «La Canne de Jaspe»¹, когда мне передали Ваше письмо. Ваша книга — все, что мы любим — наша — очаровательна. Я буду читать ее сегодня целую ночь. Ни у Готье, ни у Вольфа² не оказалось Швоба³. Я даже рада этому: любить двух писателей зараз — невозможно. Будьте хорошим: достаньте Генриха Манна. Если хотите блестящего, фантастического, волшебного Манна — читайте «Богини», интимного и страшно мне близкого — «Голос крови», «Актриса», «Чудесное», «В погоне за любовью», «Флейты и кинжалы».

У Генриха Манна есть одна удивительно скучная вещь: я два раза начинала ее и оба раза откладывала на грядущие времена. Это «Маленький город».

Вся эта книга — насмешка над прежними, она даже скучнее Чехова. Менее скучны, но также нехарактерны для Манна «Страна лентяев» и «Смерть тирана».

А в настоящую минуту перечитываю «В погоне за любовью». Она у меня есть по-русски, т. е. я могу ее достать.

В ней Вас должен заинтересовать образ Уты, героини. Но если у Вас мало времени, читайте только Герцогиню⁴ и маленькие вещи «Флейты и кинжалы», «Актрису», «Чудесное».

Очень я Вам надоела со своим Манном?

У Бодлера есть строка, написанная о Вас, для Вас: «L'univers est égal à son vaste appetit»⁵. Вы — воплощенная жадность жизни. Вы должны понять Герцогиню: она жадно жила. Но ее жадность была богаче жизни. Нельзя было начинать с Венеры! До Венеры — Минерва, до Минервы — Диана!

У Манна так: едет автомобиль, через дорогу бежит фавн. Все невозможное — возможно, просто и должно. Ничему не удивляешься: только люди проводят черту между мечтой и действительностью. Для Манна же (разве он человек?) все в мечте — действительность, все в действительности — мечта. Если фавн жив, отчего ему не перебежать дорогу, когда едет автомобиль? А если фавн только воображение, если фавна нет, то нет и автомобиля, нет и разряженных людей, нет дороги, ничего нет. Все — мечта и все возможно!

Герцогиня это знает. В ней все, кроме веры. Она — не мистик, она слишком жадно дышит апрельским и сентябрьским воздухом, слишком жадно любит первую землю. Небо для нее — звездная сетка или сеть со звездами. В таком небе разве есть место Богу? Ее вера — беспредельная и непоколебимая — в Герцогиню Виолетту фон Асси. Себе она молится, себе она служит, она одновременно и жертвенник и огонь, и жрица и жертва.

Обратите внимание на мальчика Нино, единственного молившегося той же

силе, как Герцогиня. Он понимает, он принимает ее всю, не смущаясь никакими ее поступками, зная, что все, что она думает, — нужно и должно для нее. Общая вера в Герцогиню связала их до гроба, быть может, и после гроба, если Христос позволил им жить еще и остаться теми же. Как смотрит Христос на Герцогиню?

Она молилась себе в лицах Дианы, Минервы и Венеры. Она не знала Его, не понимала (не любила, значит — не понимала), не искала. Что ей делать в раю? За что ей ад?

Она грешница перед чеховскими людьми, перед с. д., земскими врачами — и святая перед собой и всеми, ее любящими.

Неужели Вы дочитали до сих пор? Если бы кто-нибудь так много говорил мне о любимом или не любимом мной писателе, я бы... Нарочно прочла его, чтобы так же длинно разбить по всем пунктам.

Один мой знакомый семинарист⁶ (Вы чуть-чуть знаете его) шлет Вам привет и просит Вас извинить его неумение вести себя по-взрослому во время разговора. Он не привык говорить с людьми, он слишком долго надеялся совсем не говорить с ними, он слишком дерзко смеялся над Реальностью.

Теперь Реальность смеется над ним. Его раздражает вечный шум за дверью, звуки шагов, невозможность видеть сердце собеседника, собственное раздражение — и собственное сердце.

Простите бедному семинаристу!

Марина Цветаева.

¹ «Яшмовая трость», книга рассказов французского писателя Анри де Ренье (1884—1936).

² Владельцы книжных магазинов в Москве.

³ По-видимому, речь идет о книге, которой был увлечен в то время Волошин: М. Швоб, «Воображаемые биографии».

⁴ Герцогиня Виолетта фон Асси, героиня трилогии Г. Манна «Вогини» (романы «Диана», «Минерва», «Венера»).

⁵ Вселенная равна своему огромному аппетиту (франц.).

⁶ Здесь и далее Цветаева говорит о себе. См. в ее очерке «Живое о живом» слова Волошина при первой встрече: «Вы удивительно похожи на римского семинариста...» («Литературная Армения», 1968, № 6).

3

Москва, 7 января 1911 г.

Какая бесконечная прелесть в словах: «Помяни... того, кто, уходя, унес свой черный посох и оставил тебе эти золотистые листья»¹. Разве не вся мудрость в этом: уносить черное и оставлять золотое?

И никто этого не понимает, и все, знающие, забывают это! Ведь вся горечь в остающемся черном посохе!

Не надо забвения, надо золотое воспоминание, золотые листья, которые можно, «разжав руку, развеять по ветру»! Но их не развеешь, их будешь хранить, в них будешь лелеять тоску о страннике с черным посохом. А черный посох, оставленный им, нельзя развеять по ветру, его сожжешь, и останется пепел — горечь, смерть!

Может быть, Ренье и не думал об этих словах, не подозревал всю их бездонную глубину, — не все ли равно!

Я очень благодарна Вам за эти стихи.

Марина Цветаева.

¹ Цветаева цитирует стихотворение Ренье, упоминавшееся в статье Волошина «Анри де Ренье» («Аполлон», 1910, № 4).

4

Гурзуф, 6 апреля 1911 г.

Многоуважаемый Максимилиан Александрович,

Я смотрю на море — издалека и вблизи, опускаю в него руки — но все оно не мое, я не его. Раствориться и слиться нельзя. Сделаться волной?

Но буду ли я любить его тогда?

Оставаться человеком (или «получеловеком», все равно!) — вечно тосковать,

вечно стоять на рубеже. Должно, должно же существовать более тесное *ineinander*¹. Но я его не знаю!

Цветет абрикосовое дерево, море синее, со мной книги...

Читаю сейчас Jean Paul'a «Flegeljahre»² — бесконечно очаровательную, грустно-насмешливую, неподдельно романтическую книгу.

Наша дача — «моя» звучит слишком самоуверенно — над самым морем, к которому ведет бесчисленное множество лестниц без перил и почти без ступенек. Высота головокружительная. Приходится все время подбадривать себя строчкой из Бальмонта, заменяя слово «солнце» словом «море»:

«Я видела море, сказала она,
Что дальше — не все ли равно?!»³.

Пусть это эстетство, мне оно дороже и ближе чужого опрощения! Здесь еще довольно холодно. Сейчас лежала на скале и читала милые Flegeljahre. Эта скала называется крепостью, с нее чудный вид на море и Гурзуф.

В надписях на скалах есть что-то или очень пошлое, или очень трогательное — я еще не решила. Когда решу, буду или очень нападать на них, или очень защищать. Если бы только они были немного поумнее!

Я очень сильно загорела — все время сижу без шапки.

Мечтаю о купанье, но оно начинается только в мае. Может быть, это и есть самое тесное сближение с морем? Предпоследнее, конечно! Непременно напишите, что Вы об этом знаете.

Общество, выражаясь скромно, не совсем то: господин с дамой (бывают «дама с господином», но здесь наоборот), дама с колясочкой, два неопределенных субъекта — смесь с. д. с неучем — и все. Есть еще несколько маленьких детей, но до того грязных, что вся моя нежность от этого пропадает.

Господин (с дамой) уже старался познакомиться. Рассказывает о дружбе с одним виноделом, который его угощает, о погоде, о тоске одиноких прогулок — даму он не считает, — о своих занятиях по торговой части... Я улыбалась, говорила: «Да, да... Неужели? Seriously?» Потом перестала улыбаться, перестала вскоре отвечать: «Неужели?» — а в конце концов сбежала.

Мне кажется, он не только никогда ничего не читал, но и вообще этого не умеет.

Дама (с колясочкой) занята только ею. Это, конечно, очень мило, но несколько однообразно. Есть еще одно маленькое женское существо, скучающее о муже и рассказывающее мне вот уже пять дней (от Москвы до Гурзуфа) свои радости и печали. Я улыбаюсь, говорю: «Да, да... Неужели? Seriously?» — и, кажется, вскоре перестану улыбаться. Но восторг мой еще не прошел, не думайте!

Всего лучшего, иду гулять.

МЦ

Адр.: Гурзуф, Генуэзская крепость, дача Соловьевой, мне.

Р. С. Не были ли Вы в Мусагете⁴ и у Крахта⁵? Что нового? Видели ли Драконну⁶?

¹ Здесь — слияние (нем.).

² Жан Поль Рихтер (1763—1825), немецкий писатель, упоминается его роман «Взорные годы».

³ Строки из стихотворения «С морского дна».

⁴ Московское символистское издательство, возглавлявшееся Андреем Белым.

⁵ Скульптор, в мастерской которого собирались молодые поэты, примыкавшие к «Мусагету».

⁶ Дружеское прозвище Л. А. Тамбурер, приятельницы Цветаевой.

5

Гурзуф, 18 апреля 1911 г.

Многоуважаемый Максимилиан Александрович,
Пишу Вам под музыку, — мое письмо, наверное, будет грустным.
Я думаю о книгах.

Как я теперь понимаю «глупость взрослых», не дающих читать детям своих взрослых книг! Еще так недавно я возмущалась их самомнением: «дети не могут понять», «детям это рано», «вырастут — сами узнают». Дети — не поймут? Дети слишком понимают! Семи лет Мцыри и Евгений Онегин гораздо верней и глубже понимаются, чем двадцати. Не в этом дело, не в недостаточном понимании, а в слишком глубоком, слишком чутком, болезненно-верном! Каждая книга — кража у собственной жизни. Чем больше читаешь, тем меньше умеешь и хочешь жить сама.

Ведь что ужасно! Книги — гибель. Много читавший не может быть счастлив. Ведь счастье всегда бессознательно, счастье только бессознательность. Читать — все равно что изучать медицину и до точности знать причину каждого вдоха, каждой улыбки — это звучит сентиментально, — каждой слезы.

Доктор не может понять стихотворения! Или он будет плохим доктором, или он будет неискренним человеком.

Естественное объяснение всего сверхъестественного должно напрашиваться само собой. Я сейчас чувствую себя таким доктором. Я смотрю на огни в горах — и вспоминаю о керосине, я вижу грустное лицо — и думаю о причине — естественной — его грусти, т. е. утомлении, голоде, дурной погоде, я слушаю музыку — и вижу безразличные руки, исполняющие ее, такую печальную и нездешнюю... И во всем так!

Виноваты книга и еще мое глубокое недоверие к настоящей, реальной жизни. Книга и жизнь, стихотворение и то, что его вызвало, — какие несоизмеримые величины! И я так заражена этим недоверием, что вижу, начинаю видеть — одну материальную, естественную сторону всего. Ведь это прямая дорога к скептицизму, ненавистному мне, моему врагу!

Мне говорят о самозабвении. «Из цепи вынута звено, нет завтра, нет вчера!»
Блажен, кто забывается!

Я забываюсь только одна, только в книге, над книгой!

Но как только человек начинает мне говорить о самозабвении, я чувствую к нему такое глубокое недоверие, я начинаю подозревать в нем такую гадость, что отшатываюсь от него в то же мгновение. И не только это!

Я могу смотреть на облако и вспомнить такое же облако над Женевским озером и улыбнуться. Человек рядом со мной тоже улыбнется. Сейчас фраза о самозабвении, о мгновении, о «ни завтра, ни вчера». Хорошо самозабвение! Он на Генуэзской крепости, я у Женевского озера, 11-ти лет, оба улыбаемся, — какое глубокое понимание, какое проникновение в чужую душу, какое слияние!

И это в лучшем случае.

То же самое, что с морем: одиночество, одиночество, одиночество.

Книги мне дали больше, чем люди. Воспоминание о человеке всегда беднее перед воспоминанием о книге, — я не говорю о детских воспоминаниях, нет, только о взрослых.

Я мысленно все пережила, все взяла. Мое воображение всегда бежит вперед. Я раскрываю еще не распустившиеся цветы, я грубо касаюсь самого нежного и делаю это невольно, не могу не делать! Значит, я не могу быть счастливой? Искусственно «забываться» я не хочу. У меня отвращение к таким экспериментам. Естественно — не могу из-за слишком острого взгляда вперед или назад.

Остается ощущение полного одиночества, которому нет лечения. Тело другого человека — стена, она мешает видеть его душу. О, как я ненавижу эту стену! И рая я не хочу, где все блаженно и воздушно, — я так люблю лица, жесты, быт! И жизни я не хочу, где все так ясно, просто и грубо-грубо! Мои глаза и руки как бы невольно срывают все покровы — такие блестящие! — со всего.

Что позолочено — сотрется,
Свиная кожа остается!

Хорош стих?

Жизнь — бабочка без пыли. Мечта — пыль без бабочки. Что же бабочка с пылью?

Ах, я не знаю.

Должно быть что-то иное, какая-то воплощенная мечта или жизнь, сделавшаяся мечтой. Но если это и существует, то не здесь, не на Земле!

Все, что я сказала Вам — правда.

Я мучаюсь и не нахожу себе места: со скалы к морю, с берега в комнату, из комнаты в магазин, из магазина в парк, из парка снова на Генуэзскую крепость — и так целый день.

Но чуть заиграет музыка — Вы думаете, моя первая мысль о скучных лицах и тяжелых руках исполнителей? Нет, первая мысль, даже не мысль — отплытие куда-то, растворение в чем-то... А вторая мысль о музыкантах.

Так я живу.

То, что Вы пишете о море, меня обрадовало. Значит, мы — морские? У меня есть об этом даже стихи ¹, как хорошо совпало. Курю больше, чем когда-либо, лежу на солнышке, загораю не по дням, а по часам, без конца читаю, — милые книги! Кончила «Joseph Balsamo» — какая волшебная книга! Больше всех я любила Lorenz'u, жившую двумя такими различными жизнями. Balsamo ² сам такой благородный и трогательный! Благодарю Вас за эту книгу. Сейчас читаю M-me de Jentis ³, ее биографию.

Думаю остаться здесь до 5 мая. Все, что я написала, для меня очень серьезно. Только не будьте мудрецом, отвечая, — если ответите! Мудрость ведь тоже из книг, а мне нужно человеческого, не книжного ответа. Au revoir, Monsieur mon père spirituel ⁴.

Граммофона, может быть, не будет.

МЦ

¹ Стихотворение «Душа и имя», вошедшее в сборник «Волшебный фонарь» (1912).

² Имеется в виду роман А. Дюма «Записки врача (Жозеф Бальзамо)». Лоренца, Бальзамо — герои романа.

³ Жанлис, Мадлен Фелисите (1746—1830), французская писательница.

⁴ До свиданья, мой духовный отец (франц.).

6

Усень-Ивановский завод, 26 июля 1911 г.

Дорогой Макс,

Если бы ты знал, как я хорошо к тебе отношусь!

Ты такой удивительно милый, ласковый, осторожный, внимательный. Я так любовалась тобой по вечерам в Старом Крыму — твоим участием к Олимпиаде Никитичне ¹, твоей вечной готовностью помогать людям.

Не принимай все это за комплименты, я вовсе не считаю тебя какой-нибудь ходячей добродетелью из общества взаимопомощи, — ты просто Макс, чудный сказочный Медведюшка. Я тебе страшно благодарна за Коктебель, — pays de redemption ², как называет его Аделаида Казимировна ³, и вообще за все, что ты мне дал. Чем я тебе отплачу? Знай одно, Максенька: если тебе когда-нибудь понадобится соучастник в какой-нибудь мистификации, позови меня. Если она мне понравится, я соглашусь. Надеюсь, что другого конца ты не ожидал? Я опять принялась за Jean Paul'a, — у него чудные изречения, например: так же нелепо судить мужчину по его знакомым, как женщину по ее мужу.

Нравится? Но не это в нем главное, а удивительная смесь иронии и сентиментальности. К тому же он ежеминутно посмеивается над читателем, вроде Th. Gautier ⁴. Что ты сейчас читаешь? Напиши мне по-настоящему или совсем не пиши.

Последнее мне напоминает один случай из нашего детства. «Он был синеглазый и рыжий» ⁵, т. е. один чудный маленький мальчик в Nervi долго выбирал между Асей и мной и в конце концов выбрал меня, потому что мы тогда уехали. В Лозанне мы с ним переписывались обе, и однажды Ася получает от него такое письмо: «Пиши крупнее или совсем не пиши» [...].

МЦ

Адрес: Усень-Ивановский завод, Уфимской губ., Белебеевского уезда, Волостное правление, мне.

Р. С. Пиши скорей, — почта приходит только два раза в неделю и письма идут долго очень. Скажи Елене Оттобальдовне, что я очень, очень ее люблю, Сережа ⁶ тоже.

¹ О. Н. Сербинова, приятельница Волошина.

² Страна искупления (франц.).

³ Поэтесса А. К. Герцык (1878—1925).

⁴ Т. Готье (1811—1872), французский поэт.

⁵ Первые строки стихотворения, вошедшего в сборник «Волшебный фонарь».

⁶ С. Я. Эфрон.

7

Усень-Ивановский завод, 11 августа 1911 г.

Милый Максинька,

[...] С удовольствием думаю о нашем появлении в Мусагете втроем и на ты! Ты ведь приведешь туда Сережу? А то мне очень не хочется просить об этом Эллиса ¹.

Спасибо за письмо, милый Медведюшка.

Меня очень обрадовало твое усиленное рисование, Сережу тоже, — по какой чудной картине ты нам подаришь, с морем, с горами, с польню! Если ты о них забудешь при встрече в Москве, ты ведь позволишь нам напомнить, — vous refraichir la memoire ²? Сережа готовит тебе сюрприз, я... мечтаю о твоих картинах — видишь, как мы тебя вспоминаем!

Макс, я сейчас загадала на тебя по Jean Paul'ю и вот что вышло: «Warum erscheinen uns keine Tierseelen» ³.

Доволен?

Довольно глупостей, буду писать серьезно. Сперва о костюмах: у меня с собой только серая юбка, разодранная уже до Коктебеля в 4-х местах. Я ее каждый день зашиваю, но сегодня на меня упал рукомойник и разорвал весь низ. Мы его и ее заклеили сургучом.

Во-вторых, о Сережином питании: он выпивает по две бутылки сливок в день, но не растолстел.

В-третьих, о моей постели: она скорее похожа на колыбель, притом на плохую. В середине ее слишком большое углубление, так что, ложась в нее, я не вижу комнаты. Кроме того, парусина рвется не по часам, а по минутам. Стоит только шевельнуться, как слышится зловещий треск, после которого я всю ночь лежу на деревяшке.

В-четвертых, о книгах: я читаю Jean Paul'a, немецкие стихи и Lichtenstein ⁴. Представь себе, Макс, что совсем не изменилась с 12 лет по отношению к этой книге [...].

Спасибо за Гайдана, 4 pattes ⁵ и затылок. А когда ты в меня мячиком попал, я тебя прощаю.

МЦ <...>

¹ Литературный псевдоним Л. Л. Кобылинского (1879—1947), друга М. Цветаевой, поэта и критика.

² Освежить вам память (франц.).

³ Почему нам не являются души животных (нем.).

⁴ «Лихтенштейн», роман немецкого писателя В. Гауфа (1802—1827)

⁵ Похоже, что Волошин прислал в письме отпечатки лап («4 pattes» — 4 лапы) одной из коктебельских собак, Гайдана, и свое стихотворение «Гайдан».

8

Москва, 1/14 октября 1911 г.

Дорогой Макс,

Недавно, проходя по Арбату, я увидела открытку с кудрявым мальчиком,

очень похожим на твой детский портрет, и вспомнила, как ты чудно подполз к нам с Сережей. — помнишь, на твоей террасе? Завтра мы переезжаем на новую квартиру — Сережа, Лиля, Вера¹ и я.

У нас с Сережей комнаты vis à vis — Сережина темно-зеленая, моя малиновая. У меня в комнате будут: большой книжный шкаф с львиными мордами из папиного кабинета, диван, письменный стол, полка с книгами и... лиловый граммофон с деревянной (в чем моя гордость!) трубой. У Сережи — мягкая серая мебель и еще разные вещи. Лиля и Вера устроятся как хотят. Вид из наших окон чудный — вся Москва. Особенно вечером, когда вместо домов одни огни. Дома, где мы сейчас с Сережей, страшный кавардак: Ася переустраивает комнату. Кстати, один эпизод: папа не терпит Борю², и вот когда он ушел, Ася позвала Бориса по телефону. Когда в 1 ч. вернулся папа, Борис побоялся, уходя, быть замеченным и остался в детской до 6 ч. утра, причем спускался по лестнице и шел по зале в одеяле, чтобы быть похожим на женскую фигуру.

Ася перед тем прокралась вниз и на папин вопрос, что она здесь делает, ответила: «Иду за молоком» (которого, кстати, никогда не пьет). Мы с папой очень мило поговорили вчера о моем отъезде, он на все согласен. Присутствие Лили и Веры (в общем, очень ненужное) послужило нам на пользу.

Драконючка вечно мила и необыкновенна. Как ты верно заметил в ней несоответствие высказываемого с думаемым. Как-то недавно, например, она, утешая одну барышню, говорит ей такую вещь: «Нельзя же, в самом деле, открывать душу и дупить с ней во все лопатки!» Она очень полюбила Сережу: «Да, Сережа такой трогательный».

Ася: «А Боря трогательный?»

«Нет, он страшный».

Ты, Макс, конечно, больше любишь Бориса, ты отчего-то Сереже за все лето слова не сказал. Мне очень интересно — почему? Если из-за мнения о нем Лили и Веры — ведь они его так же мало знают, как папа меня. Ты, так интересующийся каждым, вдруг пропустил Сережу, — я ничего не понимаю!

26 сентября было Сережино 18-тилетие и мое 19-тилетие. Это был последний день дома без папы. Мы сидели вчетвером наверху у Айзы³ при нанделябрах, обжирались конфетами и фруктами и вспоминали нашего незаменимого Медведюшку. Мы праздновали за раз 4 рождения — наши с Сережей, Асино, бывшее 14 сентября, и заодно Борино будущее, в феврале. Как бы ты на Асином месте вел себя с Борисом? Ведь нельзя натягивать вожжи с такими людьми. Как ты думаешь? — Из-за мелочей. — Напиши, если хочешь, об этом твое мнение. Ты ведь знаешь людей!

В Мусагете еще не была и не пойду до 2-го сборника⁴. Милый Макс, мне очень любопытно, что ты о нем скажешь. — неужели стала хуже писать? Впрочем, это глупости. Я задыхаюсь при мысли, что не выскажу всего, всего! Пока до свидания, Максинька, пиши. Ася тебя целует, Сережа тоже, Марина лохматится о твою львиную голову. У меня волосы тоже вьются... на концах.

МЦ

Мой адр.: Москва, Сивцев Вражек, д. Зайченко (или д. № 19) кв. 11, мне.

¹ Лиля, Вера — сестры С. Я. Эфрона.

² В. С. Трухачев, будущий муж А. И. Цветаевой.

³ То есть у Аси, сестры М. Цветаевой.

⁴ «Волшебный фонарь», второй сборник стихов Цветаевой, вышел в феврале 1912 года.

Москва, 28 октября 1911 г.

Дорогой Макс,

У меня большое окно с видом на Кремль. Вечером я ложусь на подоконник и смотрю на огни домов и темные силуэты башен. Наша квартира начала жить. Моя комната темная, тяжелая, нелепая и милая. Большой книжный шкаф, большой письменный стол, большой диван — все увесистое и громоздкое. На полу глобус и никогда не покидающие меня сундук и саквояжи. Я не очень верю в

свое долгое пребывание здесь — очень хочется путешествовать! Со многим, что мне раньше казалось слишком трудным, невозможным для меня, я справилась и со многим еще буду справляться! Мне надо быть очень сильной и верить в себя — иначе совсем невозможно жить!

Странно, Макс, почувствовать себя внезапно совсем самостоятельной. Для меня это сюрприз, мне всегда казалось, что кто-то другой будет устраивать мою жизнь.

Теперь же я во всем буду поступать, как в печатании сборника. Пойду и сделаю. Ты меня одобряешь?

Потом я еще думала, что глупо быть счастливой, даже неприлично! Глупо и неприлично так думать — вот мое сегодня.

Жди через месяц мой сборник — вчера отдала его в печать. Застанет ли он тебя еще в Париже?

Пра сшила себе новый костюм — синий, бархатный, с серебряными пуговицами — и новое серое пальто. (Я вместо «кафтан» написала «костюм»!) На днях она у Юнге¹ познакомилась с Софьей Андреевной Толстой. Та, между прочим, говорила: «Не люблю я молодых писателей! Все какие-то неестественные! Напр., Х.— сравнивает Лев (так в оригинале! — И. К.) Николаевича с орлом, а меня с наседкой. Разве орел может жениться на наседке? Какие же выйдут дети?»

Пра очень милая, поет и дико кричит во сне, рассказывает за чаем о своем детстве, ходит по гостям и хвастается. Лиля все хворает, целыми днями лежит на кушетке. Вера ходит в китайском лимонно-желтом халате и старается приучить себя к свободным разговорам на самые свободные темы. Она точно нарочно (и наверно нарочно) употребляет самые невозможные, режущие слова. Ей, наверное, хочется перевоспитать себя, побороть свою сдержанность. «Раз эти вещи существуют, можно о них говорить».

Это не ее слова, но могут быть ею подуманными. Только ничего этого ей не пиши!

До свидания, Максинька, пиши мне.

МЦ

¹ Е. Ф. Юнге, врач, друг М. А. Волошина.

ТО

Москва, 3 ноября 1911 г.

Дорогой Макс,

В январе я начинаю с Сережей, приезжай. Ты будешь моим шафером. Твое присутствие совершенно необходимо.

Слушай мою историю. Если бы Драконна не сделалась зубным врачом, она бы не познакомилась с одной дамой, которая познакомила ее с папой; я бы не познакомилась с ней, не узнала бы Эллиса, через него не узнала бы Н-ра¹, не напечатала бы из-за него сборника, не познакомилась бы из-за сборника с тобой, не приехала бы в Коктебель, не встретила бы с Сережей — следовательно, не венчалась бы в январе 1912 г.

Я всем довольна — январь — начало нового года, 1912 г.— год пребывания Наполеона в Москве.

После венчания мы, наверное, едем в Испанию. (Папе я пока сказала — в Швейцарию.) На свадьбе будут все папины родственники, самые странные. Необходим целый полк наших личных друзей, чтобы не чувствовать себя кем-то, — от пожеланий всех этих почтенных старших, которые, потихоньку и вслух негодуя на нас за не оконченные нами гимназии и сумму наших лет — 37, — непременно отравят нам и январь и 1912 г.

Макс, ты должен приехать!

Сборник печатается, выйдет, наверное, через месяц.

Сегодня мы с Асей в Эстетике читаем стихи. Будут: Пра, Лиля, Сережа, Ася и Борис. Я говорила по телефону с Брюсовым (он случайно подошел вмес-

то Жанны Матвеевны, просившей меня сообщить ей по телефону ответ), и, между прочим, такая фраза:

— Одна маленькая оговорка, можно?

— Пожалуйста, пожалуйста!

Я, робким голосом:

— Можно мне привести с собой мою сестру? Я никогда не читаю без нее стихов.

— Конечно, конечно, будем очень счастливы!

Посмотрим, как они будут счастливы! Я очень счастлива — мы будем совершенно свободны, — никаких попечителей, ничего.

Разговор с папой кончился мирно, несмотря на очень бурное начало. Бурное с его стороны, я вела себя очень хорошо и спокойно.

— Я знаю, что в наше время принято никого не слушаться... (В наше время! Бедный папа!)... Ты даже со мной не посоветовалась. Пришла и — «выхожу за муж!»

— Но, папа, как же я могла с тобой советоваться? Ты бы непременно стал мне отсоветывать.

Он, сначала:

— На свадьбе твоей я, конечно, не буду. Нет, нет, нет. — А после: — Ну, а когда же вы думаете венчаться?

Разговор в духе всех веков!

— Тебе нравится моя новая фамилия?

Мои волосы отросли и вьются. Цвет русо-рыжеватый.

Над моей постелью все твои картинки. Одну из них — помнишь, господин с девочкой на скамейке? — я назвала «Бальмонт и Ника». Милый Бальмонт с его «Vache»² и чайными розами!

Пока до свидания, Максинька, пиши мне.

Только не о «серьезности такого шага, юности, неопытности» и т. д.

МЦ

¹ В. О. Нилендер, переводчик, друг Эллиса и сестер Цветаевых.

² Vache — корова (франц.), оскорбительное прозвище полицейских во Франции. Очевидно, имеется в виду кратковременный арест Бальмонта в Париже из-за недоразумения с полицейским.

11

Москва, 19 ноября 1911 г.

Ваше письмо — большая ошибка.

Есть области, где шутка неуместна, и вещи, о которых нужно говорить с уважением или совсем молчать за отсутствием этого чувства вообще.

В Вашем издательстве виновата, конечно, я, допустившая слишком короткое обращение.

Спасибо за урок!

Марина Цветаева.

12

(на обороте фотографии)

Москва, 3 декабря 1911 г.

Дорогой Макс,

Вот Сережа и Марина, люби их вместе или по отдельности, только непременно люби и непременно обоих. Твоя книга¹ — прекрасная, большое спасибо и усиленное глажение по мохнатой медвежьей голове за нее. Макс, я уверена, что ты не полюбишь моего 2-го сборника. Ты говоришь, он должен быть лучше 1-го или он будет плох. En poésie comme en amour rester à la même place — c'est reculer?²

Это прекрасные слова, способные воодушевить меня, но не изменить! Сегодня вечером с 9-тичасовым поездом уезжают за границу Ася и Лиля. С 10-тичасовым едет факир³. Увидишь их всех в Париже. Я страшно горячо живу.

Не знаю, увидимся ли в Париже, — мы там будем в январе, числа 25-го. Пока до свидания. Скоро мы с Сережей едем к Тью⁴, в Тарусу, потом в Петербург. Его старшая сестра очень враждебно ко мне относится.

МЦ

¹ Возможно, речь идет о книге М. А. Волошина «Стихотворения. 1900—1910» (М. «Гриф». 1910).

² В поэзии, как в любви, оставаться на месте значит идти вспять (*франц.*).

³ Шутливое прозвище Б. С. Трухачева.

⁴ Так звали сестры Цветаевы жену А. Д. Мейна, своего деда.

13

Петербург, 10 января 1912 г.

Милый Макс,

Сейчас я у Серезиных родственников в П[етер]бурге. Я не могу любить чужого, вернее чуждого. Я ужасно нетерпима.

Нютя¹ — очень добрая, но ужасно много говорит о культуре и наслаждении быть студентом для Сережи.

Наслаждаться — университетом, когда есть Италия, Испания, море, весна, золотые поля...

Ее интересует общество адвокатов, людей одной профессии. Я не понимаю этого очарования! И не принимаю!

Мир очень велик, жизнь безумно коротка — зачем приучаться к чуждому, к чему попытки полюбить его? О, я знаю, что никогда не научусь любить что бы то ни было, просто потому что слишком многое люблю непосредственно!

Уютная квартирка, муж — адвокат, жена — жена адвоката, интересующаяся «новинками литературы»... О, как это скучно, скучно.

Дело с венчанием затягивается — Нютя с мужем выдумывают все новые и новые комбинации экзаменов для Сережи. Они совсем его замучили. Я крепко держусь за наше заграничное путешествие: — «Это решено». Волшебная фраза! За которой обыкновенно следуют многозначительные замечания вроде: «Да, м. б., на это у вас есть какие-нибудь особенные причины?»

Я, право, считаю себя слишком достойной всей красоты мира, чтобы терпеливо и терпимо выносить каждую участь!

Тебе, Макс, наверное, довольно безразлично все, что я тебе сейчас рассказываю. Пишу все это наугад.

Пра очень трогательная, очень нас всех любит и чувствует себя среди нас как среди очень родных. <...>

Пока до свидания, пиши в Москву по прежнему адресу.

Стихи скоро начнут печататься, последняя корректура ждет меня в Москве.

МЦ

Р. С. Венчание наше будет за границей².

¹ А. Я. Трупчинская, старшая сестра С. Я. Эфрона.

² Венчание состоялось в Москве, в Палашевской церкви, в январе 1912 года.

В 1932 году, когда создавался очерк «Живое о живом», Цветаева создает и цикл стихотворений, посвященных Волошину. Мы предлагаем вниманию читателя одно из стихотворений, не вошедших в одноименн Цветаевой 1965 года.

* * *

Над Вороньим утесом —
Белой зари рукав.
Ногу, уже с заносом
Бега, с трудом вкопав

В землю, смеясь, что первой
Встала в зари венце,

Макс, мне было так верно
Ждать на твоём крыльце.

Позже, отвесным полднем,
Под колокольцы коз
С холма да на всхолме,
С глыбы да на утес,

По трехсаженным креслам —
Тропам иных эпох —
Макс, мне было так лестно
Лезть за тобою, Бог

Знает куда. Да, виды
Видевшим путь тернист.
С глыбы на пирамиду,
С рыбы на обелиск.

Ну, а потом на плоской
Вышке — орлы вокруг —
Макс, мне было так просто
Есть у тебя из рук,

Божьих или медвежьих,
Опережавших «дай»,
Рук, неизменно бережных,
За воспаленный край

Раны умевших братья
Веры в сплошном луче.
Макс, мне было так братски
Спать на твоём плече

Горы. Себе на горе
Видится мне одно
Место — с него два моря
Были видны по дно

Бездны. Два моря сразу.
Дщери иной поры.
Кто вам свои два глаза
Преподнесет с горы?

Только теперь, в подполье,
Вижу, когда потух
Свет, до чего мне вольно
Было в обхвате двух

Рук твоих. В первых встречных
Царстве, и, сам суди,
Макс, до чего мне вечно
Было в твоей груди.

Пусть ни единой травки,
Площе, чем на скамье,
Макс, мне будет так мягко
Спать на твоей скале!

Кламар, 28 окт. 1932 г.



ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

В. ЦЕРБИНА,

член-корреспондент Академии наук СССР



СООТНЕСЕННАЯ С ЖИЗНЬЮ

*Пятилетие постановления ЦК КПСС
«О литературно-художественной критике»*

Многогранность содержания постановления ЦК КПСС «О литературно-художественной критике» важно осмыслить прежде всего в свете основополагающих концептуальных идей, имеющих актуальное значение как для практики, так и для теории, методологии и истории искусства, идей, обращенных к широким проблемам развития всей художественной культуры.

Всей своей сутью постановление ЦК КПСС утверждает исключительную высоту общественной и эстетической миссии критики, ее значение в жизни искусства, в жизни общества. Критика предстает как действенная, духовно формирующая сила художественного прогресса современности, как неотделимая органическая часть и движущий фактор художественного процесса современности. Она призвана оказывать активное влияние на развитие эстетических вкусов народа.

Критика выступает как активная сила духовного самосознания эпохи, развивающаяся как синтез опыта искусства и опыта самой действительности. Она содействует осмыслению и формированию процессов социального, духовного и художественного бытия современности.

Столь широкое представление о миссии художественной критики противостоит ее примитивным и извращенным трактовкам, с которыми нередко приходилось и еще приходится встречаться.

Обратить внимание на это тем более важно, что в последние годы во многих зарубежных странах наблюдается тенденция снижения функции критики, приспособле-

ния ее к потоку стандартной «массовой продукции». На международном коллоквиуме по критике французский литературовед Жан Бланзе с тревогой говорил о том, сколько распространено в наше время опасное искажение задач критики: «Эпоха, когда литературные шедевры приспособляются для сцены, для кино и даже для мультипликационных фильмов, учит грубости и упрощенчеству. Из романа извлекается лишь его интрига... Критик испытывает на себе такое давление и в какой-то степени уступает ему. От него требуют быстроты, четкости, штампов и надуманных образов. Если критику пощастливится открыть нового писателя и если на долю этого писателя выпадет успех, то он сразу же попадает в руки газетных хроникеров, которые для него гораздо важнее». По мнению западногерманского критика Г. Арнольда, высказанному в его книге «Нужна ли нам еще литература?», литературная критика часто «опускается до уровня одной из тех областей культурной индустрии, которая все меньше вызывает интереса и все больше редуцируется». Статья другого западногерманского критика, К. Цтиллера, симптоматично озаглавлена «О конце литературной критики», — критики, которая, по словам автора, в некоторых буржуазных странах оказалась в роли «придатка к издательской рекламе».

Существуют такие мнения, что критика и литературоведение наших дней все больше ограничивают свое поле зрения структурными элементами текста, его имманентной интерпретацией. Вместо широких социаль-

но-философских обобщений некоторые авторы берут в основу своих суждений принцип количества информации... Говорят и так: **ныне** критика не может претендовать на роль «властителя дум», то есть на самостоятельное решение широких проблем духовной жизни, поскольку в наше время целые плеяды научных работников трудятся в области философии, истории, права, экономики, этики, эстетики, филологии и т. д. Дифференцированность современных общественных наук, по мнению ряда авторов, диктует неизбежность отказа от широкого охвата не только процессов духовной жизни вообще, но и самой литературы, неизбежность прихода к узкой специализации, которая-де только и может обеспечить исследование литературы в интересующем критика направлении.

Естественно, каждый критик, каждый литературовед сосредоточивает свое внимание на изучении какого-то определенного круга явлений. Но это еще не основание для отказа от широкого подхода к явлениям литературы. Особенность классической и современной передовой критики определяется отнюдь не просто количеством информации, а философско-эстетической концепцией критической мысли. Источники силы классической и передовой современной критики зависят от широты и глубины охвата разнообразных явлений искусства, глубокого проникновения в общие процессы духовной жизни эпохи. Усложненность художественной жизни современности как раз более настоятельно, чем когда-либо, требует обращения к широким проблемам социальной и духовной жизни эпохи. Сейчас особенно необходимо критике выносить свои суждения о существенных гранях духовной жизни человека, активно воздействовать на формирование внутреннего мира людей.

Этот вопрос имеет еще один **широкий** аспект. Ограничение литературоведа и критика «узкой специализацией» не соответствует общим тенденциям развития современной науки. Одним из важнейших, решающих условий дальнейшей успешной работы в сфере как общественных, так и естественных наук становится и во многом уже стала организация комплексных исследований. При нынешнем положении всякое частное, узкоспециальное исследование, если оно не связано с целостным, коллективным или индивидуальным комплексным изучением проблемы, рискует оказаться не-

состоятельным и бесполезным. С другой стороны, мы уже имеем поучительный опыт скоординированных и коллективных исследований в сфере общественных наук, — опыт, который открывает большие перспективы плодотворных комплексных разработок, прямо ориентированных на глубокое изучение действительности и эффективное решение крупных научных задач.

Вся история русской и мировой литературы, свидетельства многих выдающихся писателей прошлого и настоящего подтверждают значение критики как сферы широкого осмысления через явления искусства процесса жизни, как определенной области самосознания литературы и общества.

Ф. М. Достоевский писал: «Критика так же естественна и такую же имеет законную роль в деле развития человеческого, как и искусство. Она сознательно разбирает то, что искусство представляет нам только в образах. В критике выражается вся сила, весь сок общественных выводов и убеждений в данный момент».

О высоте, многосторонности и вместе с тем целенаправленности задач критики убежденно сказал А. Н. Толстой: «Критику — в первые ряды. Критика — это целеустремленный, напряженный мозг искусства. Критика — составляющая часть искусства. У критика прежде всего глаза художника (а не диоптрия классификатора), темперамент художника, дерущегося в пыли и поту в общей свалке искусства. Задача критика близка к задаче режиссера, когда он берет рукопись и вскрывает ее скрытую между строк энергию на сцене в конкретных образах перед зрительным залом. Критик должен стать идеальным выразителем художественного роста, требований и творческих страстей читательских масс».

Как известно, вопросы назначения литературной критики получили широкое освещение еще на Первом съезде советских писателей. Были отвергнуты узкие воззрения на критику, односторонние представления о ее «предназначении» обслуживать отдельных писателей или писательские группы. Известный литературовед И. К. Луцпол утверждал с трибуны съезда, что «литературно-критическая работа должна быть адресована не только тому автору, о произведении которого идет речь. Она должна быть интересной для всех читателей, для всех, кому дорога литература. А это может быть только тогда, когда литературно-критическое произведение будет идейно насы-

ценным, когда оно будет расширять и раздвигать идейные горизонты и указывать идейный путь всей читающей публике. Именно такими были произведения — и в этом их непревзойденный смысл — Белинского, Герцена, Чернышевского, Добролюбова и им подобных».

Именно в связи с основными социальными, философскими и эстетическими исканиями эпохи возникает истинное представление о месте и функции критики в духовной жизни современности. Не могу до конца согласиться с характеристикой критики лишь как самосознания литературных направлений. Так, например, В. И. Кулешовым выдвинуто определение: «...критика — это теоретическое самосознание литературных направлений, активное средство борьбы за утверждение их творческих принципов, способ истолкования и оценки художественных произведений»¹. Для подкрепления этого определения приводятся слова В. Г. Белинского, что «каждая эпоха русской литературы имела свое сознание о самой себе, выражавшееся в критике». Но как раз слова В. Г. Белинского и раскрывают односторонность понимания критики лишь как самосознания литературных направлений, — ее функция гораздо шире! Она по своему представляет выражение самосознания того, что гораздо шире рамок литературного направления, — своей эпохи. А это предполагает органическую опору критики на опыт всей литературы, на опыт общественной и духовной жизни своего времени. Критика служит не только обобщению принципов одного направления, но и исследованию своими средствами воплощенного в литературе человековедческого опыта самой действительности, формированию ответов на центральные, волнующие общество вопросы жизни.

Критика выступает как философия, как осмысливающее начало литературы. Она содействует повышению познавательного, идейного и художественного уровня творчества писателей; она помогает читателю выделить реальные жизненные вопросы, дать на них ответ, основываясь на материалах литературы и жизни. В потоке литературного материала, самых различных, разноречивых, порой противоположных художественных воззрений читателю нелегко бывает найти главное, наиболее плодотворное. Даже великие произведения литературы,

¹ Кулешов В. И. История русской критики XVIII—XIX веков. М. «Просвещение». 1972, стр. 3.

как «Тихий Дон», потребовали многих лет совместных усилий критиков и читателей, чтобы сложилось глубокое понимание этих произведений, было правильно найдено их место в литературе, в духовной жизни современности.

Не раз доводилось слышать мнение, что критика во многом зависит от состояния самой литературы. Безусловно, это состояние в немалой степени определяет особенности критики того или иного отрезка времени, в ней находят наглядное выражение достоинства и недостатки, положительные и отрицательные тенденции литературного материала определенного времени. Бывает, что те или иные слабости в литературном процессе порождают в критике последние десятилетия, видишь, что были такие критики, которые особенно активно «легализовали» слабости художественной практики некоторых писателей. Не на этой ли почве и укреплялось мнение о неизбежности хронического отставания критики от развития литературы?

Часто любят повторять, что критика фатально «не дотягивает» до освоения эстетического и жизненного содержания явлений текущей литературы, заранее предполагая, что это содержание якобы всегда раскрывается критикой недостаточно полно. Случается, что иные возлагают на критику даже вину за неудачную судьбу своих произведений!

Между тем при широком историческом подходе проблема взаимоотношений критики и художественного творчества куда сложнее, чем подобного рода упрощенские толкования. Опыт истории литературы свидетельствует, что в определенные периоды передовая критика бывала подлинной пролагательницей новых путей художественного творчества, способствовала развитию новых течений и явлений литературы. Такова роль В. Г. Белинского, Н. Г. Чернышевского и Н. А. Добролюбова в утверждении реализма в русской литературе. Такова историческая роль классиков марксистской критики, исторически и теоретически предвидевших рождение и расцвет нового, социалистического искусства. Особенно же

ярким примером тому может служить программное предвидение В. И. Лениным партийной литературы будущего, основанной на опыте прошлого и революционного настоящего, предназначенной служить массам трудящихся, составляющим цвет, надежду и будущее нации!

С другой стороны, ряд литературных направлений антиреалистического характера не мог бы сложиться и получить влияние без своей критики. Трудно себе, например, представить историю русского символизма вне его критического обоснования в работах Минского, Мережковского, Брюсова, Белого, Эллиса и других, теоретически утверждавших основы этого направления, способствовавших их внедрению в сознание определенных слоев интеллигенции.

Много примеров того, что в общественном восприятии произведение литературы часто предстает сращенным с определенными критическими суждениями о нем, дает и литературный процесс современной эпохи. Литературное произведение входит в сознание общества определенным образом истолкованным критикой — как бы более многомерным, порой обогащенным в своем содержании. Случалось, что на первый план общественного восприятия выдвигались суждения о литературных явлениях, а не они сами по себе. Такое обычно наблюдается в периоды, когда происходят внешне до конца не выявившиеся, но серьезные глубинные внутренние процессы в жизни общества и литературы.

Проблема взаимоотношений между критикой и литературой сейчас обостренно дебатруется в зарубежной прессе. При том, что одни буржуазные литераторы, как уже говорилось, склонны принижать роль критики, другие, наоборот, усматривают в современной литературе полное преобладание критики. Отсюда распространенность при характеристике литературы настоящего времени утверждений о наступлении «времени критики», «критической ситуации». Выступая на сессии международной ассоциации литературных критиков, французский литератор Роже Кайюа утверждал, например: «Мир еще не знал такого обилия критических работ, как в наши дни... Широкая публика ищет их, обсуждает, проявляя к ним несравненно больший интерес, чем прежде. Мы живем в литературный век критики».

Некоторые писатели усматривают в наступлении «времени критики» некую зако-

номерность, обусловленную интенсивным возрастанием критической, социальной и философской мысли, усматривают выражение обостренной потребности осмыслить комплекс сложных проблем современной жизни и литературы. Причем оттеснение критикой прозы и поэзии на второй план трактуется большей частью как некая фатальная неизбежность, определенная кризисным состоянием в сфере самой литературы.

Однако большинство высказываний писателей по этому вопросу носит подчеркнуто отрицательный характер, превращает пагубное воздействие господства критики на развитие литературы, поскольку она якобы отгорожена от созидательных начал искусства, что влечет за собой угрозу процессу обогащения художественных ценностей.

Безусловно, во взаимоотношениях художественной литературы и критики, в односторонности трактовок этого вопроса за рубежом сказываются противоречия, кризисные явления в развитии самой буржуазной художественной культуры. Однако к одной этой истине нельзя свести всю сложность предмета — проблема места критики в современном литературном процессе трактуется с самых различных, порой диаметрально противоположных позиций и требует своего дальнейшего исследования, внимательного учета основных процессов, а также изменений в отношениях критики и литературы.

Важное методологическое значение имеет проблема соотношения в критике оценочного, аналитического и обобщающего моментов. Оценка того или иного явления — необходимая сторона критики, без чего она не может выполнить свою функцию. Многие лишь в этом видят ее предназначение. Однако критик, кроме оценки отдельного произведения, обязан вносить в сознание общества более широко жизненный и эстетический опыт; передовая критика обогащает духовный мир современника. Она призвана давать концепцию жизни и художественного процесса.

Понятно, включение литературного явления в рамки широких концепций, своего рода возвышение критической мысли над конкретной оценкой сейчас понимается по-разному. Серьезную ошибку совершают те, кто признает право критика на произвольное «вычитывание» в произведении того, что ему нужно. Безусловно, такое «вычитыва-

ние», независимое от подлинного содержания произведения, превращает литературу в своего рода сырой материал, пригодный лишь для разного рода экспериментов. Фальшивые критические концепции вызывают и фальшивое «возвышение» над оценкой, которое в конце концов обычно оказывается чуждым реальному содержанию явления.

Подлинная высота точки зрения критика предполагает раскрытие глубинного смысла литературного явления, включение его в общий процесс литературного развития. Критика невозможна без широкого концептуального мышления, в котором объективная оценка литературных явлений сливается с ответом на большие, главные вопросы духовной жизни эпохи.

Воззрения, ограничивающие функцию критика, так или иначе замыкающие его деятельность в пределах субъективности, все отчетливее раскрывают свою несостоятельность. Дифференцированность и противоречивость современного художественного процесса диктуют потребность прежде всего в объективном исследовании характера субъективности литератора (то есть степени богатства его жизненного опыта, особенности его позиций и творческих возможностей, его способности выносить свой приговор над явлениями искусства и действительности).

Французский писатель Ромен Гари не так давно заметил: «Анализы современных картин, скульптур, романов часто более интересны и, во всяком случае, более поражают воображение, нежели сами объекты, избранные критиком, и возникает целая область некой критики-фантастики, где оригинальность, талант и воображение толкователя подменяют соответствующие качества писателя или, вернее говоря, восполняют их отсутствие».

Действительно, иногда критические интерпретации выглядят гораздо более содержательными и интересными, нежели сами литературные явления, о которых идет речь. Но своеобразное «приподнимание» произведений мыслью, порой воображением или тенденцией критика — явление по своему смыслу весьма двойственное.

Хорошо, когда полет критической мысли, действительно совпадая с содержанием произведения, развивает его проблемы, полнее раскрывается смысл жизненных явлений, о которых идет речь. Но совсем иное, когда талантливая или примитивно-пред-

взятая лакировка критиком произведения приводит к вычитыванию того, чего в нем нет, к приписыванию несвойственных ему достоинств и глубин. Жизненно важно для возрастания авторитета критики, для усиления ее воздействия и значения, чтобы суждение и выводы критики соответствовали реальной весомости произведения! Ведь при нарушении такого соответствия страдает прежде всего истина...

Сегодня отчетливей рисуются важные аспекты взаимоотношения критики и научного литературоведения. Проблема эта с течением времени приобретает все большую остроту. Ясно, сколь неоправданно эту связь воспринимать механически, вне учета сложности, порой противоречивости развития всех сфер литературоведения, различия их роли в литературном процессе, особенностей подхода к художественным явлениям. Есть весьма узкое представление о природе критики, согласно которому она чужда сфере научного познания и принадлежит лишь к области публицистики.

Ряд зарубежных авторов утверждает вечный антагонизм научного литературоведения (особенно истории литературы) и критики, антагонизм, вызванный субъективной неустойчивостью суждений критики по сравнению с объективностью работ научного литературоведческого характера. Говорят о том, что критика вообще не относится к области научного мышления, является особым видом искусства.

Чрезвычайно показательны, что все чаще прогрессивные зарубежные ученые считают одним из характерных симптомов кризиса современного литературоведческого самосознания на Западе явный разрыв, существующий между литературоведческой наукой и литературной критикой. Критика часто не обращается к достижениям литературоведения, со своей же стороны представители научного литературоведения, претендующие на объективность и научность своих работ, пренебрежительно относятся к критике, считая, что она все более превращается в сферу конъюнктурных, субъективных оценок.

Как о серьезной ошибке можно говорить и о действиях иных наших критиков, в свое время резко отвергавших «академическую» науку, без всяких оснований сбрасывавших со счетов многие ценные работы литературоведов XIX и начала XX века. В настоящее время советское литературоведение установило объективное отношение к на-

слегию академической, университетской науки о литературе.

Первостепенное значение имеет опора критики на художественный и теоретический опыт истории литературы. Наследие классической критики дает нам много примеров сочетания в одной работе как историко-литературного, так и критического исследования. Таковы, в частности, «Сочинения А. С. Пушкина» В. Г. Белинского, «Очерки гоголевского периода русской литературы» Н. Г. Чернышевского.

Деловое, критическое использование всех предшествующих достижений науки, ее наблюдений и мыслей о соотношении академического литературоведения с передовой материалистической критикой — одна из важнейших сегодняшних задач.

Обратимся к тем случаям, когда критику «отчуждают» от научного литературоведения, делая упор на ее публицистичность. Но ведь хорошо известно, что буквально каждая область общественного знания имеет свое публицистическое выражение, коснемся ли мы проблем истории, философии, этики или эстетики социализма. Для развития всех сфер научного познания, особенно в переломные периоды общественной мысли, вообще характерны все более крепнущие связи с публицистикой, рассматривающей эти проблемы в аспекте проблем современности. Известно, сколь ярко это взаимодействие науки и публицистики проявлялось в истории революционной мысли — в сочинениях революционных демократов, в трудах основоположников научного социализма. Критику можно было бы назвать публицистической частью исследования литературы, обращенной к самым актуальным явлениям современности.

У нашей советской критики и литературоведения едины как теоретические, так и методологические основы — они в равной мере исходят из научных, объективных принципов. Известно, что история литературы прежде всего раскрывает закономерности, создает широкую научную концепцию развития литературы, представляет ее во взаимосвязи явлений — как движущийся во времени целостный процесс. Именно восприятие литературы в большой временной перспективе как движущегося процесса, выяснение своеобразия, места и значения в нем каждого художественного явления отличает подход историка литературы. Что же касается актуальности, боевности, непосредственной жизненности, этих

неотъемлемых качеств критики, то они также должны быть присущи всякой историко-литературной работе — ведь и хорошая критика обязана основываться на научной исторической и методологической почве, не испрашивая себе права на субъективизм и пристрастие!

Решение вопроса о соотношении научной истории литературы с критикой, повседневно обращенной к конкретным явлениям текущей художественной жизни, имеет самое непосредственное значение для эффективного воздействия на текущий литературный процесс. Оно нужно для того, чтобы не воскрешать в критике давно отброшенные псевдооткрытия под флагом новаций, чтобы не принимать за новаторство повторение всякого рода заплесневевших, давно скомпрометировавших себя сомнительных истин.

Полезно напомнить суждение А. М. Горького о неполноценности критики без усвоения творческого опыта прошлого. Горький утверждал в начале века, что критиком имеет право называться тот, кто хорошо знает историю литературы, понимает, как развиваются традиции в современной литературе. Эту мысль Горький повторял неоднократно и в советские годы, прямо заявляя, что одно из главных зол, тормозящих развитие художественного творчества и критики, — слабое знание исторического опыта литературы.

Первостепенное значение имеет овладение всем художественным и теоретическим более чем полувековым опытом советской литературы. Это одна из первоочередных, актуальных задач. Необходимость сочетания современного опыта литературы с опытом ее исторического развития, неправомерность какого-либо их разъединения сейчас обостренно осознается писательской общественностью. Критика, как и вся литература, может развиваться лишь на основе сочетания предшествующего исторического художественного опыта с опытом наших дней.

Исследователям, обращающимся к современным явлениям литературы, приходится быть непосредственными участниками художественного процесса, полемических столкновений наших дней, идти по свежим следам событий, утверждать одни явления, отвергать другие. История и современность переплетаются, точнее, они слиты друг с другом. Все это определяет особую сложность освоения современного периода разви-

тия советской литературы. Некоторые литературоведы делают из этого вывод о неправомерности включения современного периода развития литературы в историческое исследование, советуют подождать, пока все не предстанет как завершенное, застывшее прошлое.

Но литературоведение уже знает научные исследования, в которых исторический подход успешно осуществлялся на современном материале. Таковы работы Ленина, Горького, Луначарского, Плеханова, Белинского, Чернышевского, Добролюбова. Главное в научных исследованиях — развитие умения выделять в потоке развивающихся явлений подлинно историческое, способностей отграничивать его от мелкого, случайного, верно раскрывать смысл фактов и процессов. Для этого важна концентрация внимания на наиболее крупных явлениях, концепциях и особенностях, определяющих облик развивающейся литературы.

Любое «разъединение» критики и других сфер литературоведения несостоятельно и потому, что именно на стыке, во взаимодействии прошлого и современности, теории и конкретного материала чаще всего и рождаются исследования, которые двигают вперед науку. Сам реальный процесс движения искусства требует все более тесных связей между научным литературоведением и критикой.

Как составная часть литературоведения, критика, естественно, имеет свои особенности и задачи. Во-первых, она обращена к явлениям текущего современного литературного процесса. Во-вторых, критика наиболее «массова» по своему непосредственному воздействию на широкую читательскую аудиторию. Без оперативности и массовости критики литературоведение не может осуществлять свою общественную роль и воздействовать на ход художественного процесса, на формирование художественных представлений и оценок. Литературоведение не может развиваться без опоры на опыт критики, на ее активность.

Именно в критике часто созревают, берут начало плодотворные творческие идеи, которые потом развиваются в научном литературоведении. В настоящее время речь идет о необходимости более полного использования критикой теоретического и исторического научного опыта литературоведения, который нередко игнорируется в массовом потоке газетных и журнальных статей. Ждешь все более интенсивного вза-

имодействия научного литературоведения, всех общественных наук с «текущей» критикой — как раз в массовом потоке критических статей и рецензий особенно легко может обнаружиться размывание понятий, снижение критериев, субъективность оценок, легковесное отношение к исторической истине.

Минувшее пятилетие показало, что наша критика стала серьезней обращаться с историческим опытом, с важнейшими категориями и законами искусства, со всей решительностью бороться с рецидивами пренебрежительного отношения к достижениям научной эстетики и литературоведения, вне которых критик неизбежно попадает во власть произвольных суждений и оценок, оказывается неспособным разобраться в сложности литературных явлений современности.

Советская литература — явление, движущееся во взаимодействии со всем мировым художественным процессом. И любая замкнутость, любые варианты духовного провинциализма чужды самой природе социалистического искусства. Недавний съезд советских писателей наглядно показал эту органическую связь, активное взаимодействие нашей литературы с различными линиями художественного процесса современности.

Говоря о всемирно-историческом значении советского искусства, соотнося его с общими процессами художественного развития человечества, наше литературоведение на этом направлении сделало много ценного, позволяющего правильно ориентироваться в борьбе различных течений в сфере современной эстетической мысли.

Прогресс, поступательное движение критики на протяжении ее исторического развития состоял в достижении все более органических, глубоких и многогранных связей искусства с действительностью. Именно это сделало критику одним из важных, незаменимых орудий человеческого познания. В углублении и обогащении критикой принципа связи искусства с реальностью источник возрастания общественного значения критики, воздействия ее на духовное бытие человека. Процесс этот развивался в разных аспектах, захватывая самые сложные сферы социальной и интеллектуальной жизни.

Нужно сказать, что общая тенденция, смысл всех современных критических и литературоведческих концепций, отбрасывающих человековедческое содержание ли-

тературы, как раз и состоит в разрушении этих связей, обеднении познавательных-эстетических принципов, предназначения критики.

Отношение критики, литературоведения к жизни, методологические аспекты этой проблемы повседневно выявляются в критической практике.

Вот методологическая проблема, связанная с так называемой имманентностью критики, которая, согласно мнению ряда теоретиков, должна следовать за писателем, ограничив себя рамками замкнутого художественного материала, растворившись в нем. Безусловно, такая точка зрения снижает функцию критики. Если брать вопрос шире, то замкнутость суждений критика пределами одного явления или ограниченного художественного материала — недостаток, нередко встречающийся в критических работах. «Имманентность» подхода критика к литературному явлению ограничивает его поле зрения, лишает многосторонности и широты видения. Принципиальная позиция в этом случае уступает место панегирику или отрицанию, оригинальная мысль подменяется комментированием, пересказом содержания, логические доводы — односторонними приговорами.

Бережное отношение к таланту — одна из отличительных черт нашего творческого климата. И именно это требует от критики точной и верной оценки труда художника, глубокого и объективного его анализа.

Бывает, что критика, основанная на узкой методологии, занятая прежде всего сличением писательского замысла с образным его воплощением, упускает из виду реальный облик тех явлений жизни, которые воссоздает писатель.

Нет слов, вне субъективной активности писателя художественная литература не существует. Замысел, особенности индивидуального мировосприятия автора — основа художественного творчества. И конечно, необходимо глубокое вживание критика в художественную логику, в особенности хода творческой мысли этого писателя. Проникновение в замысел автора, в индивидуальные особенности его восприятия жизни — обязательное условие критического рассмотрения произведения. Без этого немислимо верное истолкование литературного явления, всегда несущего на себе печать индивидуальности художника, своеобразия его видения мира. Но при этом следует помнить, что замкнутость, раство-

рение критика в объекте исследования резко сужает его горизонты, — необходимо возвышаться над отдельным явлением, судить о нем с высоты исторического опыта, видя широкие процессы развития жизни и литературы.

Выяснение соответствия явлений искусства явлениям жизни — первейший критерий определения правдивости и ценности художественного произведения. Кстати, такой объективный и прочный критерий способствует также и наиболее полному выявлению индивидуальных особенностей творчества писателя.

Первична в материалистической эстетике сама действительность, ею в конечном счете определяется и замысел писателя. Идеалистическая эстетика, например, абсолютизирует субъективность автора, его замысел. Содержание произведения, таким образом, полностью измеряется лишь степенью его соответствия замыслу вне зависимости от того, насколько верен сам этот замысел, насколько точно он отражает объективную действительность (или же расходится с ней?). Таким способом устраняются всякие объективные художественные критерии, оправдывается произвольность оценок.

Исходить в оценке произведений только из «свидетельств художника», то есть его замысла, его представлений, не всегда достаточно, поскольку они могут быть весьма пристрастными, узкими или искаженными. При опоре только на них исчезает объективность критериев. Подлинно объективные критерии истинности произведения выводятся из объективных закономерностей бытия общества и человека.

Опыт развития литературы подтверждает, что замысел писателя может быть верным или неверным, широким или узким, удачным или неудачным, приемлемым или неприемлемым. Одна из существенных методологических задач, необходимый момент в критическом анализе произведения искусства — определение истинности и значимости самого замысла. Не менее важно также выяснить, в какой мере писателю удалось осуществление его творческого замысла, насколько убедительное и художественно выразительное воплощение нашел он в произведении, насколько органически глубоко оно уходит своими корнями в движение жизни. Эти моменты критического анализа совершенно необходимы, поскольку, как известно, далеко не всегда замысел писателя соответствует реальному содержа-

нию произведений. Интересных, глубоких замыслов во много раз больше, нежели рождающихся из них значительных произведений.

История литературы знает много примеров, когда и сам замысел писателя был ложным, противоречащим правде жизни. Еще Белинский, Чернышевский и Добролюбов много сделали для того, чтобы показать обманчивость замыслов писателей-славянофилов, апологетов крепостничества, сторонников религиозно-христианских иллюзий. В. И. Ленин убедительно определил жизненную беспочвенность замыслов декадентов и народников.

В. И. Ленин критиковал теоретиков, чьи суждения о тех или иных идеологических явлениях замыкались в кругу «замыслов» заранее данных положений, не соотнесенных с объективной действительностью. Ленин говорил, что критика, имеющая своим предметом культуру, не может опираться лишь на формы сознания. Другими словами, критика должна сличить, сопоставить данное явление духовной жизни не только с идеей, но и с реальными фактами. Для критики важно, чтобы эти обе стороны были по возможности точно исследованы и чтобы они представляли как различные моменты единого процесса. При этом особенно необходимо, чтобы с такой же точностью был исследован весь ряд известных состояний, последовательность их и связь между различными ступенями этого развития.

В последние годы в нашей печати много говорится о путях изживания недостатков, проистекающих от суженности представления критиков о своих профессиональных задачах, замкнутости в кругу частных литературных явлений.

Сама распространенность критической «комплиментарности» и «негативизма» в подходе к литературным явлениям связана с тем, что критик порой выступает в роли простого «оценщика» или комментатора произведений, становится своего рода спутником, вращающимся вокруг литературных фигур, предназначенным их обслуживать. Такое узкое представление несовместимо ни с достоинством, ни с подлинной миссией критика. Когда критик живет ограниченно в своем узком цеховом мирке, вне восприятия явлений литературы как органической части борьбы широких социально-философских и художественных концепций, пронизывающих собой духовную жизнь совре-

менного человечества, налицо и низкий диапазон критического мировосприятия, своего рода духовный провинциализм; такой критик лишается возможности дать убедительные ответы на вопросы, волнующие современного человека. Давать ответы на жгучие вопросы жизни и развития искусства под силу лишь критике, вооруженной глубоким знанием социального и духовного бытия своего времени!

Годы, прошедшие под знаком постановления ЦК КПСС, отмечены большим оживлением советской критики, разнообразием и активизацией форм и методов ее работы. Много сделано критикой для избавления от рецидивов схематизма и умозрительного субъективистского подхода к явлениям литературы, появилось немало трудов—и монографических и коллективных,—плодотворно разрабатывавших принципиальные проблемы современной литературной критики, отмеченных печатью методологической зрелости и высокого профессионализма. Такие работы ныне пользуются широким общественным вниманием, они у всех на виду (хочется напомнить, что некоторые из этих работ в последние годы были объектом рассмотрения в критическом отделе «Нового мира»²).

Сегодня, в дни пятилетия исторического постановления партии, поиски критической мысли идут под знаком больших общественных и политических событий. Глубокий след на всей творческой практике советской литературы и литературоведения оставила работа проходившего на наших глазах XXV съезда КПСС. В русле его замечательных идей проходил Шестой съезд советских писателей, давший нашей критике широкую программу действий, осветивший ее текущую практику, ее генеральные задачи с самых разных сторон. Много важного и перспективного для понимания задач критики содержалось в специально ей посвященных докладах М. Б. Храпченко, Ю. Я. Барабаша, Л. Н. Новиченко и в выступлениях других участников съезда.

XXV съезд КПСС отметил возрастающую роль литературы и искусства в духовной жизни советского общества. Возраста-

² На страницах «Нового мира» в эти годы в числе других рассматривались следующие работы критиков: М. В. Храпченко, «Творческая индивидуальность писателя и развитие литературы»; Борис Сучков, «Исторические судьбы реализма. Размышление о творческом методе»; В. С. Мейлах, «На рубеже науки и искусства»; Виктор Панков, «Тради-

ние это определено рядом обстоятельств, к которым относятся прежде всего рост культурного уровня масс, интенсивное увеличение в бытии и деятельности народа субъективного фактора, степени сознательности каждого человека. Но следует выделить еще одно из обстоятельств, свидетельствующих о возрастании роли литературы и искусства,— то, что непосредственно связано с природой и функцией художествен-

ции в движении. О современной советской литературе»; Л. Теракопян, «Дыхание жизни»; Вл. Огнев, «Становление таланта»; Ю. Варабаш, «О народности»; А. Макаров, «Человеку о человеке»; Д. Благой, «От Кантемира до наших дней»; Лев Озеров, «Мастерство и волшебство»; Л. Якименко, «На дорогах века. Актуальные вопросы советской литературы»; Борис Панкин, «Время и слово»; Вера Смирнова, «Из разных лет»; А. Бочаров, «Человек и война»; А. Абрамов, «Лирика и эпос Великой Отечественной войны»; Л. Лазарев, «Военная проза Константина Симонова»; Г. Ломидзе, «Нравственные истоки подвига. Советская литература и Великая Отечественная война»; В. Озеров, «Тревоги мира и сердце писателя» и «Коммунист наших дней в жизни и литературе»; Л. Скорин, «Мариэтта Шагинян — художник»; Вс. Сурганов, «Человек на земле»; Ф. Кузнецов, «За все в ответе. Нравственные искания в современной прозе»; Ю. Андреев, «Наша жизнь, наша литература»; А. Беляев, «Идеологическая борьба и литература»; А. Дымшиц, «Нищета советологии и ревизионизма»; Н. К. Гей, «Художественность литературы»; коллективные сборники критиков и литературоведов: «Национальное и интернациональное в советской литературе», «Единство», «Изображение человека», «Советская литература и мировой литературный процесс», «Идейное единство и художественное многообразие советской прозы», «Русская литература и ее зарубежные критики» и др. (Ред.)

ного творчества, с заметным повышением глубины исследования путей формирования современного человека, становления социалистической личности. Углубилось само человековедческое качество нашей литературы!

Мысль о совершенствовании всех сфер изучения человека в условиях сложных процессов современности прямо или косвенно высказывалась в выступлениях многих участников XXV съезда КПСС, она не раз звучала с трибуны писательского съезда. Необходимо общими усилиями, на основе тесной координации всех действий углублять и совершенствовать все сферы человекознания, всесторонне исследовать грани духовной жизни, новые черты человека с целью определения оптимальных, наиболее эффективных путей дальнейшего его формирования в духе социализма.

В выполнении этой задачи нашей литературной критике принадлежит исключительно большое место. И это в свете возросших задач времени предполагает постоянное совершенствование ее человековедческого потенциала, проникновения критиков в движение народной жизни, в глубь человеческих характеров и судеб. К этому нас постоянно зовет историческое постановление ЦК КПСС «О литературно-художественной критике», документ, содержащий широкую программу, притом развернутую далеко вперед, работы наших литературоведов и критиков. Сегодня, как и пять лет назад, оно напоминает каждому из нас о высокой гражданской и профессиональной ответственности за состояние дел на том важнейшем участке идеологической борьбы, каким является критика.



КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ



ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО

Александр Гладков. Армейская юность.— Ирина Винокурова. Живое движение стиха.— Анатолий Бочаров. Увеличительное стекло публицистики.— А. Коган. Линия огня.

ПОЛИТИКА И НАУКА

В. Косолапов. Писатели на войне.— Г. Водолазов. У порога подлинной истории.— Л. Лавров. Советский Союз в борьбе за мир.

Литература и искусство

АРМЕЙСКАЯ ЮНОСТЬ*

Константин Ваншенкин. Повести и рассказы. М. «Советская Россия». 1976. 413 стр.

Иногда о прозе говорят «поэтическая». Еще чаще — «лирическая». Употребляется выражение «романтическая проза». Одно время любили говорить «ироническая проза». Теперь часто говорят «интеллектуальная». Проза Константина Ваншенкина вне подобных определений или, скажем яснее, она в этом не нуждается. Впрочем, мне всегда казалось, что разнообразные эпитеты-определения не столько хвалебно характеризуют, сколько выявляют скрытую неполноценность. Настоящая проза не нуждается в них. Что сказать о прозе Ваншенкина? Это просто проза, или, как пишется в инвентаризационных ярлычках в ботанических садах, проза «нормалис», то есть обыкновенная проза.

Но нормальная, или обыкновенная, вовсе не означает — постоянно или часто встречающаяся. Скорее наоборот. Когда молодой Бернард Шоу пошел к окулисту, тот сказал ему после осмотра, что у него совершенно нормальное зрение. Шоу переспросил: «Значит, как у большинства?» Но врач объяснил ему, что как раз нормальное зрение встречается очень редко, что это почти исключительный случай. Проза Ваншенкина обыкновенна именно в этом редко встречающемся смысле.

Она сдержанна, непретенциозна, неприязнительна, лишена красотостей, она не воздвигает между читателем и предметом рассказа условной манеры, на которую, читая, приходится делать поправку как на обво-

* Из литературного наследия А. Гладкова.

лакивающий видимость туман; скажем коротко — она точна. И это тем более примечательно, что Ваншенкин — поэт. Ваншенкин любит употреблять сравнения из области спорта. Прибегну и я к этому. Известно, что у нас были мастера футбола, великолепно игравшие в хоккей. Я помню, как в одном интервью Всеволод Бобров на вопрос журналиста, помогает ли ему в хоккее опыт футболиста, ответил, что скорее мешает. Потом он добавил, что научился об этом забывать. Но можно ли забыть опыт? Недавно поэт Евгений Винокуров сказал в разговоре, что для него писать прозу значило бы совершить насилие над собой. Самое ошибочное — это выводить законы и правила для всех из особенностей данной творческой индивидуальности. И разве не главная прелесть искусства в различиях? То, что верно для Винокурова, неверно для Ваншенкина. Это бесспорно. Но важнее другое: то, что верно для Ваншенкина-поэта, верно и для Ваншенкина-прозаика. И без труда можно проследить при кажущейся контрастности манеры многие общности между поэзией и прозой Константина Ваншенкина.

Как поэт Ваншенкин мастер лирических миниатюр, пристальных и лаконичных, немногословно выражающих определенный тематический мотив, настроение, переживание. Если не ошибаюсь, у Ваншенкина нет пространных поэм: он не имеет склонности к риторике и громким словам. На небольшом пространстве нескольких строф он

почти всегда исчерпывает стихотворный сюжет: он в стихах новеллистичен. В прозе его свойство обернулось тоже законченностью каждого отдельного эпизода. Его отдельные рассказы близки друг другу по материалу, по человеческим судьбам и иногда даже почти в чем-то повторяются, но и в жизни, описываемой Ваншенкиным, события тоже повторялись и исторически и социально. Большинство рассказов ведется от «я». Но это не делает рассказ субъективным, так как это не только «я» автора, но и «я» его одноклассника, товарища, однополчанина. Тема товарищества одна из сильнейших в книге. «Каждое поколение хочет с гордостью вспоминать свою юность», — говорит Ваншенкин в «Армейской юности», а поколение, описанное им, имеет на это больше права, чем какое бы то ни было другое, ибо это поколение (и примыкающее к нему) отстояло родину в самой страшной войне, какую знало человечество. Но гордость эта далека от похвалы, потому что совершение долга было связано с горестными потерями и жертвами.

То, что в обиходе называется поэтическим, чаще всего далеко от истинной поэзии. Как компетентно свидетельствует Ахматова, поэзия растет из сора, а не из клумб, засаженных розами. Это хорошо знает Ваншенкин-поэт, об этом не забывает и Ваншенкин-прозаик. Он сдержан, скромно, прост и лаконичен. Он не пренебрегает бытом, дорожит подробностями. У него нет внутренних монологов и живописных картин. Но в его прозе есть цвета и запахи, тепло и холод живой жизни, в ней людям хочется есть, спать, умыться, они любят шутку и ценят без всяких излишних дружбу.

Можно сказать, что проза Ваншенкина в русле русской литературы традиционна. Большие русские поэты, берясь за прозу, всегда писали не в духе так называемой поэтической прозы, то есть прозы, насыщенной метафорами и изложенной особенным приподнятым слогом. Их проза не украшена, сдержанна, скромна. Вспомним «Повести Белкина» и «Героя нашего времени». В ней нет ничего лишнего, а риторика и высокопарность ей противопоказаны. Она даже кажется сухой: повествование, рассказ в ней доминируют над настроением и чувством. Так же стремится писать и Ваншенкин, и его наибольшие удачи — на этом пути. Не стану цитировать и отнимать у читателей удовольствие самостоятельных открытий.

В подтексте книги удивительное свойство человека — с удовольствием вспоминать за чертой времени самое трудное и самое тяжелое. Война была страшна, но я не вижу никакого кошмара в том, чтобы вспоминать о ней без восклицательных знаков. Это и есть жизнь, в этом ее врачующая и восстанавливающая сила.

Во входящем в книгу очерке «Госпожа Достоверность» Ваншенкин пишет: «...я мечтал написать роман. О себе. Начать действие после войны с отступлениями в войну и детство. Настоящий роман с перекрещением сюжетных линий, многими действующими лицами и т. п. Главный герой (т. е. как бы я) — демобилизованный солдат, сначала начинающий, а затем профессиональный поэт... Довольно долго пестовал я свой замысел, а потом отказался от него. Слишком получалось это все громоздко».

Перечитывая подряд повести и рассказы, включенные автором в книгу (почти все я читал раньше, но вразброд, в разных журналах, на протяжении многих лет), не могу отделаться от ощущения, что нечто похожее на роман К. Ваншенкин все-таки написал. Он осуществил его, так сказать, фрагментарно, без приводных ремней фабулы. В нем нет «перекрещивающихся линий» (хотя почти есть; некоторые персонажи мелькают в разных рассказах), но есть цельное единство изображаемого автором мира, общность и неразрывная связанность героев, их естественная родственность. И сам автор-рассказчик, субъективное «я» повествования, если он даже трансформируется в сравнительно большой повести «Его опасные псы» в героя, описанном в третьем лице, ему все равно не удастся скрыться под условным именем Игоря Алтынова, мы его сразу узнаем — это все тот же герой-рассказчик с такой характерной, и социально и исторически, судьбой. Мы знаем много разных моделей современного романа — почему бы не быть и такой?

Открывающая книгу повесть «Армейская юность» как бы пересказывает целое, не останавливаясь на частностях отдельных эпизодов. Она напоминает обрамляющую новеллу, только помещена вначале. Можно представить, что она могла бы быть раздвинутой и вобрать в себя если не все остальные рассказы, то большинство, но это не нужно — и потому что она была написана раньше других и не раз издавалась отдельно, но главным образом потому, что это не прибавило бы всей книге той удивитель-

ной и естественной цельности, которая наличествует в ней помимо всех композиционных уловок.

Автор в это новое издание своей прозы не включил повести «Большие пожары», «Во второй половине дня» и другие не потому, что они менее удачны, а, вероятно, как раз потому, что они выпадают из единого тематического замысла.

Особо стоят в книге литературные портреты М. Исаковского, А. Твардовского, М. Светлова, А. Фатьянова, М. Бернеса и других. С некоторыми из этих людей я был знаком, и мне хочется засвидетельствовать мастерство Ваншенкина-портретиста. С любовью, но без слащавости, с зоркой наблюдательностью и с редким психологическим пониманием пишет Ваншенкин о своих спутниках и наставниках. О Твардовском, по-моему, пока никто лучше не написал. Эти портреты тоже органично входят в целое повествование об армейской юности как своего рода эпилог, так как описывают

в большей части первые шаги молодого поэта после демобилизации на новом профессиональном поприще, то есть входят в план романа, когда-то составленный К. Ваншенкиным. Они отличаются тем же, что и фронтовые рассказы автора, — естественностью и точностью.

Все, что вошло в новую книгу прозы поэта Ваншенкина, собранное вместе, как бы приобрело новое качество, тот эффект единства и цельности, который позволяет поставить ее рядом с нашими лучшими книгами о войне.

Константин Ваншенкин написал увлекательную прозу о своем поколении, о тех, кто пришел на войну почти мальчишками и воевал в почетном звании солдата, кто курил филичевый табак и больше всего любил на свете футбол (теперь его уже так не любят), кто без раздумья отдавал жизнь за родину, кто был и остался верен фронтовому товариществу.

Александр ГЛАДКОВ.



ЖИВОЕ ДВИЖЕНИЕ СТИХА

Белла Ахмадулина. Стихи. М. «Художественная литература». 1975. 174 стр.

Белла Ахмадулина. Цикл стихов. «Октябрь», 1975, № 6.

Белла Ахмадулина. Цикл стихов. День поэзии. М. «Советский писатель». 1976. 200 стр.

Когда-то Б. Ахмадулина написала стихотворение, в котором первая выдвинула против себя обвинение, вслед за нею подхваченное многими:

Что сделалось? Зачем я не могу,
уж целый год не знаю, не умею
слагать стихи и только немоту
тяжелую в моих губах имею?

Вы скажете — но вот уже строфа,
четыре строчки в ней, она готова.
Я не о том. Во мне уже стара
привычна ставить слово после слова.

Порядок этот ведает рука...

И кажется даже — не будь этих неосторожных строк, немедленно взятых на вооружение (еще бы, сама призналась!) критикой, так и не были бы произнесены ею сакраментальные слова «творческий кризис».

О первых его симптомах, уважительно ссылаясь на все то же стихотворение «улику», заговорил шесть лет назад Б. Сарнов.

И вот в связи с появлением итоговой книжки Ахмадулиной «Стихи» в критике вновь всплыла не предвещающая добра ци-

тата, хотя сборник этот едва ли дает основание подобному ходу мысли. Он составлен на редкость строго, тщательно — не случайно Е. Клепикова, пишущая в статье своей «Праздный стих» («Литературное обозрение», 1976, № 7) о творческом кризисе Ахмадулиной как о деле самоочевидном, опирается преимущественно на стихи «проходные», из периодики. Когда же примеры приводятся все-таки из книги «Стихи», критик «простоудушно» выдергивает строки из контекста, что зачастую прямо искажает смысл (это, кстати, наша нужным констатировать и оговорить сама редакция «Литературного обозрения»).

Статья Клепиковой, однако, покоряет энергией стиля, азартом в отличие, скажем, от близкой по взгляду на рецензируемые стихи статьи Е. Ермиловой, опубликованной ранее в «Литературной газете» (1976, № 4). Оттого, вероятно, что часть энергии тратится Ермиловой на преодоление в себе обаяния ахмадулинской поэзии, ее позиция, на мой взгляд, вырисовывается недостаточно определенно, тогда как чуждая подобным слабостям Клепикова четко формулирует

свое общее впечатление от книги: «Стих скользит под сурдинку ритма и рифмы, под стиховой распев, смысл едва ли различим, но вроде и необязателен...»

Однако едва ли одной музыкальностью Ахмадулиной, изяществом, особенной ее интонацией («ритмом», рифмой, «стиховым распевом») можно объяснить постоянный интерес, с которым и самый искушенный читатель ждет новых стихов Ахмадулиной, ждет ее подборок и книг, интерес, существования которого не может не признать критик, неодобрительно именуя его «васальной зависимостью».

Есть, видимо, некий (не шуточный, не пустяковый) нравственный конфликт, питающий и движущий поэзию Ахмадулиной. Обычно он растворен в образе, но иногда прорывается наружу, и кажется тогда, что нет сейчас другого поэта, который так же пылко, резко, а подчас категорично отдавал бы предпочтение «сердцу» в ущерб «уму», как это делает не говорящая прямо, затаенливая Ахмадулина. При уме, сразу же оговоримся, ссылаясь на предисловие к ее книге П. Антокольского и полностью присоединяясь к нему, «по-мужски пронизательном».

Но, может быть, вовсе и нет нужды в подобном рода оговорке. Ясно, что противопоставление «ум — сердце» — всего лишь традиционная формула, и, конечно же, не ум как таковой, а рассудок, рацио уязвляет в своей поэзии Ахмадулина, верящая в интуитивную, бессознательную природу добра. Отсюда и ее пристрастие к детям, деревьям, собакам, которые часто так и идут в ее стихах неразлучной тройцей. Вот и в недавнем стихотворении снова: «Всегда быть не хитрей, чем дети, не злей, чем дерево в саду...»

Все это, однако, вызревало исподволь, возникая в поэзии Ахмадулиной инстинктивно, а потому и неявно. Слова «добро» и «душа» как бы случайно встали рядом в одном из ранних стихотворений. Пришедшая на литературный вечер публика, многолика, многоголосая, вдруг показалась ей единой в своей доброжелательности: «А в публике — доверье и смущенье. Как добрая душа ее проста!..» И ощущение, что этим словам так и должно стоять, вскоре превращается у поэта в убежденность.

Не от того ли идет и стремление Ахмадулиной одушевлять, «очеловечивать», по выражению П. Антокольского, «все, что ей полюбилося по дороге»: светсофры, автома-

ты с газированной водой, самолеты? Это ее, ахмадулинский, способ преобразовывать мир вокруг себя, пересоздавать его по своему «образу и подобию», самовластно превращая добро во всеобщий закон бытия, подчиняющий себе живое и неживое:

И автомата темная душа
взирает с добротой старомодной,
словно крестьянка, что рукой холодной
даст путнику напиться из ковша.

«Добротой старомодной», пишет Ахмадулина, и слово «старомодность» теряет в таком контексте свое прямое значение (антонимически соотносимое с фактом технического прогресса), начинает означать скорее «непреходящесть». Это новое значение и закрепляется в поэзии Ахмадулиной, которой важна неподдельность, испытанность, истинность духовных ценностей. В этой связи характерно развитие образа в стихотворении «Светофоры»:

Светофоры. И я перед ними
становлюсь, отступаю назад.
Светофор. Это странное имя.
Светофор. Святослав. Светозар.
Светофоры добры, как славяне.
Мне в лицо устремляют огни
и огнями, как будто словами,
умоляют: «Постой, не гони».

Случайное созвучие: «Светофор. Святослав. Светозар» — и в механизме как бы прорезывается душа. В поэзии Ахмадулиной старые русские имена, слова, стоящие в словаре с пометкой «арх.» или же постепенно становящиеся таковыми, обладают независимо от своей семантики одним общим качеством, общей способностью — концентрировать в себе капитальное, устойчивое начало духа. Они «уравновешивают» в ее стихах иной, более «юный», пласт языка, как бы олицетворяющий для Ахмадулиной второй полюс ее мироздания — рацио.

Но если в ранних стихах Ахмадулиной конфликт этот еще не отчетлив и носит несколько общий, абстрактный характер, то в дальнейшем он приобретает более конкретные черты, проецируясь непосредственно на человеческие отношения. То, что условно называлось нами «сердцем» (а Ахмадулиной — «душой»), славится ею уже как сердечность. «Ум» же выступает как четкий синоним рассудочности, ведущей, по ее мнению, к разобщенности, разъединенности людей, ибо участие подменяется любопытством.

Отсюда и возникают в этих (сравнительно поздних) стихах энергические нападки на

рацию, принимающие зачастую обостренно-полюемическую форму. Так, например, вполне привычные нашему слуху слова «искусствовед», «литературовед» вызывают у Ахмадулиной как бы удивление:

С улыбкой грусти и привета
открыла дверь в тепло и свет
жена литературоведа,
сама литературовед.

Ритмически эта строфа построена так, что слово «литературовед» не прочтается комкая, скороговоркой, а лишь по слогам, медленно и внятно — ли-те-ра-ту-ро-вед, так, чтобы «странный» смысл его стал явствен для всех. Поэту резко неприятны холодные пальцы анализа, прикасающиеся к искусству. Иронизируя, Ахмадулина делит слово на части и варьирует конец:

Затем мы занялись обедом.
Я и хозяин пили ром,
нет, я пила, он этим ведал,
и все же разразился гром.

И далее, уже менее благодушно:

«...Но как же мне с собою быть?
Ведь перед тем, как мною ведать,
вам следует меня убить».

Ахмадулиной особенно дорого интуитивное начало в познании, чутье. «Детское зренья провидца...» — пишет поэт, позволяя себе эпитет «умный» употребить как отрицательную характеристику. «Некрасива, но умна...» — замечает она о той же жене литературоведа, и хотя в фразе этой поставлен противительный союз, «ум» в данном случае только усиливает первый эпитет.

«Умникам» поэт решительно противопоставляет «безумцев» — художников, живущих чувством. Ахмадулина славит «безумца»: «Какой безумец празднество затеял и щедро Днем поэзии нарек?..» В противовес духовному потребительству «умника» слово «щедрый» в ее стихах всегда сопутствует «безумцу»; вот еще пример: «Так щедро август звезды рсточал. Он так бездумно приступал к владенью...»

Ахмадулину не смущает, что порой «безумец» и дик и странен, как, например, в стихотворении «Плохая весна». В некотором смысле она вообще против «нормы», тщательно охраняемой рассудком. Но что такое для нее «норма»? В «Приключении в антикварном магазине» антиквар бессмертен, но такое бессмертье неинтересно для поэта, оно как бы самый заурядный факт. Талант же, любой, в том числе и просто человеческий, абсолютно вне нормы, он всег-

да — мука, болезнь, как говорит Ахмадулина, «недуг». Талант истинно мудр: «О боль, ты — мудрость. Суть решений перед тобою так мелка...» Быть поэтом — для Ахмадулиной быть «открытой раной слуха». Утратить вечное состояние «недуга» страшно, вот она и лелеет в себе эту болезнь, которая внешне может быть столь схожа с заурядной простудой, гриппом. Отсюда такие стихи, как «Озноб», «Болезнь», стихи по сути своей о творчестве, что лишает, на наш взгляд, основания иронию Клепиковой по поводу самодовлеющего значения «болезни» в поэзии Ахмадулиной.

Культом дружбы в ее стихах — дальнейшее расширение, углубление темы. «Я поняла: я быть одна боюсь. Друзья мои — прекрасен наш союз!» — воскликнула она в одном из стихотворений. И пушкинские слова здесь не всуе — столь радостно, светло, гармонично для Ахмадулиной это чувство. «Мои товарищи» — ее манифест:

Да будем мы к своим друзьям
пристрастны
Да будем думать, что они прекрасны!
Терять их страшно, бог не приведи!

Узы дружбы представляются ей надежнейшими, крепчайшими на земле. Отсюда постоянный мотив спасения в ее стихотворениях о друзьях. Вот одно из них — «Гостить у художника»:

В час осени крайней — огонь погасить
и вдруг, засыпая, воспрянуть догадкой,
что некогда звали меня погостить
в доме у художника, там, за Таганкой.
И вот, аспирином задобив недуг,
напьялив калоши, — скорее, скорее
туда, где, румяные щеки надув,
художник умеет играть на свирели.

О, милое зрелище этих затей!
Средь кистей, торчащих из банок и ведер,
играет свирель, и двух малых детей
печальный топочет вокруг хороводик...

Это лишь начало, лишь предвкушение грядущего праздника, радости, веселья. Поведет хоровод румяный художник с дудкой, мудрые дети тут же, женщина, для которой поэтом найдено исчерпывающее слово «милая». Вот это и есть мир Ахмадулиной, это и есть ее веселье.

Тема духовного братства людей рассматривается поэтом и в ином ракурсе, она звучит остро гражданственно в стихотворении «Это я...», где Ахмадулина утверждает свои не только человеческие, но и творческие принципы:

Плоть от плоти сограждан усталых,
хорошо, что в их длинном строе

в магазинах, в кино, на вокзалах я последнюю в кассу стою — позади паренка удалого и старухи в пуховом платке, слившись с ними, как слово и слово на моем и на их языке.

И если в таких стихотворениях, как, скажем, «Гостить у художника», некоторая причудливость, прихотливость (уже самой обстановки) снижала, может быть, пафос стихотворения, сообщая ему нечто штуршечное, чуть карнавальное. то здесь подчеркнута обыденность ситуации («в магазинах, в кино, на вокзалах...») делает стихотворение особенно пронзительным.

«Это я...», датированное 1973 годом, одно из последних в «Стихах», и мы, думается, вправе рассматривать его как нечто суммирующее нравственные поиски поэта. А свидетельством их непрерывности (вопреки мнению критики об «исчерпанности некоего морального пласта — психологического, нравственного, волевого») может служить хотя бы стихотворение, опубликованное в журнале «Октябрь».

Два гепарда

Этот ад, этот сад, этот зоо,
там, где лебеди и зоосад,
на прицеле всеобщего взора
два гепарда, обнявшись, лежат.

Шерстью в шерсть, плотью в плоть
проникая,

сердцем втиснувшись в сердце—века
два гепарда лежат. О, какая,
два гепарда, какая тоска!

Смотрит глаз в золотой, безвоздушный,
равный глаз безысходной любви.
На потеху толпе простодушной
обнялись и лежат, как легли.

Обнялись — остальное неправда,
ни утрат, ни оград, ни преград.
Только так, только так, два гепарда,
я-то знаю, гепард и гепард.

В стихотворении этом поэзия Ахмадулиной обрела новое качество — зримость, а в связи с этим и особого рода убедительность. Может быть, именно остроты проникновения в объективное порой не хватает Ахмадулиной, взгляд которой неизменно обращен в глубь себя, а если и привлечет ее какой-нибудь предмет извне, он немедленно втягивается внутрь, представляя перед читателем уже деформированным атмосферой ахмадулинского мира. Ее поэзия поэтому апеллирует прежде всего к фантазии читателя (которая может быть иного свойства, чем ее), к чувствам его (которые тоже могут не совпадать с чувствами поэта). А отсюда и резкая поляризация читательских «приемлю» и «отвергаю» при восприятии ее поэзии.

Цикл, из которого мы процитировали последнее стихотворение, вероятно, во много раз более уязвим для критики, чем отборные «Стихи». Все то, о чем говорила в своей статье Е. Клепикова — перифраз собственного раннего творчества, самоценность формы, уязвимость пушкинской темы, — с успехом могло быть проиллюстрировано на этом материале. Но есть превосходное стихотворение «Два гепарда», стихотворение, столь важное для Ахмадулиной. И для читателя. И для критики. Потому что, если отталкиваться в выводах своих прежде всего от неудач, нет тогда вообще хороших поэтов.

Ахмадулина — за пристрастность, за верность, за душевную щедрость, доброту. И сила ее таланта такова, что бесспорные истины эти вновь поражают читателя своей новизной. А такая власть дана лишь немногим поэтам.

Ирина ВИНОКУРОВА.



УВЕЛИЧИТЕЛЬНОЕ СТЕКЛО ПУБЛИЦИСТИКИ

Шаги. Выпуск второй. Ежегодник Союза писателей СССР. Очерк и художественная публицистика. М. «Известия». 1976. 400 стр.

Энергичная и уверенная поступь нашего времени сильно и впечатляюще передана в новом выпуске публицистического ежегодника, так и называемого — «Шаги».

Разговор об этой книге уместнее всего, пожалуй, начать не с материалов, открывающих сборник, а со статьи, что его завершает, — «Публицистика времени и публицистика на время» Л. Рошала. В известной ме-

ре это статья программная — в ней выражены те воззрения, которые близки редколлегии издания, призванного представлять наиболее приметные произведения публицистики за год. И хотя пронизательные раздумья Л. Рошала формально относятся лишь к документальному кино, своими творческими выводами они обращены к широкой публицистике. В частности, слова о том, что

когда в документальной киноленте публицистический пафос не рождается изнутри, то его норовят привнести извне, напиток пафосом дикторский текст, приложимы и к литературной публицистике. Здесь тоже коль не найдены выразительные характеры, факты, ситуации, то остается рассчитывать уповать на чисто эпитетный жар, на словесные фиоритуры.

Пожалуй, главным качественным критерием при отборе материала составителями ежегодника выступало то, насколько слово служит делу. Составители стараются избегать (хотя и не всегда это им удается — много еще «дикторского текста» в нашей периодике) статей, в которых словесная помпезность, возвышенность стили не подкреплены деловой аргументацией, реальными фактами.

И еще одно верное наблюдение Л. Рошала находит опору в самой практике ежегодника: подлинная публицистика не иллюстрирует заданный тезис подходящими примерами, а представляет собой живое, самостоятельное исследование, способное побудить читателя к сопереживанию, соучастию, соосмыслению. Эффект произведения измеряется тем, сколь долго и сколь действительно живут в душе читателя или зрителя идеи и чувства, зароненные публицистом. «Может быть, в этом и заключается в известном смысле бессмертие того рода искусства, которое избрало себе в удел злобу дня?!» — заключает статью Л. Рошала.

В художественной публицистике и впрямь непрестанно сплетаются, взаимно дополняя друг друга, актуальность и дальное действие. Если публицистика не звенит, как туго натянутая струна, от соприкосновения с сегодняшней нашей жизнью, ее радостями, заботами, горестями, то кому она нужна, чье сердце откликнется на ее звуки?! Но она не доберется до глубин нашего сердца и тогда, когда ограничит себя только сегодняшними, сиюминутными настроениями, интересами, соображениями. Ежегодник явственно нацелен на то, чтобы публиковать статьи и очерки, в коих неразделимы дыхание времени и «дальноточность» проблем.

Конечно, «Шагя» не письмо потомкам, скорее это рапорт современникам, но все же если любознательный читатель возьмет лет через десять этот со вкусом оформленный том, он убедится, что нашим писателям и журналистам удалось-таки в круговерти сегодняшних забот постичь существенные тенденции времени, тенденции жиз-

ни. Перефразируя слова Маяковского, можно заявить: ежегодник — не зеркало текущей публицистики, а ее увеличительное стекло; жесткий количественный отбор нескольких десятков очерков из целого моря публикаций непроизвольно повышает удельный вес каждого материала.

Широкая панорама современной журналистики предстала в ежегоднике. Здесь и статья Н. Полянова «Десятый исполин» — о нынешней пятилетке, очерки путевые, зарубежные (Я. Засурского «На Бродвее...» и А. Кешокова о поездке во Вьетнам), производственные («БАМ, поселок Листвянка» В. Коренева), портретные (Г. Колесников — о секретаре сельского райкома), судебно-нравственные (очерк А. Борщаговского «В тайге...»). И трудно поддающиеся жанровой классификации материалы вроде документального повествования Г. Остроумова о том, как рождался совместный полет «Союза» и «Аполлона», раздумья С. Соловейчика о воспитании школьников, воспоминания Н. Денисова о правдисте Сергее Борзенко, «опыт документального рассказа» В. Шукшина «Кляуза», проблемный фельетон А. Злобина «Девятый вал»...

Но дело не только в жанровом и тематическом разнообразии. Сборник зримо представил богатство творческих индивидуальностей: публицистика не нивелирует, а, напротив, оттеняет самобытность писателя. Острая полемичность Н. Грибачева соседствует с деловитостью, сердечной прямоотой К. Симонова (правильно поступили составители, включив на равных правах с газетно-журнальными публикациями предисловие Симонова к посмертно изданной книге очерков Г. Радова), а спокойно-рассудительная интонация М. Служкиса — с романтической приподнятостью Ч. Айтматова, его даром увидеть в одном жизненном факте (строительстве нового аэропорта в столице Киргизии) обобщение, символ происходящих во всей жизни республики перемен.

Правда, в ежегоднике еще не до конца преодолено искушение козырнуть именем знаменитого литератора, даже если сама публикация и оказывается весьма заурядной, но в целом литературные достоинства сборника высоки, за что следует воздать должное составителям В. Богданову, А. Злобину, Б. Холопову и главному редактору Ю. Окладскому.

Еще в первом, прошлогоднем, выпуске были удачно сформированы постоянные разделы, охватывающие основные направ-

ления нашей публицистики: «Трибуна публициста», «Портреты и силуэты», «Я и мы», «Человек и НТР», «Проблемы и размышления», «Снова в дорогу», «Очерк и очерк-эскиз».

И все-таки, как ни вместительна каждая рубрика, часто публикации выпирают, выламываются из того раздела, куда они отнесены, и в этом вроде бы несущественном обстоятельстве отразилось глубинное свойство самого жанра — его многопроблемность, объемность.

Так было в первом выпуске с очерками А. Аграновского «Вишневый сад», П. Волина «ВАЗ — это стиль» и иными. Так происходит и во втором выпуске. Очерк Б. Холопова «Четвертый ярус» о строительстве Нурекской ГЭС находится в разделе «Снова в дорогу». Но оттого, что перед нами анализ, а не констатация, исследование процесса, а не реляция, возникает многопроблемность: здесь портреты и силуэты энтузиастов стройки, здесь острые коллизии и размышления над ними, здесь взаимодействие человека и НТР, ибо только благодаря размаху и зрелости научно-технической мысли возник этот уникальный комплекс. Рубрику для очерка Б. Холопова подобрать нелегко, но, как говорится, побольше бы таких «трудностей».

Не удивительно, что сердцевиной ежегодника в обоих выпусках стал раздел «Проблемы и размышления». Наиболее полно и разительно проявилась в нем приметнейшая особенность нынешнего этапа нашей жизни и, соответственно, художественной публицистики: для успеха дела необходимо последовательно и комплексно решать все вопросы, будь то экономика, быт, экология, воспитание, образование, досуг... **Комплексность** — так несколько приземленно и прагматично звучит объективный девиз времени, зовущий к познанию много-сложности явлений, процессов, фактов. Отсюда не только многопроблемность очерков, но и стремление авторов брать каждую проблему в комплексе.

Этим стремлением проникнуты многие публикации «Шагов». Очерк «Во избежание эпизода» Ю. Медведева, рассматривающий сложное взаимодействие НТР и климата Земли, погружает нас в сплетение множества факторов, влияющих на решение вроде бы еще и не сегодняшнего, но уже и сегодняшнего вопроса об условиях существования человечества на Земле, когда техника все прозорливее пожирает атмо-

сферный кислород. Данные экологии, статистики, экономики, демографии, привлеченные очеркистом, дают основательное представление о масштабах и возможных путях решений этой глобальной задачи.

Комплексное освоение проблемы — и в жизни и в публицистике — немисливо без умения здраво соотносить реальные достижения и пока еще не достигнутые рубежи. Это умение возникает как следствие серьезного подхода к жизни и не имеет ничего общего с аптекарским взвешиванием «положительных» и «отрицательных» фактов. В первом выпуске с этой точки зрения особенно выделялись раздумья «практика» Г. Кулагина «Школа и рабочий класс» и журналиста В. Моева «После эксперимента — перед экспериментом». В нынешнем особенно интересны два очерка, объединенные общей шапкой «Человек и почин»: «Час Галины Арефьевой» Е. Каплинской и «Порох — в пороховнице» В. Аграновского.

За последнее время В. Аграновский опубликовал два «центробежных» по своей композиции очерка-исследования — «Остановите Малахова!» и вот этот, «Порох — в пороховнице». В первом исследовалась вся совокупность причин, которые довели подростка Малахова до преступления. Здесь, тоже отправляясь от конкретного факта — социалистического обязательства рабочего Черняева, — журналист исследует, каковы нравственные стимулы, экономический эффект, производственная целесообразность и материальное обеспечение этого обязательства. Всесторонне рассмотрев все факты, автор обнаружил, что подписанное обязательство ниже возможностей Черняева: оно закрепляет его сегодняшнюю выработку, а не намечает новый для него рубеж. И здесь начинается второй круг исследования — почему цех и завод не заинтересованы в том, чтобы Черняев превысил уже достигнутое (прежде всего потому, что тогда потребуются трудовую дисциплину рабочего подкреплять производственной дисциплиной предприятия; внутренние возможности Черняева должны быть обеспечены факторами внешними, не зависящими от него: ритмичным снабжением, гибким планированием, реальностью норм, фондом зарплаты и т. д.). Так обязательство Черняева явилось не финалом назидательного слова о передовике, а началом вдумчивого изучения почина; взор автора не прикован к одному факту, а охватывает широкую сферу отношений — цех, завод, министерство...

Социалистическое соревнование — одна из главных проблем, в которой сплетаются производственные, финансовые, духовные, воспитательные и другие нити сегодняшнего рабочего бытия, — обретает в таком ракурсе свой истинный масштаб, предстает делом, требующим непрерывных усилий, а не одномоментным отчетно-парадным меропрятием. Делом, в котором политический и нравственный успех неотрывен от оперативного решения многих хозяйственно-экономических проблем. Только в совокупном их рассмотрении открываются новые ресурсы повышения производительности труда. А пока у рабочего Черняева много пороха, остающегося в пороховнице.

Столь же многослойно по своей проблематике выступление нарколога Б. Тучина «Бахус и антибахус (Размышления в часы приема)». Эта статья, опубликованная первоначально в «Сибирских огнях», отвечает и гуманистическим традициям русской журналистики, и давней тяге врачей к литературно-публицистической деятельности, ибо врачи как никто иной хорошо знают, сколь тесно сплетено в человеке душевное и физическое и сколь неукоснительно отражается в состоянии медицины благополучие общества.

К чему вроде бы копать в малоэстетичном «пережиточном» явлении — алкоголизме? Но именно потому, что оно стало серьезной общественной проблемой, такая статья уместна и правомерна в ежегоднике, коль скоро мы признаем публицистику не сладкоголосым песнопевцем, а тружеником и ратоборцем. Б. Тучин понимает, что алкоголизм — это в немалой степени болезнь, что психозы бывают не только следствием, но и первопричиной алкоголизма. Но он знает и то, что изживание алкоголизма включает и целую систему социальных мероприятий, нуждается в комплексном решении. «Под призыв быть нетерпимыми к пьянству и алкоголизму подводится надежная правовая и организационная основа», — фиксирует он.

Стремление к осмыслению общественных процессов сказалось и в появившемся во втором выпуске сквозном разделе «Статистика». В нем перепечатаны публиковавшиеся в «Журналисте» статистические выклад-

ки по некоторым насущным темам: национальный доход, заработная плата, производительность труда, общественные фонды потребления и т. д. Этот словно по мерке ежегодника созданный жанр статистического комментария явно оттеняет некоторую плоскостность и иллюстративность традиционного раздела «Шаги пятилетки». Очевидно, по замыслу материалы такого раздела должны быть опорой для всех проблемных выступлений. Но не согретый писательской мыслью, не содержащий журналистского анализа, он уподобился «пестрой смеси», где многие сообщения (вроде сообщения о футбольных успехах киевского «Динамо») весьма косвенно связаны с поступью пятилетки.

Более удачны информационные разделы «Литературная хроника» и «Из выпшедших книг» — в них нет больших претензий, но есть полезный справочный аппарат.

Возможно, разговор об информационных жанрах, занимающих не так уж много места в сборнике, покажется кому-либо мелким на фоне опубликованных в нем статей и очерков Н. Грибачева, О. Гончара, С. Сартакова, М. Слуцкиса, С. Викулова, К. Симонова и других видных мастеров. Но ведь эти разделы в немалой мере формируют облик издания, отличного от альманаха избранных писательских публикаций.

Трудно создавать такой ежегодник. Помимо качественного критерия, неизбежно встает множество иных; приходится избегать «перекосов», повторов, пропусков в освещении тем, знаменательных событий. Поэтому бессмысленно сетовать, почему сюда не включены такой-то очерк или статья, запомнившиеся при чтении периодики. Важно отметить иное: ежегодник нашел свое место в ряду других изданий — библиотечек, серий, сборников, антологий и т. д. Пока не было «Шагов», казалось, что и нет нужды в ежегоднике. Но теперь, уже дважды вкусив этот плод с древа нашей публицистики, невозможно отказаться от него: такая концентрированная летопись нашей публицистики насущно необходима. А что ежегодник еще можно и нужно совершенствовать — истина, пожалуй, достаточно очевидная.

Аватолий БОЧАРОВ.



ЛИНИЯ ОГНЯ

Л. Лавлинский. Не оставляя линии огня (О лирической поэзии наших дней). М. «Современник». 1975. 319 стр.

Новая книга критика Леонарда Лавлинского посвящена по преимуществу путям фронтового поколения в поэзии. Автор, однако, трактует тему широко, в непрерывных сопоставлениях с опытом всей современной советской поэзии, стремясь выявить на «своем» материале закономерности общелитературного процесса, особенности современного этапа развития нашей поэзии (по преимуществу русской), что делает вполне оправданным подзаголовок книги. Этим, очевидно, продиктовано и построение книги: в первой части главы обзорные, во второй монографические (восемь «портретов»).

Критика интересует не только вчера, но и сегодня поэтов военного призыва, а если еще точнее — движение от вчера к сегодня. Поэтический путь поколения он анализирует не в статике, а в динамике, не как итог, а как процесс: «Поэзия поколения не застыла в однажды найденном качестве; она продолжает двигаться и видоизменяться». Именно эти изменения критик и исследует в первую очередь. А вместе с тем счастливо избегает двух одинаково реальных опасностей: растворить в общем опыте поколения составляющие его индивидуальности или потерять за разговором об отдельных поэтах целостный облик поколения.

Говоря об относительности всевозможных типологических определений, классификаций и т. п., Л. Лавлинский пишет:

«Вообще те или иные стилевые признаки вовсе не фатально закреплены за господствующими в данное время мыслями, взглядами и настроениями... Ни авторская склонность к метафорическому мышлению, ни привязанность к пластическим образам сами по себе ничего не говорят о значимости поэта. Эти качества получают определенный смысл лишь в контексте его творчества, соотносясь с другими и составляя конкретную неповторимую индивидуальность».

Критик и старается рассматривать эти индивидуальности. Портретные главы, составляющие вторую, большую, часть книги, кажутся мне самыми интересными и сильными. Но и в первом, «общем», разделе хотелось бы выделить как бесспорно удавшиеся главы «Природа и интегралы», «О «тихой» лирике», «„На горизонте вновь стоял пожар...“». По кругу моих критических инте-

ресов мне ближе всего последняя из названных статей — о том, как решается тема Великой Отечественной войны в современной поэзии. Позволю себе остановиться на ней несколько подробнее.

Л. Лавлинский прослеживает, притом тщательно, именно эволюцию темы, ее движение, дотошно устанавливая, как один и тот же ее поворот, один сюжетный ход, по-разному развивался в стихах разных лет, у поэтов разных поколений. Справедливо такое соображение критика (противостоящее упрощенному, «чисто тематическому» подходу, который иногда заставляет сетовать на «оскудение» этой темы в современной советской поэзии): с минувшей войной, с ее идейно-нравственным, эмоциональным, душевным опытом связаны сегодня отнюдь не только стихи, непосредственно ей посвященные. «...ассоциации, связанные с войной,— пишет критик,— возникают... в стихах, казалось бы, прямо не относящихся ни к войне, ни к героическому прошлому нашего народа... выходы в стихию военных воспоминаний неожиданно возникают... в стихах, очень далеких от злободневной тональности».

Точны наблюдения критика о характере этих ассоциаций в современной поэзии, о том, как соотносятся в ней быт и бытие войны, временное и вечное, в каком направлении переосмысливается душевный опыт войны в сегодняшних стихах поэтов военного поколения.

Справедливы, хотя на первый взгляд и несколько неожиданны, суждения критика об «усилении и углублении в поэзии трагического элемента» как о «характерной особенности, отличающей нашу позднюю лирику от прежней» (имеются в виду стихи о минувшей войне. — А. К.). В своих выводах критик опирается в данном случае на стихи А. Твардовского, Я. Смелякова, В. Цыбина и других.

Мало, однако, лишь констатировать эту особенность — ее надо еще и объяснить. Объяснить не только имманентно, в пределах внутрিলитературного ряда, но и исходя из движения времени, из его потребностей.

Разбирая стихи С. Орлова о бывшем фронтовике, которым мирная весенняя гроза воспринимается во сне как орудийная

канонада, Л. Лавлинский справедливо указывает на необычность художественного разрешения этого, казалось бы, много раз обыгранного, отработанного сюжета: «Во сне, находясь рядом с опасностью, герой чувствует глубокое внутреннее спокойствие, а пробудясь, внезапно его утрачивает». Утрачивает — почему?

Критик цитирует поэта: «Слезам застилали мне глаза друзей погибших молодые лица... А я один, я без оружия, стар, и даже пальцем не пошевелиться». Объяснение верное, но неполное. Был молод, стал стар — что там говорить, это тоже, конечно, оптимизма не прибавляет. Ну, а еще что? Удастся ли объяснить, исходя только из этого, трагизм, предположим, пронзительного стихотворения Твардовского «В случае главной утопии...»?

А еще (Л. Лавлинский справедливо пишет об этом в связи со стихотворением Твардовского, но, думается, его соображение имеет и более широкий смысл), — а еще растущая тревога за судьбы мира и человечества. Тревога, порождаемая вполне реальными причинами: появлением новых видов оружия массового уничтожения, глобальностью — и необратимостью — достаточно сложных отношений в системе «человек — природа», отношений, давно уже не укладывающихся в известную формулу о «милостях» природы, которые надлежит у нее «взять»... Обостренные временем раздумья об ответственности человека и человечества перед природой, перед Историей, перед прошлым и будущим. Отсюда и само обращение к фронтовому прошлому как идейно-нравственному уроку для настоящего и будущего.

Все это дает основание критику для следующего вывода:

«...минувшая война и сегодня является для наших поэтов предметом пристального художественного исследования. Порой она возникает как главная лирическая тема... порой становится лишь историческим фоном для изображения нынешних событий... В поэзии поколения, познавшего фронт как первое (и сильнейшее) жизненное испытание, она, естественно, присутствует постоянно. При этом антимилитаристский пафос, котрым проникнуты стихи бывших фронтовиков, неизменно соединяется с опытом нашего мирного бытия и тех социальных бурь, что потрясли планету за последние десятилетия...»

Я сказал о способности критика уловить

многогранность поэтических решений темы. Способность эта кажется само собой подразумеваемой (при нашем-то ремесле!), как бы входящей в «условия игры». Между тем, что таить, она встречается не так уже часто. Знаю по собственному опыту, как загораясь, найдя у автора что-то близкое тебе — твоим вкусам, манере, представлениям о жизни, — как оживает твоё ассоциативное мышление, твоё воображение именно на этих страницах, по этому поводу; и как легко проходишь мимо многого другого, быть может не менее интересного и важного для понимания мира поэта. Долг критика — понять многих и разных, не провозглашать преимущество одной группы поэтов перед другими на том лишь основании, что «эти» тебе ближе, а принимать в душу свои различные импульсы, откликаться на волны «высокие» и «низкие», на поэзию «травы» и «асфальта», на Рубцова и Вознесенского — лишь бы это было настоящее, выстраданное, лишь бы за этим дышала почва и судьба! Л. Лавлинский пишет о разных поэтах, не stalkивая их, а стараясь понять каждого, определить в сравнении с другими его сильные и слабые стороны, то, чем он дорог нам, что несет свое, не сказанное другими, а — необходимое.

Вот как точно определяет критик, к примеру, разницу художественных решений в посвященных войне стихотворениях А. Межирова и Е. Винокурова: «Если у Межирова схема фронтовых стихотворений: «Во время атаки (или бомбежки, или артобстрела) я думал то-то и то-то», то у Винокурова она складывается несколько иначе: «При таких-то обстоятельствах я делал то-то и то-то». Сопоставляя (по контрасту) пейзажно-философскую лирику Николая Рубцова с броскими определениями Вознесенского, в частности с его строчками «Век — помесь павиана и авиамотора», критик бросает как бы мимоходом: «Для Рубцова авиамотор в некотором роде сам по себе павиан».

Тем удивительней читать в той же книге такие, к примеру, аттестации: «Культура дудинского стиха, как правило, чувствуется сразу же, с первого чтения. У него, например, даже в слабейших стихах не встретишь простецко-русского «видал» (вместо «видел»)»... Так и хочется спросить: ну а если бы встретил, тогда что? Разве этим меряется культура стиха?

Или еще. Как, по-вашему, — о чем стихотворение Винокурова «Моя любимая стирала...»? Оказывается, вот о чем: «...в темати-

ческом повороте стихотворения, в тональности его лирических красок выразилась определенная социальная психология. Точнее, мораль советского человека, для которого любой труд достоин уважения и поэтичен». Так и написано. Всерьез. Без «художеств» такого рода книга, думается, вполне могла бы обойтись.

Если можно сказать о писателе — прозаике или поэте, что тот любит своих героев, то, наверное, можно — с поправкой на специфику жанра — сказать то же и о критике. Л. Лавлинский любит своих героев поэтов, но любит любовью не всепрощающе-слепой, а требовательной, как сказал бы Смеляков — строгой. Искренне радуясь удачам того или иного поэта, стремясь поддержать сильные стороны его дарования при отчетливом понимании всей нерасторжимости достоинств и недостатков в одном лирическом характере, критик в большинстве случаев нелицеприятно требователен к тому, что кажется ему неорганичным, неплотворным для этого именно дарования. Высоко ценя, скажем, поэзию Михаила Дудина, он в то же время с высокой мерой требовательности говорит о том, что ему «кажется не очень плодотворным то направление художественного поиска, которое приводит Дудина (как и иных его поэтических соотечественников) к созданию откровенно дидактических стихотворений». С иными из этих критических замечаний соглашаешься безоговорочно, иные хочется оспорить. Но в большинстве случаев перед нами мысль, основанная на внутренней убежденности и продиктованная не положением того или иного поэта на привычной «шкале ценностей», а любовью к Поэзии, к Истине с большой буквы.

Но иной раз, сказавши поэту пусть суровые, но правдивые, а главное — искренней заботой и сопереживанием продиктованные слова, критик точно бы спохватывается: как можно?! А вдруг, чего доброго, автор поймет критику «не так»... И тогда начинаются упреки пополам с извинениями, оговорки, попятные ходы, уравнивание «для объективности», возникают «уравнивающие» конструкции типа «правда... но», «правда... впрочем», «правда... однако». Зачем эти оговорки?

Книга Л. Лавлинского написана свободно, в непринужденной, временами почти разговорной манере; автор словно размышляет вслух сам и нас приглашает поразмышлять, не всегда даже точно представляя заранее, куда его — и нас вместе с ним — вынесет

та или иная ассоциация, тот или иной поворот мысли. В такой свободной непринужденности, доверительности интонации есть своя привлекательность: ты, читатель, становишься сопричастен к тому, о чем ведет речь критик, и к тому, что он по этому поводу думает, как об этом пишет. Но иногда — недостатки и тут есть продолжение достоинств! — эта непринужденность переходит... как бы поделкатней сказать... в необходимость, что ли; мысль автора в таких случаях не столько движется вперед, сколько петляет вокруг одного и того же, нанизывая все новые и новые ассоциации по нехитрому принципу «а то вот еще...», «кстати», «к слову» и т. п.

Есть и «свободные» раздумья вроде: «Признаться, иные издания наводят на невеселые мысли. Читал я как-то книгу одного известного стихотворца» и т. п. «Иные», «как-то», «одного»... Если это и стрельба, то никак не в яблоко... Встречаются и штампы: «хлесткий юмор», «задорное жизнелюбие». И не раз.

Я высказал некоторые замечания в адрес этой в целом безусловно удачной и значительной книжки. Высказал под действием тех же чувств, что руководили, по его собственному признанию, и самим автором работы в его самых резких оценках. Признание это многое объясняет в книге не только в отборе материала и системе анализа, но и — рискну применить этот термин к критике — в ее лирическом герое. А проще сказать — в складе характера самого автора, в его отношении к материалу. Прошу прощения за длинную цитату — она кажется мне показательной:

«Скоро минет тридцать лет, как оттремели последние залпы Великой Отечественной. Я пережил ее в детстве. Но в память моих сверстников навсегда врезались и грохот бомб, и обгоревшие остовы зданий, и горький, остистый хлеб военных лет в очередях, по карточкам. И, конечно, рокошущий бас диктора Левитана, передающего сообщения «От Советского Информбюро», — их мы ждали, как и взрослые, с трепетом отчаяния и надежды. Так не прямой ли твой долг — пусть с запозданием — посылить людям, которые с оружием в руках творили отечественную историю, в то время как ты получал за нее свои школьные «пятёрки» и «тройки»? Это чувство особенно остро переживал я в юности, но оно и по сей день сопровождает меня, хотя уже пришел срок признать наступление собст-

венной осени. Правда, возможности проявить это чувство для критика невелики — не те, что у поэтических сверстников. Однако, смею заверить, даже самые резкие оценки в этой книге продиктованы теми же внутренними мотивами, что иные лирические признания.

Достоинные мотивы. И достойная их реализация, во всяком случае на лучших страницах книги. Но ее автор должен помнить: этими лучшими страницами он сам задал себе такую высоту, вышел на ту линию огня, оставлять которую уже не имеет права.

А. КОГАН.



Политика и наука

ПИСАТЕЛИ НА ВОЙНЕ

Д. Ортенберг. *Время не властно. Писатели на фронте.* М. «Советский писатель». 1975. 359 стр.

М. И. Гордон. *Невский, 2. Записки редактора фронтовой газеты.* Лениздат. 1976. 368 стр.

Книги эти во многом родственны. Они написаны людьми, в годы Великой Отечественной руководившими военными газетами: Д. Ортенберг работал тогда редактором «Красной звезды», центрального органа Наркомата обороны, а М. Гордон — редактором газеты Ленинградского фронта «На страже Родины». Авторы впечатляюще рассказывают современному читателю о боевых буднях нашей военной печати и о видной роли писателей в ней. Книга «Время не властно» целиком отдана воспоминаниям о художниках слова на войне. Д. Ортенберг приводит яркие факты, запоминающиеся подробности, характеризующие самоотверженную (другое слово трудно подобрать) работу писателей, их готовность в любую минуту отправиться на любой участок фронта и в сложнейших условиях, часто — рискуя жизнью, выполнить задание редакции. Писателям на фронте посвящены и многие страницы книги М. Гордона. Более того, авторы порой дополняют друг друга, рассказывая о Николае Тихонове и Александре Прокофьеве, Всеволоде Вишневском и Илье Эренбурге, о других писателях, активно сотрудничавших и в «Красной звезде» и в газете Ленинградского фронта.

«Время не властно» открывается главой «Халхин-голские дни и ночи», возвращающей нас к событиям почти сорокалетней давности. «Так уж получилось, — пишет автор, — что герои Халхин-Гола и их подвиги мало известны... В те годы о боях с японцами на восточных границах Монгольской Народной Республики было всего лишь два-три сообщения ТАСС в несколько строк». Тем более ценны свидетельства од-

ного из очевидцев и непосредственных участников этих событий. (Д. Ортенберг тогда редактировал фронтовую газету «Героическая красноармейская».)

О том, с каким мужеством сражались советские воины, пришедшие на помощь дружественной Монголии, можно судить по изданному тогда Указу Президиума Верховного Совета СССР о присвоении звания Героя Советского Союза 69 бойцам и командирам и о награждении более 17 тысяч воинов орденами и медалями. Летчик Михаил Ююкин направил свой загоревшийся от зенитного снаряда бомбардировщик в центр скопления японских войск — подвиг, повторенный в начале Отечественной войны Николаем Гастелло. А Виктор Талалихин, другие известные летчики — герои Великой Отечественной повторили подвиг халхинголцев Скобарихина, Машнина, Кустова, бесстрашно рубивших винтами своих истребителей хвосты японским бомбардировщикам.

О мужестве и героизме наших пехотинцев и летчиков, танкистов и артиллеристов, связистов и саперов в те дни ярко рассказывали на страницах «Героической красноармейской» военные корреспонденты писатели Борис Лапин, Константин Симонов, Лев Славин, Владимир Ставский, Захар Хащевин и другие. «Верно, что писатели и журналисты увидели армию в бою, — пишет Д. Ортенберг. — Но верно и то, что Красная Армия увидела в бою и своих литераторов. И она не ошиблась в них. Они оказались достойными своей армии».

Боевое крещение, полученное писателями на Халхин-Голе, а затем в боях с белофиннами, несомненно, способствовало бы-

стрейшей мобилизации нашей литературы тогда, когда армии Гитлера вероломно вторглись на советскую землю и над страной запылало грозное пламя войны. Литература наша сразу же вступила в бой в едином строю с армией. Советские писатели, живущие одними интересами, одной жизнью со своим народом, встали в первые ряды защитников Родины.

Д. Ортенберг воспроизводит одну из полученных в самом начале войны телеграмм на имя наркома обороны: «В любой момент готов стать в ряды Рабоче-Крестьянской Красной Армии и до последней капли крови защищать социалистическую Родину. Полковой комиссар запаса РККА писатель Михаил Шолохов». «Уже через несколько часов после начала войны, — вспоминает М. Гордон, — я был на Невском, 2. Здесь собрался весь редакционный коллектив газеты «На страже Родины». Пришли сюда и писатели Николай Тихонов, Виссарион Саянов, Александр Прокофьев, Борис Лихарев, Александр Решетов. Каждый из них был в газете своим человеком».

В годы Отечественной войны, пишет Д. Ортенберг, пожалуй, не вышло ни одного номера «Красной звезды», в котором не участвовали бы писатели. Он вспоминает о работе в газете Алексея Толстого и Михаила Шолохова, Ильи Эренбурга и Николая Тихонова, Александра Довженко и Алексея Суркова, Константина Симонова и Александра Прокофьева, Петра Павленко и Всеволода Вишневского, Андрея Платонова и Всеволода Иванова, Александра Кривицкого и Вадима Кожевникова...

Написанные живо, эмоционально, эти воспоминания представляют несомненный интерес. Они добавляют немало новых выразительных штрихов к, казалось бы, хорошо известным творческим биографиям писателей — участников Отечественной войны. В конце книги помещен список писателей, которые, не будучи собственными корреспондентами «Красной звезды», часто выступали на ее страницах. В этом списке почти сотня имен!

В книге «Невский, 2» рассказывается о писателях — сотрудниках редакции газеты «На страже Родины» и ее активных авторах. Кроме уже упоминавшихся нами Тихонова, Прокофьева, Саянова, Вишневского, Лихарева, Решетова, на ее страницах мы встречаемся с Ольгой Берггольц и Всеволодом Азаровым, Александром Чаковским и приезжавшим в блокадный Ленинград Алек-

сандром Фадеевым, с Верой Инбер и Всеволодом Кочетовым, Михаилом Дудиным и Виталием Василевским, Анатолием Тарасенковым и Всеволодом Рождественским, Вениамином Каверинным и Николаем Брауном, с другими писателями, занимавшими достойное место в рядах героических защитников города Ленина.

М. Гордон вспоминает, как во фронтовую газету пришел один из старейших писателей, Вячеслав Яковлевич Шишков.

«— Я не буду пассажиром на редакционном корабле, — заявил он. — Дайте работу».

Так он обосновался на Невском, 2. Поставили ему койку в одной из комнат... Вячеславу Яковлевичу было тогда около семи-десяти лет, блокада совсем подорвала его здоровье, но он работал наравне с другими: правил солдатские письма, корреспонденции... Потом он стал писать статьи. Помню февральскую ночь 1942 года, когда Вячеслав Яковлевич принес мне статью «Россия поднялась во весь рост». Он писал ее при свете копилки — электричества не было...»

Более тысячи советских писателей участвовали в Великой Отечественной войне, находясь в рядах нашей армии. Каждый третий из них погиб, защищая Родину. Среди тех, чью жизнь оборвала война, были и 18 собственных корреспондентов «Красной звезды», в их числе писатели Евгений Петров, Борис Лапин и Захар Хацревин, питомец Литературного института Леон Вилкомир и один из ветеранов корреспондентского корпуса газеты Александр Поляков... В книге «Время не властно» их памяти посвящены отдельные главы.

Многие участники войны хорошо помнят очерки талантливого писателя Александра Полякова «В тылу у врага», с августа сорок первого года печатавшиеся в двадцати номерах «Красной звезды». Д. Ортенберг рассказывает историю создания этого цикла очерков. Поляков был штатным сотрудником «Красной звезды» с довоенных лет. Нападение фашистской Германии застало его на войсковых учениях в одном из гарнизонов Западного Особого военного округа. Вместе с 24-й стрелковой дивизией, которой командовал генерал Галицкий, он прошел путь от пограничья до Гомеля. В течение месяца дивизия героически сражалась в тылу врага, пока не пробила кольцо окружения.

По суровым воинским правилам Полякова считали пропавшим без вести. Но вот в ре-

дакции раздался его телефонный звонок из Гомеля. «Ни словом Поляков не обмолвился, что ранен, еле двигается. Это мы узнали только тогда, когда его привезли самолетом в Москву. Истощенный, с воспаленными глазами, безмерно усталый, он, опираясь на суковатую палку, вырубленную еще в рощах белорусского Полесья, с трудом передвигал ноги. Не человек, а тень его. Но с аэродрома — прямо в редакцию, иначе не хотел. И ни жалоб, ни просьб... Писать хотел немедленно. Отдохнуть не соглашался».

Очерки «В тылу у врага» читались с огромным интересом и в армии и по всей стране. Тогда же, в сорок первом году, их выпустили четыре издательства в Москве, в том числе «Правда» и «Советский писатель», и десять крупнейших областных издательств. На четырнадцать языках вышли они за рубежом. «Одна из наиболее волнующих книг об этой войне, написанная очевидцем и явившая нам замечательную картину величия духа у наших русских союзников» — так писали о них в США и Англии.

Широкой известностью в годы войны пользовался и другой цикл очерков А. Полякова — «От Урала до Старой Руссы (История пяти «КВ»)». В ноябре сорок первого года Поляков уехал в Челябинск на эвакуированный туда из Ленинграда Кировский завод, видел, как героически трудятся путиловцы и уральцы, а затем вместе с экипажами пяти танков «КВ» отправился эшеломом на Северно-Западный фронт. Находясь в одном из танков, Поляков участвовал в ледовом рейде по Ильмень-озеру. Наши «КВ» и пехотинцы-лыжники внезапно атаковали врага с тыла, уничтожив большое количество танков, орудий и живой силы противника.

Незадолго до своей трагической гибели Поляков совершил еще один боевой и литературный подвиг. Задумав написать о тяжелой артиллерии, он выехал в район Ржева, где намечалась важная операция. Вместе с разведчиками корреспондент ползал по переднему краю, выполнял обязанности наблюдателя, летал на самолете-корректировщике, корректируя огонь батарей... Вскоре в газете появилась серия его очерков о боевых буднях артиллеристов. «Через месяц после опубликования шести очерков Полякова в «Красной звезде», — вспоминает Д. Ортенберг, — когда в Ставке зашел разговор о тяжелой артиллерии, Сталин заметил, что наши газеты мало пишут о ней.

М. И. Калинин, присутствовавший при этом разговоре, возразил:

— Как мало? В «Красной звезде» были хорошие очерки.

Принесли Сталину газеты, и он предложил «Правде» их перепечатать. Все шесть очерков Полякова «Под Ржевом» со ссылкой на «Красную звезду» появились в «Правде» с траурной рамкой вокруг фамилии автора».

На примере корреспондентской жизни Александра Полякова, на многих других примерах, которыми изобилуют обе рецензируемые книги, видно, в каких невероятно сложных и трудных условиях приходилось тогда работать писателям. Война требовала от них незамедлительного, оперативного отклика на стремительно развертывавшиеся события. Как писал Константин Симонов:

Жив ты или помер —
Главное, чтоб в номер
Материал успел ты передать...

Казалось бы, в такой обстановке было не до больших творческих замыслов, не до создания произведений эпического характера. Казалось бы, грохот сражений должен был заглушать голос художника, приостановить развитие литературы. Между тем в годы войны написано немало произведений, имеющих непреходящее значение, произведений, которым суждена долгая жизнь. На создание их писателей вдохновляли не знающие себе равных стойкость, самоотверженность, героизм нашей армии и народа, требовавшие не только сиюминутного журналистского отклика, но и глубокого художественного осмысления.

Вспомним: уже в начале декабря сорок первого года Н. Тихонов публикует поэму «Киров с нами», а весной сорок второго со страниц «Красной звезды» прозвучала его поэма «Слово о 28 гвардейцах». На протяжении всей войны А. Твардовским создавалась бессмертная «книга про бойца» — главная поэма военных лет «Василий Теркин». «Красная звезда» печатала «Рассказы Ивана Сударева» А. Толстого и повесть «Народ бессмертен» В. Гроссмана, главы из романа «Они сражались за Родину» М. Шолохова и главы из повести «Дни и ночи» К. Симонова. Примечательно, что в годы войны многие произведения, прежде чем были изданы отдельными книгами, публиковались на страницах центральных газет — красноречивое свидетельство того, какое громадное значение придавала партия художественной ли-

тературе в формировании духовного облика защитников Родины, в мобилизации нравственных сил народа на разгром врага. Так, в «Правде» увидели свет «Наука ненависти» М. Шолохова и главы его романа, «Алексей Куликов, боец...» и «Непокоренные» Б. Горбатова, главы повести Л. Леонова «Взятие Великошумска» и пьесы «Русские люди» К. Симонова и «Фронт» А. Корнейчука. «Радуга» В. Василевской была впервые опубликована на страницах «Известий», а «Морская душа» Л. Соболева, «Март — апрель» В. Кожевникова и главы «Молодой гвардии» А. Фадеева — на страницах «Комсомольской правды».

Но вернемся к рецензируемым книгам. В главе о Константине Симонове, одном из самых оперативных и неутомимых военных корреспондентов, Д. Ортенберг, в частности, подробно рассказывает о совместной с писателем поездке в Сталинград, поездке, в результате которой Симоновым сначала был написан очерк «Дни и ночи», а затем создана большая повесть, получившая то же название. «Для Симонова, — пишет Д. Ортенберг, — после возвращения из Сталинграда не закончилась, а только началась сталинградская тема, которой он «бесповоротно» «заболел». В конце апреля 1943 года Симонов зашел ко мне и сказал, что хотел бы написать повесть о Сталинграде.

— Ну что ж, — ответил я, — дело хорошее. Благословляю...

— Да, — после небольшой паузы продолжал писатель, — но мне нужен для этого отпуск на два месяца.

Как изобразил потом Симонов, редактора «чуть ли не хватил кондрашка»... Решение было принято «компромиссное». Два месяца я ему дал, но с одним условием: на фронтах — относительное затишье. Но если появится «горячая точка», он сразу же туда выезжает...

Но прервать его отпуск мне все же пришлось. Надвигалась Курская битва, и он туда выехал. И заканчивал повесть, используя каждый свободный час между поездками на фронт.

Именно так работали писатели. Да и не часто выпадали на их долю «свободные часы», тем более в условиях фронтовой, армейской, дивизионной печати. О работе писателей в редакции газеты Ленинградского фронта рассказывает в своей книге М. Гордон. Некоторые из них пришли в газету, имея за плечами личный боевой опыт. Виталий Василевский, например, прежде чем стать сотрудником «На страже Родины», участвовал в боях с белофиннами, командовал минометным взводом под Пулковом, потом был заместителем командира роты, не раз водил бойцов в атаки. «Написанное Василевским, — отмечает М. Гордон, — всегда отличалось глубоким пониманием дела, боевой обстановки... Если было нужно, он мог написать статью с разбором боевых действий, передовую, корреспонденцию о работе партийного бюро, выступить с квалифицированно сделанным пропагандистским материалом. И еще умудрялся работать над повестями «Офицерская дружба» и «Военная косточка». Писал урывками, по ночам, в типографии, когда дежурил по номеру и ждал тассовских телеграмм. Писал в траншеях переднего края, в минуты затишья между боями... «Офицерская дружба» была напечатана в журнале «Звезда», а «Военная косточка» — в «Ленинградском альманахе»...

Книги «Время не властно» и «Невский, 2» заметно обогащают наши представления об огромном объеме и характере работы писателей в годы войны, рассказывают о ответственности их выступлений, о могучей силе их правдивого и страстного слова.

В. КОСОЛАПОВ.



У ПОРОГА ПОДЛИННОЙ ИСТОРИИ

Г. Н. Волков. Истоки и горизонты прогресса. Социологические проблемы развития науки и техники. М. Политиздат. 1976. 335 стр.

Проблемы современной научно-технической революции — тема не только актуальная, но и модная со всеми вытекающими отсюда достоинствами и издержками. За последнее десятилетие по этому вопросу написано великое множество книг, брошюр и статей — целые библиотеки, однако дей-

ствительно хороших и глубоких исследований едва ли наберется на одну не очень большую полку. И если уж такую «полочку» собирать, то на одно из первых мест на ней я посоветовал бы поставить книгу Г. Волкова «Истоки и горизонты прогресса».

Что же выделяет ее среди других работ?

Прежде всего масштабность замысла и глубина подхода, тот широкий теоретический и исторический контекст, в который автор ставит рассматриваемые им проблемы. Причем масштабность и широта эти не прихоть автора, не результат суетного желания снизить себе славу эрудита, они — необходимая предпосылка действительного решения ряда сложных проблем.

«Завершается «предыстория» человечества, связанная с отношениями эксплуатации человека человеком и господством частной собственности. Человечество оказывается у порога своей «подлинной истории» — такой предельно широкой, «глобальной» характеристикой современной эпохи заканчивает Г. Волков свою книгу.

Известные слова К. Маркса о том, что «буржуазной общественной формацией завершается *предыстория* (разрядка моя.— Г. В.) человеческого общества»¹, нередко понимают в некоем условном, метафорическом плане, полагая, что в строгом смысле этого слова «предыстория человечества» обозначает не что иное, как далекую эпоху антропоидов, эпоху становления homo sapiens. Всем содержанием своей книги Г. Волков доказывает, что приведенные слова Маркса — отнюдь не художественное преувеличение, не метафора, а строгое, меткое и удивительно глубокое выражение сущности современного этапа развития — этапа перехода от классово-антагонистического общества к бесклассовому, коммунистическому. Это положение Маркса автор и берет за вершинную точку анализа, с высоты которой особенно четко просматривается вся совокупность больших и малых социальных проблем современности. Это и есть тот угол зрения, тот теоретический масштаб, которым Г. Волков руководствуется на протяжении всей книги.

В чем же состоит принципиальное различие этих двух эпох — *предыстории* и истории, «царства необходимости» и «царства свободы»?

На ответе, даваемом автором, стоит остановиться подробнее прежде всего потому, что не часто можно встретить разъяснение, тем более развернутое, этого крайне важного положения основоположников марксизма, и потому, что оно является ключом к пониманию всех остальных проблем книги.

Названные эпохи различаются, во-первых,

по целям общественного производства. *Предыстория* — это созидание главным образом *вещного богатства*, предметов потребления (протекающее к тому же в условиях классового антагонизма), это забота производителей об удовлетворении прежде всего своих природных, материальных потребностей. Содержание же собственно человеческой истории составит «*развитие богатства человеческой природы как самоцель*» ((Маркс)². «В коммунистическом обществе, — пишет Г. Волков, — богатством становится не то, что человек производит, а прежде всего он сам, его умственные, эмоциональные, физические потенции... Накоплению собственности противостоит «накопление» материальных и духовных предпосылок развития личности. Происходит революционная переоценка ценностей в буквальном смысле этого слова»; если прежде человек выступал как «момент материального производства», то в будущем материальное производство станет «моментом» «процесса формирования всесторонне развитой личности».

Из первого различия (в целях) вытекает второе различие — в *средствах*. *Предыстория* — это когда «человек сам делает то, что он может заставить вещи делать для себя»³, то есть человек по большей части выполняет механическую, «вещную», а не собственно человеческую, творческую работу.

В-третьих, различие целей и средств обуславливает различие в содержании, типе самой деятельности. *Предыстория* — это калечащее человека социальное разделение труда; это расщепление деятельности таким образом, что на долю одних (привилегированное меньшинство) достается творческая функция выявления целей развития и отыскания средств для их достижения, а также функция управления, на долю других (угнетенное трудящееся большинство) — функция механически-исполнительская. Главное здесь то, что «вместе с разделением труда разделяется и сам человек (разрядка моя.— Г. В.). Развитию одной-единственной деятельности приносятся в жертву все прочие физические и духовные способности. Это калечение человека возрастает в той же мере, в какой растет разделение труда»⁴. Иначе говоря, «*предысторический*» человек — это «частичный человек» (Маркс).

¹ К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, т. 13, стр. 8.

² Там же, т. 26, ч. 2, стр. 123.

³ Там же, т. 46, ч. 1, стр. 280.

⁴ Там же, т. 20, стр. 303.

Целостный, универсальный, всеобъемлющий человек — вот действующее лицо собственно человеческой истории. При этом необходимо иметь в виду очень важный момент, к которому Г. Волков привлекает внимание читателя: «Целостность, универсализм человека будет проявляться не в прямолинейно понимаемой «перемене труда», когда утром человек занимается биологией, после обеда экспериментирует в физической лаборатории, а вечером пишет философский трактат либо дирижирует симфоническим оркестром». Нет, специализация не исчезнет в будущем. Только ее отличие от калечащей человека «узкой профессионализации» будет состоять, во-первых, в том, что человек, специализирующийся на определенном виде деятельности, будет иметь возможность полноправно участвовать во всех ее стадиях — в выборе средств для достижения цели и их практическом использовании, оценке результатов и постановке новых, дальнейших задач; во-вторых, в том, что специалист в определенной области будет иметь реальный доступ к целостному общественному механизму, «заведующему» совокупной деятельностью людей, будет, таким образом, иметь возможность самостоятельно определять место, значение и задачи своего специального вида деятельности в ансамбле общечеловеческих дел; и наконец, единство специализации и универсализма будет проявляться также в том, что каждый человек в своем индивидуальном развитии (обучении, воспитании, образовании) будет выдвигаться на самый передний край общечеловеческой культуры — на границы познанного и непознанного, решенного и нерешенного, — с тем чтобы он мог свободно, со знанием дела выбрать, на каком конкретном, «специальном» участке ему внести свой вклад, «где сосредоточить свою индивидуальность как творческую единицу наиболее плодотворным для общества и наиболее «приятным» для себя лично способом».

С этим связан еще ряд важных отличий истории от предыстории. Поскольку «предысторические» индивиды есть лишь «частичные» люди, то для своей деятельности по преобразованию природы, по «обмену веществ между собой и природой», они должны вступать в определенные общественные отношения — дополняя друг друга, восполняя таким соединением характерную для каждого односторонность. Но соединение это там происходит без всякого пла-

на, стихийно, за их спинами. Таким образом, «общественные отношения неизбежно превращаются в нечто самостоятельное», в силу, которая обуславливает всякую частичную деятельность, господствует над людьми и происхождение которой остается для них тайной. Совокупность общественных отношений, создаваемая человеком и составляющая его сущность, оказывается отчужденной от каждого индивида.

Короче говоря, предыстория — это господство отчуждения — «отчужденного от самого себя труда, которому созданное им богатство противостоит как чужое богатство, его собственная производительная сила — как производительная сила его продукта, его обогащение — как самообеднение, его общественная сила — как сила общества, властвующая над ним»⁵.

И наконец, последнее. Предыстория — это человечество, разделенное на порознь, неравномерно развивающиеся нации и страны. «Подлинная история» — это деятельность объединившегося в масштабе всей планеты человечества. «Производительные силы достигают ныне такого уровня развития, — пишет автор, — когда они начинают требовать социальной консолидации уже не только в масштабах одного государства, а в масштабах всего человечества», то есть «формирования человечества как единого социального организма»; «такая социальная консолидация — синоним коммунистического общества».

Таковы главные, принципиальные различия между предысторией и историей, между «царством необходимости» и «царством свободы».

Что же дает понимание этих различий? Прежде всего тот реальный, выработанный самой историей и открытый марксизмом всемирно-исторический масштаб, с помощью которого мы можем оценивать достигнутое человечеством — сколько пройдено и сколько еще осталось впереди.

Именно наличие этого масштаба позволяет убедительно раскрыть фальшь различных подделок под «подлинную человеческую историю», производимых «левацким» ревизионизмом, с одной стороны, и филистерским, реформистским сознанием — с другой. Необычайно убедительно звучат выводы, сделанные Г. Волковым на основе сопоставления марксистско-ленинского социального идеала и практики «левацкого» реви-

⁵ К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, т. 26, ч. 3, стр. 268.

зионизма: «Пародия на коммунизм, рисующая это (коммунистическое.— Г. В.) общество как большую казарму, где все делается по команде, где, по выражению Ф. Достоевского, «горы сравнены с долинами» и все приведены «к одному знаменателю», где «Цицерону отрезывается язык, Копернику выкалывают глаза, Шекспир побивается камнями», «где все рабы и в рабстве равны», — подобная пародия является выражением не пролетарского, а мелкобуржуазного идеала уравнительности». «„Коммунизация“ общества на основе нищеты, — пишет автор, — не уничтожает эту нищету, а делает ее всеобщей». И дальше он приводит исключительно важные слова Маркса: «Этот коммунизм, отрицающий повсюду личность человека, есть лишь последовательное выражение частной собственности...»⁶. С другой стороны, в книге неоспоримо доказано и то, что наш идеал «бесконечно далек... и от идеала мещанина, от буржуазного идеала вещного и стоимостного накопительства... На место экономического богатства и экономической (разрядка моя.— Г. В.) нищеты научный коммунизм ставит богатого человека и богатую человеческую потребность».

Применение указанного «масштаба», берущего в качестве главного критерия человека, позволяет автору удачно решать задачи, над которыми подчас безуспешно бьются ученые, исходящие из более узкого методологического горизонта. Какие, например, баталии иногда разворачиваются вокруг вопроса о закономерностях развития техники, выделения этапов ее развития, какие сложные, прямо-таки головоломные порой предлагаются периодизации ее истории — семь, десять и более этапов. Автор точно указывает основной методологический порок многих из таких исканий: они изучают технику «саму по себе», безотносительно к человеку. «Вопрос о критерии периодизации техники — это вопрос о перераспределении функций между человеком и техникой...» Применение этого критерия и дает простую, но в высшей степени содержательную картину периодизации: первый этап — инструментализация, ручной труд («...человек здесь служит центром и основной системы «человек — техника», ее мозгом, двигателем»), второй — механизация, машинный труд (передача человеком функций непосредственного управления орудиями машины), третий — автоматиза-

ция, творческий труд («автоматизация производства начинается с опредмечивания умственных функций управления машинами», «передача от человека технике функций по управлению технологическими процессами», «по управлению производством в целом»).

Развернутое обоснование «критерия периодизации» и теоретическое рассмотрение с его помощью истории техники составляет значительную научную заслугу автора.

Этот подход позволил Г. Волкову с полным основанием увидеть в автоматизации «единую основу», «определяющую существенную черту», «клеточку» современной научно-технической революции — и именно потому, что автоматизацию он рассматривает не просто как «переворот в технике, технологии, науке», а как такой переворот, который «ведет к изменению места и роли человека в производстве». Это главное, это и составляет самую глубинную — социальную — сущность научно-технической революции.

«Человек не только главное социальное измерение (научно-технической революции.— Г. В.), но и ее главное социальное содержание» — сказано очень верно и точно. Только с помощью этого «измерения», только под углом зрения этого «содержания» (и никак иначе!) и возможно установить действительный всемирно-исторический смысл научно-технической революции как явления, которая наиболее зримо показывает историческую ограниченность, исторические пределы капитализма. Капитал в состоянии использовать в своих целях человека, непосредственно включенного в процесс материального производства. Но человека, в результате нарастающей автоматизации все больше оказывающегося «рядом с процессом производства» (Маркс), человека, у которого увеличивается свободное время, человека науки и искусства, — «освоить» такого человека капиталу не под силу. Ибо капитал интересуется лишь увеличением стоимости путем производства товаров, потребительных стоимостей, и потому его интересуется лишь рабочее (а не свободное) время человека. К тому же научный труд, становящийся по мере развития научно-технической революции все более распространенным, не может быть измерен с помощью закона стоимости (этой формы бытия капитала): «Нельзя «взвешивать» продукт животноводства и научного творчества на одних

⁶ Там же, т. 42, стр. 114.

весах, применять к ним единый критерий общественно необходимого рабочего времени, ибо труд ученого не поддается регламентации временем. Процесс научного поиска не втиснешь в рамки рабочего дня. Специфика интеллектуальной деятельности в отличие от физического труда заключается, в частности, в том, что границы ее практически очертить нельзя... Ученый... продолжает сознательно или подсознательно работу над мучающей его проблемой и за обедом, и в театре, и даже во сне. Труд ученого, который во многих отношениях — прообраз творческого труда будущего, протекает не по законам рабочего, а по законам свободного времени».

Так, рассмотрев многовековую диалектику общественного прогресса, проанализировав, как с прогрессом техники и науки развивался человек, его общественные связи и социально-классовые отношения, остановившись особенно подробно на технологических, экологических и социальных особенностях современной НТР, на ее остропротиворечивом характере в классово-антагонистическом мире, автор обоснованно заключает: «Анализ объективных тенденций социального и научно-технического прогресса с полным основанием позволяет сделать вывод, что закономерным и неизбежным следствием всего предшествующего социального и научно-технического прогресса является коммунистическое общество, которое

не только наследует и аккумулирует достижения этого прогресса, но и само, в свою очередь, неизмеримо ускоряет весь ход истории». История становится подлинно человеческой историей.

Наконец, еще об одной черте, которая выделяет книгу Г. Волкова среди многих других работ на ту же тему, — о стиле, яркой, афористической манере его письма. Нет, это не тот легкий, бойкий стиль, цветистая фразистость которого служит порой прикрытием банальности содержания и пустоты мысли. Отточенность стиля автора рецензируемой книги — прямой и непосредственный результат основательного проникновения в научную истину.

Автор видит перед собой читателя с его вопросами, стремлениями, сомнениями. Он пишет для него — живого, думающего современника, и поэтому его книги не монолог, а, по существу, диалог с читателем. Это и обусловило живой и стремительный пульс книги.

Вместе с тем «Истоки и горизонты прогресса» — книга не для легкого чтения. Это фундаментальное научное исследование, усвоить которое можно, лишь вместе с автором последовательно двигаясь по ступенькам его мысли от первого раздела к последнему. Но труд, вложенный в изучение книги, я не сомневаюсь, окупится с лихвой.

Г. ВОДОЛАЗОВ.



СОВЕТСКИЙ СОЮЗ В БОРЬБЕ ЗА МИР

Документы внешней политики СССР. Том двадцатый. Январь—декабрь 1937 г. М. Политиздат. 1976. 815 стр.

Комиссия по изданию дипломатических документов при МИД СССР (председатель — А. А. Громыко) выпустила в свет очередной, двадцатый том «Документов внешней политики СССР», охватывающий 1937 год. Подавляющее большинство материалов в нем опубликовано впервые. Они представляют собой важные сообщения советских дипломатических представителей, аккредитованных в разных странах, своему центру — Народному комиссариату иностранных дел и директивные указания последнего.

Знакомясь с этими документами, сегодня уже ставшими историческими, нельзя не испытывать волнение и чувство гордости за нашу социалистическую родину, которая,

находясь в то время во враждебном капиталистическом окружении, мужественно и последовательно отстаивала дело защиты мира от злейших и опаснейших сил фашизма и милитаризма, стремившихся вовлечь человечество в чудовищную мировую войну.

Обширные пространства Китая к началу 1937 года были оккупированы милитаристской Японией, и ее дальнейшая экспансия в Азии и на Тихом океане заставляла США и Великобританию позаботиться о защите своих империалистических интересов в этом районе. Однако правящие круги этих стран медлили с отпором интервентам, рассчитывая на то, что продвижение Японии к границам Советского Союза приведет к воору-

женному столкновению Японии с СССР и к их взаимному ослаблению.

В Европе все более агрессивно проявляли себя фашистские Германия и Италия. Захватив в марте 1936 года демилитаризованную Рейнскую зону и убедившись в своей полной безнаказанности со стороны Франции и Англии, гитлеровская Германия уже почти открыто стала нацеливаться на очередные жертвы—Австрию и Чехословакию. Германские и итальянские фашисты шли по пути дальнейшего сближения и укрепления своего партнерства в захватнических планах и делах. При явном попустительстве западных держав в 1937 году расширилась их совместная интервенция в Испании с целью свержения республиканского правительства Народного фронта. Продолжалось вторжение итальянского фашизма в Эфиопию. Закономерным следствием совпадения целей фашистских и милитаристских сил в Европе и Азии стало присоединение Италии 6 ноября 1937 года к японо-германскому военно-политическому соглашению, так называемому антикоминтерновскому пакту.

Документы, опубликованные в томе, свидетельствуют, что многие государственные и политические деятели различных стран видели растущую угрозу со стороны фашизма и понимали необходимость совместных усилий для защиты мира. Но подчинение национальных интересов западных держав Англии, Франции и США интересам господствующих в них монополий и классовая ненависть к первой стране социализма—СССР, а также межимпериалистические противоречия служили препятствием для организации решительного отпора агрессору.

Верная ленинской идее мира между народами, советская дипломатия делала все, чтобы преодолеть эти преграды и, выполняя указания Коммунистической партии, создать мощный противовес блоку агрессоров. Усилия Советского правительства в этот период были постоянно направлены на создание системы коллективной безопасности, и в частности на придание действенной силы заключенному еще в 1935 году франко-советскому и связанному с ним франко-советско-чехословацкому пактам о взаимопомощи, которые могли стать основой европейской безопасности. Но среди французских правящих кругов тон задавали политические деятели, проявлявшие капитулянтские настроения и желавшие договориться с фашистской Германией даже ценой выдачи ей Авст-

рии и Чехословакии, чтобы направить ее дальше на восток и столкнуть с Советским Союзом.

Из записи беседы посла СССР во Франции Вл. Потемкина с государственным министром Франции Шотаном от 19 января 1937 года видно, что последний считал придание советско-французскому пакту военной силы «опасным» для Франции, поскольку, по его словам, это могло бы вызвать со стороны Германии превентивную войну с Францией. Шотан утверждал, что Франция и Англия заинтересованы в отсрочке вооруженного конфликта с Германией, ссылаясь на их «недостаточную подготовленность» к войне. Французское правительство, как убеждают многие документы (№№ 423, 431, 446, 447 и другие), не только отказывалось от придания действенной силы франко-советскому пакту о взаимопомощи, но упорно уклонялось также от заключения постоянного торгового соглашения с СССР.

Сообщение временного поверенного в делах СССР в Польше Виноградова свидетельствует, что министр иностранных дел Франции Дельбос говорил ему о предстоящем захвате Австрии Германией «как о само собой разумеющейся и неизбежной вещи». Согласно другой информации Виноградова, Дельбос совершил вояж в Польшу и страны Малой Антанты «в качестве представителя английских и французских группировок, стремящихся к соглашению с Германией хотя бы даже ценою больших уступок». Визит Дельбоса в Польшу сопровождался там бешеной антисоветской кампанией и, по оценке Виноградова, «ничего, кроме вреда, не принес». Дельбос «весьма охотно распространялся перед своими официальными собеседниками в Варшаве и странах Малой Антанты о «подрывной работе» Коминтерна, о «внутреннем ослаблении» Советского Союза, об утрате им международного авторитета».

Характерно, что свою политику уступок Гитлеру французские правящие круги стремились прикрывать ссылкой на позицию попустительства со стороны Англии. Это было удобно и выгодно французским капитулянтам, руководствовавшимся девизом «лучше Гитлер, чем Народный фронт!».

Что касается Англии, то ее позицию метко охарактеризовал старейший и опытнейший английский политик Ллойд-Джордж в беседе с советским послом И. Майским. По его словам, «Чемберлен... изменил принципы коллективной безопасности и руководится

сейчас в своей внешней политике исключительно лишь мерилom британских интересов. Под этим углом зрения он считает самой важной задачей соглашение с Германией и Италией, ради которого он готов пожертвовать Испанией, Австрией, Чехословакией и многим другим».

Одновременно Ллойд-Джордж поражался неразумности политики Франции, потворствовавшей германским и итальянским агрессорам в Испании. «Я не могу понять, — говорил он, — как французское правительство может смотреть на постепенный захват Пиренейского полуострова итапо-германским фашизмом. Ведь если Франко победит, Франция по трем своим сухопутным границам будет окружена фашистскими диктаторами. Она тогда погибла». Не меньшее недоумение у Ллойд-Джорджа вызывало отношение французского правительства к франко-советскому пакту. «Вместо того чтобы его всячески укреплять и развивать, оно стыдится пакта и наполовину от него уже отказалось. Совершенное безумие! В случае войны с Германией и Италией кто может спасти Францию? Не Англия, а только СССР. Ибо Англия сможет помочь Франции лишь морской блокадой и своим воздушным флотом, но не сухопутной армией, которой у нее нет. Между тем победа над Германией может быть решена только большой сухопутной армией. Такая армия имеется лишь у СССР».

О попытках сговора британского премьер-министра Чемберлена и министра иностранных дел Галифакса с Гитлером в 1937 году свидетельствуют документы №№ 411, 415, 420, 427.

Не лишено интереса приведенное в телеграмме И. Майского осуждение политики Чемберлена и Галифакса членом кабинета Черчиллем, который назвал поездку Галифакса в ноябре 1937 года в Берлин для переговоров с Гитлером «ненужной и даже вредной», создающей «впечатление слабости и трусости Англии». Черчилль говорил тогда советскому послу: «Основная задача в настоящее время — нам всем, стоящим на страже мира, держаться вместе, иначе мы погибали...» «Нам нужна сильная Россия, сильная в военном отношении и сильная внутренне, с сильной Россией нам важно и интересно поддерживать дружеский контакт».

Но Черчилль был тогда почти единственным среди английских правящих кругов, кто придерживался такой точки зрения.

Нельзя забывать и о том, что его позиция исходила прежде всего из конъюнктурных интересов британского империализма. Сильная Россия была ему нужна лишь на время выручки Англии из опасной ситуации.

Большим злом и тяжелыми последствиями для дела мира в Европе оборачивалась и политика невмешательства во все расширяющуюся итапо-германскую интервенцию в Испании. Содержащаяся в томе обширная дипломатическая переписка позволяет проследить за острой и бескомпромиссной борьбой, которую Советское правительство вело с правительствами Англии и Франции по вопросу о решительном пресечении итапо-германской агрессии в Испании. Советская сторона делала все возможное, чтобы добиться вывода войск интервентов из Испании, но оно столкнулось с плохо скрываемым нежеланием правительств Блюма, Даладе и Чемберлена дать отпор интервентам и с постепенной сдачей ими фашизму одной позиции за другой. Документ № 398 показывает, что еще в 1936 году англичане, питая явные симпатии к Франко, предлагали французам признать его. Об этом наркому М. Литвинову сообщил в беседе 4 ноября 1937 года французский министр иностранных дел Дельбос, наивно полагая, будто Франко «сам пожелает потом избавиться от итальянских войск, а если последние не захотят уйти, то вместе с Франко англичане будут их силой выбрасывать» из Испании.

Соглашательская политика Франции и Англии и стоящих за их спиной США во многом способствовала поражению республиканского правительства в Испании и утверждению там на несколько десятилетий преступного фашистского режима. Но тем самым Франция нанесла немалый ущерб и своим национальным интересам, приобретя еще одно фашистское соседство, что сыграло не последнюю роль в ее капитуляции в июне 1940 года.

Значительный интерес представляют материалы, отражающие положение на Дальнем Востоке, где развернулась опасная интервенция Японии, грозившая перерасти в серьезный военный конфликт Японии с США, Англией и СССР.

Проводившаяся в то время Соединенными Штатами политика «изоляции» на деле оказывалась поощрением японских интервентов. Но в 1937 году, как об этом сообщил советский посол в США А. Трояновский, началось отрезвление некоторых американ-

ских руководящих деятелей, понявших несостоятельность политики «изоляционизма» и необходимость отказа от нее для перехода к политике обуздания агрессора. Однако эта эволюция в политике США происходила крайне медленно. Советскому послу неоднократно приходилось разъяснять американцам, что захватническая политика Японии может привести к вооруженному конфликту последней не только с СССР, но и с Соединенными Штатами, и весьма возможно, что война начнется именно между Японией и США. В одной из информаций посол указал: «Я старался подорвать представление многих американцев, что они приглашаются защищать нас против Японии. Я убеждал их постоянно думать о своих интересах, за себя мы постоим. Я не отрицал, конечно, нашу готовность сотрудничать против агрессоров».

Политику западных держав, особенно Англии и США, в то время А. Трояновский называл «самоубийственной». Он писал в Наркоминдел: «Надо надеяться, что объективная обстановка раскроет глаза широким кругам английского населения и научит также чему-нибудь американцев. Опасность только существует, что это произойдет слишком поздно». А в донесении от 14 декабря 1937 года Трояновский констатировал: «Совершенно несомненно, что события в Эфиопии, Испании и Китае — все это начало большой войны, часть большого стратегического плана с большой угрозой для Англии и Франции, а также и для Соединенных Штатов... Осадить агрессоров можно было бы сейчас совместными усилиями Великобритании, Соединенных Штатов и Советского Союза. Но это дело не вытанцовывается, и трудно сказать, когда эти совместные действия станут возможными».

Советское правительство, как неопровержимо свидетельствуют документы, предпринимало неустанные и всесторонние усилия, чтобы не допустить превращения отдельных очагов войны в Европе и Азии во всеобщий пожар мировой войны. Оно активно использовало трибуну Лиги наций для пропаганды идеи коллективной безопасности. Однако и в Лиге и за ее пределами советские предложения не встречали поддержки со стороны капиталистических стран.

Сползание западных держав на путь попустительства фашизму привело их в 1938 году к позорному мюнхенскомуговору с Гитлером, а затем и к срыву англо-франко-советских переговоров в Москве, где представители Англии и Франции очень ясно продемонстрировали свое нежелание заключить военный союз с СССР с целью обуздания агрессоров. Именно эта их политика, получавшая поддержку со стороны США, способствовала расширению агрессии в Европе и Азии и перерастанию ее в мировую войну, причинившую неисчислимые бедствия народам и унесшую пятьдесят миллионов жизней. Второй мировой войны удалось бы избежать, если бы правительства Англии, Франции и США руководствовались интересами народов, требовавших остановить агрессию в самом ее начале.

Сегодня, как и в прошлом, борьба за ликвидацию очагов войны, где бы они ни возникали — на Ближнем Востоке или в Юго-Восточной Азии, в Африке или Латинской Америке, — чрезвычайно актуальна. XXV съезд КПСС вновь подтвердил, что политика защиты мира и безопасности народов не только остается неизменным принципиальным курсом Советского Союза, но получает дальнейшее широкое развитие. Этому, как указано в Отчетном докладе ЦК КПСС XXV съезду, способствует новая международная обстановка, и в первую очередь резко изменившееся соотношение сил в пользу социализма. Ныне в защиту мира выступает не только Советский Союз, но и все страны социалистического содружества; в борьбу за мир все активнее включаются трудящиеся капиталистических и развивающихся стран; в сегодняшних условиях борьба за мир теснейшим образом связана с борьбой народов за социальный прогресс, за социализм.

Таким образом, то, за что боролся Советский Союз в 1937 году, ныне приобрело новые импульсы и новый размах. Вот почему Генеральный секретарь ЦК КПСС Л. И. Брежнев с полным основанием заявил на XXV съезде: «...достижение прочного мира — не благое пожелание, а вполне реальная задача. Во имя ее решения можно и нужно продолжать работать, не жалея сил!»

Л. ЛАВРОВ,
кандидат исторических наук.



КОРОТКО О КНИГАХ



БОРИС СЕРГУНЕНКОВ. *Лесная лошадь.* Повесть-сказка. Л. «Советский писатель». 1976. 175 стр.

Повесть Бориса Сергуненкова вроде бы легко разложить на составные части: вот здесь о природе, здесь — сказочные мотивы, а здесь — лирическая исповедь. Достоинство ее, однако, не столько в том, как описан лес или как вплетены в повествование сказочные сюжеты, сколько прежде всего в искренности и проникновенности, в душевном автопортрете писателя, встающем со страниц повести. О чем бы ни писал Сергуненков, он пишет о себе.

Конечно, писателя, ступившего на эту тропу, подстерегают опасности — откровенность может обернуться панибратством с читателем, а искренность не всегда спасает от банальности. Сергуненкову почти удается избежать этих опасностей, проза его сохраняет напряженность и высокий строй от начала до конца повести. Интенсивность лирического переживания не ослабевает, потому так естественны переходы от реальности к фантазии, к сказке. Хотя сказочные сюжеты поначалу несколько озадачивают.

Вот первый: девушка хочет утопиться, автор спасает ее и произносит патетический монолог о красоте жизни. «Наверное, в своем усердии я чутьчку перестарался. Я хотел слегка ободрить ее, поднять на ноги, а вышло иначе. Увлеченный своим красноречием, не заметил я, что девушка уже не лежит на земле, а летит по воздуху».

Еще один: лесничиха Маша тушит пожар в своем лесу стружкой молока из груди. «Исчезли огонь и дым. Мы глядели и не верили своим глазам. Лес стоял целый и невредимый, как будто и не горел».

Эти необычные, странноватые сказки и притчи, проходящие через всю повесть, тоже, собственно, исповедь автора, своего рода материализованная фантазия. Прекрасно, когда слово поднимает человека в небо, прекрасно, когда женщина, в которой «сильнее, чем в ком-либо, проявилась истинно женская суть», одним естественным своим побеждает зло. Сказки складываются о том, каким хотелось бы видеть мир автору — добрым к человеку и ко всему живому. Человек сажает морковку, чтобы продать ее и купить сапоги, — на грядке вырастают сапоги, «потому что весной, сея морковь, я

больше мечтал, чтобы у меня были сапоги, а не морковь». И еще потому, что «продавать я бы все равно не повез. На это нужно время и особый торговый талант, которым я не обладал». Вот так все и идет в реальном и сказочном лесу, описанном Борисом Сергуненковым. И когда из дальних странствий возвращается сбежавшая лошадь, с поисков которой началась повесть, и приносит жеребенка, примечательного тем, что, «едва появившись на свет, начал рассказывать сказки», это воспринимается уже как вполне естественное явление. Правда, автор тут обрывает повествование — «но об этом в другой раз».

При всем том трудности жанра до конца не преодолены. Откровенность не всегда в достаточной мере корректируется нравственным чувством, поэтому лирический герой повести нет-нет и начинает ее демонстрировать, любоваться ею, а заодно и собой. «Я всегда считал, что главное богатство у человека не деньги, а ясная голова и трудовые руки» — с этим заявлением мы встречаемся уже в конце повести, когда нужды в нем, право же, нет, герой нам ясен. Но он еще продолжает: «Зачем мне второе одеяло, зачем вторая подушка, вторая ложка, вторая вилка, ведро, сапоги, если у кого-то нет и одного?» В подобной искренности есть оттенок нескромности, точно так же как есть оттенок неуверенности в той запальчивости, с какой автор отстаивает свое видение мира. «Глядя на солнце, говорят: «Солнце». Какое же это солнце? Это добрый человек, который встретил тебя на дороге и улыбнулся». Можно, конечно, и так, но зачем же столь энергично отрицать правоту тех, кто видит в солнце просто солнце, тем более что несколько десятков страниц назад и сам автор столь же решительно утверждал: «...солнце есть солнце, а не какая-нибудь аллегория, пусть самая смелая».

Лирический герой повести порой излишне категоричен, порой излишне многословен, иногда ему изменяет и чувство стиля. Однако все это с лихвой искупается недовольством собой — он все время как бы одергивает себя, остергается позы многознающего мудреца. «А что я знаю? Какую мудрость так? Недаром говорят: чем меньше человек знает, тем больше жаждет учиться». Герой Сергуненкова жаждет не учиться, а учиться, он рассказывает о собственном становлении. И у него есть право на откровенность, с ко-

торой он доверчиво открывается читателю и в делах и в мечтах своих.

Ю. Смелков.



ВЛАДИМИР ЖУКОВ. *Иволга. Лирика. Поэмы.* М. «Советская Россия». 1976. 239 стр.

Тридцать лет отделяет первую книгу Вл. Жукова «Солдатская слава» от его поэтического сборника «Иволга». Много перемен произошло за это время и в жизни и в творчестве поэта. Но в главном он не изменился — остался верен великому солдатскому братству, под знаком которого прошла его фронтовая юность.

«Иволга» позволяет лишний раз убедиться в цельности «солдатского» мироощущения бывшего командира пулеметного взвода. Перед нами избранные стихи, читая их, можно увидеть, говоря словами авторского предисловия, путь к «одной-единственной книге — книге жизни».

Экспозиция книги — «незнаменитая» финская. Открытие вчерашним ивановским школьником суровой реальности войны. В «книгу жизни» заносятся первые жесткие штрихи фронтового быта, трагические будни «большой» войны, затем дальнейший поиск творческих ориентиров, выход к своей поэтической вере, столь отчетливо выраженной в обращении поэта к будущему историку Великой Отечественной: «...не умаляя ни радостей, ни горя — ведь ложь, она как гвозди в сапогах».

Страницы военных и первых послевоенных лет поэзии Вл. Жукова, представленные в «Иволге» такими стихами, как «Атака», «Ударный эшелон», «Пулеметчик» и др., свидетельствуют о том, что поэт бесконечно дорожит доподлинной сутью переживания, что для него так называемая окопная правда становится важной стилистической метой. Сам Жуков сказал об этом в стихотворении «Ориентирь» довольно определенно:

Я постиг и душой и умом
то, что в секторе было моим
с первых дней до последнего дня.
Вот о том и спросите меня.

Однако было бы неверно подходить к этим и другим «окопным» стихам Вл. Жукова лишь как к поэзии простого опыта, представляющей не столько творческий, сколько жизненный документ. Окопный быт никогда не был для автора «Иволги» самоцелью. Основная коллизия его военной лирики как раз и заключалась в преодолении этого быта, в горячем желании и на самой «опасной и страшной работе» не забыть о том многом, чем жива душа человека. Только так подходя к его поэзии, можно понять дальнейшую логику ее развития, да и само название нового сборника — «Иволга» — становится значимым лишь в таком контексте.

Испытание миром — об этом следующие страницы книги Вл. Жукова. Трудное испытание. В чем-то не менее трудное, чем война. Недаром в одном из стихотворений поэт

просит прощения у своего Пегаса — «армейского конька» «за лебеду, за понукание без цели».

Возвращение к заветным берегам юности происходит теперь равно как по праву бессонной памяти, так и по долгу поэта-гражданина. Идет усиление философского психологического начала в творчестве поэта. Об этом говорят многие стихи «Иволги»: «Николай Майоров», «Сорок сороков», «Вибрация»... Но читая их, чувствуешь: сегодня Жукову явно тесновато в рамках чисто лирической сферы. И представляется вполне закономерным то, что кульминацией сборника становится поэма «На уровне сердца». Центральный образ ее — правда павших на войне: «Мы погибли Победы ради, чтоб твоя продолжалась жизнь...» Этот мотив получает в поэме многогранное развитие. Он предстает символом — вечный огонь, польхающий день и ночь на уровне сердца. С великим уважением говорит поэт о рядовом участнике войны, ибо «ни редутов нет без солдата, ни салютов нет без солдата, вообще — ни войн, ни побед». И наконец, правда павших жива в сегодняшней молодости, в нынешних прапорщиках России.

Поэма Вл. Жукова «На уровне сердца», как и другие произведения этого же жанра, включенные в сборник, заслуживает, конечно, особого разговора. Но уже сейчас можно с уверенностью сказать: обращение поэта к эпосу перспективно, оно заставляет думать о новых горизонтах его творчества.

А. Тагапов.

Иваново.



ВИТАЛИЙ КОРЖЕВ. *Эстафета.* Новосибирск. Западно-Сибирское книжное издательство. 1975. 159 стр.

Нередко сожалеешь о том, что иные книги «местных» издательств, по сути, недоступны широким читательским кругам за пределами той области или того края, где книги эти увидели свет. И это несмотря на то, что сегодня трудно бывает провести четкую грань между «столичным» и «периферийным» литературоведением или критикой. Но хотя в принципе проблема «глубинки» в сфере критики снята с повестки дня, некоторые «остаточные» сложности на практике еще встречаются. И порой даже заурядный сборник литературно-критических статей, обнародованный в Москве или Ленинграде, имеет гораздо больше реальных шансов быть замеченным и читателем и печатью, нежели добротная работа нестоличного автора. На эти мысли нас навело знакомство с книгой Виталия Коржева «Эстафета», выпущенной Западно-Сибирским книжным издательством тиражом всего в 4 тысячи экземпляров.

Автор этого издания выступает первоходом в очерке, открывающем книгу и давшем ей название; подзаголовок очерка — «Страницы сибирской поэтической Ленинианы». За последние годы появилось несколько содержательных, серьезных и об-

стоятельных литературоведческих исследований, посвященных образу Ленина в литературе и искусстве. Тема эта поистине неисчерпаема. «Эстафета» Виталия Коржева, хотя и страдает некоторой описательностью, богата наблюдениями, демонстрируемым материалом, информацией, которая в известной своей части впервые вводится в наш обиход. В ней идет речь о произведениях, обычно не попадающих в поле зрения авторов историко-литературных обзоров, составителей хрестоматий и других учебных пособий. Так, в самом начале очерка В. Коржев с понятной гордостью заявляет, что «первый коллективный сборник стихов о Ленине вышел все-таки не в Москве и не в Петрограде, — он появился в феврале 1924 года «во глубине сибирских руд», на берегах Ангары, в далеком Иркутске. Сборник «Ильичу» был составлен из стихов молодых и мало известных тогда поэтов, членов Иркутского литературно-художественного объединения (ИЛХО) — И. Уткина, Д. Алтауэна, И. Молчанова-Сибирского, М. Скуратова (Бельского), Н. Хребтовского, А. Вечернего (Голянковского), В. Томского, М. Озерных». Отдавая должное своим землякам, их исторической заслуге, исследователь не впадает в грех преувеличения (как это временами еще случается), он достаточно трезво и осмотрительно судит о поэтическом качестве стихов, вошедших в названный сборник, оценивает их с высот, достигнутых поэтической Ленинианой сегодня.

Думается, что наибольшей удачей Виталия Коржева стал очерк «„В ногу с тревожным веком...“» — литературный портрет Иосифа Уткина. В отличие от других «персонажей» литературно-критического повествования Виталия Коржева (скажем, Николая Перелова или Геннадия Карпунина, чья известность пока что весьма ограничена), Иосиф Уткин — поэт, который в свое время пользовался чуть ли не всеобщей и, добавим, заслуженной популярностью. Об авторе «Повести о рыжем Мотэе, господине инспекторе, равнине Исайте и комиссаре Блох», других поэм и лирических стихов, ознаменовавших собой определенный этап в истории становления русского советского поэтического искусства, писал А. Луначарский. Уткину посвящены специальные исследования (назовем хотя бы монографию А. Саакянц, изданную в Москве в 1969 году, заметное место отведено поэту в книге В. Трушкина «Литературная Сибирь первых лет революции», появившейся в Иркутске в 1967 году). Однако Виталий Коржев, опираясь на опыт своих предшественников, не идет по проторенному пути, не повторяет уже ранее добытое. Его концепция творчества Иосифа Уткина в целом и отдельных этапов этого творчества в частности отличается самобытностью, свежестью. Полемика автора с другими критиками, писавшими об Уткине, как правило, достаточно аргументированна. Этих качеств, случается, недостает статьям «„В свой трудный мир спешу...“» и «Лед и пламень...». Здесь многовато, так сказать, непереверенных стихотворных цитат. Мало широких обобщений. Это обидно: судя по

наиболее удавшимся страницам книги, ее автор — литератор способный.

Мы вправе оценивать книгу Виталия Коржева «Эстафета» (уже не первую его книгу) без скидок на «географию». В современной Сибири успешно трудится большой отряд безусловно одаренных литературоведов разных поколений. Виталий Коржев — один из них.

Уран Гуральник,
доктор филологических наук.



Вл. ОРЛОВ. Перепутья. Из истории русской поэзии начала XX века. М. «Художественная литература». 1976. 367 стр.

Новая книга Вл. Орлова «Перепутья» — продолжение его работ о русской поэзии от начала XIX века до начала нынешнего. Частично главы ее были опубликованы в качестве предисловий к изданиям «Библиотеки поэта» и в виде журнальных статей. В «Перепутья» вошли работы об А. Блоке, М. Цветаевой, К. Бальмонте и других поэтах, тех, что представляли «культуру, уходящую в прошлое, хотя некоторые из них и продолжали свою деятельность уже в новую эпоху».

Разумеется, книга «Перепутья» не охватывает названного периода монографически — за пределами ее остались многие поэтические явления: Брюсов и Бунин, Хлебников и Ахматова, Игорь Северянин и другие.

Имена, которые включены в основной раздел «Минувший день», давно нуждаются в современной научной характеристике, критическом истолковании с позиций наших дней. В подавляющем большинстве очерков Вл. Орлов сочетает точность социальной характеристики явления и превосходное ощущение поэзии. Содержательны и точны его оценки творчества И. Анненского, Ф. Сологуба, А. Белого, М. Волошина, М. Кузмина, поэтов, заметных даже рядом с такими фигурами, как Блок и Маяковский. Убедителен вывод исследователя и о творчестве Вячеслава Иванова: «Поэзия Вячеслава Иванова неподвижна — в том смысле, что она не претерпела сколько-нибудь заметных изменений на протяжении более чем полувека. Она шла наперекор движению общей жизни, движению истории, движению передового искусства — и это обстоятельство полностью определяло ее судьбу».

Не менее точны и многие другие характеристики. Можно, конечно, посоветовать на некоторую конспективность раздела о Н. Клюеве (следовало, видимо, остановиться на его фольклоризме); можно оспорить некоторые эстетические оценки — М. Кузмин кажется нам более крупным явлением, нежели он предстает в книге «Перепутья», а В. Ходасевич, поставленный в один ряд с А. Белым, пожалуй, не может стоять в таком ряду. Но общая социально-эстетическая характеристика сложных течений в литературе, осмысление пути отдельных художников, на наш взгляд, Вл. Орлову

удались. Следует особо отметить содержательный очерк о Н. Гумилеве и главу об О. Мандельштаме. Последняя содержит очень точное, выверенное суждение, служащее как бы ключом к конкретному анализу: «В русской поэзии XX века Мандельштаму принадлежит заметное место. Не следует только впадать в неумеренное преувеличение роли, которую сыграл он в поэтическом движении века (а тенденция к такому рода преувеличению существует). При всем своем таланте и мастерстве Мандельштам остался поэтом хотя и замечательным, но все же не ответившим своими творческими исканиями и находками на главные задачи, стоявшие перед русской поэзией его времени».

Интересен очерк о К. Бальмонте, поэте, некогда гремевшем на всю Россию, а впоследствии почти начисто забытом. Вл. Орлов говорит и о сильных сторонах Бальмонта и о его манерности, поэте, об органическом и надуманном, ненатуральном в его облике и стихах. Нарисованный автором книги образ точен и выразителен, как и образ Марины Цветаевой, которой также посвящен очерк, имеющий подзаголовок «Судьба. Характер. Поэзия».

В своих очерках Вл. Орлов опирается на огромный материал — здесь и издания, давным-давно ставшие библиографической редкостью, и рассказы современников, и газетные информации, и письма...

Говоря о Блоке, поэте, всей душой принявшем революцию, связавшем прошлое и настоящее, Вл. Орлов пишет: «Поэты нового мира, родившегося в огне Великой Октябрьской революции, и среди них прежде всего Александр Блок и Владимир Маяковский, утвердили за русской поэзией нашего века значение всемирно-историческое. Оно воплощено в понятии музыка революция и». Работа Вл. Орлова и о тех, кто эту музыку пытался услышать, и о тех, кто ее не сумел услышать и понять. Различие, как раз и определившее место тех и других в русской культуре.

Дм. Молдавский.

Ленинград.



КРАТКИЕ ЗАМЫСЛОВАТЫЕ ПОВЕСТИ ИЗ «ПИСЬМОВНИКА» ПРОФЕССОРА И КАВАЛЕРА НИКОЛАЯ КУРГАНОВА. Составление, предисловие, оформление, рисунки Н. Кузьмина. М. «Художественная литература». 1976. 166 стр.

Пожалуй, не всякий начитанный человек ответит не раздумывая, кто такой Николай Курганов и что за «Замысловатые повести» он написал. Между тем Н. Г. Курганов (1925—1996) был известен широко и долго. Его знаменитая книга «Письмовник, содержащий в себе науку российского языка со многим присовокуплением разного учебного и полезно-забавного вещесловия», то есть, говоря по-современному, учебник, включающий в себя хрестоматию для чтения, служил русской читающей публике целый век, выдержал много изданий, на него часто ссы-

лались. Впоследствии о нем стали отзываться со снисходительной улыбкой, а его слог послужил некоторыми своими особенностями образцом для «Мыслей и афоризмов Козьмы Прутков».

О превратностях судьбы этого во многих отношениях выдающегося сочинения напомнил читателю прекрасный художник книги и большой знаток истории литературы Н. В. Кузьмин. Он написал статью о Курганове. Она и сама заслуживала бы нашей благодарности, ибо содержащиеся в ней сведения об авторе «Письмовника» пришлось собирать по крупицам. Но Н. В. Кузьмин этим не ограничился. Он выбрал из беллетристической части «Письмовника» то, что сохранило наибольший интерес для современного читателя — «Краткие замысловатые повести», и составил из них книгу со своими иллюстрациями. Он же позаботился об всем ее оформлении. Все в этой книге выражает дух и стиль сочинения Н. Г. Курганова. На супере слегка подцвеченный рисунок. Он изображает «француза и русака», встретившихся в Париже и состязующихся в словесных колкостях. У них треуголки под мышкой, трости в руках, пудренные парики на многоушных головах, кружевные жабо и рукава сорочек, так и хочется сказать, голландского полотна.

Все настраивает на время и стиль «Повестей» Курганова. Золотисто-желтый переплет одет не в ледедин, а в ткань. Виньетки в тексте хитроумно-затейливы, но выполнены при этом, как это делали старинные каллиграфы, одним росчерком уверенного пера. Но самое главное — рисунки. Н. В. Кузьмин снова предстал перед нами как неутомимый рисовальщик, полный разнообразнейших познаний, искрометной выдумки и веселости. Легкость рисунка кажется импровизационной, если б не знать, сколько труда лежит в основе такой свободной импровизации.

О людях Курганова — придворных, шарлатанах, философах, шутах, вельможах, судейских, монахах — Н. В. Кузьмин знает бесконечно много, недаром он в предисловии с удовольствием перечисляет, сколь многолюдна толпа остро очерченных типов, выведенных Кургановым. Художник представляет себе и показывает нам, как они хитрят, как спорят, как бахвалятся, как чревоугодничают, как волочатся за женщинами, как стараются перехитрить друг друга, как друг друга высмеивают. Почти каждый рисунок — комическая, драматическая или мелодраматическая сценка, в которой крупным планом выступают одно-два, иногда три действующих лица. Если их несколько — с отчетливо конфликтными отношениями между ними. Если одно — все равно ощущается его столкновение с теми, кто не изображен, но домысливается. Каждый портрет показывает не только наряд, прическу, типическое лицо давно ушедшего времени, но характеры и темпераменты, которые, подобно характерам Теофраста и Лабрюйера, пережили свое время. Чувствуется, что художник искал типажи не только в исторических источниках! Рисунки выполнены пером, коричне-

выми чернилами, столь распространенными в старину. Они стремительны, изящны и удивительным образом соединяют богатство подробностей с лаконичностью.

Издательство «Художественная литература», выпустившее эту книгу, заслуживает благодарности вместе с Н. В. Кузьминым, ее составителем, автором предисловия, оформителем и иллюстратором. Достойная воскресения книга воскрешена прекрасно.

Сергей Львов.



СЕРГЕЙ ГОЛЯКОВ, ВЛАДИМИР ПОНИЗОВСКИЙ. Голос Рамзая. М. «Московский рабочий». 1976. 359 стр.

С. Голяков и В. Понизовский видели свою задачу в том, чтобы дополнить новыми материалами и свидетельствами уже известные факты о жизни выдающегося советского разведчика Героя Советского Союза Рихарда Зорге. Авторы шли по пути истины, и в этом принципиальное отличие их труда от многих книг, составляющих теперь на Западе целую литературу о Зорге. Буржуазные писатели не могут отрешиться от соблазна выпускать бойкие бестселлеры, проникнутые дешевой антисоветчиной. Но все они вынуждены признавать исключительные способности и энциклопедическую образованность советского разведчика. В вышедшей в 1962 году в Англии книге «Величайшие разведчики мира» о Рихарде Зорге говорится: «С какой бы меркой мы ни подошли к нему, нельзя не согласиться с тем, что он был выдающимся человеком, доктором социологии, наделенным недюжинным умом, в совершенстве владевшим немецким, английским, французским, русским, японским и китайским языками, крупный специалист по каждой из этих стран».

Опираясь на богатый документальный материал, авторам удалось полнее, чем их предшественникам, воссоздать нравственный облик талантливого человека, высокоидейного коммуниста, бесстрашного борца за мир. Спустя десятилетия Рихард Зорге и его соратники остаются людьми сегодняшнего дня — они боролись за будущее без фашизма, без войн. Использованные источники придают книге большую убедительность и достоверность, хотя авторы не удержались от некоторого литературного домьсла, например в передаче разговоров между собой японских контрразведчиков. И все же в целом подлинность описываемых событий не вызывает сомнений. Однако потребуется еще дальнейшая работа научно-исторического и политического характера для полного освещения незаурядного образа и деятельности такого одаренного человека, каким был Рихард Зорге. С похвальной скромностью это признают и авторы книги.

Разведка не прикладная профессия. Разведчиком может быть далеко не каждый, так как, кроме обширных знаний во многих областях, нужен настоящий талант. Этими качествами в полной мере обладал Зорге.

В обращении к читателям С. Голяков и В. Понизовский верно подчеркивают умение

Зорге «из массы разрозненных сведений и фактов, которыми он располагал, отобрать наиболее существенное, определяющее и характеризующее развитие событий на будущее». Но авторы впадают в заблуждение, когда начинают это умение Зорге считать главной причиной его исключительных успехов. Как известно, способностью анализа событий и фактов обладают многие опытные дипломаты и журналисты, обладали этим и Зорге. Но не это определяло его непревзойденные успехи в разведывательной деятельности. Одаренный разведчик обладал исключительным умением найти, привлечь и использовать людей, занимавших высокие посты или работавших в ключевых пунктах, имевших доступ к наисекретнейшей информации и документам. Так, Р. Зорге под видом нациста проник в германское посольство в Токно и стал авторитетным и нужным человеком для всех его руководящих сотрудников, в первую очередь для гитлеровского посла генерала Эугена Отта. Он сумел завоевать доверие даже представителя гестапо в Японии Мейзингера. С другой стороны, на высокой идейной основе он привлек к разведывательной работе японца Одзакки — референта премьеры Каное, получая от него секретнейшие решения японского правительства. Также как единомышленники с ним сотрудничали японцы Мияги, Тайкити и журналист-югослав Вукелич.

Умение добывать важные сведения заслуживает самой высокой оценки. Но и здесь необходимо очень точно соблюдать чувство меры. В предисловии авторы пишут: «Он (Зорге.— Л. В.) внес большой вклад в победу Советских Вооруженных Сил в годы Великой Отечественной войны, особенно в разгром фашистских полчищ под Москвой». Такое утверждение неверно по существу, и поэтому стоит привести компетентное мнение о роли разведки Маршала Советского Союза Г. Жукова, который в статье «Величие победы СССР и бессилие фальсификаторов истории» отметил: «Хорошую работу разведки нельзя считать самодовлеющим фактором нашей победы... Всякий мало-мальски знакомый с военным делом человек понимает, из чего складывается военный успех: верная оценка всей обстановки, правильный выбор направлений главных ударов, хорошо продуманное построение войск, четкое взаимодействие всех родов оружия, высокое моральное состояние и выучка личного состава, достаточное материально-техническое обеспечение, твердое и гибкое управление, своевременный маневр и многое другое...» Это высказывание необходимо учитывать, чтобы не переключаться с некоторыми буржуазными авторами, приписывающими победы Советской Армии только блестящей работе нашей разведки.

В заключение следует сказать, что, несмотря на отдельные недостатки, книга «Голос Рамзая» вносит полезный вклад в освещение истории героической борьбы нашего народа против фашистской Германии и милитаристской Японии. Стоит отметить и то, что в ней еще раз приводится принципиально важное выступление Рихарда Зорге на япон-

ском суде, где он убедительно изложил кредо советских разведчиков — борцов за мир.

Л. Василевский.



А. Д. ЧИКВАЙДЗЕ. *Английский кабинет накануне второй мировой войны.* Тбилиси. «Мецнереба». 1976. 278 стр.

«Историческая наука при всей ее кажущейся стабильности, — пишет автор в предисловии, — обладает одним специфическим свойством — она по-своему динамична, подвержена постоянным изменениям во всех своих частях, начиная с древнейших времен до наших дней. Ни один историк не вправе претендовать на то, что он полностью и окончательно исследовал тот или иной (пусть самый малый) отрезок истории». К этому верному выводу следует, на мой взгляд, добавить, что именно новые документы, вводимые в научный оборот, очень часто играют роль своеобразного катализатора в этой подвижности, ибо требуют неотложного осмысления учеными.

А. Чикваидзе занимается исследованием как раз того периода внешней политики Великобритании, где недавно произошел своего рода «выброс» на поверхность лавы документальных источников. В 1967 году английский парламент принял билль о сокращении сроков давности секретных британских архивов с пятидесяти до тридцати лет. Таким образом, с 1969 года рассекреченная правительственная документация предвоенного периода стала достоянием историков. Принимая это решение, английские правящие круги руководствовались прежде всего стремлением «трансформировать ландшафт 30-х годов», желанием доказать с помощью новых материалов мнимую «реалистичность» и «неизбежность» для Великобритании политики «умиротворения» фашистских агрессоров накануне второй мировой войны. Многочисленные исследования буржуазных историков, с завидной оперативностью вышедшие в последние годы, ведутся прежде всего в этом русле. Тем более важным представляется появление работ советских историков, основанных на новой документации. Книга А. Чикваидзе, хотя ее исследовательский раздел и охватывает сравнительно узкий период (с 15 марта по 3 сентября 1939 года), ценна в этом отношении уже своевременностью появления, в чем заслуга и автора и издательства.

Автор глубоко изучил рассекреченные фонды кабинета министров Великобритании, комитета внешней политики, комитета имперской обороны, хорошо знаком как с западной, так и с советской исторической литературой, широко привлекает не только английские, но и немецкие архивы: по данной теме (в частности, архив Форшунгсманта — Коричневые бумаги Геринга).

В книге убедительно опровергаются доводы тех буржуазных историков, которые склонны объяснить полный провал политики «умиротворения» только личными качест-

вами последнего предвоенного премьер-министра Великобритании Н. Чемберлена, его полной некомпетентностью в области внешней политики. «В конечном итоге для истории, и в первую очередь для народов Европы, была важна не сама, быть может и довольно бесцветная, личность Невиля Чемберлена, а его политика, осуществляемая в интересах определенных кругов Великобритании... Сущность этой политики определялась не столько стремлением договориться с Гитлером, найти известный *modus vivendi* в отношениях с ним, сколько намерением направить фашистскую агрессию на Восток, в первую очередь против Советского Союза».

А. Чикваидзе показывает, насколько по-разному интерпретировалось позорное мюнхенское соглашение английской и германской дипломатией того времени. «...если для Лондона Мюнхен являлся фундаментом «послевоенного мира», — пишет автор, — то для Берлина он был лишь преходящим эпизодом в процессе закабаления народов Европы». Не удивительно, что после Мюнхена вскоре снова обострились англо-германские разногласия. К началу 1939 года, по меткому выражению английского историка Я. Кольвина, внезапно выяснилось, что Гитлер считает британцев «надменными обезьянами, которые думают, что могут управлять миром при помощи 15 линейных кораблей».

В основном разделе книги, посвященном анализу английской внешней политики весной и летом 1939 года, автор, опираясь на рассекреченную британскую документацию, на широком фактическом материале показал, что при всех колебаниях и зигзагах кабинета Чемберлена вплоть до первых дней войны не оставалась надежды договориться с Гитлером. В этом плане особый интерес представляет впервые в нашей историографии с такой полнотой исследованный вопрос о том, как английское правительство в марте 1939 года само похоронило предложенную им же совместную декларацию с Советским Союзом и Францией. Читатель узнает также о последствиях миссии Айронсайда в Польшу в июле 1939 года, когда после английского нажима на Варшаву лорд Галифакс мог доложить кабинету, что «Польша намерена воевать только в том случае, если будет надеждна агрессия против нее, если же Гитлер ограничится захватом Данцига, то Польша заявит только словесный протест». Очень своевременно разоблачение автором клеветы буржуазных историков о том, что гитлеровской агрессии якобы способствовала борьба коммунистических партий Западной Европы за создание единого антифашистского фронта и даже стремление рабочего класса к улучшению своих жизненных условий.

В целом работа А. Чикваидзе представляет собой один из первых и несомненно удачных шагов советской исторической науки на пути исследования новых английских источников.

С. Десятков,

кандидат исторических наук.

Новгород.



ЯН ЛИНДБЛАД. Белый тапир и другие ручные животные. Перевод со шведского Л. Жданова. М. «Мир». 1976. 184 стр.

ЯН ЛИНДБЛАД. В краю гоацинов. Перевод со шведского Л. Жданова. М. «Знание». 1976. 56 стр.

Жил-был мальчик. Ему очень не повезло в жизни — он был тяжело болен. И в то же время мальчик чувствовал себя счастливым, потому что все свободное время (даже прикованный к постели) он проводил в удивительном мире — мире живой природы. Сначала это были веселый пудель Фигаро и ручная галка Кай, потом к ним добавились белые мыши, позже появились голубь, скворец, сорока и другие.

Кроме воли и мужества, которые помогли ему преодолеть тяжелую болезнь и ее последствия, кроме любви самой горячей и беззаветной к природе, у Яна Линдблада есть еще одно важнейшее качество — гражданственность и общественный темперамент. Он оставил университет и тихий кабинет, отказался от ученой карьеры ради того, чтобы стать связным между природой и обществом. Я. Линдblad снимает фильмы и ведет телепередачи, пишет книги и статьи. И с небольшой частью его деятельности — двумя книгами — сейчас может ознакомиться советский читатель.

«Белый тапир» — книга интересная во многих отношениях. Это и автобиографические записки, это и страстная публицистика, горячий призыв беречь животный мир нашей планеты, это и научные наблюдения самого автора и некоторые обобщения, сделанные им, исходя из собственного опыта и опыта других ученых.

Охрана природы — тема сейчас модная, о ней много говорят, пишут, а часто и спекулируют. Но для большинства людей, даже искренне стремящихся к благополучию на нашей Земле, природа часто понятие абстрактное, «что-то вообще». Линдblad от абстрактных понятий приводит человека к предельно конкретному пониманию природы, к насущным представлениям о задачах по ее охране и сохранению. Галки, совы, лисы, выдры, россомахи, ласки и многие другие животные и птицы, о которых рассказывает автор, все они — крохотная пылинка в мире животных, но в то же время именно через эти пылинки тянется нить к пониманию и любви ко всему живому, а в конечном итоге к активным и осознанным действиям во имя спасения этого живого.

От природы Ян Линдblad обладает очень тонким и музыкальным слухом. К тому же он незаурядный имитатор. Еще в детстве он научился подражать птичьим голосам, а затем стал использовать свои способности в общении с животными. Это дало удивительные результаты: человек будто бы обрел легендарное кольцо царя Соломона — научился понимать язык животных, и они стали понимать его. Надо сказать, что вопрос этот не только нов (его, по сути дела, разрабатывает всего одно поколение ученых),

но имеет огромное значение для изучения зоопсихологии, им сейчас заняты зоологи и этологи. Однако Линдblad нашел свой метод, разработал оригинальную методику общения с животными, что, несомненно, помогает ему и как ученому и главным образом как создателю фильмов и телепередач о природе. Это помогает ему и спасать попадающих к нему в руки птиц и зверей, оказавшихся почему-либо сиротами, помогает видеть то, что не видят и не понимают другие наблюдатели. В то же время нужно отметить, что в ряде случаев автор чересчур увлекается имитацией, придает слишком большое значение коммуникативным звукам.

Есть и другие вопросы, которые требовали бы некоторых пояснений и комментариев. Конечно, совсем не обязательно предвзвешивать мысли автора своими собственными или навязывать читателю свое мнение. Но более точно расставить акценты (В. Флинт это делает, но недостаточно), более строго подойти к научной оценке фактов и проблем необходимо. То же самое относится и к постраничным примечаниям — они должны быть более содержательными, не ограничиваться разъяснением видового названия или элементарной географической справкой. Ведь в книгах такого рода встречается немало имен, мало знакомых советскому читателю, знать которые было бы совсем не излишне. Так, например, в книге «В краю гоацинов» не раз упоминаются братья Шомбург, «один из самых выдающихся и опытных орнитологов мира» Томас Гийяр и другие.

Но и сейчас можно с полной уверенностью сказать, что оба издательства преподнесли советскому читателю прекрасные подарки — те, кто любит природу, получат большое удовольствие, читая их, а те, кто был к ней равнодушен, возможно, прочитав книги Линдблада, как-то иначе взглянут на окружающий их мир. И не важно, что Линдblad пишет в книге «Белый тапир» в основном о животных Швеции, а в книге «В краю гоацинов» — о животных Южной Америки. Важно отношение к этим животным и мысль, которая красной нитью проходит через все главы обеих книг — беречь, спасать, сохранять животный мир, который с каждым днем подвергается все большему давлению со стороны техники и скудеет.

Юрий Дмитриев.



Ф. И. НОВИК. Неонацизм в ФРГ: подъемы и поражения 1949—1974 гг. М. «Наука». 1976. 224 стр.

«Чрево еще плодovито» — это предостережение Бертольта Брехта могло бы послужить эпиграфом к рецензируемой книге. Исследование Ф. Новик вскрывает идеологию и практику современного неонацизма в ФРГ. Собрав и обобщив большой фактический материал, автор анализирует подъемы и поражения последней гитлеровского

рейха на протяжении четверти века, программные установки и тактику основных праворадикальных партий и группировок.

О том, насколько актуальна книга, говорят факты и события недавнего времени. В начале лета 1976 года федеральное ведомство по охране конституции опубликовало очередной годовой отчет, в котором указывалось, что в ФРГ насчитывается 148 неонацистских и других правоэкстремистских партий и организаций. В них состоит свыше 20 тысяч человек, в том числе около 11 тысяч — в «головной» Национал-демократической партии (НДП). Все эти группы и группки издают более 120 газет и журналов общим тиражом свыше 228 тысяч экземпляров.

Буквально через несколько дней после опубликования официального отчета неонацисты постарались как бы проиллюстрировать его. В Бонне они провели «марш антикоммунистов». В сборище участвовали НДП, реваншистская организация «Акция Одер—Нейссе», «Немецкий народный союз» и другие правоэкстремистские группировки. Присутствовали также и представители неонацистских партий США, Австрии, Франции и Западного Берлина. Фюрер НДП Мусгнуг заявил на сборище, что «германский рейх продолжает существовать в границах 1937 года». «Мы не готовы», — декларировал он, — согласиться с потерей германских восточных территорий». Он объявил договоры ФРГ с социалистическими странами недействительными и обвинил правительство ФРГ в «распродаже немецких национальных интересов».

Именно на национализме, как справедливо подчеркивает Ф. Новик, пытаются спекулировать неонацисты. «За последние 25 лет, — пишет автор, — активизация неонацистских сил и усиление их влияния приходились именно на те периоды, когда официальные круги Бонна наиболее открыто и ревностно поддерживали национализм, который всегда поднимался на гребне «национальной волны», периодически захлестывавшей ФРГ».

Книга Ф. Новик убедительно опровергает доводы тех, кто утверждает, что Западная Германия до конца преодолела тяжелое наследие нацистского прошлого. Неофашизм остается «в игре», хотя и находится на скамейке запасных. Он политический резерв и союзник консервативных партий, прежде всего ХДС/ХСС. В истории ФРГ уже не раз

бывало, что неонацисты отказывались участвовать в выборах, дабы не перебежать дорогу своим единомышленникам в ХДС/ХСС и не отнимать у них голоса избирателей.

Есть у крайне правого экстремизма и питательная среда — экономический кризис, политическая нестабильность, социальная небезопасность. Именно на волнах социально-политической неустойчивости, как свидетельствует опыт истории, и появляется грязная пена фашизма. Вот и сейчас неонацистские группировки повсюду спекулируют на экономическом кризисе, занимаются безудержной социальной демагогией. Они апеллируют к обывателю, пытаются выдавать себя за «силу порядка и обновления», которая, мол, покончит с «гнилыми либерализмом» и «решит все проблемы».

Был тревожный момент — осенью 1969 года, — когда неонацисты, опьяненные успехами на выборах в ландтаги, казалось, вот-вот переступят порог бундестага. И если неонацистам все же не удалось прорваться в бундестаг, то это заслуга осознавших всю глубину грозящей опасности демократических сил ФРГ, и прежде всего коммунистов. Со страниц книги во весь рост встает и та огромная роль, которую сыграл Советский Союз в своей принципиальной борьбе против возрождения нацизма в ФРГ.

Рассматривая нынешнее состояние западногерманского неофашизма и его возможные перспективы, Ф. Новик приходит к выводу: «Внутриполитические условия в ФРГ и международная обстановка в Европе сложились таким образом, что Национал-демократическая партия почти не имеет шансов на подъем, и политическую функцию НДП, по всей вероятности, можно считать исчерпанной. Но это отнюдь не исключает возможностей роста неонацистских тенденций в стране в тех или иных формах при соответствующих условиях».

Да, условия для существования неонацизма еще есть и черво еще плодотворно. Вывод автора этой полезной и актуальной монографии перекликается с мнением западногерманских демократов, хорошо знающих повадки неонацистов и среду, в которой они обитают. «Зараза еще не изжита, — считает профессор Эутен Когон. — И если мы ничего не будем предпринимать против нее и не будем постоянно говорить об этом с молодежью, то однажды можем оказаться совершенно беззащитными».

Вл. Кузнецов,
кандидат филологических наук.



КНИЖНЫЕ НОВИНКИ



ПОЛИТИЗДАТ

В. И. Ленин. Революционная армия и революционное правительство.— Задачи отрядов революционной армии. 16 стр. Цена 3 к.

В. И. Ленин. Доклад о партийной программе на VIII съезде РКП(б) 19 марта 1919 г. 23 стр. Цена 3 к.

Л. И. Брежнев. Интервью французскому телевидению 5 октября 1976 года. 16 стр. Цена 3 к.

«СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ»

В. Амлинский. День и вечер. Повести, роман, рассказы и очерки. 639 стр. Цена 1 р. 20 к.

Н. Михайлов. Круг земной. Повести жизни и путешествий. 463 стр. Цена 1 р. 2 к.

Е. Пермяк. Очарование темноты. Роман. 399 стр. Цена 72 к.

В. Рождественский. Лицом к заре. Книга стихов. 126 стр. Цена 37 к.

Сайяр. Созвездие Большой Медведицы. Повести. Перевод с узбекского. 230 стр. Цена 34 к.

К. Симонов. Сегодня и давно. Статьи. Воспоминания. Литературные заметки. О собственной работе. 2-е, дополненное издание. 624 стр. Цена 1 р. 92 к.

М. Турсун-заде. Хранительница огня. Стихи и поэма. Перевод с таджикского. 103 стр. Цена 36 к.

«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»

Волшебный козел. Вьетнамские народные сказки. Перевод с вьетнамского. 256 стр. Цена 62 к.

Я. Ивашевич. Собрание сочинений. В 8-ми тт. Т. 1. Стихи. Перевод с польского. 510 стр. Цена 1 р. 90 к.

Д. Кугультинов. Собрание сочинений. В 3-х тт. Перевод с калмыцкого. Вступительная статья Ч. Айтматова. Т. 1. Стихотворения и поэмы. 382 стр. Цена 2 р.

М. Пруст. Под сенью девушек в цвету. Перевод с французского. («Зарубежный роман XX века») 555 стр. Цена 1 р. 18 к.

Сказки народов Индии. Перевод с бенгали, маратхи, ландажи, тамильского, телугу, хинди и английского. 357 стр. Цена 78 к.

«МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»

В лучах света. Рассказы. Перевод с венгерского. 223 стр. Цена 33 к.

В. Гончаров. Всегда с тобой. Стихи. 112 стр. Цена 39 к.

А. Горнин. Воспитатель молодежи. Воспоминания о М. И. Калинин. 32 стр. Цена 4 к.

Л. Гринберг и др. Основы коммунистической морали. 287 стр. Цена 46 к.

Е. Зюлковский. Группа «Михаил» радирует. Документальная повесть. Перевод с польского. 191 стр. Цена 44 к.

«СОВРЕМЕННОК»

С. Афоньшин. Сказы и сказки нижегородской земли. («Новинки «Современника») 223 стр. Цена 57 к.

В. Горбунов. Место под солнцем. Предисловие В. Субботина. («Новинки «Современника») 269 стр. Цена 63 к.

Б. Корнилов. Страна встает со славою. Стихотворения. («Библиотека поэзии «Россия») 287 стр. Цена 1 р. 8 к.

«ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА»

Г. Коновалов. Вчера. Повесть. 144 стр. Цена 39 к.

М. Лермонтов. Поэзия. Стихотворения, поэмы, драма. Составление и вступительная статья И. Андронникова. 335 стр. Цена 55 к.

Р. Мориз. Его большой день. Повесть и рассказы. Перевод со словацкого. Предисловие С. Алексеева. 254 стр. Цена 91 к.

Океан. Литературно-художественный морской сборник. Составитель А. С. Некрасов. Под общей редакцией К. С. Вадигина. 303 стр. Цена 81 к.

Б. Панкин. Время и слово. Семь публицистических очерков из жизни и литературы. Предисловие В. Полевого. 270 стр. Цена 89 к.

В. Разумневич. Веснушки от хорошего настроения. Повесть. 254 стр. Цена 60 к.

Рассказы о Кирове. Сборник воспоминаний. Составление и вступительная статья Л. К. Виноградова и Г. И. Гребенникова. 222 стр. Цена 61 к.

Главный редактор **С. С. Наровчатов**

Редакционная коллегия:

Ч. Айтматов, Ф. К. Видрашку (ответственный секретарь), **Е. М. Винокуров, Р. Г. Гамзатов, М. Б. Козьмин** (первый зам. главного редактора), **В. А. Косолапов, А. А. Кулешов, В. М. Литвинов, М. Д. Львов** (зам. главного редактора), **А. И. Овчаренко, Г. И. Резниченко, А. Е. Рекемчук, А. Я. Сахнин, Д. В. Тевекелян, К. А. Федин**

Адрес редакции: 103006, Москва, Малый Путинковский пер., д. 1/2. Тел. 299-81-77
Издательство «Известия Советов депутатов трудящихся СССР»
Москва, К-6, Пушкинская пл., д. 5.

Сдано в набор 1/XII 1976 г. Объем 18 п. л. Подписано к печати 11/II 1977 г.
Формат бумаги 70×108^{1/8}. 28,7 уч.-изд. л. 9 бум. л. (25,2 усл. печ. л.)
А 09720. Тираж 180.000 экз. Заказ 3857.

Отпечатано с матриц типографии издательства «Известия Советов депутатов трудящихся СССР», Москва, Пушкинская пл., 5 в ордене Ленина комбинате печати издательства «Радянська Україна», Киев-47, Брест-Литовский проспект, 94. Зак. 0749

Цена 70 коп.

70636